
*Мы на земле,
где вы живете...*



ЗЕМЛЯКИ

*Нижегородский альманах
Выпуск тридцать второй*

«КНИГИ»
Нижний Новгород
2022

УДК 821.161.1(082)
ББК 84 (2 Рос-Рус)6 я43

353

Главный редактор *О.А. Рябов*

Шеф-редактор *А.И. Иудин*

Составители *А.И. Иудин, О.А. Рябов*

Общественная редколлегия:

*Н.А. Бенедиктов, И.С. Горюнова, Е.Н. Крюкова, З. Прилепин,
В.И. Седов, А.М. Цирульников, Г.В. Щеглов, Е.Р. Эрастов*

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя: 603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги» Тел. (831) 412-16-04

E-mail: zemlyaki-nn@yandex.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

353 Земляки. Нижегородский альманах. Выпуск тридцать второй.
Составители: А.И. Иудин, О.А. Рябов. – Нижний Новгород:
издательство «Книги», 2022. – 480 с.

Очередной выпуск альманаха составлен из произведений писателей и поэтов – как наших земляков, так и проживающих в других городах России и за ее пределами.

Наряду с новыми произведениями известных мастеров представлены наиболее интересные тексты молодых авторов.

На страницах сборника читатель найдет также материалы по истории, литературоведению, рецензии на отдельные книги. В специальных рубриках – произведения иронического жанра, повесть для семейного чтения.

Альманах зарегистрирован в Управлении Роскомнадзора по Нижегородской области.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 52-0246

© Иудин А. И., Рябов О. А. Составление, 2022

ISBN 978-5-94706-254-0

© Издательство «Книги», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Нижегородский почерк

Олег РЯБОВ	
ПРО СОМА	6
КАЦ ПО ФОТОГРАФИИ	11
УЗНАЛ ПО ГОЛОСУ	17
Александр ЛОМТЕВ	
ХРОНИКИ УХОДЯЩИХ ВРЕМЁН	22
Александра ВЛАСОВА	
ПОПУТЧИЦА	35
(НЕ)КРАСИВАЯ ДЕВОЧКА	46
Владимир ЛЕБЕДЕВ	
С ВЯЗАНКОЙ ХВОРОСТА НА МОСТУ ЛЮБВИ	54
WALK-TALK	61
ДОМ НА ТРИ СЕМЬИ	66
Алина ГРЕБЕШКОВА	
ИНИЦИАЦИЯ	69
Марина СОЛОВЬЕВА	
УШИ	80
Дмитрий БИРМАН	
ВДОХНОВЕНИЕ	90
НЕПРОСТОЕ УКРАШЕНИЕ	94
Виктор КУЗНЕЦОВ	
НА РЫБАЛКЕ	97
Владимир КЛИМЫЧЕВ	
ДВОЙНИК	102

Лирический портрет

Елена КРЮКОВА	
ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ	112
Виктор ЛЯПИН	
ТЫ БУДЕШЬ ТОСКОВАТЬ НЕИСТОВО....	128
Людмила КУЗНЕЦОВА-КИРЕЕВА	
МНЕ ПРИСНИЛОСЬ СЧАСТЬЕ ТИХОЕ...	131

Из свежей прозы

Урмат САЛАМАТОВ	
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СОЛНЦА	135
Сергей КРИВОРОТОВ	
НО КОМПРЕНДО	159
Сергей ЗЕЛЬДИН	
АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ	174
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ	186

Дарина КОПЫТОВА	
ОБСИДИАН	192
ЦЕЦИЛИЯ	204

Лирический портрет

Олеся НИКОЛАЕВА	
ТАК БЫЛО: ВСЕ ДОРОГИ В РИМ ВЕЛИ...	208
Александр КОСТЕРЕВ	
ДОМ, КОТОРЫЙ Я СТРОИЛ	212

Из будущих книг

Наталья ГУСЕВА	
ЛЕТОПИСЬ ДВАДЦАТОГО ВЕКА (<i>фрагменты</i>)	216
Владимир СЕДОВ	
СИНДРОМ АДЫ	234

Стихи по кругу

Галина СТРУЧАЛИНА	238
Николай ПОЛОТНЯНКО	238
Екатерина ФОМИЧЁВА	240
Наталья РОЗЕНБЕРГ	242
Вячеслав БАРАНОВ	243
Елена ГАЛИАСКАРОВА	244
Татьяна ЯРЫШКИНА	245
Мария ЗАТОНСКАЯ	246
Наталья ЛУЖБИНА	247
Галина ТАЛАНОВА	248
Александр ЛУШИН	250
Любовь АРТЮГИНА	252
Геннадий ЁМКИН	253

Юбилеи

Александр ФИГАРЕВ	
АВТОР С КРЫЛЬЯМИ	
Поэту, прозаику и переводчику Владимиру Лебедеву – 85	258

Вехи памяти

Михаил ЧИЖОВ	
ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК	
130 лет со дня рождения Константина Паустовского	266
Владимир ВЕЩУНОВ	
ЗАБЫТЫЙ РЫЦАРЬ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА	283
Светлана ЛЕОНТЬЕВА	
ЗАПОВЕДИ ОТ ФЁДОРА СУХОВА	299
РЯДОВОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ АРМИИ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВ	306

*Далекое – близкое***Александр ЦИРУЛЬНИКОВ**

- ВИКТОР БАЛАШОВ И ИГОРЬ КИРИЛЛОВ 315
ОБЫЧНАЯ СИТУАЦИЯ В КОСМОСЕ:
ГЛАЗА СТРАШАТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ... 319

*Родная сторона***Раиса КРАВЦОВА**

- СТЕПЬ ДЕТСТВА 326

*Литпроцесс***Эдуард КУЗНЕЦОВ**

- ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА (О предисловиях) 329

*Книжная полка***Валерия БЕЛОНОГОВА**

- «... ЖИТЕЙСКОГО ОБЫКНОВЕНЬЯ
КОЛОДЕЗНАЯ ЧИСТОТА» 342

*Русский смех***Сергей ШУСТОВ**

- РАССКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ 345

Евгений ОБУХОВ

- СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 351

Марат ВАЛЕЕВ

- САМОЕ ОНО 354

Сергей БЕЛАЯР

- ТРИ МЕДВЕДЯ И ОХРЕНЕВШАЯ ДЕВОЧКА МАША 357

Валерий РУМЯНЦЕВ

- ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ 363

Юрий ТУБОЛЬЦЕВ

- АФОРИЗМОСОФИЯ 365

*Семейное чтение***Алиса СТРЕЛЬЦОВА**

- ШИШКИН КОРЕНЬ, или Нижегородская рапсодия 367

Нижегородский почерк

Олег РЯБОВ

ПРО СОМА

Село наше Переслегино далековато от области расположено, от областного центра я имею в виду: за сто верст будет, если по спидометру. А теперь и того больше стало, после того как новый мост поставили: крюк почти в десять километров добавился. Ну уж как расположено, так и расположено. А вот сожалеть об том или радоваться оттого, что начальство далеко, – не знаю.

А как это так – больше стало?

А вот так! У нас уже двадцать лет бесменно районом рулит Пашка Бутузов, сын бывшего председателя нашего колхоза-миллионера, Александра Александровича Бутузова; Сан Саныч наш – Герой Социалистического Труда, кстати. Пашка его в детстве не поймёшь кем был, а вот в главу администрации района вырос. Хотя про «не поймёшь кем» я, конечно, перегнул: и из армии Пашка не просто так, а сержантом пришел, и сельхозинститут потом заочно окончил.

Так вот, несколько лет назад решил он воспользоваться для общественного блага приездом губернатора в наш район. Вдвухкилометрахотнашего селабылакогда-то дамба, державшая большой-пребольшой колхозный пруд, в котором разводились в товарных количествах карпы и толстолобики. В начале девяностых дамбу размыло по безалаберности чьей-то,

а может, и с умыслом – не уследили, в общем, за весенним паводком. Выгребли местные селяне корзинами да мешками несколько тонн рыбы для личных нужд. Ну а восстанавливать дамбу не стали, и течет теперь наш ручей безымянный мимо села среди камышей и тины без прежнего смысла. Кроме нашего ручья ещё две речки впадали в тот пруд: Смородина и Шишильня. И мост через эту уже довольно широкую речку Шишильню пришлось ставить чуть пониже, чем дамба была. Мост поставили прочный, хороший – груженный КамАЗ, наверное, не пройдет, но автобус «пазик», если без людей, проходил. Да, наверное, и КамАЗ прошел бы – не знаю. Народ руководству района не раз спасибо сказал за мост этот деревянный.

Правда, мост всё равно не очень удачно был поставлен: и широкой речка здесь теперь стала, и глубокой – плёс одним словом. Хотя, слышал я, что, когда мост ставили, место оптимальное долго выбирали. Только и живая природа, и земля живут, как и общество человеческое, по своим внутренним, ещё плохо изученным законам, и где завтра будет глубоко, а где мелко, никому не ведомо. Только теперь все наши мальчишки и взрослые местные рыбаки справлять свои естественные рыболовные потребности ходят пешком или на велосипедах ездят к мосту, а там спускаются немножко вниз по берегу.

Так вот, глава нашей районной администрации Павел Александрович Бутузов (кстати, он выходец из нашего села) озаботился для решения своих каких-то важных районно-хозяйственных задач поменять наш деревянный мост на современное капитальное бетонно-монументальное сооружение. В ночь перед приездом губернатора подручные архаровцы Бутузова немножечко подпортили мост по его же заданию: выломали боковые перила и частично сняли деревянный настил покрытия.

Для полноты картины сразу упомяну ещё об одном важном фигуранте моей истории. Жил у нас в ту пору в Переслегине невзрачный и неказистый мужичок Генка, или Генка-рыбак его ещё звали. Дураком Генка вовсе не был, а был он просто не такой, как все. Хотя мне он всегда казался «с булыжинкой в башке».

Во-первых, в смысле рыбалки был он просто очень фартовый, или всё же он знал какие-то никому не известные секреты. Вот стоят с удочками вдоль берега мужики и ребятишки – клёва нет! И на лодочке среди кувшинок с удочками сидят – не клюет! Генка в траве на берегу лежит, на небо смотрит, травинку жуёт. Потом вдруг заметит на горизонте вполне определённую тучку, вскочит, бегом в деревню, хватает удочки и назад. И у него, и у всех, кто с удочками на берегу, сразу же клевать начинается. Вообще про то, как он рыбу понимал, это отдельный рассказ писать надо.

А во-вторых, не только с рыбой у него такое. Как-то раз мальчишки удочкой, крючком рыболовным умудрились зацепить притопленную браконьерскую сеть, стоявшую в прибрежной осоке. Вытащили они сетку на берег, а в ней обнаружили не рыбу, а вполне ещё живую утку, которая ныряя в ней запуталась. Мальчишки кое-как утку высвободили, да только вывихнули ей ногу да сломали крыло. Отдали они утку Генке-рыбаку, а тот её выходил: бродит утка по двору у него, крыло волочит, но крикает и в тазу с водой бултыхается. Так и лето, и всю зиму хромоножка эта на дворе и в сарае прожила. А весна пришла – природа своего потребовала. Орёт утка, от крика её вся деревня оглохла, а только селезни, прилетевшие естественным образом, на речке за своими новоявленными подружками ухаживают или, отдыхая от таких забот, в камышах сидят.

Сунул Генка свою утку за пазуху и пошел на наш ручей, который, половодьем наполненный, тоже солидно весною выглядит, на него тоже утки первые садятся с целью женихов подыскать. Чего уж там его утка накрывала – не знаю. Только... не поверите! Я сам видел: идёт Генка по Центральной улице к себе домой с ручья нашего, а за ним, невысоко, на уровне головы, может, чуть повыше, не торопясь, чуть двигая крыльями, селезень летит, красивый, в брачном оперении. Так до самой Генкиной избы и летел. А через две или три недели утка Генкина уже с шестью утятами по двору гуляла.

Вот Генка-рыбак Пашке Бутузову весь спектакль его, приготовленный к встрече губернатора, и размазал.

Наши в деревне все уже знали, что Бутузов Пашка с губернатором должны подъехать, и ждали. Хлеб-соль,

конечно, не готовили, а всё же под дурачков кое-кто закошил: один с удочкой на мосту приспособился, другой с косой-литовкой у дороги присел. Губернатор наш из варягов, в области недавно, что с него взять! Приехали на четырёх машинах: наш скромник Бутузов на «уазике» на новеньком, а губернатор на двух «крузаках» двухсотых и на «гелендвагене».

Встали все у моста, солидная компания вышла из машин, человек десять, по сторонам оглядываются. Бутузов наш с логарифмической линейкой в руке зачем-то тычет ею в сторону речки да на мост. Губернатор спрашивает у него:

– А ты всё посчитал? С новым мостом я имею в виду!

– Конечно, Иван Иванович, – отвечает ему наш Бутузов и под нос губернатору суёт логарифмическую линейку свою. – Мы же тут цех по производству шампиньонов поставим, у нас уже и инвестор готовый есть на сто пятьдесят миллионов рублей и на сорок рабочих мест.

Думаю, кто-то его научил этому фокусу показательному с логарифмической линейкой, – наверное, батька его. Так ведь батька-то его всё же председателем колхоза был, фигура. А эти двое и не знают, как этой логарифмической линейкой пользоваться, а виду не подают, что не знают.

– Ну, мост мы тебе тут поставим на паритетных началах с твоим инвестором. А почему у тебя этот действующий мост такой неухоженный: перила все обломаны и настил снят так, что не проедешь? Так ведь ты и новый мост до ущерба доведёшь! – спрашивает губернатор у Бутузова нашего.

Вот тут Генка-рыбак и выскочил, как гриб из-под земли:

– Да нет, господин Иван Иванович, – запричитал он, обращаясь к губернатору, – ещё вчера наш мост был очень хорошим, а сегодня ночью приехали два полицейских чина из района, пьяных вдрабадан, я их знаю обоих, они-то весь мост и переломали. А ломать его нельзя, потому что под этим мостом сом живёт. А потому с этими двумя варварами ночными теперь уже обязательно беда случится, потому что тот сом особенный, с последствиями.

– Что значит особенный? С какими ещё последствиями? А ты кто такой? – спросил губернатор, ничуть даже не удивившись появлению Генки-рыбака.

– Я Генка-рыбак, местный я. А сом, который здесь под мостом живет, – это наше тотемное сельское животное, и его трогать нельзя, а можно только с рук кормить, холить и лелеять.

– Какое, какое животное ваш сом?

– Тотемное! Значит – священное.

– Интересно. А ты его видел, этого вашего сома?

– Видел.

– И большой он?

– Большой. Башка у него как вот... – Генка внимательно посмотрел на губернатора и потом кивнул на главу района Бутузова, – как вот у него.

– Интересно. Я сам родом из Астраханской области, там у нас тоже в одном из районов сом считается священной рыбой, или, как ты говоришь, священное животное. Там сомов тоже надо кормить и уважать. Их часто местные жители на куканах около берега держат. А ты своего сома кормишь?

– А как же – кормлю. Каждую ночь прихожу сюда и кормлю его и тухлыми куриными окорочками, и червями-выползками, и улитками. Потому я и видел сегодня ночью этих двух полицейских хулиганов, которые мост ломали.

– А как бы мне посмотреть на твоего сома? Удивительно – как здесь, в этой луже сом поселился? Не может быть – тут же тесно ему, наверное.

– Не тесно – тут яма восемь метров глубины, а приплыл этот сом к нам с Волги, тут недалеко. А ещё – это не мой сом, а наш! Я с ним договарюсь, ты приедешь, и мы посмотрим на него вместе. Я с ним договарюсь. Только мост этот ломать нельзя.

– Я понял это. Ничего мы здесь ломать не будем и строить мы здесь тоже ничего не будем. Да не пугайся ты, – это губернатор кивнул уже нашему районному главе Пашке Бутузову, – построим мы с тобой мост, только подальше. Двух своих полицейских хулиганов-пьяниц найдёшь и накажешь, я проверю. Да, ещё заставь их этот мост отремонтировать своими силами. А новый мост мы с тобой, где народ скажет, там и построим. А народом у нас с тобой будет на этот раз Геннадий – забыл, как по батюшке. В общем, Геннадий и есть – наш народ.

КАЦ ПО ФОТОГРАФИИ

Анна Ермолаевна Караваева рассказала мне эту занимательную историю, случившуюся с ней как-то и имеющую корни довольно давние. Учились мы с ней вместе в первом классе и потом ещё сколько-то лет, да только уж столько времени с той поры не виделись, а тут...

Всем понятно, что многие девчонки рождения середины тысяча девятьсот двадцатых годов остались без женихов – такая у них судьба: полегли все их пацаны. Мало того – и выжившие-то, вернувшиеся со страшной мясорубки, ребята не торопились к подружкам своим однокласскам, женихов своих дождавшихся и которым по всей стране счёту не было, а почему-то сразу же отдавали предпочтение вдовым солдаткам. Да ещё и с детьми которые, да ещё не с одним, а и с двумя, тремя, потерявшим на войне своих законных или не дождавшихся. Видимо, хотелось пацанам молоденьким сразу после голода, холода и сырости окопной оказаться в тепле, домашнем уюте и бабьей заботе.

А ещё развелось несметное количество и в городах и в деревнях гадалок и ворожей: а кто ещё сможет утешить болящую бабью душу! Церкви нашей православной тоже были даны большие послабления во время войны и после – Сталин лично встречался с Патриархом и просил помощи, видимо, обещая преференции какие-то. Церковь бабам сильно помогала в случае беды и горе людское лечила. Многие древние поверья выплыли из глубин веков – во-круг озера Светлояр все берёзки в те времена, да и многие годы после были опоясаны и завешаны черными платками и ленточками.

Так вот, матушка родная у Ани Караваевой жила после войны в нашем городе, совсем ещё молоденькой бабёнкой она была, и звали её Зоей – хорошенькая такая, ладненькая, улыбчивая. Эвакуированная, семью свою по военному времени она всю растеряла и жила одна в комнатке маленькой в коммуналке полуподвальной в соседнем с нашим дворе. С фронта к ней никто не вернулся, хотя и ждала она, может, а жизнь-то идёт.

В том же дворе, через дом от Зои, жила и Анна Даниловна, которую в городе многие знали как ведунью искусную. Анна Даниловна умела и на картах гадать, и другие всякие секретные способы знала. Женщина она была дородная, благожелательная, строгая и уже в годах. Ведунья – это не ворожея: ведунье иной раз даётся знать то, что другим неизвестно, а ворожея – это та, которая с тёмными силами дело имеет и может судьбу чужую поломать, как ей надобно. Всю войну к Анне Даниловне бабы день и ночь в очередь стояли, на скамеечке да на брёвнышках во дворе сидели, мечтали судьбу своих мужиков вызнать. А потому иногда другой женщине и не везло: это, когда, глянув на посетительницу, вдруг, не здороваясь с ней, Анна Даниловна сразу же уверенно вставала со стула и, показывая пальцем на дверь, часто-часто выговаривала: «А ты иди, иди себе, не скажу я тебе ничего!» Это значило, что худо всё было у той несчастной, и слова эти понятней похоронки становились.

Кончилась война, прошли ещё год, два, три, и как-то раз Анна Даниловна, увидев во дворе Зою, говорит ей:

– А ты, девка, зашла бы ко мне сегодня – поговорить я хочу с тобой.

– О чем говорить-то будем? – задорно спросила Зоя.

– Вот придёшь и узнаешь.

Пришла Зоя к Анне Даниловне вечером, усадила та её на венский стул да за стол, клеёнкой застеленный, налила стакан чаю жидкого, а сама напротив уселась. И говорит:

– Ты, Зойка, замуж-то вроде и не собираешься?

– Что это, Анна Даниловна, собираюсь, да что-то плохо получается. Помогла бы, а то и ребёночка уже хочется.

– Ты что, девка, дура? Чай я не мужик – помогать тебе ребёночка делать.

– Ну, я не то имела в виду, а то, что ты можешь.

– Ничего я не могу, а подучить тебя подучу.

– Чего ты подучишь? Как с незнакомым мужиком переспать? Так я боюсь – как бы не больной он какой был или с наследственностью! А чужого из семьи уводить – как-то совестно.

– А вот потому и хочу тебе подсказать, как чтобы не уводить и чтобы не с чужим.

– Это как?

– А вот знаешь – в соседнем дворе часовщик Лёва Кац живет, кривой такой, шея на сторону согнута? У него еще три дочки маленьких, такие красивенькие все да ладненькие! Две до войны родились, а одна – уже после того, как он вернулся. И жена у него Циля, согнутая тоже вся, она намного старше самого Каца-то. Вот он тебе нужен. Он и хозяйственный, и заботливый – сделай как я скажу.

– Так он же не воевал – наверное, он тоже больной.

– Не знаешь ты ничего! Воевал он, да только больно скоро его ранило в голову – потому у него и шея кривая, потому после ранения его и не взяли снова на фронт. Ты про то не думай – такие болячки на детях не сказываются. Так вот: ты бутылочку припаси да на стол накрой, а сама его выгляди и зазови, как бы часы проверить. А там уж и посмотришь, чего получится. Часы-то есть у тебя?

– Есть, ходики с кошачьими глазками.

– Ну вот – оторви гирю-то и зови.

И получилась у Зои через год замечательная девочка Аня, моя одноклассница будущая, а зарегистрировала она её, дав свою фамилию и непонятное какое-то отчество, как Анну Ермолаевну Караваеву. Про отцов при регистрации тогда не спрашивали – сколько их в окопах навсегда осталось!

А вот часовщик Лёва Кац оказался отцом действительно заботливым, внимательным, приглядывал за Аней, признавал своё отцовство, все во дворе знали про такое дело, а самое главное, что и Циля его Кац про такое дело знала и на Аню косо не смотрела. Мало того что он помогал Зое по дому какую-то мужскую работу сделать, так он и сандалики Ане своей мог купить и платьице новое. Родные

дочери Каца тоже признавали Аню за свою младшую сестру. Когда Аня немного подросла, Зоя уговорила Каца сходить с ней и дочкой в городскую фотографию и сделать красивую семейную фотку – сам Кац сидит на стуле в белой рубашке, с бородой, в очках, и не видно, что он кривой, пятилетнюю Аню он на руках держит, а рядом маленькая Зоя стоит, улыбается.

Вот эта-то фотокарточка – и всё, что осталось у Анны Ермолаевны Караваевой на память о детстве и о жизни в том старом дворе. И, когда мы с ней встретились вновь через сорок лет, я её не узнал, а она ко мне подскочила и застрекотала сорокой. Ну а как уж застрекотала, то сразу, конечно, вспомнил. Она улыбается во весь свой узенький рот, зубки мелкие, но свои, а сама как была пигалицей, так пигалицей и осталась – мелкая собачка до старости щенок! Уселись мы с ней на одну из лавочек, что у нас в скверике стоят, буд-то вчера расстались. И давай она мне рассказывать.

Прожила всю свою взрослую жизнь моя одноклассница Аня Караваева в каком-то маленьком городке: то ли в Муроме, то ли в Вязниках – я не понял, да это и не важно. Как замуж вышла, так за мужем и поехала. Детей она не нажила, а мужа своего, какого-то партийного функционера низкого ранга, потеряла скоро очень, и работала потом учительницей в школе: как-никак образование успела получить. А фамилию поменять и детей нарожать так и не успела. И вот какая-то уж очень скучная и серая жизнь у неё сложилась в этом городке: ни клуба, ни Дома культуры, куда бы могла сходить солидная, но незамужняя женщина. Был только какой-то КБО, комбинат бытового обслуживания, где могли тебе пуговицу пришить, да брюки погладить, да стекло оконное новое вместо выбитого можно было вырезать у местного татарина-стекольщика.

Работал в этом КБО ещё один мастер на все руки, который и сумки, и зонтики ремонтировал, и часы, и радиоприемники и который был как бы комендантом или сторожем, а может, и директором этого КБО – в общем, ключами от всех помещений комбината распоряжался он. Надо же так случиться, что фамилия этого мастера или коменданта была Кац. И иногда по воскресениям, а бывало, что и в

другие дни у него там, в отдельной комнатке в комбинате этом, собиралась своя компания – и мужчины, и женщины с детьми. Старики сидели на единственном диване и сплетничали, дети на полу играли, потом все вместе чай пили, песни пели, и танцевали под радиолу, а иногда маленький мальчик Яша им на скрипке играл. И такие завидки брали мою одноклассницу Аню, что она не в той компании, и так хотелось ей попасть в их кружок, что просто до слёз.

Так вот как-то Аня Караваева смелости набралась, пошла она к этому мастеру Кацу и говорит ему:

– А можно мне как-нибудь к вам на огонёк, к вашей компании заглянуть – уж больно хорошо вы время проводите вместе?

– А как ваша фамилия, милочка? – спросил у Ани мастер Кац.

– Аня Караваева моя фамилия, – отвечает ему Аня.

– Аня, – говорит ей мастер Кац, – у нас здесь проводятся семейные праздники. Если вы хотите здесь день рождения свой справить – милости просим, только друзей пригласите, а я вам и двери открою, и ключи от помещения дам. Если кто-то захочет вас пригласить на свой праздник: день рождения или свадьбу, то и вы к нам сюда придёте. А так просто – нет!

Поняла моя Аня, что мастер Кац лукавит, и говорит ему:

– А если у моего папы фамилия Кац была, то можно мне приходить на ваши дни рождения?

– Ну, милочка, я сам Кац и всех Кацев хорошо знаю. Вы из каких Кацев будете? Вы, милочка, Кац по отцу, а Караваева по матери – так, что ли?

– Да, – отвечает ему Аня.

– А как бы мне на ваши документики посмотреть, где про вашего папу написано.

– А у меня никаких таких документов нет, – отвечает местному Кацу моя Аня. – Зато есть у меня фотография, где я с папой и с мамой.

Достает Аня Караваева из сумочки ту самую фотографию, где ей пять лет и она с папкой своим и с мамой сфотографированы, и протягивает её этому самому коменданту КБО. А тот берёт фотку, разглядывает её и спрашивает:

– Так вы из Горького, что ли?
– Да, – отвечает Аня Караваева.
– А это Лейба Кац?
– Да, – отвечает Аня, – а на руках у него – я.
– Старая фотография. Похож он тут, похож, а вот вы – нет, не похожи. Это ведь мой дядька родной, только он умер уже.

– Знаю я, – говорит Аня.
– А знаете ли вы, что у Лейбы Кац было три дочери – Софа, Маша и Дора?

– Знаю я, – говорит Аня, – это сестры мои.
– А почему же я про то не знаю, что вас четыре сестры было? – поджав губы, спросил у Ани комендант КБО и почему-то перешел на «ты»: – И вообще, вот была бы у тебя бумага, что ты «по отцу», а ещё бы лучше «по матери» – и проблем бы не было! А вот по фотографии – не могу!

И так обидно стало тут моей Ане Караваевой, что только «по отцу» или «по матери» можно, а так просто, по-человечески или «по фотокарточке», нельзя, что в тот же день села она на автобус и поехала к себе на родину, в свой родной город, к сестрам своим в гости. И удачно она поехала, потому что нашла она всех трёх, и поплакали они от радости вместе, обнявшись вчетвером.

А потом уж Аня Караваева и вовсе перебралась в свой родной город, где родилась и в школу ходила, уже насовсем. И встречается она теперь по выходным и разным праздникам с сёстрами своими Софой, Машей и Дорой, которые у неё документов не спрашивают, а просто собираются они все вместе, садятся за столом, выпивают наливки домашней смородиновой и поют допоздна песни тоскливые, бабьи, русские.

УЗНАЛ ПО ГОЛОСУ

В течение довольно продолжительного отрезка своей уже взрослой и разумной жизни мой добрый товарищ Владимир Васильевич Чайкин с удивительной периодичностью играл в преферанс.

Чайкин – художник. Конечно, художник он не простой, а с именем и даже со званием «заслуженный». Только непонятно – звание это приравнивает его общественный статус к кандидату каких-нибудь наук или уже к доктору? Ну да это неважно!

Собирались обычно у кого-нибудь дома, а чаще в мастерской у Чайкина. В таких случаях хозяин обеспечивал стол с конфетами, лимоном и чаем, а гости приносили с собой две свежих колоды карт и бутылку коньяку. Глубоко за полночь вызывалось по телефону такси, и всех гостей развозила одна машина. Но поболтать успевали за это время на всякие темы. Я бы не стал рассказывать про эту компанию и про художника Чайкина, если бы не удивительное совпадение.

Говорили раз в компании про тембр человеческого голоса, про его уникальность и неповторимость, сравнимую с папиллярными узорами на подушечках человеческих пальцев и индивидуальностью цепочки ДНК каждого человека. Вспоминали солженицынскую «шарашку», где занимались привязкой голоса к личности человека и возможностью идентификации его по голосу. Обсуждали ломку голоса в переходном возрасте, устройство голосовых связок, окраску, придание бархатистости звучания обертонами, которые образуются за счёт конкретного анатомического устройства этого сложного, а в некоторых случаях

почти музыкального инструмента. В общем – серьёзный, длинный разговор.

Но главное, что Чайкин запомнил, – голос не меняется с годами и десятилетиями, у каждого конкретного человека уникален, и как бы тот ни попытался его изменить, говоря шепотом, или приглушить, пользуясь носовым платком или какой-нибудь тряпкой, но, если не было хирургического вмешательства, специальные устройства смогут всегда определить истинного хозяина. Это нам только кажется, что все эти эстрадные Галкины с Винокурами очень похожими голосами пародируют каких-то артистов и политиков; на самом деле тембр и окраска там всё равно галкинская и винокуровская.

Через день или через два в мастерской у художника зазвонил телефон, настоящий телефон, стационарный, про такие многие уже и позабыли; да и у Чайкина он стоял или лежал на полу под креслом в самом заставленном и дальнем углу. Но звонок был настойчивый, и Чайкину пришлось отодвигать какую-то коробку, чтобы достать аппарат.

– Здравствуй, Володя, – произнёс знакомый, до боли знакомый голос.

– Здравствуй, Светочка!

– Как-то ты уж очень быстро узнал и среагировал на меня!

– А вот только вчера сидели с друзьями и рассуждали на тему неизменяемости тембра человеческого голоса. И подумать не мог, что подтверждением тому будет уже сегодняшний твой звонок. На улице – может, и не узнал бы. А голос твой... Сразу кожа мурашками покрылась от волнения. Сколько мы не виделись? Лет двадцать?

– Да, почти двадцать лет. И не разговаривали двадцать лет. Меня же здесь не было, и даже в стране этой меня довольно долго не было. Я жила далеко-далеко.

– С ума сойти! А давай встретимся?

– Давай! Где?

– Не знаю. Придумай! А вот – на Откосе открыли новое кафе «Парк культуры» – давай там. Будет хорошая погода – погуляем, поболтаем, а если дождик, то посидим в кафе. Сегодня в шесть вечера тебя устроит?

– Вполне. Жди. Только...
– Что – только?
– Да ничего – увидимся! Не знаю – узнаешь ли ты меня? А-а, я сделаю так, что узнаешь! Жди. Только дай мне номер своего мобильного, диктуй – я запишу. Это ведь чудо, что я помню твой телефон и он у тебя ещё не отключен.

Двадцать лет назад Чайкин был самым молодым преподавателем художественного училища, вел курс рисунка. Ещё в период ученичества про него поговаривали, что лучше него владел карандашом только Рембрандт. У него к тридцати годам была уже собственная большая и удобная мастерская, где он любил работать. И вдруг – бешеная, но мимолетная любовь к молоденькой натурщице, с прогулками, клятвами, подарками, слезами, мечтами и планами. Должно это всё было кончиться когда-то, конечно, но только по-другому.

А тут – внезапный разрыв, навсегда, как будто ничего и не было. И – забвение.

Её звали Светланой.

Не знаю, в каких краях как, а у нас, в средней полосе, если говорить о временах года, то один из лучших коротких сезонов – это бабье лето. Буйство красок увядающих лесов, звенящая тишина при полном безветрии, щадящее неяркое солнце и густой, уже чуть освежающий воздух, наполненный и ароматами прелой листвы, и памятью прошедшего лета. Этот запах опавшей листвы стоит столбом неделю, две. Даже здесь, на Откосе, где, кажется, ветер с Волги должен всё уносить куда-то, в такие дни воздух стоит на месте. И паутинки осенние висят в нем, не уверенные в своём предназначении, а заволжские дали приближаются фантастически.

Конечно, для того чтобы всё это видеть и чувствовать, надо обладать определённым воображением. Но, видимо, у горожан его хватает, и в такие дни особенно много гуляющих собирается на набережной.

В кафе же не было ни души – прохлаждающаяся публика предпочитала смотреть на багровое солнце, которое растекалось по горизонту.

Чайкин заказал себе кофе и бутылку минеральной воды – до обозначенной встречи было ещё с полчаса не определённого для использования времени. Столик его стоял удобно: он мог и любоваться речными просторами, и рассматривать гулявших мимо кафе по тротуару. На молоденькую девочку, стоящую за стеклом, в совершенно летней маечке и рваных шортах, он не обратил поначалу никакого внимания: солнце бликовало на стекле окна, выходявшего на смотровую площадку перед кафе, да и сам он сидел почти спиной к ней. Но, всё же, обернувшись вторично, взгляд его зацепился: девочка стояла в трёх метрах от него за стеклом и внимательно, даже как-то нагло его рассматривала.

И тут до Чайкина дошло – о чем вчера по телефону говорила его Светочка, что она собиралась сделать что-то такое, чтобы он её узнал! Конечно, за стеклом, в пяти шагах от него стояла «его Светочка», двадцатилетняя копия той Светочки, один в один та, которую он потерял двадцать лет назад. Девочка за стеклом лизала рожок с мороженым, одновременно болтая по мобильнику и продолжая нагло разглядывать Чайкина. Потом она сунула свой гаджет в задний карман своих затертых шортиков, повернулась к Чайкину своей узкой, совсем ещё детской, попкой и, облокотившись на перила, уставилась куда-то вниз, под Откос, разглядывая ползущую там, внизу, темную и холодную Волгу.

Чайкин был человеком рациональным и в чудеса не верил. То, что за стеклом стоит дочка его потерянной двадцать лет назад подружки, Светочки, он понял или, по крайней мере, пытался сейчас понять. Вообще, если такие дубликаты человеческих особей и создаёт природа, то очень редко. Чайкин и спустя двадцать лет прекрасно помнил и представлял себе ту двадцатилетнюю Светочку. Эта девочка была точной копией.

Запиликал мобильник. Чайкин подключился.

– Ну, и как тебе? – звонила Светочка.

– Так, а ты где?

– Да я далеко! А как тебе моя девочка?

– Потрясающе! Копия!

– А ты говоришь – голос не меняется, тембр остаётся. Я тоже не меняюсь!

– Так мы с тобой увидимся?

– Нет! Зачем? Я же сказала тебе, что я очень далеко. А это твоя дочка. Ей очень любопытно было на тебя посмотреть – вот я и устроила эти смотрины, не обижайся. Ты ей не нужен, она и не хочет с тобой знакомиться. Она просто хотела на тебя посмотреть, чтобы проверить мой вкус. Она уже сегодня улетит в Лондон. А я в Москве, если тебе интересно. Прощай.

Чайкин во время всей этой краткой женской тирады медленно поворачивался к окну, выходящему к смотровой площадке, где минуту назад стояла его предполагаемая дочка, но...

Но на площадке уже никого не было, кроме одиноко гуляющего сизого голубя.

Александр ЛОМТЕВ

Саров

ХРОНИКИ УХОДЯЩИХ ВРЕМЁН

Из цикла «Простые люди»

«Прощание славянки»

Хорошо, что первый этаж и лестница не крутая, хорошо, что соседи попались отзывчивые – помогают выкатить коляску из подъезда. Хорошо, что улица не слишком крутая. В общем, ему во многом повезло. Вот что было бы, отнимись у него ноги там, дома, в России? Разве была бы у него такая удобная и современная коляска? И пусть крохотная, но вполне современная квартирка? Да ни в жисть! А тут пожалуйста – и пособие неплохое. Он усмехнулся: маленькое, но неплохое...

Рано утром, по холодку, хотя какой это холодок, когда и днём и ночью под тридцать, он выкатывался за дверь своей квартирке с аккордеоном на коленях, кое-как спускался из подъезда и катил к знакомому перекрёстку.

Торговцы сувенирной мелочовкой не торопясь открывают свои лавчонки, выдвигают маркизы, открывают зонты над кофейными столиками. Вот-вот хлынет поток туристов, и в еврейско-арабский гомон вплетутся иные языки – вездесущий английский, диковинный китайский, жёсткий немецкий, русский...

Он снова усмехнулся, поймав себя на мысли, что подумал о России как о доме: там, дома...

За те несколько лет, что он тут живёт, ему уже даже не нужно слышать речи, чтобы понять, из какой страны приехала та или другая группа туристов. Сколько тысяч людей прошло мимо него, чтобы воочию увидеть дом, где родился Иисус. Туда идут торопливо, возбуждённо, подумал он, разворачивая коляску на обычном месте, а обратно – притихшие. Кроме китайцев – эти всегда гомонят. И японцев – эти всегда тихие.

Он открывал оранжевый с зелёными пальмами зонтик, прикреплённый к спинке кресла, стелил на колени лоскут шёлка, чтобы не протирались брюки, расстёгивал меха инструмента и пробегался быстрыми, до сих пор чуткими и гибкими пальцами по клавишам.

Он знал, чем взять эти толпы проходящих мимо людей со всех концов света. Для немцев играл одно, для китайцев другое, для греков третье. Люди вдали от дома скучают по родине, даже если покинули её ненадолго. Ему ли не знать...

Поэтому для русских – всегда «Прощание славянки». Кто-нибудь, как правило, молодые женщины, обязательно подойдёт и бросит в коробку несколько шекелей. Бывает и доллары бросают. И рубли...

Свои первые рубли он заработал, играя на потрёпанном баяне на чьей-то свадьбе. Баян купила ему мать для музыкальной школы в Арзамасе. Она очень хотела, чтобы мальчик стал музыкантом, а поскольку пианино поставить было некуда, а против скрипки воспротивился отец, остановились на баяне. В Арзамасе... В таком невообразимо далёком теперь Арзамасе, что с трудом верится в то, что он существует где-то в реальности. Существует, конечно...

Сколько же раз за жизнь он сыграл «Славянку»? Вечерами разучивал он её, сидя на бабушкином сундуке под лестницей в деревянном двухэтажном доме на четыре семьи, пока соседи не начинали укладываться спать.

Толпа шелестела, журчала, шаркала, перекликалась, протекая мимо; он играл, играл, играл, а мысли его жили сами по себе. Вот – Арзамас, думал он, а вот теперь – Израиль. А что между? Что-то необязательное? Было или не было – не всё ли равно, если эта музыка привела его сюда,

на раскалённую улицу, в мешанину языков и наречий, под сень этого холма с белыми домами под терракотовыми крышами, на вершине которого уткнулись в синее небо острые тёмно-зелёные кипарисы.

В самую жару знакомая из ближайшего кафе приносила ему крепкий кофе и большой стакан ледяной воды. Обедал он вечером, дома.

Мелодии лились вдоль раскалённой улицы, монетки звякали, падая в коробку, он склонял благодарно седую голову, а пальцы сами собой летали по клавишам аккордеона. Говорят, что развалины дома, к которым текут эти нескончаемые толпы, вовсе и не настоящий дом Иисуса. Ну и что? А что в этом мире настоящее? Разве в камнях дело? А в чём? То-то и оно! Если бы знать!

Ближе к вечеру поток туристов иссякал, он застёгивал меха, убирал аккордеон и шёлковый лоскут в футляр, складывал зонтик и катился на своей коляске вниз по улице. По пути останавливался у кафе и протягивал хозяйке деньги за кофе, но та всегда отказывалась.

Дома он неторопливо обедал, потом читал газету, потом смотрел телевизор и под его привычное журчанье засыпал.

Иногда ему снилась Россия. В этих снах он чаще всего сидел в полумраке прихожей на бабушкином сундуке, играл «Славянку» и смотрел, как за вечерним окном густо и тихо падает снег...

Возвращение

Девяносто один год – не шутка. Но он решил дойти до этой деревушки. Он брёл по каменистой тропе, внимательно глядя под ноги и выискивал место поровнее, прежде чем поставить ногу. Узкое ущелье не давало солнцу напрямую калить рыжие каменистые стены, но всё равно было жарко. Очень жарко. Рудольф неторопливо шёл по тропе, временами впадал в задумчивость, и ему казалось, что он вернулся в прошлое. Вот сейчас его окликнет идущий по пятам Ганс и кинет ему флягу с тепловатой водой. Конечно тогда, весной сорок первого, он не плёлся вот так среди этого дикого нагромождения камней, а быстро

шагал, перескакивая булыжники и озерки пересыхающего, пропадающего в камнях ручья. И всё время ждал выстрелов.

Это был очередной карательный рейд, но греки не боялись их. Они очень хорошо знали каменные лабиринты своего ущелья и после каждого короткого ожесточенного боя ускользали, не дав опомниться. До самого исхода с Крита им так и не удалось выбить греков из ближайших гор.

Но в тот день удалось захватить связного. Так решил Ганс, что этот испуганный подросток – партизанский связной. Ему прострелили ногу, и после допроса, чтобы не тащить раненого по жаре через ущелье, Ганс приказал пристрелить мальчишку. И его пристрелили.

Рудольф, чтобы отвлечься, принялся вспоминать прочитанное в путеводителе.

О рощицах шелковиц и инжира, растущих вокруг источников, о соснах и медоносных цветах, о пастушьих домиках митато, построенных из грубого камня даже без скрепляющего раствора, о горных козах кри-кри, о старых арочных домиках с мансардами в маленькой деревушке...

Деревушку они сожгли ещё раньше. До того как пристрелили мальчишку. К развалинам этой деревушки ему и нужно было добраться.

Зачем? Он и сам не знал...

Он шёл и медленно думал о том, как тут жили люди. Пасли стада овец, строили водяные мельницы, охотились, рожали детей... А в праздники жарили ароматное мясо и запивали его огненной цикудьёй. Пели и танцевали. И тут пришёл он, Рудольф. И Ганс. И другие рудольфы и гансы... И расстреляли того мальчишку. Зачем? Почему? Для какой высшей цели? И что изменила эта смерть? Что-то изменила...

Рудольф добрёл, наконец, до деревушки. И ничего не узнал. Но воспоминания нахлынули на него с такой силой, что он невольно осел на ближайший валун.

Ганса застрелил снайпер через месяц после того карательного рейда, и он сам рассказал об этом невесте Ганса потом, уже после войны. Сегодня ему было особенно жалко

и Ганса, и того греческого мальчишку, и он никак не мог понять – кого больше. Как же так, столько лет прошло, а сердце всё болит и болит. И ничего не изменить. И всё продолжается – где-то другие рудольфы и гансы стреляют в других мальчишек.

Рудольф вдруг затрясся и зарыдал.

Непонятно откуда, словно прямо из скалы, к нему подбежали греки-инструкторы. Он на плохом английском объяснил, что с ним всё в порядке, что просто он воевал тут когда-то против них, греков. Он не знал, что толкало его, но всё рассказывал и рассказывал, захлёбываясь слезами, и про карательные рейды, и про сожжение деревушки, и про расстрелянного парнишку. Греки повернулись и ушли. И Рудольфу показалось, что он остался один на целой планете и что это горячее ущелье – его личный ад.

Но греки вернулись. Они принесли с собой бутылку цикуды, хлеб и миску с оливковым маслом. Они наливали цикуду в маленькие стаканчики и себе и Рудольфу, пили, ломали хлеб, макали его в масло, снова пили и плакали вместе с Рудольфом.

Проходившие мимо туристы с изумлением разглядывали трёх плачущих мужчин. Одного очень пожилого и двух молодых. А те пили и плакали, пили и плакали...

Дед

Дед постоянно кричал по ночам. И нельзя сказать, что-то слишком громко или надрывно. Просто слабым, почти детским голосом затягивал «Ааааааа, аааааааааа». И лишь временами вскрикивала чуть громче «Ойё-ёййй». Но сон у больных был чуткий, и многие просыпались от этих криков и потом долго не могли заснуть.

Утром в столовой не обходилось без обсуждений. Где-то между результатами УЗИ, диетой от рака и тонкостями поведения на эндоскопии (дышать надо не носом, как советуют врачи, а ртом! И шёпотом: да что они понимают, врачи эти...) обязательно кто-нибудь говорил:

– Опять дед хулиганил!

Тут же кто-то окликался:

– Ой, всю ночь из-за него глаз не сомкнула, когда же это кончится.

Особенно злился низенький лысоватый толстяк, которого все на этаже звали Палыч. Когда-то Палыч был большим начальником, а теперь стал заурядным пенсионером, к тому же обремененным язвой желудка.

– Это безобразие! – кипел Палыч. – Куда только медики смотрят, весь этаж из-за этого деда не спит.

– Вы, Николай Палыч, в медицинском учреждении находитесь, – вежливо осаживала его медсестра, – и здесь свои порядки. Не кляп же ему вставлять.

– Да куда денешься, человек старый, может, и нам такая же участь суждена, – заискивающе резонировал молодой парень с гастритом. – Он за себя ответить не может.

– Зато ты отвечаешь, – огрызался бывший начальник, – пердишь по ночам. Вот наша бабушка, когда почуяла, что время её вышло, – ушла так тихо, что никто и не заметил. – Палыч вздохнул, погладил себя по лысеющей голове. – Вечером ещё кур кормила, а утром не проснулась – и всё. И умерла даже летом – никаких проблем с могилой нам не доставила.

Днём дед спал. Просыпался только на еду да когда приходили навестить дети-внуки. А ночью из его палаты снова доносилось потустороннее «Аааааааа, аааааа...».

– Не помогает, – жаловался утром хмурый Палыч, вынимая из ушей беруши, – всё равно слышно.

И вдруг дед затих. Поначалу палата даже подумала, что старик скончался. Но Палыч заглянул к деду и убедился, что тот спокойно ест овсянку.

– Батюшку к нему приводили, – разъяснила ситуацию нагрянувшая с уколами медсестра, – соборовали его, вот он и успокоился.

– Да он же коммунист заядлый, непримиримый атеист! – вскинулся Палыч, и сам не чуждый идеалов социальной справедливости. – Он же в горькоме работал, бабок в религиозные праздники с Серафимовских родников гонял! Да что бабки, говорят, он купола в церкви в Васьковке сносил, чтоб под цех её приспособить.

– Вот именно, – многозначительно посмотрела на Палыча медсестра. – А то с чего бы это его так корёжило?

– Да ладно, – скептически махнул пухлой ладошкой отчего-то раздражённый Палыч, – ладно.

– Теперь ладно, – всё так же многозначительно улыбаясь, ответила медсестра. – Теперь он вам мешать не будет.

И правда, не мешал. Умер дня через три, тихо и незаметно.

Всё к лучшему

– Витя?!

– Велта?!

Они стояли друг перед другом, смотрели друг на друга, улыбались положенными к случаю улыбками и вслушивались в себя. По крайней мере Витя вслушивался. Где-то когда-то он прочитал: «Ураган чувств пронесся в его груди». Ураган не ураган, но нежданная волна душу качнула, всколыхнув давно успокоившееся и, казалось бы, забытое. Сколько же лет прошло? Двадцать пять? Нет, за тридцать уже. И он давно не Витя, а Виктор Николаевич, да и она Велта... Как же? А, да – Арнольдовна...

...Витя вошел в квартиру, уронил сумку с плеча, прошел в комнату. Все-таки она уехала. Уехала. Сквозь шторы и сирень за окном солнце беспечно играло с вазой. Витя взял вазу и, аккуратно прицелившись, швырнул ее в портрет бородатого человека в толстом свитере. Ваза разлетелась в мелкую пыль (рука у Вити была твердой), а совершенно не обидевшийся Хемингуэй участливо посмотрел на Витю: полегчало? Нет, не полегчало. Витя взял в руки настольную лампу и, пожалев ни в чем не повинного писателя, швырнул ее о противоположную стенку. Сел на диван. Уставился в лицо бородатого писателя, тот молча сочувствовал: такие, брат, дела.

...Река блестела серебряной рябью, с берега неслись веселые крики, пахло костровым дымом и поджаренным черным хлебом, Велта сидела на кормовой скамейке (банке – по-морскому) и смотрела, как он гребет. Греб он красиво,

руки у Вити, как уже было отмечено, хорошо накачаны. А он смотрел на ее точеные из мрамора ноги, на веснушчатое прибалтийское лицо, на улыбку и таял от этой улыбки, от этих веснушек, от длинных невероятных ног.

Велта играла на флейте, а Витя занимался графикой, на этой почве они и познакомились в центральном ДК своего маленького среднерусского городка. Витя влюбился в Велту очень сильно. Когда Велта оканчивала школу, а Витя заочно поступил в вуз и несколько его гравюр напечатали в «Юности», они уже твердо решили пожениться. Родители Вити были за, родители Велты – против. У девочки большое будущее – какая свадьба?! К тому же она стала победительницей сразу нескольких престижных конкурсов, и дорога в Москву – заветную для всех столицу нашей Родины – была ей открыта. А тут еще появился Сережа – солидный молодой человек на год старше Велты. Сережа играл на скрипке и тоже победил на престижном конкурсе.

Витя уныло сравнивал себя с соперником. Сережа безукоризненно одевался, ботинки всегда блестели, галстука он не носил принципиально – только бабочку, был неизменно причесан и никогда не допускал грязных ногтей. Ногти у Вити были почти всегда черные, особенно если учесть, что он все больше увлекался рисунком тушью, своевольная шевелюра категорически не подчинялась расческе, ботинки он носил туристские, так называемые «вибрамы», надевать к которым не то что бабочку, а и банальный галстук было совершенно немыслимо. С одной стороны, Сережа абсолютно не умел рисовать, и это было хоть каким-то преимуществом, но с другой – и Витя совершенно не владел скрипкой. Правда, Витя мог бы одним коротким хорошо поставленным прямым левой отправить скрипача в глубокий нокаут, но возраст, к сожалению, был уже такой, что как аргумент это Велтой вряд ли было бы воспринято...

Витя тряхнул головой, прогоняя блеск речной волны, серебряные капли с весла и прибалтийские пряди Велты, ниспадающие на бледно-веснушчатое худенькое личико.

Пошел на кухню, открыл кран с холодной водой, подставил голову. Не помогало, сердце давило. Витя взял

с сушилки большую тарелку, обеими руками поднял над головой и грохнул ее о пол. Потом сходил за веником и тщательно замел осколки на совок и ссыпал в мусорное ведро. Потом повторил процедуру еще семь раз.

Она не просто уехала. Она уехала тем же поездом, в том же вагоне, в том же купе, что и Сережа. Витя стоял на перроне, а она беспечно улыбалась ему из-за мутного вагонного стекла, словно рыбка из аквариума. Но воздуха не хватало ему, словно это он тонул в теплом аквариуме. Очень хотелось вбежать в вагон, толкая неуклюжих пассажиров с поклажами в узком коридоре и с ходу, одним красивым движением левого кулака уложить спокойного, даже не улыбающегося предотъездной улыбкой Сережу в нокаут. А потом взять ее, слегка упирающуюся, за тонкое запястье и отвести в загс. Не уложил, не взял, не отвел...

Главное, он уже привык считать ее своей. А как же. Поход, костер, Визбор под гитару, ночевка на сеновале в полузаброшенной деревне, жаркое «не надо», подразумевающее «конечно, надо», утреннее горделивое смущение перед друзьями, дожидавшимися у палаток... Она неуверенно говорила: переведешься в Москву. Ну да, как же — проще простого! И Сережа этот...

В общем, все рухнуло и потеряло всякий смысл. Во времена Лермонтова в таких случаях уезжали на Кавказ. Витя уехал в Карелию. Тем более что в Петрозаводске проживал, как шутила мать, «недалекий родственник», а суровые лаконичные карельские пейзажи словно сами просились на белые листы подающего надежды графика.

Он уехал и не жалел об этом, но мучился порой оттого, что не знал: а пожалел ли бы оставшись? Жизнь сложилась как сложилась, как, очевидно, должна была сложиться. Почти все, о чем мечталось, сбылось, хотя и не так, как мечталось... И та девочка с длинными ногами и веснушчатым лицом неискоренимой занозой осталась на всю жизнь в памяти.

Но, с удивлением почувствовав, что нечаянная встреча в родном городке неожиданно освободила от этой занозы, облегчения Витя не испытал, поскольку вместо привыч-

ного легкого зуда на месте занозы оказалась неприятная пустота.

– Надо же, а ты почти не изменился, – врала Велта, скашивая взгляд на брюшко Вити.

– Да и ты цветешь, – механически улыбался Витя. Ему стало неловко, о чем говорить, он не знал, а просто попрощаться вот так, сразу, как-то неудобно. Но факт был налицо – девочки с мраморными ногами и синим взглядом из-под небрежной челки он не почувствовал. Где-то ее эта солидная, хорошо одетая, крашенная брюнеткой дама потеряла. Интересно, как выглядит сейчас тот вундеркинд Сережа?

Стараясь казаться безразлично-вежливым, Витя спросил:

– Как Сережа? Дети у вас есть?

– Какой Сережа? А-а-а, тот, скрипач... Да что ты, я его после приезда в Москву и видела-то всего один раз... А сейчас он вообще где-то по границам... Муж у меня альтист, мы в одном оркестре служим на театре. Ой, я тебе сейчас визитку дам, будешь в Москве, обязательно заходи. Я так рада, что тебя встретила.

Похоже, что говорила она искренне, но Витя ощущал, что всколыхнувшееся прошлое тускнеет на глазах; он что-то говорил, на клочке бумаги писал свой телефон и все пытался представить себе, что вот эта полная, слегка неряшливая и резко пахнущая косметикой женщина живет рядом с ним, ложится вечером в его постель, обедает за одним столом, загорает на пляже... И вдруг подумал: «Все, что Бог ни делает, – к лучшему».

Коленька

Коленьке исполнилось пять лет, когда его папа умер. От папы остались оловянные солдатики и красная пожарная машина. И ещё запах одеколona и ощущение щекотки от колючих усов. И голос, который Коленька слышал иногда среди ночи. Папа был большой и весёлый, и на руках у него было высоко и уютно. Коленьке потом казалось,

что они все трое – он, папа и мама – постоянно смеялись. И всегда было лето.

Потом папы не стало. А потом мама привела другого папу. Пойми, сынок, говорила она ему вечером, укладывая спать, я не могу одна, понимаешь, совсем не могу...

Бабушка осуждала маму и рассказывала Коленьке про прежнего папу. Она говорила, что хоть папа и умер, но они всё равно увидятся, потом, когда Коленька вырастет, проживёт жизнь, состарится и тоже умрёт. Мама ругала бабушку за такие разговоры; что вы чушью голову ребёнку забиваете, кричала она. И вскоре бабушка пропала. Уехала – сказала мама.

Другой папа был совсем не такой, как прежний. Никогда не брал Коленьку на руки. Постоянно сердился, а на что – непонятно. Мама всё время смотрела на нового папу и улыбалась ему. Но не так, как улыбалась прежнему папе. А будто немного испуганно.

Скоро новый папа начал сердиться на Коленьку, а однажды выбросил красную пожарную машину в мусоропровод. Коленька заплакал, и новый папа взял Коленьку за руку, вывел его из квартиры на лестничную клетку в одних трусиках. И Коленька стоял перед дверью, пока кто-то из соседей не позвонил в квартиру и не сказал, что у вас тут ребёнок мёрзнет. Вышел без спросу, а дверь захлопнулась, сказал тогда новый папа.

Потом стало ещё хуже. От целого отряда солдатиков остался только один знаменосец, которого Коленька спрятал под шкафом, остальных новый папа переплавил на грузила; новый папа любил рыбалку.

Когда Коленька вырос из своей детской кроватки, кроватку выбросили, а новую покупать не стали. Новый папа очень хотел купить иномарку, а денег не хватало, и он всё время экономил. Спал Коленька на матрасике, который каждый вечер мама стелила на кухне. Потерпи, шептала ему мама, скоро всё наладится, а без папы нам, сам понимаешь, нельзя. Мама была уборщицей и очень боялась остаться одна «с ребёнком на руках».

Коленька никак не мог понять, что нужно сделать, чтобы новый папа полюбил его, как прежний. Когда он пошёл

в школу, решил хорошо учиться, чтобы новый папа гордился им; и он учился очень хорошо, но папа всё равно сердился на него. Однажды он избил Коленку ботинком, так что на лице появились синяки и ссадины. И мама пошла вместе с ним в школу и объяснила учительнице, что это Коленька упал с лестницы. А Коленька кивал головой, ему было жалко маму.

Ночью, перед тем как заснуть, Коленька под мерный стук капель в раковине разговаривал со знаменосцем, рассказывал ему про школу, про учительницу, про ребят, про общего котёнка во дворе, которого подкармливали все ребята, кроме него, Коленки. Коленке нечего было вынести котёнку, ведь кормили его только картофельным супом да макаронами, а макарон котята не едят.

Потом папа перестал обращать внимание на Коленку, потому что мама стала ждать ребёнка. Но когда ребёнок – братик – родился, папа стал ещё злее. Когда маленький братик плакал, новый папа пинками загонял Коленку в туалет и велел ему сидеть там тихо как мышь.

Однажды новый папа, рассердившись на что-то, схватил Коленку за шиворот, выволок на лестничную клетку и швырнул вниз по лестнице. Коленька потерял сознание и очнулся уже в больнице.

Мама принесла ему в больницу апельсины, бананы и яблоки и шёпотом просила, чтобы Коленька сказал, что сам виноват, что папа хороший. Мама рассказала, что какие-то нехорошие дяди потащат теперь нового папу в суд и у них не будет больше семьи. И плакала.

Потом к Коленьке стали приходиться незнакомые дяди и тётки и спрашивать про папу и маму, и про то, где он спит, и что ест, и где делает уроки, и отчего у него на голове шишки. Коленька что-то устал от всего этого. Однажды он сидел на подоконнике больничной палаты и смотрел вниз. Там, внизу, с высоты седьмого этажа машины скорой помощи виделись маленькими бело-красными коробочками, меньше его любимой пожарной машины, подаренной прежним папой, люди шли по тротуару тоже маленькие – с его знаменосца. Людей было много, а он, Коленька, был один. И он вдруг вспомнил слова бабушки, что обязательно

встретится с прежним папой после смерти. А зачем жать, вдруг подумал Коленька. Ему вдруг стало ужасно страшно и легко. Даже весело. Он встал на подоконник и шагнул вниз.

...Отчима Коленьки судили и посадили, и мать всё-таки осталась «одна с ребёнком на руках». Бабушка приезжала на похороны Коленьки. Она ехала, чтобы плюнуть снохе в лицо, но когда увидела её на похоронах с младенцем в руках, передумала и забрала обоих с собой.

Солдатика-знаменосца нашёл грузчик, выносивший из проданной квартиры мебель. Он подержал его в руках, хотел выбросить, но потом вспомнил, что приятель коллекционирует солдатиков, и сунул в карман комбинезона.

Александра ВЛАСОВА

ПОПУТЧИЦА

Это случилось поздним летом. Я возвращался из отпуска. Со мной в купе была всего одна соседка, рыжеволосая, красивая, но немного замкнутая девушка. Влюбленная парочка, что ехала с нами, вышла остановку назад, а новые соседи еще не подсели. Попутчица то ли дремала, то ли читала на верхней полке. Я смотрел на мелькающие за окном поля, слушая, как в наушниках ноет «Сплин». В общем, идиллия!

И тут мне позвонил друг. Его гневная тирада была так хорошо слажена, так отточена, что я сразу почувствовал – я не первый, на кого он вываливает все это. У них все было хорошо, а потом она собрала вещи. Собрала вот так – на пустом месте. Он ее и в горы возил, такую красотищу ей показывал! И устроился на вторую работу, чтобы ей хватало на маникюр-педикюр. А она, она...

Наверное, нужно было проявить больше такта. Но после пятидесятой минуты его причитаний я не выдержал. Сказал то, что категорически не должен говорить друг:

– Так не бывает, – заявил я со свойственной людям, только начавшим изучать мир, категоричностью. – Значит, все-таки было что-то не так. Может, ты таскал ее в горы, когда ей хотелось валяться на лежаке на море. Может, ты устроился на вторую работу, а ей нужно было внимание! Не бывает так, чтобы девушка ушла оттуда, где ей хорошо! Не бы-ва-ет!

Договаривая, я уже пожалел о том, что все это произнес. Друг обиженно засопел. «Эй, братан, ты не обижайся, – опомнился я. – Я просто...» Он не дослушал, сказал, что не обиделся, не маленький уже. Но как-то подозрительно быстро со мной распрощался и повесил трубку.

Я почувствовал легкое недоумение. С одной стороны, наговорил лишнего. С другой, что же, мне нужно было соврать? Не сразу заметил, что моя соседка отбросила книгу, встрепенулась и смотрела на меня с плохо сдержанным волнением.

– Простите, я нечаянно услышала ваш разговор. Скажите, вы правда так считаете? – спросила она, и мне показалось, что в ее словах прозвучал вызов.

– Конечно. Вы хоть раз так уходили? В никуда, от человека, который делал все, чтобы вам было хорошо?

Она дернулась, как будто я ткнул в какую-то старую, но еще не зажившую рану. Ничего не ответила, сделала вид, что снова читает. Но волнение не покидало ее ни когда мы проезжали мимо потрясающей красоты церкви, ни когда подали горячий ужин (она лишь поковыряла его вилкой, хотя еще недавно, я чувствовал, была голодна). Признаюсь, меня раздирало любопытство. «Ну же! Через пару часов мы разъедемся по разным городам. Мы здесь одни, если вас что-то гнетет и хочется поделиться, я – идеальный вариант», – сказал я мысленно. Иногда я так делаю, и некоторые люди слышат. И она была из тех, кто услышал.

Девушка неловко улыбнулась мне, словно извиняясь за внезапно нахлынувшую откровенность. И вдруг заговорила так, как говорят люди, которые слишком долго держат что-то в себе: быстро, сбиваясь и заговариваясь, словно жалея о том, что вообще начала говорить. Потом ее голос стал увереннее, рассказ плавнее. И вот уже мы оба перенеслись из пыльного вагона на территорию ее юности. Рассказ был таким...

* * *

Всю младшую и среднюю школу я не отличалась ни особыми успехами в учебе, ни популярностью. Каждый

год с нетерпением ждала наступления праздников, Нового года или Восьмого марта, потому что в эти дни устраивали дискотеки. Все надеялась, меня хоть кто-нибудь пригласит танцевать. Каждый раз тихонько плакала к концу вечеринки. Приглашали кого угодно, но не меня.

У многих моих подружек уже появились парни. Иметь парня мне казалось так же круто, как иметь байк или собственную комнату. Боже, как я завидовала! Тех, у кого этого парня не было, в том числе и себя, я автоматически причисляла к неудачницам. В то, что кому-то просто не хочется отношений так рано, я поверить категорически не могла. Мне казалось, они этим «не хочу» маскируют свою невостробованность.

– Девушка без мужчины какая-то неполноценная, – любила приговаривать моя тетушка во время семейных праздников. Я, нескладный подросток, вспыхивала и убежала в туалет, где долго рассматривала свою прыщавую физиономию, полненькую, как мне казалось, фигурку и кудряшки. Кудряшки, я ненавидела особенно!

Как ни распрямляла, они вились как у овцы.

А к шестнадцати годам я вдруг неожиданно похорошела. За лето перед десятым классом вымахала на пятнадцать сантиметров, и все лишние килограммы ушли в рост. Потом мама выписала мне из-за границы дорогой крем, и у меня пропали угри, а дурацкие кудряшки вдруг вошли в моду! Меня даже подозревали, что я завиваюсь плойкой и выспрашивали, чем я таким их брызгаю, чтобы они не распрямлялись к третьему уроку.

Надо понимать: в шестнадцать лет в голове творится полный бардак. Роль красавицы пьянила, я упивалась тем, что те, кто раньше просто не воспринимал меня, смотрел как-то сквозь, будто я сделана из прозрачного пенопласта, теперь пытаются заслужить мое внимание.

Почему-то тогда казалось, чем старше молодой человек, тем круче. Однажды, когда я шла от подружки, из машины выскочил взрослый парень. Увидев, что перед ним совсем девочка, он смутился, пробормотал что-то банальное:

– Девушка, вы такая красивая, можно с вами познакомиться? – к моим щекам уже прилила краска. Я еще

не привыкла, что со мной знакомятся на улицах, поэтому потупила глаза. И показалась ему такой смущенной и такой милой, что он купил букетик у бабули, торгующей неподалеку, и подарил мне его. Сказал, что собирается на танцевальную вечеринку и ему как раз не хватает пары...

На этом месте история могла бы благополучно закончиться: не зря же девушкам запрещают садиться в машину к незнакомцам. Но можете быть спокойны, Паша, как ни странно, и правда повез меня на танцевальную вечеринку. Скажу честно – танцы не мой конек. Я старалась произвести впечатление, нервничала, не попадала в ритм и отдавила ему все ноги. Но Паша пригласил меня на следующее свидание. И на следующее.

С тех пор два-три раза в неделю он встречал меня после школы с букетом цветов. Я целовала его в щечку, ловя на себе завистливые взгляды одноклассниц, и мы ехали на настоящее свидание! Чего он только не придумывал! Заказывал романтические чайные церемонии, устраивал свидания на крыше и путешествия на катере! Надо сказать, за всей этой мишурой не слишком видно самого человека.

Я помню, как мы танцевали во дворах под музыку из его телефона, и вместо прожекторов были лучи от ночных фонарей, помню, как он обнимал меня на катере, дублируя кадр из «Титаника», и нам в лицо летели восхитительные брызги, бликующие, как маленькие бриллианты. А вот о чем говорили – хоть убей, не помню (собеседница подняла на меня глаза, в них светилось недоумение). О чем ему было говорить с шестнадцатилетней девчонкой, пусть и начитанной по сравнению со своими сверстницами?

Спрашиваете, как к этому относились родители? Мама пыталась было возмущаться, но вспомнила, как ей в шестнадцать запрещали гулять с мальчиком и она сбегала к нему ночью по пожарной лестнице. Мы жили на седьмом этаже. Она взглянула на сию хлипкую конструкцию, хмыкнула и, зная, что я унаследовала ее упрямство, разрешила.

Папе мы сказали, что Паше двадцать, сбавив на всякий случай восемь лет. Он не то чтобы был в восторге. Но видя, что я каждый раз возвращаюсь со свиданий сияя и

наперевес с букетом, смирился, хотя, конечно, не считал Пашу тем самым.

– Дочка, когда ты встретишь ТОГО, уж поверь, я дам тебе знак, – любил приговаривать он.

– Тебе бы никто не понравился. Даже если бы ко мне посватался сам принц Уэльский, – я хихикала.

– Принц Уэльский? – папа смешно морщил брови. – Зачем нам этот высокомерный засранец? Есть только одна принцесса! – И приподнимал меня на руках, будто бы я до сих пор была четырехлетней.

Тогда наши с Пашкой отношения казались мне идеальными. Мы ни разу не ссорились, а что до любви, так в свои шестнадцать я готова была влюбиться в средней симпатичности фонарный столб. Так вот, думаю, он бы меня дождался. Я вполне могла бы сейчас быть его женой, носить его фамилию (она грустно улыбнулась), если бы не тот вечер. Прежде чем рассказать о том, что случилось дальше, должна сообщить: я не психичка, я сразу понимала, что в том, что случилось, нет ни грамма его вины. В том, что в этом нет вообще ничьей вины, я поняла намного позже.

* * *

В тот день мы сидели в кафе у берегу реки. Как сейчас помню, я заказала суши «Калифорния». Я говорила вам, что с тех пор я ненавижу те суши? Паша учил меня пользоваться палочками. Особой ловкостью я не отличалась и заляпала все вокруг. Паша находил это даже милым, как находил милым любой мой самый неприятный недостаток.

Потом мы пошли гулять. Нашли уединенную скамейку. Целовались. Как обычно, ничего лишнего: в кульминационный момент, он лишь осторожно провел своей ладонью по моему животу. Это была самая смелая ласка, которую он мог себе позволить, дальше ни-ни, даже когда я сама подталкивала его на большее. И вдруг я почувствовала такое, знаете (рассказчица поморщилась) ощущение, как будто внутри что-то дрогнуло. Не путайте это чувство с пробуждением первой чувственности – оно было неприятным, тревожным. Подумала, возможно, у меня начинаются

женские дни, и попросила отвезти меня домой. Пока мы ехали, я все никак не могла сосредоточиться на диалоге, отвечала невпопад, едва его слушала. Ощущение не проходило, а, наоборот, будто усиливалось. Я наскоро попрощалась с возлюбленным и быстро взлетела по лестнице.

Надо сказать, когда я поднималась, я практически на сто процентов была уверена, что что-то случилось. Но, конечно, никак не была готова к тому, что увижу. Когда мама открыла дверь, я ее не узнала. Она не плакала, но как будто бы постарела на десять-пятнадцать лет.

– Твой папа должен был прийти четыре часа назад. Не пришел. И трубку не берет. – Казалось бы, что тут такого, может человек попить пивка с друзьями. И телефон вполне мог просто разрядиться. Но мама испытывала точно такое же тревожное чувство. Следующие три часа были самыми страшными в нашей жизни. Мы обзванивали знакомых, с которыми он мог попить пива, потом родственников, потом звонили в больницы и морги. И, наконец, дозвонились до больницы, где он лежал в реанимации. Когда мы приехали, его уже не было в живых.

Я ела с парнем суши, пока его убивали. Не помню, что было дальше. Говорят, стала биться головой об стену, кричать, лучше бы это случилось со мной. А потом меня вырвало.

* * *

Что было потом, рассказывать не хочу. Это рассказ не о моем отце. Не о нашем горе. Он про то, что иногда мы ведем себя необъяснимо с мужчинами, которые нас любят, и в том, что мы слетаем с катушек, порой совсем нет их вины.

– Лиз, скорее всего, с мальчиком все закончится, – грустно улыбнулась мама. – Никому не хочется лезть в чужое горе.

Я кивнула, признаюсь, даже забыла, что у меня есть парень. Все это было важно в какой-то другой жизни, сейчас ничего не имело значения. Конечно, девяносто процентов вероятности, что так оно и случится. Он познакомил-

ся с веселой, цветущей девчонкой, от каждого движения которой веяло легкостью и радостью. А возиться с чужим горем он не подписывался, он не обязан. Никто не обязан.

Какого же было удивление, когда он примчался, как только узнал о том, что произошло. Сейчас плохо помню те события, они сплелись в один комок обожженной боли. Кажется, мы с мамой не могли ничего есть, и Паша следил, чтобы мы обязательно садились за стол и съедали хоть что-нибудь.

Кажется, именно он держал меня за руку у гроба. И когда папу забрасывали землей... Не знаю, как бы мы пережили этот период без него.

Знаете, когда кто-то испытывает сильное горе, вокруг него будто бы образуется такое темное поле. Любой нормальный человек сделает что угодно, чтобы в нем не находиться. Куда-то испарились все друзья. Даже в школе от меня шарахались будто я стала неприкасаемой. Один Паша не отдалился. Все время было холодно и плохо, и, когда мне удалось хоть чуть-чуть отогреться в его объятиях, я подумала: может, это любовь?

* * *

Однажды я сказала это маме. Спросила: она все еще думает, что мы расстанемся? Разве можно покинуть человека, с которым вместе пережили такое? Она усадила меня на кухне. Заварила чай.

– Когда-то я была примерно твоего возраста, я очень хотела духи, – слова давались ей нелегко, ей приходилось словно вытягивать их из собственного горла. – Они стояли посреди полки в такой нарядной серебряной упаковке, как будто специально дразня девчонок своей недоступностью. У них был еще такой щемящий цветочный запах, – мама втянула воздух, словно вновь ощущая тот аромат. – Я только начала работать, эти духи стоили половину моей зарплаты. И позволить себе их я, естественно, не могла. Периодически я приходила к магазину и, делая вид, что что-то выбираю, незаметно брызгала пробником себе

на руку. И весь день ощущала, что меня будто окутывает прозрачный цветочный шлейф...

А однажды я не выдержала, пошла и купила. Мое счастье было недолгим, длилось около двух часов. В тот день бабушка, которая меня растила, упала с лестницы. И больше не встала. Я поила её, делала уколы, ставила капельницы. Я делала все, что сказал врач, даже когда он качал головой и говорил, что надежды уже нет, не отходила от нее ни на шаг. Потом моя бабушка умерла. И знаешь, что первое я сделала?

Я вопросительно подняла на маму глаза.

– Первое, что я сделала, это выкинула духи, купленные в тот день, когда она упала.

Я кивнула, пряча глаза. Сделала вид, что все понимаю, но на самом деле не была согласна с мамой категорически. Мой Паша не был какими-то там духами! Он был живым человеком, причем человеком хорошим, не бросившим девушку в этом кошмаре!

* * *

Самое ужасное, сейчас я понимаю, мама была права, я так и сделала. Только странности у нас начались не сразу. Знаете, у цыплят есть такой синдром: когда они лишаются мамы-курицы, они готовы принять за нее любой теплый предмет. Видимо, я не слишком далеко ушла от цыпленка. Как-то я целый квартал бежала за человеком в таком же, как у папы, пальто. А когда он оглянулся, видимо, интересно было посмотреть на преследующую его психичку, и это оказался не папа, чуть не разревелась глупыми, злыми слезами. Подумала: «Спасибо, пап», – когда одноклассник протянул мне ручку.

Тогда я впервые начала замечать, что нас с Пашей подозрительно часто принимают не за парня и девушку, а за старшего брата и сестру. «Хорошо хоть, старший брат Лизе помогает», – как-то воскликнула мамина коллега. Как округлились ее глаза, когда мама сказала: «Это не брат!» Самое страшное, папа и Паша правда были похожи. Тот же высокий рост. То же телосложение. Те же серые мудрые глаза.

Да что там, даже запах был похож! Я все чаще вздрагивала, когда видела, как он идет мне навстречу, потому что предательский голос в голове кричал: «Папа!» Поймите, я никак не могла поверить в случившееся. Все время была будто в тумане, не понимала, где реальность, а где сон.

Апогей сумасшествия настал, когда мы ехали на вечернем автобусе с прогулки. Помню, он придвинулся ко мне вплотную, хотел поцеловать. Эта была первая невинная ласка, которую Паша себе позволил, уважая траур. Почему-то в этот романтический миг мне вспомнились те проклятые суши, которые мы ели, в тот миг, когда папу убивали. Если вы скажете, что мне нужно было тогда обратиться к психиатру, я пойму, это действительно так. Потому что на миг мне показалось, что ко мне приближается мой отец.

Между нами будто прошел удар тока, но это был совсем не тот ток, который проскакивает между влюбленными в романтических фильмах. Нас будто отбросило друг от друга. Я выскочила из автобуса, хотя до моего дома было еще очень далеко. Растолкав людей, выпрыгнула из автобуса чуть ли не на полном ходу. Потом очень долго не могла прийти в себя, слонялась по парку, где мы с папой часто гуляли. От Паши пришла эсэмэска: «Лиза, ты в порядке?» Нет, я была не в порядке. Но я не смогла бы ему объяснить, что происходит, даже под дулом пистолета. Наврала что-то, кажется, что меня укачало. Паша знал: у меня периодически бывают проблемы с вестибулярным аппаратом.

* * *

Я бросила его перед самым Новым годом по интернету, как делают трусихи. Уж не помню, что я ему говорила. Кажется, что-то о том, что у нас слишком большая разница в возрасте, что я его недостойна, ему больше подойдет другая девушка – более взрослая, более умная. Уж не помню, что за бред я несла.

Он хотел меня вернуть, приехать, хотя бы вручить мой новогодний подарок. Я же всеми силами не допускала этой

встречи. Потому что не представляла, как посмотреть в его серые глаза. Сейчас я осознаю, что никто не был виноват в том, что в тот час, когда убивали самого близкого для меня человека, мы с ним сидели в кафе. Но тогда мне казалось, моя ВИНА была такой огромной, что каждое утро я с трудом вставала с постели. Когда я ложилась спать, вина наваливалась сверху. «Если бы я не пошла в то кафе с ним! Быть может, все было бы иначе», – стучало в висках утром и днем, вечером и ночью.

Я очень быстро начала бегать на свидания к другому. Там я притворялась прежней Лизой, той девушкой, какой была пару месяцев назад, той, которую похоронили вместе с ее отцом и забросали землей. Кокетливо называла те встречи «дружба» (имеют ли девушки право на дружеские встречи?), хотя понимала, что никакой дружбой там и не пахнет, по вожделенному взгляду его темных глаз.

* * *

Никто не мог понять, почему я ушла от него к тому мальчишке – беззаботному, хвастливому и пустому, от человека, которого все считали уже практически членом семьи. Дело было в том, что тот мальчишка словно уводил меня в другой мир, мир, где не было боли. Как я когда-то уводила Павла из мира, где от него ушла жена, забрав единственного ребенка.

С тем парнем мы никогда не были счастливы. Он оказался ревнивым, обыскивал мои вещи, все пытаюсь найти признаки несуществующих измен. Мыслил ограниченно и категорично, не допуская, что кто-то может видеть мир иначе. Мы промучили друг друга два года, принимая физическую близость за любовь, то уходили друг от друга, то снова возвращались. Наше окончательное расставание было счастливейшим днем в моей жизни. Помню, я зашла в первый попавшийся магазин и купила ужасно аляпистую желтую кофту. Продавец сделал мне скидку, сказал: «За то, что вы так сияете, сразу видно – влюблены!» Я беснено рассмеялась.

* * *

– И что же? Вы любили его? Пашу. Жалеете об этом?

– Вы позволите? – она достала электронную сигарету и закурила. – Я думаю, я могла бы его полюбить, если бы мы встретились чуть попозже. Или если бы я смогла избавиться от тех ужасных ассоциаций. Тогда я понятия не имела о том, что такое любовь.

Сейчас у меня есть любимый человек, сейчас все наладилось. Но иногда я просыпаюсь посреди ночи и думаю, – глаза Лизы внезапно увлажнились, – неужели он не заслуживал ничего, кроме этого невнятного бормотания о разнице в возрасте? За все, что он сделал!

Я неожиданно для себя самого ее обнял, будто прощая ее от имени этого незнакомого мне Паши. Думаю, если бы он слышал ее историю, если бы она смогла рассказать ее так, как рассказала ее мне, он бы ее простил. Он бы все понял. Вскоре настало время выходить на моей станции.

Лиза помахала мне рукой на прощание. Ее спина выпрямилась, будто она избавилась от груза, что таскала с собой годами. Я стоял на перроне, глядя на то, как поезд уносит ее в ее жизнь, пока последний вагон не растворился в дали. Сейчас, с возрастом, я с каждой новой человеческой историей все осторожнее выношу свой вердикт, особенно не зная, что там, внутри. Реже и реже произношу когда-то любимую фразу «Так не бывает». Всякое бывает...

(НЕ)КРАСИВАЯ ДЕВОЧКА

В женской красоте я никогда особо не разбирался. Мне всегда было все равно, какого цвета у девушки глаза, какого волосы. Я не особо запоминаю даже форму губ или носа. И уж точно не различаю оттенки вашей помады. Однажды я сделал комплимент жене, что-то вроде «как тебе идет эта новая толстовка», назвав новой толстовку, которую она носила четвертый год. Но если когда-нибудь моя дочка спросит: «Папа, а что нужно для того, чтобы быть красивой?», я расскажу ей эту историю.

Для начала – я никогда не был в нее влюблен по-настоящему. Не то чтобы Соня была мне как сестра, просто казалось, что, если влюблюсь, я что-то испорчу в нашей светлой дружбе. Откровенно говоря, если вы учитесь в школе (время, когда протекало наше общение), надежды на светлый финал практически нет. Конечно, у каждого есть пример, где какая-нибудь тетя Клава с дядей Сережей сидели в шестом классе за одной партой, а потом поженились и вот уже сорок лет счастливы! Но в 99,9 процента случаев все иначе!

Вы влюбляетесь каждый раз так сильно, что выцарапываете свои имена на скамейках и вешаете замочек в виде сердца на мосту, пафосно выкинув ключи в воду, в общем, до гробовой доски. А через пару месяцев ссоритесь из-за какой-нибудь ерунды, расстаетесь, влюбляетесь в других, а с прежней «великой любовью» никогда уже не общаетесь. Поэтому я дал себе обещание: никогда не влюбляться в Соньку.

Во-первых, мне были слишком дороги наши посиделки на озере. Она рисовала закаты, стараясь запечатлеть ма-

лейшие перемены на небе, у нее самой будто бы зажигался внутри мерцающий огонек. Я не смогу, хоть убейте, описать форму ее глаз или носа. Я вообще плохо запоминаю внешность, но когда она смеялась, казалось, смеется каждая веснушка на ее лице. В ее волосах играло солнце, и лучики заката были как будто вплетены в ее рыжие пряди. А обычно серые глаза становились пронзительно-голубыми. Очень красивыми!

Во-вторых, с ней было о чем поговорить. Обычно люди говорят обо всякой ерунде: футболе там или об одежде. С ней же говорить было действительно интересно: мы спорили о том, откуда появились люди, есть ли Бог. И почему у младенцев порой такой осмысленный и серьезный взгляд, может быть, они помнят о том, что было там, но не могут никому рассказать?

Мы говорили часами, и, хотя ни к какому объективному выводу, естественно, не приходили, с ней было потрясающе интересно! Если бы меня спросили в четырнадцать, пятнадцать или шестнадцать лет: «Что такое красота?» — я бы представил Соньку в ее зеленом платье. То, как она, размахивая руками, пытается что-то мне доказать. Или то, как она пишет (художники не рисуют, а пишут, Соня сама так говорила) небо, сосредоточенная, погруженная внутрь себя. И пусть на ее щеке красуется зеленая краска и тушь подтекла от жары! Она будто светилась, понимаете? Нет, замутить с ней, чтобы месяц пообжиматься, а потом рассориться и переходить на другую сторону улицы при встрече, было бы кошунством!

* * *

А потом Соня влюбилась. Ну, влюбилась и влюбилась, скажете вы, в шестнадцать уже пора. Я тоже так сначала подумал. Но Сонькина любовь была катастрофой!

Вначале она ей даже шла: в ее глазах появилась такая задумчивая бирюза. А в ее работах... не поймите меня неправильно, но просто закат и закат, написанный кистью влюбленной шестнадцатилетней девочки, это два разных заката. И дело не в том, что у нее улучшилась техника,

хотя Сонька занималась так много, что техника не могла не улучшиться, в ее картинах появилась свежесть, новая глубина. Я за нее порадовался. Когда он, весь такой рыцарь, встречал ее из школы, дарил банально-красную розу, они и правда выглядели замечательной парой.

– Ты не понимаешь, он совершенно другой. Он удивительный! Он собирается работать над отношениями, – восторженно рассказывала Сонька, когда мы встречались у нашего озера.

Но пусть психологи забьют меня камнями, я не очень понимаю, в чем там заключалась эта их «работа». Сначала она стала появляться в другой одежде. Ну, окей, может, ей нравятся эти юбки в пол. Мне-то какое дело, главное, Сонька довольна. Но она довольной не выглядела. Конечно, она радостно щебетала:

– Поверить не могу, что я когда-то носила ту одежду. Помнишь тот вульгарный розовый топик? Ден как его увидел, чуть в обморок не упал! А то зеленое платье! Да оно просто старушечье. Нет, до встречи с ним я совершенно не умела одеваться!

«Может быть, она что-нибудь не так поняла?» – думал я, глядя как она пишет куст крыжовника. Это ведь нормально, что девочке хочется одеваться так, чтобы понравиться какому-нибудь очередному ЕМУ, быть в ЕГО вкусе.

Но мои самые страшные опасения подтвердились в ее день рождения. В ее собственном доме Ден вел себя как снисходительный хозяин. Называл ее «малыш», периодически это «малыш» сменялось на «глупыш». Нет, тогда он еще не звал ее «дурой», но это «ласковое» «глупыш» уже периодически проскальзывало!

Помню, Соня поманила меня в сторону. Я хотел ей вручить масляные краски, у нее как раз недавно закончились. Думал, обрадуется. Но она едва взглянула на подарок, натянуто улыбнулась и пролепетала:

– Скажи, в этом платье сильно видно, как я горблюсь?

– Че?

– Ден сказал, мне нужно лучше следить за своей осанкой. Что у меня растет горб и что...

Весь праздник я поглядывал на нее осторожно, исподтишка. Когда она думала, что на нее никто не смотрит, улыбка слетала с ее губ и она правда немного сутулилась. Думала о чем-то своем, тревожном. Сейчас не готов был спорить, что Сонька никогда не сутулилась до общения с Деном. Но конкретно в тот момент мне именно так казалось.

– Ты не понимаешь! Он не хочет меня обидеть! Он меня любит, да, любит и хочет, чтобы я стала лучше. Это я не умею принимать критику, – она угадала мои мысли, как между нами часто бывало, и бросилась защищать его. Ну конечно, ее Ден желает только лучшего, он самый великолепный и даже помыслить не может ничего плохого.

Помните эту метафору про то, что, когда люди влюбляются, они будто надевают розовые очки? Ден в Сонькиных, наверное, выглядел как какой-то супергерой. Она смотрела на него, как смотрят фанатки на рок-певца, с расширенными зрачками, так что едва могла дышать от восхищения. Через какие очки он смотрел на нее, я не знаю.

Вскоре Сонька подошла ко мне на переменке.

– Помнишь, ты говорил, твоя мама – косметолог, – ее глаза нехорошо сверкнули. – Не мог бы дать ее телефон?

– Зачем? – буркнул я.

– Неужели ты не понимаешь? Эти весну... эти уродливые пятна на моем лице. Ден первый мне указал, насколько они портят мою физиономию! «Надо любить себя такой, какая ты есть», – зло передразнила Соня кого-то, видимо, свою маму. – Вот у его бывшей Ангелины... – дальше ее несло.

Ангелина то, Ангелина се. Видел я эту бывшую. Не скажу, что она не красивая – крашенная блондиночка с наращенными ресницами. Да, симпатичная. Как и тысячи таких блондиночек, шастающих по улицам. Да их можно поставить в ряд и играть в игру «найди десять отличай!» А Соня такая одна!

Это я и попытался сказать, когда на ее просьбу буркнул: «Не дам». Не помню, что я ей наврал, кажется, что забыл мамин номер. Соня точно знала, что это неправда.

– Ах так, ах так... – Соня на меня так разозлилась, что на секунду стала похожа на ту девушку, которую я знал

раньше. Ту, которой не запрещалось иметь свое мнение, ту, которая не парилась из-за того, что какому-то Дену она может не угодить. Ту, которая знала, черт подери, что она прекрасна, и воспринимала эту информацию так же равнодушно, как и другие обычные сведения о себе: то, что ей шестнадцать, или то, что она после школы поступит в художественное училище.

Помню, Сонька на меня страшно обиделась. Недавно я говорил ей, что худшие клиентки мамы – это знакомые, которые постоянно напрашиваются на скидку или хотят, чтобы им и вовсе все сделали бесплатно. Наверное, она решила, что я причисляю ее к таким.

Мой протест против того, что Ден с ней делал, был глуп. Конечно, она нашла косметолога и без сопливых. Когда мы через две недели пересеклись в библиотеке (почему-то мы встречались с Сонькой все реже и реже), на лице, где были россыпи «поцелуев солнышка», были красные пятна. И уж они-то действительно были уродскими. Думаю, если бы Ден ее избивал, он бы добился меньших результатов. Она спрятала лицо в книгу, чтобы я ее не заметил. Надо было подойти к ней, сказать, что она все еще Красивая. Для меня – красивее всех на свете! Но наша дружба в последнее время ходила по тонкому льду. Если бы я дал понять, что заметил ее в таком состоянии, думаю, она бы меня не простила. Я быстро сдал книги, нахватал новых и почти бегом удалился.

* * *

Наша последняя встреча состоялась на том же озере. Никаких тебе уточек и закатов. Зимой на озере организовывали детские горки, было очень шумно, кто-то из детей все время плакал, кто-то капризничал, в общем, все как я не люблю. Но я все равно иногда почему-то приходил сюда. На мои глаза приземлились ее шерстяные варежки.

– Угадай кто! – послышался знакомый голосок. Ей-богу, если бы не эта «наша», тысячу раз повторенная Сонькой шутка, я бы ее не узнал. Ее ярко-рыжие волосы были

выкрашены в какой-то мышиный цвет в попытках свести с них жизнь.

– Как дела?

– Все налаживается, как ты и говорил, – с непритворным энтузиазмом начала она, хоть я и не припомню, чтобы действительно говорил такое. – Ден прав. Отношения – это упорный труд, это постоянная работа над собой! Мы учимся находить компромиссы, мы работаем...

Она так и говорила в тот вечер штампами из популярной психологии. Возможно, все, что она несла, было и правильно. Сами слова. Но то, что стояло за ними, заставило меня ужаснуться. Чем дольше она тараторила про необходимость «расти над собой», идти на компромиссы, а иногда и жертвы, тем четче я понимал, что сейчас произойдет.

– Прекращение общения со мной тоже входит в эту «работу»? – я не ожидал, что это прозвучит настолько жестко.

– Ну не надо! Ну не говори так, – прошептала она и вдруг впервые за все эти месяцы при мне всхлипнула. Так по-детски.

«Надо же, ему полгода понадобилось, чтобы сломать ее желание видаться со мной и говорить. Веснушки и волосы она предала гораздо быстрее». Я шел прочь, все надеясь, что она меня окликнет. И она окликнула.

– Постой.

Я медленно, как во сне, оглянулся. Может, это будет последний каплей и она пошлет этого Дена туда, куда ему и дорога, может, еще будут закаты, пленэры и уточки?.. Но Сонька лишь спросила:

– Скажи, она, эта его бывшая, правда красивее?

«Нет, просто он любил ее, а тебя – нет. Если любишь, человек не может быть некрасивым!» – хотел закричать я. Но, конечно же, ничего не сказал. Потому что произнеси я это, я стал бы таким же, как Ден.

* * *

Я ничуть не скучал по нашим посиделкам. Мне было чем заняться. Ходил на свидания, да, я завел девушку, гонял с ребятами на катке. Ладно, безумно скучал.

Нет, мы не стали шарахаться друг от друга или переходить на другую сторону улицы. Иногда мы сталкивались в школьных коридорах. И даже разговаривали, но у меня было ощущение, что я разговариваю даже не с ее тенью... Попробую объяснить. Окей, представьте полиэтиленовый пакет. Представьте, его накинули на девушку. И от этого ее ярко-рыжие волосы стали какими-то мышьиными, серыми (на самом деле они стали такими от постоянных попыток вывести «пошлую рыжину», но мне нравилась метафора про полиэтилен), глаза из голубых – серыми и даже лицо каким-то бледным, сероватым. Теперь она действительно начала горбиться. Ее подруга разболтала мне, пытаюсь набиться в подружки, что Соня начала надевать лифчики на размер меньше. «Я сама слышала, он как-то обронил, что у нее слишком большая грудь. Маленькая грудь, мол, выглядит эстетичнее. Бедняжка», – шепнула, гаденько хихикая.

«А знаешь, когда-то я хотел с ней замутить, – сказал мне как-то приятель в коридоре. – Она правда была когда-то красивой или мне показалось?» – и, помню, едва удержался, чтобы не ударить его.

Потом наши с Сонькой пути окончательно разошлись. Я готовился поступать в другой город на журналистику. Мысль о том, что мои пописушки будут появляться в журналах и наутро их прочитает весь город, а (что греха таить, я надеялся на это) может, и вся страна, приятно щекотала мое честолюбие. Я еще не знал, что через пару лет все бумажные издания вытеснит интернет. Учеба, новые знакомства, пьянки... Потом встретил Нику, амбициозную и смелую блондинку, что через пять лет стала моей женой. И мне уж было как-то совсем не до Сони.

О ней я узнавал только из разговоров приятелей. С Деном они расстались (и слава богу), и с тех пор она все тает и тает. «Она будто превращается в привидение, – рассказывали мне. – Может быть, чем-то больна?» Помню, как у меня непроизвольно сжимались кулаки, когда я это слышал. О да, она была больна, и имя этой болезни было «Денис». Говорили, она, когда-то лучшая ученица на курсе,

провалила экзамены в художественное училище. Говорили, работает продавщицей в ларьке «У Гарика», конечно, говорит, что это временно, но все продавщицы так говорят. Печально!

* * *

Я встретил ее через шесть лет, когда брал репортаж о местной пивоварне. После работы ноги сами привели меня к нашему озеру. Вы скажете, я выдумываю, но я увидел ее там. Сонька сидела там в кафешке вместе со своим молодым человеком. Она повзрослела, стала серьезнее, настоящей художницей (в училище Сонька поступила, хоть и не с первого раза). Парень держал ее за руку, что-то шептал, но главное, в его глазах она отражалась такой же, как в моих когда-то. Самой красивой на свете. У нее были те же губы и те же глаза. В волосах играло солнышко, и казалось, лучики заката были вплетены в ее прекрасные рыжие пряди...

– Какая красивая девушка, – удивлялась официантка, глядя на эту пару. – Какая красивая!

И слава богу!

Владимир ЛЕБЕДЕВ

С ВЯЗАНКОЙ ХВОРОСТА НА МОСТУ ЛЮБВИ

– Ну, вставай же скорей, а то поздно будет! – Мать тормошила меня, чтобы я не разнежился и не нырнул снова в этот благостный мирок утренних сновидений. – Не забудь: за хворостом в Рыпай идем. А то нечем будет галанку топить!

Я попытался закрыться с головой одеялом: за ночь изба совсем выстыла, от окна тянуло зимним холодком, и совсем не хотелось вылезать из уютной берлоги, которую за ночь согрел своим телом. Стоило высунуться и дохнуть – изо рта показывался белый пар, как в морозный денек на улице. Но мать решительно сдернула с меня одеяло и подала рубаху:

– Одевайся! Пора, а то я на работу не успею!

Не вставая с кровати, я натянул на себя старательно зашитую рубаху и просунул ноги в штанины выдавших виды брюк с разлохмаченными отворотами.

Мама уже стояла в своей телогрейке и теплом платке. Я влез в потертый свитерок, надел поношенное пальто, нахлобучил ушанку, вынул из печурки потрепанные теплые варежки, в которых обычно колол дрова. Отыскав в сених бечеву, мама положила ее вместе с двумя топорами в залапанный мешок. Я вытащил из сарая салазки, пронес их через сени и поставил у крыльца, которое служило главным

входом. Окончательно собравшись, мать закрыла дверь на палочку, и мы отправились в путь.

Нам предстояла дорога к лесу, что был в трех километрах, к зарослям ивняка недалеко от излучины реки. Эти заросли в селе называли Рыпай – словом со странным звучанием непонятого происхождения. В Рыпаях можно было нарубить хворосту, который обычно подкладывали в печку, или голландку, чтобы сэкономить дрова.

Зимнее утро еще не растворило темную пелену ночи, окутавшую дома, дворы, сараи, амбары, колодец с длинной журавлиной шеей, дорожки и тропки, на которые опускался с небес белый снежок. Сонный рассвет нежился в своей пуховой кровати и совсем не хотел подниматься, чтобы открыть белые кудри деревьев и запорошенные ветки фруктовых посадок. Между тем кое-где уже струился дымок из первых затопленных печей. Безлюдная улица, старательно прибранная за ночь хозяйской рукой матушки Зимы, дохнула молодецким январским морозцем, который, не стесняясь, лез своими холодными щупальцами за шиворот, начал хватать за кончик носа, мочки ушей, подбородок, лишний раз напоминая, что его шутки не каждому по нраву. Я поспешил нахлобучить поглубже шапку-ушанку.

Дорога к заветным зарослям кустарника шла вначале вдоль реки Пьяны, заботливо укрытой белым покрывалом и защищенной ледовым панцирем, потом по большому деревянному мосту, что стоял, вытянувшись, как длинный обоз, на крепких быках. Маленькие пушистые снежинки, встречая рассвет, беззвучно и без суতোлки, друг за другом, как юные парашютистки в День физкультурника, опускались на дощатый настил моста с отутюженными до блеска снежными колеями. Поскрипывали, намекая на преклонный возраст, шаткие перила, хранили молчание серые ледорезы, от весны до весны отдыхающие от наскоков шумных несговорчивых льдин. Тихо спал, укрытый мягким пледом старый добрый пляж, где мы, ребята, любили устраивать веселые игры на воде и на суше, учились плавать, отмеряя по-собачьи, а потом саженками, расстояния от ледореза к ледорезу, ныряли, но чаще прыгали

солдатиком, загорали – лежа на берегу или на тех же ледорезах. У самого берега, опустив крепкие жилистые корни в прибрежный грунт, застыла одинокая ветла, удерживая на ветвях хлопья осевшего на нее снега, наклонился в заводи камыш, как бы прислушиваясь, как там зимует закованная льдом речная живность.

Миновав мост, мы спускаемся вниз, в пространство спящих заливных лугов и выходим по снежному полю на длинную финишную прямую. Летом, в июне, здесь сенокосная пора. Жаркое время заготовок душистого корма для лошадей, коров и прочих травоядных. По всему лугу – большие скирды этого изысканного угощения. Смотрю и вижу, как, одна за другой, они вырисовываются в робком свете наступающего утра, стоят, как кладезь витаминов для рабочих лошадок, гнедых, каурых, в яблоках и рыжих, и добрых флегматичных буренок, что день за днем, без отпуска и выходных, покорно отдают свой продукт, ценней которого, может, и нет вовсе.

Какое здесь раздолье! Вот промчит сейчас по этому полю птица-тройка, запряженная в большие сани – а в них в пуховом одеянии матушка Зима с верным другом Берендеем. Вздывая снежную пыль, объезжают они владенья свои: всё ли так, как они повелели. Строгий у них нрав, не выпросить поблажек. А какова хозяйка! Вон ведь какие просторы себе подчинила, сколько дел натворила! Я вспоминаю пушкинские стихи:

...Идет волшебница-зима,
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
Среди полей вокруг холмов.
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз, и рады мы
Проказам матушки-зимы.

И уже видится мне запряженная гнедая с санями, привычно тянущая их по зимней дороге, позванивая

колокольчиком, а в санях мужик в длинном тулупе незлобиво подгоняет ее.

Но нет, ни души, ни бегущей рысью лошадки на припорошенной дороге к зимнему лесу, ни разохнувшейся кибитки с возницей, упрямо стегающим пару почтовых рабочих коняг. Лишь сиротливое деревце, стоящее на краю овражка, оголенными ветками трепещет на ветру, опасаясь свалиться на дно его и сгинуть.

Заросли кустарника все ближе и ближе. Это знакомые мне места. Вон там с обрыва мы ловили ершей – с утра бедняги хватали приманку почем зря, будто за всю жизнь не съели ни одной козявки, а потом их нельзя было даже стащить с крючка. А день тогда выдался жарким – солнце палило нещадно. И клев с полудня был почти никакой – как обрезало. Что тут скажешь: ловить в жару – только хорошей рыбе воду мутить.

Но это было летом, а теперь зима. Мы проходим снежной луговиной километра два, может, чуть больше, и сворачиваем. Протапывая дорожку, подходим к заснеженному массиву желанного, пусть нежаркого, топлива. В прошлом году здесь на полянке я неожиданно обнаружил резвящихся лисят. Они, как дети, носились по кругу, заигрывали друг с другом. Однако близко к ним подойти я не мог: увидели меня и умчались прочь – в кусты. Не иначе лисья семейка прописалась там. А до леса, кстати, отсюда рукой подать. Вот где много топлива. Но заготавливать там дрова без разрешения нельзя. Если увидят, топоры заберут, санки изрубят, и еще неизвестно, чем всё кончится.

Подходим – ищем, где лучше подобраться к кустам. Вынимаем топоры, залезаем в сугроб и рубим. Кустарник защищается снежками, но сдается. Делаем свое дело дальше. Озябшие руки согреваются и становятся послушнее.

Переходить от одного куста к другому надо осторожно: один раз я уже провалился в снежную яму по пояс. Но, как говорится, лес рубят – щепки летят. Мой топор намного тупее, чем у мамы, и я пропотел, кажется, быстрее. Однако это неплохо: если работа согревает, значит, она на пользу.

Нарубленное топливо кладем на санки. А теперь готовим хворост для вязанки. Приходится залезать всё в новые и новые сугробы и приминать снег, чтобы рубить ближе к основанию – там прут толще, значит, проку от него в печке будет больше.

И вот, наконец, вязанка готова. Но что это? Утро наступило, а небо над нами темнеет. Понизу начинает кружить поземка. Закрепляем заготовленный возок хвороста на санках и спешно выходим на дорогу. Я тяну санки, мама тащит за плечами вязанку.

Стелющаяся поземка пытается заплести нам ноги. Снег, обнявшись с ветром, разгуливает на луговом просторе. Не глядя в глаза стихии, упрямо продвигаемся вперед. Метель не отстает и норовит сбить нас с дороги, бьет в грудь и в бок, лезет за шиворот, сыплет снежную пыль в лицо, набивается под шарф и даже в валенки. Мы уже не идем, а с трудом переставляем ноги. Минуем деревцо на краю овражка. Как же одиноко ему сейчас! Ни дубка рядом, ни крепкого вяза, ни робкого кустика... А мне чудится печальная песнь ямщика, который отправился в долгий путь и, застигнутый непогодой, не знает, как выбраться из вьюжного плена.

Временами мы с мамой меняемся местами: я взваливаю за спину вязанку, а она впрягается в упряжь – тащит за собой санки, потом – наоборот. Так легче бороться с усталостью.

Ветер и снежная непогодь одаривают меня шлепками и пощечинами, как провинившегося пасынка. Мы останавливаемся на две-три минуты, чтобы подставить задиристой стихии спину. Наконец, поднимаемся на мост – здесь, наверху, наскоки непогоды превращаются в колющие вихри, которые, как шпажисты, протыкают незащищенные участки тела.

С трудом добираемся до середины моста – это больше ста метров, вот и балкончики, с которых летом так хорошо смотреть на воду. Здесь, у моста, глубоко, но вода исключительно прозрачна, и хорошо видно, как на небольшой глубине неторопливо ходят вальжные голавли.

На всем своем протяжении река постоянно вихляет, делая резкие повороты, – недаром ее называли Пьяной. А приходит она сюда после того, как обогнув Ичалковский бор, и вовсе поворачивает обратно, течет на восток и впадает в Суру недалеко от своего истока.

Отсюда, с моста, летом особенно интересно окинуть взором ее берега, укрытые камышом и ивняком, манящие дали, большие острова, что открываются как на ладони, и села, что стоят по ее берегам. Но отдыхать сейчас на балконе не будем: не дело стоять здесь в обнимку с метелью. Кстати, вот и второй балкончик: когда строили, рассчитывали на две влюбленных пары. Так и называли: «балкон» – и даже «мост любви». Но сейчас не лето красное, надо идти до дому. Тем более маме пора на работу.

Наконец, мост позади. Идем более длинным путем – по шоссе, а не по тропке, как двумя часами раньше, – чтобы не увязнуть в снегу. Здесь уже немного легче. Вот и первые дома – они у самого берега. Весной 47-го года, в сильное половодье, вода в этом месте даже хлестала через шоссе.

Улица как замороженная пустыня – никого. Но вот появились двое в длинных зимних пальто с поднятыми воротниками. Один, кажется, бригадир – торопится в правление колхоза, а второй – электрик с мотком проволоки: наверно, где-то ветер порвал провода. Мы двигаемся дальше. Дом на углу – вижу, как тетя Шура выносит курочкам в сарайку угощение – кажется, остатки какой-то еды и пшеница: когда вся земля укрыта снегом, им же ни одного зернышка, ни одного червячка не добыть. А вот забор бабы Симы – она спешит к своим кудрявым овечкам, бежит раздевкой в переднике, хоть бы что ей – привычная к холоду, лишь бы скотинку вовремя подкормить. А там дед Егор только нос высунул и опять дверь захлопнул: видно, не по нраву, что задиристый мороз его худую грудь, как курицу, щипать начал. Следующий дом большой, пятистенный – в нем две моих одноклассницы живут, сестры двоюродные. В нашем 5-м «А» они за одной партией сидят – наискосок от меня. Одна мне очень даже нравится – особенно когда приходит в школу в голубом фланелевом платице. Только она этого не знает.

Проходим через центр, вот и наша улица. Конец похода, мы дома. Всё отлично. На первое время запаса хворосту хватит – не растеряли ни одной хворостинки. Мама смотрит на ходики – вместо полутора часов мы потратили два с половиной. Метель отняла слишком много времени: кулинарничать – готовить завтрак маме уже некогда. Положив в печку несколько сухих поленьев и подбросив на растопку старого хворосту, она затопила наш домашний очаг. Поставила чугуны с супом и с картошкой. Быстро переделалась и побежала на работу – в свою бухгалтерию.

Дотапливать печку придется мне – благо в школе наш класс во вторую смену. Мне это уже привычно. А делать уроки в натопленной избе куда веселее.

WALK-TALK, или Приятные беседы за околицей

– Ну, чего оробел! Видишь, девушка с тобой побеседовать хочет! – Толя легонько подтолкнул меня в сторону блондинки, которая с любопытством заглядывала мне в глаза. Я впервые участвовал в модной в 50-е годы молодежной игре деревенских парней и девчат: пройти на пару по дорожке в сто шагов, за это время познакомиться и начать разговор на произвольную тему. Потом обратно – до исходного пятачка, а там – поменять партнершу. И так три-четыре раза. Юный кавалер как представитель сильного пола должен был развлекать девушку, находить общие темы, задавать ей вопросы и, по возможности, покорять ее своим интеллектом. Молодая девушка была при этом ведомой, но, в зависимости от ситуации, могла быть и ведущей.

Девчонку, что нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, звали Люба. Имя мне понравилось, и я приободрился. Тихий вечер создавал романтическое настроение, но ситуация все же была мне непривычна. Так, с чего же начать? Ах, да: надо спросить, как ее зовут. Я по правилам беру Любу под ручку и, пытаюсь уловить ее шаг, начинаю движение. Девушка, не в первый раз участвуя в этой игре, выглядит очень уверенно и готова поддержать любую мою инициативу. Но мне на ум ничего завлекательного не приходит, и я начинаю с банальных вопросов: о семье, школе, о подругах. Люба, ничего не утаивая, тут же бойко отвечает

и о том же расспрашивает меня. А затем, вдохновившись, выпаливает:

– Мамка у нас – бригадир в колхозе. Мужиков-то всех на войне перебили – вот ее и назначили. Не успевает дома ничего сделать – всё время в бегах. Вот сенокос был – косарей в обрез, моя старшая, шестнадцатилетняя, в луга ходила, косила не хуже парня.

– Ого! А ты?

– И я помогала.

– А огород у вас есть?

– А как же! Без своего огурца куда деваться? Только в этом году морковь запаршивела. Мошка напала. Надо ведь было лук рядом посадить! А у тебя мамка тоже в колхозе?

– Да нет, она на почте бухгалтером, – разочаровал я ее.

– О-о, грамотная!

– А отца убили?

– Под Минском. У тебя-то живой?

– Не, на финской погиб.

– А картошку вы окучили?

– Окучили, вчера отмахались. А вы?

– На той неделе. Уже цветет. А ботвица после дождей – как шальная!

– А мы в мае за диким луком ходили. За три километра, на Запьяну. Эх, и лучок!

– Мы вчера за столбунцами сбегали. Они тут недалеко растут. Объеденье! Только я торопилась – корову из стада встречать.

К этому времени мы уже подошли к исходной площадке, где пары менялись, и я отправился по той же дорожке с другой девушкой. Ее звали Тоня. Это была подвижная и энергичная дивчина, которая чувствовала себя уверенно и независимо. Я рассказал вкратце о себе и семье. Тоня внимательно выслушала и сказала:

– Тех, у кого отца не стало, все называют полусироты. Значит, и ты полусирота. Таких о-го-го сколько!

– А вы как живете? – спросил я.

– Отец – инвалид войны, без ноги, дома мало что делает. Но научился сапожничать: ему приносят то сапоги,

то ботинки старые, то валенки – он чинит, подшивает, но денег в деревне ни у кого нет, ему приносят выпить, и он уже без этого никак.

– А мать в колхозе?

– Мать ходит в детясли убираться – копейки получает. Весь прошлый год в полевой бригаде работала – за палочки. Дали немного зерна да свеклы и соломы осенью. Надорвалась она – от зари до зари, а сколько на тяжелой работе, вместо мужиков – считай, инвалид тоже. Теперь огород на мне висит. Козу вот доить научилась. А то она мне ну никак не давалась. Всё норовила ногой в чашку шлепнуть!

– Это точно, – подхватил я. – Как у нас.

– А ей ведь надо сначала вкусенького чего-нибудь скормить – листьев сочных или прутиков свежих.

Тоня на секунду замолчала и заговорила снова:

– А отец хочет, чтобы я иглой научилась работать. Дескать, одежда всем нужна – заработок будет. А иначе, мол, как? Ноги протянешь!

Третью девушку звали Клава. Клава выглядела как пышечка: маленькая и аппетитная. Толя сказал, что это от молока: у них во дворе Машка – корова что надо. К тому же Клава научилась сама делать и масло, и творог, и простоквашу, да и Бегемоту, котяре, достается. Клава, едва познакомившись, сразу выпалила, что их Машка вчера отелилась. Причем сразу двоих принесла: черно-беленьких. До отёла Клава с матерью чуть не неделю целыми днями возле нее дежурили и ночами через два-три часа наведывались, а вчера только спать легли, как телятки-то сразу из утробы на свет божий запросились. Когда Клава в сарай вошла, один уже, своей мамкой-героиней облизанный, вставать пытался, а второго они вскорости сами приняли.

Я внимательно слушал Клаву и не хотел омрачать ее новость № 1 своими далекими от этих трудов излияниями. Она была в своей ипостаси – к чему было искусственно навязывать ей что-то другое, незначительное по сравнению с ее насыщенными буднями, которые кормили не только ее семью.

– Только вот весной у нас беда была: лиса в курятник залезла, петушка и трех курочек погубила. Какие несушки были!

– Эге! А к нам волчица заходила! Только давно. Ее видели в окно на дороге. А утром вышли из дому: собака растерзанная у крыльца лежит.

– А еще, – продолжала Клава, – мы привезли дров на зиму. Береза с осинкой. Одних березовых-то не дают: слишком жирно будет, а с осинкой можно. Это мой брательник организовал, он и заготовливал. А когда обратно ехали, я у него отобрала вожжи и сама управлялась. А ты умеешь запрягать?

– Ну, я только один раз с конюхом запрягал. А верхом ездил немножко.

– А меня запрягать крестный научил – он на конюшне работает.

Я похвалил Клаву и заочно Клавиного крестного и брата, с которым теперь и грядущая зима не страшна, и добавил, что моей маме обещали осенью подбросить дровишек как раз из Крутецкого леса, который от их деревни недалеко.

– Классно. Как зимой без дров? А усад вам кто вспахивает?

– Да кто придется. Несколько человек складываются, у кого участки рядом – и нанимают.

– Ну, дело.

Вечерние прогулки, которые нынче бы назвали чем-то вроде walk-talk, продолжались примерно до 22 часов. Когда я прошелся по дорожке с четвертой партнершей, то понял, что нахожусь в самой гуще неведомой мне, интеллигентному сынку, жизни – той самой, что питает всех нас своими корнями, делает возможным само наше существование на этом свете.

До краев наполненный новыми впечатлениями, пропитанный неведомыми до того для меня будничными заботами и проблемами, творящими жизнь, я шел с Толей на ночлег в их дом, где его мама уже легла спать, потому что вставать нужно было вместе с солнцем, до пяти утра. Мы тихонько вошли в сени, Толя взял кринку

молока и краюху хлеба, пару картошин и перья зеленого лука, вручил мне керосиновую лампу, и мы направились в амбар, вернее, в выход – полуземляное строение, предназначенное для различных целей: хранения старых вещей, инвентаря, просушки и прочих дел. Были там и лежанки. Толя разлил молоко по кружкам, и мы поужинали. Перед сном, лежа под затертыми покрывалами на старых тулупах и телогрейках, мы еще минут 15–20 поговорили на разные темы и уснули крепким деревенским сном.

Первым поднявшись утром, Толя взял ведра, и мы начали таскать воду из пруда в огород – день обещал быть жарким, а овощи ждали желанной влаги: ведь накануне допоздна мы были заняты лишь приятными беседами...

ДОМ НА ТРИ СЕМЬИ

Послевоенные сороковые. Второй класс. А может быть, третий. Завтра – снова в школу. Я всё выучил, все задания сделал, кроме одного. Потому что не знаю, какой у нас будет четвертый урок: то ли родная речь, то ли русский язык. Александра Ивановна, наша учительница, говорила, что точно неизвестно, но после уроков всё скажет. А когда последний звонок прозвенел, Петька в меня локтем как даст от радости и бежать. Я – за ним, чтоб сдачи дать. И с концами. А теперь не знаю, что учить: то ли стихотворение Некрасова, то ли делать упражнения и зубрить новое правило.

Идти к Витьке бесполезно: у него простуда, он в школу три дня не ходил, Юрка скажет, что прослушал, а Симка – что не записал. Борька признаёт только арифметику, а Колька в гробу эти задания видел: у них Дамка кутят принесла, ему не до этого.

Вообще-то если русский, то я терпеть не могу эти правила. Писать диктант – пожалуйста, я без правил напишу. Интуиция, говорит мне учительница. А что это такое? Надо в школьную библиотеку зайти и Антонину Васильевну спросить, она, наверно, знает. Если родная речь, значит, новый стих учить. Ну и хорошо – выучу и прочитаю как надо.

Придется самому идти к Александре Ивановне и узнать, какой урок. Она на нашей улице живет. Недалеко. Сейчас голландка дотопится, и пойду.

Ну вот, теперь можно задвижку закрывать. Нет, не всю: угли синими огоньками светятся – еще не хватало угореть. И горшок с кашей пшенной за дверку голландки поставлю, чтобы согрелась. Мама с работы придет – ужинать будем.

...А вот и дом, где учительница живет. Большой, деревянный. Кошка на ступеньках сидит – у-ух, рыжая! Кис-кис! А хвост какой пушистый.

Ага, вход здесь, а там еще один. Две квартиры. Или три? Дверь не заперта, сени просторные. Тряпка большая лежит: ноги вытирать. Никого в сенях. Нет, не пойду дальше. Не к Витьке же пришел в дурака играть. Здесь постою...

Вещи всякие тут по хозяйству. Надо же, как у всех. Лопата, заступ, колун, ухват, чугунок... Вода на лавочке в ведрах стоит, ковшик сверху плавает.

Сейчас кто-нибудь появится, подожду немного... Нет, никого. Что делать? Не буду же я стучаться к учительнице: я же не в прятки играю. Может, воды кто зачерпнуть выйдет?

Там лестница на чердак. Под ней одежда старая висит: плащ брезентовый, тулуп, пальто с заплаткой. Газеты стопками лежат – «Горьковская коммуна», «Пионерская правда». Журналы в углу... «Работница». Или «Крестьянка»? А рядом – «Блокнот агитатора».

Может, во двор кто пойдет? Нет, никто не идет. А если крикнуть, чтобы вышли? А что потом учительница скажет? Пришел тут нахал и кричит, как в лесу. Двойку или тройку за поведение поставит, как хулигану, и что тогда?

Сколько я уже стою? Наверно, минут двадцать. Нет, больше. Хоть бы кошка с улицы пришла да домой попросилась. Нет, не буду больше ждать, домой надо идти. Выполню оба задания: правила прочитаю, упражнения сделаю и стих выучу. Длинный? Подумаешь: все равно выучу! Мама уже, наверно, с работы пришла – ужинать будем.

Я вернулся домой и стал учить стихотворение Некрасова. Скоро подошла мама, поставила самовар. Мы доели кашу, попили чаю с мелко наколотыми кусочками сахара, и я принялся делать упражнения по русскому. Не заглядывая

в правила. Потом на всякий случай сверил. Повторил стихотворение. Мама сделала замечание: в одном месте ударение не туда поставил. Теперь можно спокойно идти в школу.

На следующий день четвертым уроком была родная речь. Когда меня вызвала учительница, я наизусть с выражением прочитал заданное стихотворение, и она похвалила меня.

Из школы мы с Витькой шли мимо ее дома, на который я, как прежде, смотрел с прежней робостью и застенчивостью. Увы, я не поведал даже ему, моему первому другу, свои мучения вчерашнего дня. Не знал даже, в каком доме я так долго стоял в сенях, не осмеливаясь войти! Лишь много лет спустя мне открылась тайна, скрывавшая трагедию: принадлежал он брату моего деда – в конце двадцатых его раскулачили, а дом конфисковали. Судьба всей его семьи повисла на волоске. Мама об этом до самой старости не проронила ни слова. Тем более что в этом доме потом жила моя учительница. И еще две семьи.

Алина ГРЕБЕШКОВА

ИНИЦИАЦИЯ

Умные дяденьки пишут интеллектуальные романы. Глупые тетеньки читают их и плачут. Иногда вдохновляются до такой степени, что рожают от умных дяденек детей.

Другие дяденьки воспитывают и наставляют тетенок, которые выбрасывают надоевших котят и рожают снова детей.

Тетеньки рожают детей.

Дяденьки сбегают в другую страну. Дяденьки не платят алименты. Дяденек не мучает совесть, они воспитывают Майклов и Джулей.

Тетеньки плачут. Душечки.

Баба Настя – пионерка. Она знает многое о жизни. Ее дочь Олька родила Кольку и умотала в столицу, позабыла про чадо и даже не появлялась в Кедрине. Писем никто не писал и не ждал, да и семь лет уже прошло. Но она не винила дочь, которую родила от обещаний проезжего городского гуляки. Родители от девушки отказались. Так и мыкалась всю жизнь баба Настя по чужим людям, образования не получила, другого ухажера не нашла, да и хромала она на одну ногу с детства – под машину попала. А может, боялась, что поступит с ней новая любовь так же, как и тот, чья дочь получила отчество от матери: «Ивановна ты, и точка, больше тебе знать нечего». Единственного мужчину она впустила в свое сердце – внука.

Колька рос тщедушным. Каждый мог его обидеть. Мальчик молчал, когда за гаражами его пинали ногами, молчал, когда называли ублюдкой. Он никогда не жаловался

бабушке. Колька любил ее, еще старый потрескавшийся зелеными пятнами велосипед, но он не в счёт.

Баба Настя работала даже на пенсии. Шел ей седьмой десяток. Дворничиха, старая карга, хромоножка Анастасия Ивановна Волкова. Когда было слишком тяжело, она пила самогон. Он прожигал ее старые раны, и тогда женщина размякала и плакала горькими слезами, обнимая крепко внука: «Любишь бабу-то? А? Любишь? Чего молчишь?» Мальчик тоже плакал, ему было страшно, за такими приступами нежности следовала полоса Колькиных неудач.

Кто его отец, мальчик не знал, да и со временем свыкся с мыслью, что он один, как и привык к тому, что он убудок, выродок, никчемное существо. Нет у него родителей, и всё тут. Один раз только спросил: «Бабуль, а откуда я появился, если нет у меня мамы и папы?» Она сначала растерялась, рано знать внуку такие подробности, поэтому, подумав, ответила: «От Бога ты, Колька, все мы в этом мире от Бога». – «И ты тоже?» – «И я, и камни, и речка за холмом – всё, что ты видишь и чувствуешь», – ответила старая комсомолка. Вздохнула.

«Интересно, – подумал Колька, – если все мы от Бога, как говорит бабушка, то зачем он сделал хулигана Ваську и Димку, которые постоянно надо мной смеются и издеваются? Или это тоже по замыслу Боженьки?»

– Ба, а плохих людей он зачем делает?

Когда-то она думала, что Бога нет, а есть только социализм, который лучше. Но потом его не стало, а Бог, скрывавшийся в сердце женщины, занял в ее жизни законное место. В церковь, конечно, она не ходила, да и слишком там чисто и чинно, но старалась соблюдать христианские каноны и внука так воспитывала.

– А как ты поймешь, что человек хороший, если все вокруг хорошими будут? Плохими не только люди бывают, но и деревья гниют, и травы. Ветер может разрушить города, а война и того больше. Боженька всё видит и дает нам испытаний столько, сколько мы можем вынести, не больше, но и не меньше. Понял?

«Значит, Васька и Димка – это мне как испытание на прочность? Можно постоянно убежать от них, а можно

встретить их лицом к лицу, как Давид встретил Голиафа. А можно убежать, а можно ведь стукнуть».

Васька и Димка так отметили Кольку, что он неделю пролежал дома. «Молчание – золото», – решил для себя мальчик. «Нужно уметь приспособливаться», – скажет он уже через десять лет.

Конфликты он не любил, а любил животных. Но бабушка каждому щенку и котенку давала пинок под зад: «Самим жрать нечего, а тут еще ты заразу всякую домой тащишь. Смотри, глистами заразишься или лишаем, я тебя лечить не буду, так и помрешь от своих зверушек».

Время шло. Колька продолжал таскать в дом разных тварей, а бабушка, чуть что, укладывала его под шерстяное одеяло, даже если температура едва дотягивала до тридцати семи. Суровой женщина была только на слова. Внука она любила, да и не было больше в этом огромном мире ни одной родной души, кроме него. На восьмой день рождения в доме Волковых появился белобрысый щенок с кривыми шатающимися лапками и огромными испуганными глазами. Но нужно было видеть глаза Кольки! Он не мог поверить в это счастье. С утра мальчик проснулся как обычно, встал как обычно, умылся как обычно, а когда зашел в свою комнатушку (чулан, приспособленный в дворницкой под детскую), то увидел на кровати коробку из-под мужской обуви. Мальчик подошел к ней. Внутри что-то или кто-то скребся. Поначалу Колька даже испугался, а потом в комнату заглянула бабушка: «Ну что ты, сынок, открой коробку, не укусит». Но щенку самому уже надоело сидеть взаперти, и, выбравшись из укрытия, со всей собачьей радостью и твяканьем он бросился на мальчика.

– Смотри, Колька, ты теперь за него головой отвечаешь. Гадить будет – выгоню, – проворчала бабушка. Негоже старой женщине из образа выходить.

– Спасибо, ба! Я знаю... я его выгуливать буду, дрессировать буду, а потом он будет нас защищать.

– От кого эта дворняжка нас защитит?

– От плохих людей, бабуль. Спасибо тебе! – Колька обнял бабушку.

– Ну, будет, будет. Смотри, твоя собачонка уже лужу от радости наделала, – бабушка на миг отвернулась, чтобы протереть рукавом мокрые глаза. «Вот много для сироты-то надо. Дети-дети, святая простота».

Затем был праздничный ужин: макароны, две сосиски и яблочный компот. На десерт она припрятала кулек ирисок, вручив их Кольке в конце торжества.

Засыпая, мальчик думал: «Вот щенок, это ведь тоже божья тварь. Только разве он понимает это. Ему бы скакать да лаять. Завтра ребятам во дворе покажу, и Васька зауважает меня, драться перестанет».

Лунная ночь над Кедриним сулила мальчику счастливый день. Весь поселок спал. Только Анастасия Ивановна переворачивалась с боку на бок, то ли радикулит, то ли старое сердце мучилось от обиды за внука. Как там Олька в Москве Белокаменной? Жива ли? Вспоминает хоть иногда?

Ольга не спала. Атласное белье душило ее, а храп раздражал. Хорошо хоть, что завтра выходной. Чтобы отвлечься, она вспоминала тихие улочки Кедрина, уходящие в лес, окружающий со всех сторон поселок, небольшой трехэтажный домик, пристрой для дворника, возле которого росла высокая трава, бросающая причудливые тени в комнату. Соседские мальчишки играют в футбол, а девочки где-то нашли большую картонную коробку – дом для безродных котят. Кто-то принес блюдечко с молоком и ливерную колбасу, другие же спорят, как назовут эти трясущиеся комочки шерсти. Но Ольку не зовут, а, молча обступив котят, отстраняют девочку и протянутую руку со старым одеялом, которое она принесла в надежде, что и ее пустят познакомиться с детенышами. «Твоя мать опять их выкинет, иди отсюда, ябеда». А дальше темнота. Она не помнила ни лица матери, ни тем более сына. Как кормила его грудью, как он сделал первые шаги, как убежала ночью на поезд, пока мать спала, – она обязательно заберет сына, когда встанет на ноги, годик или два, мать простит, – всё это Олька старательно забыла. «Меня воспитала без отца и Кольку воспитает. Ворчит, как всегда, наверное, и детишек метлой по двору гоняет».

В свои тридцать женщина знала, что столица не прощает слабаков. Мегаполис пытался и ее сломать. Первый год Ольга даже думала вернуться к матери, когда закончились деньги, когда не на что было купить колготки, не говоря о съемной квартире. Ей повезло, бог не обделил красотой, а умение выживать переходит по генам. Нет, она не стала проституткой, Ольга была непутевой, но всё же дочерью бабы Насти. Вот и Кольку родила от любви, но односторонней. Тогда думала: «Что нам – кабанам? Воспитаю, человеком сделаю, но не в Кедрине, только не в этом затхлом поселке: работы нет, мужики спиваются, единственный завод и тот закрылся». Вот и подалась вместе с подругой на вольные хлеба в Москву, а мамка бы не отпустила. И бежала Ольга к лучшей жизни, да и не на что жаловаться: Кирилл ее любит, через годик обещал квартиру, машина есть, работа в офисе с перспективой роста, коммуникабельность, стрессоустойчивость, знание английского языка, путешествия, фитнес – три раза в неделю, маникюр-педикюр-косметолог, что еще для жизни надо? Как хотела, так и вышло. Только не спится Ольге на атласных покрывалах, хорошо, что завтра выходной.

Утро. Солнце. Тьяканье. Лучик сел на мокрый нос животного. «Это еще кто? – подумал лучик. – Его раньше здесь не было».

– Как тебя назвать-то? – спросил Колька у щенка. – Черныш? Нет, ты белоухий. Беляш? Будешь Беляшом?

– Беляш так Беляш, – вильнув хвостом, ответил щенок. – Хозяин, скоро есть будем? Пузо уже от голода щекотит.

– Хлеб будешь? – разломав булку, мальчик отдал щенку половину. Вторую с кружкой молока съел сам.

«Как хорошо, что июль, в школу не надо. Можно на улице бегать сколько хочешь. А с другой стороны, принес бы щенка, а девчонки вздыхать, мальчишки завидовать. Все говорят: “Дай погладить щенка”. А я говорю: “Не трожь, он чужих кусает”. – “А как его зовут?” – “Беляш”. – “Какое оригинальное имя”. – “Сам придумал”. Ага, а потом Валентина Михайловна кричать начнет: “Ты зачем, такой-сякой, щенка на урок принес?” Нет, хорошо, что июль».

Колька выглянул в окно. Бабушка скреблась метлой об асфальт. Мальчик знал, чем чревато его промедление. Схватив ведро, пригладив перед зеркалом восставший чуб, побежал на улицу.

– Листья и окурки пока собирай. Щенку-то имя дал?

– Беляш!

– Потому что белый?

– Потому что теплый, – зажмурившись, прошептал мальчик.

– Беляш так Беляш. А кормиться чем он у тебя будет? Ты смотри, чтобы по помойкам не лазал. А то нахватается заразы и сдохнет. Я жильцов попрошу, чтобы кости и объедки не выбрасывали, для нашего защитничка в самый раз.

Беляш встретил осень отважно. Он боролся с листьями, но их не пугало его тьяканье. Колька шел во второй класс. На первое сентября бабушка купила ему новый костюм, можно было бы и старый, если бы не вытянулся за лето.

– Бабуль, а можно на линейку я Беляша возьму?

Мальчик не расставался с собакой, даже когда ложился спать. Как ни ворчала бабушка, Колька зарывался в теплую собачью шерсть, ему было тепло, и они засыпали. Это животное было настолько близко детскому сердцу, что Колька считал пса той когда-то не хватающей, но частью семьи. На линейку они пошли втроем.

Ноябрьские дожди лили беспробудно вторую неделю, Колька почти не выходил из дома, кроме как в школу и выгулять Беляшика. К тому времени пес окреп и стал похож на белую и пушистую снежинку. В голове мальчика складывался именно такой образ, потому что он любил зиму с ее лыжами и санками, но работы, конечно, у них с бабушкой прибавлялось.

Мальчик читал Беляшу свою любимую книгу «Гадкий утенок», когда в дом вошла женщина. Бабушка пошла к соседке, и дверь была не заперта.

– Бабушка скоро вернется. Может, за ней сбегать, если вам срочно?

– Коля, Коленька, сынок! – бросилась к нему в ноги незнакомка. – Ты простишь меня когда-нибудь?

Беляш от таких внезапных эмоций зарычал. Ему не нравилось, когда к его хозяину приставали незнакомые люди. До Кольки едва ли доходили слова:

– Где же бабушка? Она вам поможет!

– Как вы здесь без меня? Как бабушка? Ворчит, наверное, постоянно? А я тебе гостинцев из Москвы привезла, что это я?

И она стала доставать из большой сумки одежду, какие-то игрушки. Мальчик с удивлением смотрел на упавшее на него богатство: металлический конструктор, джинсы, его любимые солнечные апельсины.

– Вырос-то как! Сколько тебе уже? Шесть-семь?

– Восемь! – раздался громовой возглас Анастасии Ивановны. – Восемь лет твоему сыну!

Женщины смотрели друг на друга и не узнавали. Между ними сидел с глупой улыбкой мальчик. А Беляш принюхивался и не мог понять, чем это пахнет, счастьем или неприятностями?

– Ты зачем приехала? Тебя здесь никто не ждал! Убирайся! За восемь лет даже строчки не написала, за редкие денежные подачки спасибо тебе, конечно. Ты зачем приехала? Нам без тебя хорошо, убирайся отсюда и хлам свой забери!

– Мама? Ба, это мама?

– Да, Коленька, это я.

– Мама, где ты была?

– Убирайся, Олька! Не калечь его психику. Хватит, я его вырастила, и дальше без тебя проживем.

Ольга молчала, зная суровый нрав матери. Она и сама до конца не понимала, зачем приехала в Кедрино, тех детских улочек в поселке уже не было, а сам он встретил ее неуютно, хотя местные жители уже и забыли, кто она. Последние полгода ее мучили воспоминания, то ли совесть обуяла, то ли возраст подошел, но чего-то не хватало для женского счастья. А тут Кирилл еще подзуживает: «Отношения у нас серьезные. Бизнес прёт. Что тут думать-то? Свадьба, дети и все дела». Только чуяла Ольга нутром, что не дожидаться ей ребеночка от него, а потом уже и поздно будет. Не выдержала, нахлобучилась коньяком и выхлестнула в его рожу, как ей все эти годы не хватало в огромном

городе близких людей, родного дома, ворчанья матери, ну и, конечно, Кольки. Два дня не разговаривали, но не зря она выбрала Кирилла: «Кукушка ты, Олька, глупая. Привози его. Если получится, то еще своих нарожаем, а твоего парня никогда не обижу». Пока ехала в Кедрино, виделся ей Колька – взрослый и рассудительный, а увидела она маленького мальчику, вцепившегося в несуразную собаку, причитавшего: «Бабуль, а это правда мама? Бабуль?»

– Правда, сынок, правда, – прошептала Ольга.

И тут он бросился к ней, обнял. Мама пахла духами и сигаретами. Колька протяжно, по-собачьи, заскулил, плакали и женщины. Только Беляш думал: «Странные все-таки эти люди, то кричат, то обнимаются».

Олька и Анастасия Ивановна пили чай. Кольку, как он ни упирался, отправили выгуливать Беляша и в магазин, чтобы купить чего-нибудь сладкого. Мальчик не понимал, как он мог сейчас выйти из дома, когда к нему мама приехала! Его мама приехала! А тут – пряники или конфеты. Но всё же побоялся послушаться бабушку.

– Я тебе не отдам внука. Он тебе тогда не нужен был, сейчас зачем понадобился? Нагуляла. Как щенка подбросила. Совесть замучила? Так мы тебя ждали, а ты... Даже письма не прислала.

– Ничего дома не изменилось за это время. Ты всё так же дворником? Собаку как зовут?

– Имя сына-то не забыла? Беляш зовут. Олька-Олька, я же всегда только для тебя старалась. Зачем приехала теперь? Сказала: не отдам.

– Потому что белый?

– Теплый потому что, для тебя-то это незнакомое чувство!

Помолчали. Ольга знала, что виновата. Но почему она не может ее понять?! Пока из Москвы добиралась почти тысячу километров, пыталась найти себе оправдание и представить встречу, но не смогла, знала, что мать не примет. Но как ей объяснить, что когда-то она хотела забрать сына. Но что-то пошло не так. С работой не клеилось, теснилась в одной комнате с пятью такими же, как и она, провинциалками. Потом один ухажер замуж звал, но потом узнала, что у мужчины

этого семья и дети. Разбежались. Пока жизнь свою пыталась наладить и Кирилла встретила, не заметила, как время прошло. Да и стыдно ей было возвращаться в Кедрино, соседи и мать заклевали бы: «Нагуляла сына, сбежала. Под хвост пнули, куда пришла? К бабе Насте и прискакала».

Тот же старый холодильник и телевизор, ковер с оленями на стене, какой-то грязный мячик, брошенная Колькой книга. Ольга взяла ее и грустно усмехнулась:

– А помнишь, ты мне ее в детстве читала? Я так и осталась тем гадким утенком, убежавшим из дома, только не суждено мне было превратиться в прекрасного лебедя. Я Кольку с собой увезу, слышишь? В Москве будет жить, в школу хорошую устроим, образование получит, на каникулы к тебе будет приезжать. Мы тебя не бросим. Уйдешь с работы, хватит тебе уже улицы подметать. Деньги буду присылать.

– Это ты своим хахалям отступные будешь давать, шалава! – Анастасия Ивановна ударила по щеке раз. – Ты что думаешь, приехала тут такая красивая, подарки навезла, и всё? Сын сразу мать вспомнил, побежал под крылышко? – ударила два. – Я его вырастила, слышишь? Мой это сын, не твой!

– Ты его затюкала совсем, посмотри на него! Что ты ему дать можешь?! Пусть сам решает, взрослый уже.

– Пусть решает. Я к соседке, – сдерживая себя, спокойно сказала Анастасия Ивановна, она была уверена, что внук ее не бросит.

Ольга знала, что та не пойдет к соседке, а будет блуждать по поселку. В детстве, когда мать была не в настроении, она всегда уходила на несколько часов. Кедрино успокаивало ее в любую погоду, может, поэтому и свыклась с метлой. Дождь усиливался.

В комнату влетел мокрый Колька. Он торопливо протер грязные лапы Беляшу. В комнате что-то изменилось, как-то посвежело. Мальчик еще раз вдохнул.

– А где бабушка?

– К соседке за солью пошла.

– К какой это соседке? Она уже к ней ходила, – недоверчиво произнес Колька.

– Ну, идем сюда. Садись рядышком, – Ольга указала на место возле себя.

– Какие у тебя кольца красивые, а бабушка их не носит. Она больше не злится на тебя? Ты с нами теперь жить будешь? Мы с Беляшом можем спать здесь, а ты на моей кровати.

– Это когда-то и моя кровать была. Нет, сынок. Я за тобой приехала. Поедешь со мной в Москву?

– А бабушку с собой возьмем?

– Нет, дорогой. Бабушка и Беляш здесь останутся. Мы к ним приезжать будем часто. В школу новую пойдешь, учебный год только начался. Быстро догонишь. Ты вообще как учишься?

– Нормально учусь. Тройки иногда бывают по математике, но редко, не люблю цифры, читать люблю. А как же они здесь останутся без нас?

Колька не понимал, почему нельзя взять с собой бабушку и Беляша, а можно ведь остаться всем в Кедрино. Но спросить не решался – а вдруг мама обидится и уедет.

– Компьютер тебе купим, хочешь, собаку новую возьмем. Только маленькую, чихуахуа например, они такие смешные. А этот... – Ольга потянулась погладить пса, но тот тихо зарычал, как будто знал, что эта незнакомка хочет отобрать у него единственного друга. – Невоспитанный какой.

– Он просто чужих не любит, но это же ты! Я знал, что ты где-то есть, ведь так не бывает, что без мамы. Он привыкнет, щеслово! Давай его с собой возьмем.

И Колька еще раз обнял маму. От такого порыва Ольга растерялась.

– Мы за ним в следующий раз вернемся и за бабушкой. Просто, понимаешь, поезд же – он небольшой, туда билеты заранее нужно покупать, а им не хватило места. Но ты не расстраивайся, сначала мы уедем, наведем дома порядок, а потом тут же за ними, ты даже заскучать не успеешь.

– Когда поедем, мама? Бабушка говорит: «Долгое прощание – лишние слезы», – Колька произнес это нарочито басовито, пародируя бабушку.

И ему это удалось, оба засмеялись, а Беляшик залаял и запрыгал по комнате, предвкушая прогулку.

– Прямо сейчас! Побежали на вокзал. Может, на последний успеем. Вещи не бери, мы тебе новые там купим.

Ольга схватила Кольку за руку. Сама мысль, что она сейчас вот так крадет сына, пугала ее. «Но закон на моей стороне. Да и старая она уже. Ей бы за собой смотреть».

– А с бабушкой попрощаться?

– Она нас на вокзале ждет, – соврала Ольга. – Там прощаетесь. Ну что ты приуныл? Всё у нас теперь хорошо будет.

– Беляшика жалко.

– Ты же хочешь познакомиться с новыми друзьями? А летом приедем к Беляшику. Ты посмотри, там же дождь идет, куда собаке в такую погоду гулять? Ты хочешь, чтобы он простудился? Поезд уже отходит, побежали. Надо только свидетельство о рождении найти. Где бабушка документы держит?

Ольга гнала от себя мысли, что будет чувствовать мать, когда вернется домой. Ей казалось, что вот так именно и должно быть: поезд, уносящий в Москву, жженный свет фонарей, накрапывающий дождь и Колька, мокрый и теплый, ведь теперь и ему в своей жизни она нашла место.

Они едва успели на поезд.

Вечерами бабушка, поглаживая Беляшика, который износился и превратился в степенного старого пса, как и сама женщина, не чувствующая себя уже в этой жизни, читает своему постоянному лохматому собеседнику письмо, пожелтевшее от времени, а потом показывает фотографию: «Смотри, Колька-то какой тут важный. Пишет, мама купила компьютер, в школе ему нравится, с одноклассниками дружит, а мама купила ему чиху-чихуха. Тьфу, собаку ему купила, но ты не обижайся, следующим летом, пишет, обязательно приедет. Бог даст, свидимся. Смотри-ка, дети опять разыгрались, Ольга опять котят тащит в дом, вот я ей задам!» Беляш в ответ утвердительно потягивает. Он уже не обращает внимания, что его хозяйка забывается во времени.

Кедрино окутывает осенняя ночь с запахами прелых листьев и костров. Колька в этот поселок больше не приезжал: далеко, экзамены, да и ворчать будет бабуся, а потом уже и не к кому.

Марина СОЛОВЬЕВА

УШИ

Я полюбил ее за уши, ну, может, не сразу полюбил, но обратил внимание точно. Она сидела передо мной на лекции, и я никак не мог приспособиться, чтобы нормально и полноценно все видеть. Уши загораживали то доску, то лектора. Я еще какое-то время пытался смещаться в разные стороны и что-то слушать, но взгляд снова возвращался к ушам. Они торчали из волос почти перпендикулярно, удивляя замысловатыми изгибами, просвечивали на солнце, отливали розовым цветом и привораживали. Все сосуды контурировались настолько четко, что при желании по ним можно было изучать систему их кровообращения. Я даже не заметил, как окончательно потерял нить лекции и целиком переключился на впереди сидящие уши.

– Интересно, как с такими локаторами можно существовать, не боясь взлететь? Уши как крылья! – прошептал я своему верному другу и соседу по комнате в общежитии мединститута Сене Митькину.

Сеня был слегка полноватым здоровяком, известным балагуром и шутником. Казалось, что его знают все вокруг. Он всегда был в гуще событий, особенно когда это касалось праздников и веселья. Какими-либо выдающимися способностями Митькин не обладал, учился очень средне, но для этого у него был я – всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту. Я уверенно шел на красный диплом, не прилагая к этому никаких особых усилий, был

старостой кружка хирургов и мечтал стать лучшим в этой профессии.

– Вместо парашюта такие уши тоже можно использовать, не разобьешься! – хохотнул в ответ Митькин. – С такими ушами и на лодке против ветра фиг выгребешь!

– Наверное, у нее было нелегкое детство и уши постоянно драли! – закатил я глаза к потолку.

– Говорят, форма ушей повторяет расположение плода в утробе матери. Прикинь, у кого какие уши, тот так себя там и чувствовал. Нелегкое время было для барышни, – театрально вздохнул и тут же подмигнул всезнающий Митькин, а потом полушепотом добавил: – Новенькая это, Ксюшей зовут. В общежитии в соседней с нами комнате теперь живет. А у Ксюши, а у Ксюши выросли большие уши! – он оттопырил двумя руками свои уши и вытаращил глаза, соорудив такую физиономию, что я чуть не рухнул под стол.

Веселье и обмен остротами был в полном разгаре, когда я свернул трубочку из тетрадного листочка и аккуратно пощекотал впереди сидящей девушке левый «лопух». Обладательница ушей резко обернулась ко мне, и я увидел огромные бездонные синие глаза, в которых утонул сразу, пропал бесповоротно и навсегда.

– «У наших ушки на макушке! Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки – французы тут как тут», – блистательно цитировал классика Митькин, а я смотрел в эти глазищи цвета моря и не мог пошевелиться, пока не получил ощутимый тычок в бок.

Уши по-прежнему торчали из ее волос, но если сзади это выглядело смешно и напоминало Чебурашку из известного мультика, то спереди все выглядело совсем иначе: уши добавляли девушке невероятной милоты, нежности, трогательности и какой-то незащищенности. Мне сразу расхотелось шутить на эту тему, в голове все прыгало и скакало, а я продолжал утопать в этих глазах и не понимал, что мне теперь со всем этим делать.

– Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? – выдавил я из себя.

– Это чтобы лучше видеть тебя, – улыбнулась в ответ незнакомка.

– Бабушка, а почему у тебя такие большие уши? – бесовственно вклинился в разговор Митькин, и мне сразу захотелось его ударить.

– Это чтобы лучше слышать тебя, – ни секунды не смутившись, ответила Ксюша, не переставая смотреть на меня.

– Бабушка, а у тебя такой большой нос, потому что мы слоны? – подвел итог разговору Митькин под наш общий хохот и шум, извещавший о конце лекции.

Я не заметил, как моя жизнь полностью впала в зависимость от этих прекрасных глаз, как я начал называть ее уши ушками, а их обладательница прочно заняла место рядом со мной и стала для меня Синеглазкой, Ушаночкой и Ушастиком. Она же в ответ называла меня Шаманом из-за моего своеобразного разреза глаз, чуть опущенных с наружного края. «Славная парочка – Шаман и Ушаночка!» – шутил я, а руки так и тянулись к ее теплым, мягким и нежным ушам. Хотелось к ним прикасаться, даже сворачивать в трубочку и целовать, что я без конца и делал.

Пытаясь сразить Ксюшу своим остроумием, я немедленно нарек себя ее ухажером, а если точнее, то ухо-жором и начал изображать пожирание ее ушей. Ксюша хохотала и совсем не обижалась, видимо, за годы бесконечных шуток и подколов она выработала иммунитет на все, что касалось этой темы. Она весело отвечала, что на ее уши очень удобно вешать лапшу, а все потому, что ей на ухо наступил в детстве медведь, потом разводила руками и добавляла: «Вы же видели мои блинчики! Кто еще мог наступить, как не он?»

Митькин со своими шутками всегда был рядом. Ну а где ж ему еще быть, моему закадычному другу. Он был в курсе всех наших сумасшествий, желаний, переживаний, любовных страстей и планов на будущее.

– А ты слышал, что женщины любят ушами? – заговорщически ухмылялся он и присвистывал. – Представляю, как тебе везет!

– Вот все влюбляются по уши, а я, похоже, влюбился в уши, – парировал я.

– А ты знаешь, что у женщин самая чувствительная эрогенная зона – это уши? – не сдавался Митькин и развивал эту тему, пока я его не щелкнул по носу.

Жизнь кипела, неминуемо приближалась сессия, а Ксюха вдруг засобиралась домой по каким-то срочным делам. Я особо не выпытывал причину, ну надо так надо.

– Я хочу поговорить с тобой, – сообщила она задумчиво перед отъездом. Я чмокнул ее в мягкое податливое ухо и приготовился слушать. В этот момент дверь ее комнаты распахнулась, и влетел Митькин с тортом в руках, шампанским и кучей разноцветных шаров.

– Поздравляю с днем рождения! – заорал он, включая все резервы своего баса.

– А у меня день рождения только через месяц! – Ксюха удивленно взмахнула густыми ресницами и улыбнулась.

– Да? Ну и ладно, зато как красиво! – привычно захохотал Митькин и эффектно отпустил шары из рук.

Они плавно взлетели и зависли под потолком, сразу преобразив унылую общаговскую комнату и наполнив ее радостью. «Умеет же создать атмосферу этот чертяка, ну настоящий человек-праздник!» – пронеслось в голове, и я с благодарностью хлопнул Митькина по плечу в тот самый момент, когда он на дорожку открывал шампанское. Мощная струя неожиданно вырвалась, окатив брызгами лучшего открывальщика бутылок общаги медицинского института, а также стены, шары, мои брюки в том самом месте, где следы влаги выглядят неприлично, и любимые ушки. Прощание было шумным, ярким и, как всегда, запоминающимся.

Ксюхи не было достаточно долго, а может, мне просто так показалось. Она ссылалась на какие-то неотложные дела и обещала сюрприз при возвращении.

Я увидел ее издалека, узнал по походке. Но чем ближе Ксюха подходила, тем больше я сомневался, она ли это. Приготовленная мной песня про крылатые уши-качели, которые «летят, летят, летят», застряла в горле. Я глазам своим не верил: моих ушей не было! Вернее, они были, но совсем

другие, уже не мои, а плотно прижатые к голове, как будто изменившие даже свою форму. Я судорожно искал объяснения, пытался соображать быстрее, но все время притормаживал, не сводя глаз с ушей. «Что это? Пластика? Сделала операцию? Интересно, глаза тоже поменяла?» – пронеслись мысли с жутким гулом. Откуда взялся этот гул? Как будто товарняк летит на бешеной скорости по извилинам мозга, мотая вагоны в разные стороны. Почему товарняк – потому что пассажирские поезда ездят гораздо аккуратнее?

В голову лезли какие-то глупости. Я попытался сосредоточиться, стараясь справиться с нахлынувшими эмоциями, и посмотрел ей в глаза. Они по-прежнему были синими. Она стояла так близко, что можно было различить мелкие темные крапинки, придающие ее глазам неповторимость и выразительность. Я смотрел и не мог разобраться, что же изменилось еще. Изменился взгляд. Он стал твердым и уверенным. Вместе с ушами куда-то делась трогательная незащищённость, притягательность и непосредственность. Я в который раз оглядывал ее, такую долгожданную и совершенно чужую. Она сделала себе стильную короткую стрижку, покрасила волосы в непривычный темный цвет, открыла и как будто выставила новые уши напоказ.

А во мне с этого момента что-то обломилось и стало умирать. Да, именно так я это чувствовал. Мне хотелось спрятаться на время в кокон и все это переварить. Я не понимал, что со мной происходит. Уходило что-то важное, а я не пытался это удержать. Может быть, Ксюхи просто долго не было и мы успели отвыкнуть друг от друга, может, я не смог быстро перестроиться и принять этот ее новый образ, не знаю, но что-то со мной явно было не так. Я не могу сказать, что разлюбил ее, но определенно скис и стал невольно отдаляться. Она пыталась со мной поговорить, что-то объяснить, но я не слушал и увиливал от разговора. Я сначала пытался разобраться в себе, а потом и пытаться перестал, ссылаясь на начало трудной сессии. Во мне что-то определенно изменилось. Глупо полагать, что любовь ушла вместе с ушами, но мне все чаще приходила в голову именно эта мысль.

В тот злополучный предновогодний день у меня все не заладилось с самого утра. Сначала я опоздал на занятия по хирургии, и тему моего доклада для выступления на Всероссийской студенческой конференции, который у меня был уже почти готов, отдали Митькину. Потом оказалось, что я где-то потерял билеты на новогодний бал, причём не только свои, но и ещё половины группы. В автобусе я напоролся на контролера, и выяснилось, что мой проездной билет, который накануне одолжил у меня Митькин, так у него и остался. И я, с позором взятый контролерами в кольцо, проехал с ними до конечной остановки для оплаты штрафа. До общежития я добрался в отвратительном настроении, голодный и злой. А там все было в огнях и гирляндах, все как полагается: елка, музыка, веселье. Нарядные оживлённые девчонки нарезали салаты и накрывали на стол. Хохочущий над моими злоключениями Митькин уже принял на грудь пару рюмашек и веселил публику. Последней каплей была моя новая жемчужно-белая отглаженная рубашка, красующаяся на его крупногабаритной фигуре.

– А что, смотри, как на меня села! – оглаживал он себя, крутясь перед зеркалом. – Идёт же мне! Подлецу все к лицу! Ну тебе же для друга такого дерьма не жалко! Я же с тебя не последнюю рубаху снял, дружище! А я себе в ней очень нравлюсь! Может, наконец и невесту найду! – веселился Митькин.

Я психанул, вылетел из комнаты, громко хлопнув дверью, и чуть не сшиб нарядную веселую и абсолютно новую Ксюху. Она была очень красивая, с ярко подведёнными глазами, с конфетти в волосах, уложенных тоже по-новому. Она была вся новогодняя и праздничная, в полной противофазе со мной и моим настроением.

– Мне нужно поговорить с тобой, – в очередной раз начала она.

– А мне не нужно! – заорал я в ответ, вложив в крик все беды сегодняшнего дня, мимолётом заметив, как наполняются слезами ее синие глазищи, и помчался прочь.

На новогоднем вечере я напился как свинья, и это было объяснимо. Пока были силы, я выдавал странные и очень активные танцы, взмахивая одинаково бодро всеми частями

тела, что-то кричал и даже пел. Ксюха ко мне больше не подходила. Я видел ее мельком, то стоящую у окна, то разговаривающую с Митькиным. Судя по доносящемуся из угла его глуховатому хохоту, он рассказывал что-то смешное. В медленных танцах я сливался с теми барышнями, которые оказывались рядом. Мой отрыв шёл по нарастающей. Я разливал вино всем, кто оказывался рядом, и не забывал себя. Не помню, в какой момент рядом со мной оказалась здоровая коренастая девка с санитарного факультета по кличке Кобыла. В ее лице и правда улавливалось что-то лошадиное, а мускулистые крепкие ноги завершали образ. Вися на моей шее, она поделилась, что никогда в жизни не чувствовала себя такой красивой и сексуальной, и поинтересовалась маркой вина. Я сконцентрировал остатки сознания, тоже нашел ее прелестной и понял, что еще выпить и запомнить это волшебное вино мне просто жизненно необходимо.

Утром я проснулся от лязга ключа, открывающего дверь. Я открыл глаза и стал медленно соображать, где нахожусь. Рядом со мной, на одной подушке, тихо подхрапывая с открытым ртом, возлежала раздетая Кобыла.

– Проходи, не стесняйся, тебе соли или сахара надо, забыл? – от жизнерадостного голоса Митькина у меня застучало в висках.

Я повернул голову и сразу увидел Ксюху. Она успела только переступить порог и стояла в какой-то странной нелепой позе, как будто первый шаг сделать успела, а второй забыла. Она смотрела, не мигая, в мои глаза так, что я не мог пошевелиться. Глаза ее потемнели и больше не казались синими.

«Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд, не сыпь мне соль на рану, она еще болит...» – пел Митькин в поисках соли в нашем отгороженном шкафом кухонном пятчке. Ксюха молча развернулась и вышла.

– Ты куда? – закричал ей Сеня и выглянул из-за шкафа с солью в руках.

– Ты какого черта приперся, да еще вместе с ней? – зарорал я и сделал попытку вскочить, но в голове сразу застучала тысяча злобных дятлов, разбилась тысяча стекол и

начал разгоняться поезд с мотающимися вагонами. – Соль им с сахаром понадобились, ни раньше ни позже!

– Откуда я знал, что ты все еще возлежишь тут в объездах нимфы? А жизнь, знаешь, вообще не сахар! – как-то непривычно сухо ответил Митькин.

– Утром после куража я похожа на моржа! – Кобыла перестала храпеть, без стеснения вытянула из-под одеяла свою мышцастую ногу и встряла в разговор. – Теперь как порядочный человек ты обязан на мне жениться!

– А это еще кто? – удивился или просто сделал такой вид Сеня.

– Конь без пальто! «Все мы немного лошади!» – захохотала в ответ Кобыла.

– Не думай, он с алкоголем не дружит, только так, иногда, связь поддерживает! И человек хороший, добрый, – тут же в своей привычной манере начал рекламировать меня Митькин.

Настроение мое было – начать писать предсмертную записку.

– Не печалься, ты же снова по уши влюблен, а это здорово! – хитро подмигнул верный друг и хранитель всех моих тайн. – Могу за нарзанчиком сбегать, если что!

– Просто по уши в дерьме! Тону! – печально подвел я итоги вечера и почему-то посмотрел на уши Кобылы. Они были маленькие, круглые, плотные, с какими-то пупырышками, и до них совсем не хотелось дотрагиваться.

После новогодних праздников Ксюха не вышла на учебу. Я никого ни о чем не спрашивал, терпел около недели. Потом не выдержал и пошел в деканат. Там сказали, что она забрала документы, так как приняла решение переводиться в институт в другой город, поближе к дому. Я больше не стал ее искать, взвырало самолюбие. Как можно было уехать, даже не простившись со мной? Не поговорив, не выслушав меня, не разобравшись? Значит, не любила. Ну увидела эту Кобылу в моей постели, и что? Как она тут очутилась, да еще и раздетая? Я такой пьяный был, что помню только, как Митькин нас обоих подмышками дотащил и скинул в эту чертову кровать. Больше чем уверен, что ничего у меня с ней и не было, кроме совместного храпа на одной подушке.

Ксюху я больше никогда не видел. Чем больше времени проходило, тем больше я понимал, что совершил чудовищную ошибку. Каждая женщина, приходившая в мою жизнь, не выдерживала сравнения с ней. Я, как Киплинг, помнил трех женщин – первую, последнюю и единственную. Она оказалась единственной. Многократно я порывался начать искать ее, но всякий раз что-то останавливало: может, неуверенность или чувство вины, может, некрасивость произошедшего, боязнь влезть в ее новую жизнь. Не знаю.

Еще во время учебы у Митькина было очень удачное выступление с моим докладом на самой престижной студенческой конференции страны. Он тогда даже вышел в финал, получил грант и ездил на стажировку в Америку. Помню, как мы с ним несколько ночей не спали, пытаюсь в короткие сроки привести текст в соответствие с международными требованиями и сделать все необходимые слайды. После этого успеха Сеня получил предложение на ординатуру в хорошей клинике Петербурга. Уехал и пропал. И никакой информации, никто ничего о нем не знал.

Зато Кобылу я вижу часто. После своего санитарного факультета она занимает неплохую должность в Роспотребнадзоре и регулярно с умным и серьезным видом проверяет клинику, где я работаю все последние годы. Она все так же чересчур энергична, всегда бодра и весела. При встрече, когда никто не видит, может меня ущипнуть и с прищептыванием и придыханием напрячь фразой: «А помнишь... Я точно знаю, что никакое моральное удовлетворение не может сравниться с аморальным!»

Я работаю пластическим хирургом. Не заведующим отделением, не главным врачом, а просто хирургом, как и мечтал когда-то. Я хороший врач, и об этом сразу сообщает интернет, стоит только его спросить. Я получаю удовольствие от работы, а мои пациенты – удовольствие от результатов. Попасть ко мне на прием не так просто, всегда существует очередь и лист ожидания.

В тот день был большой прием. Зашла администратор и сообщила, что со мной хочет поговорить мой давний товарищ, у которого очень ограниченное время пребывания в

нашем городе. Я вышел из кабинета и огляделся. По коридору мимо меня, смотря по сторонам, прошла девочка лет двенадцати в красивом брючном костюме цвета бирюзы. Я невольно посмотрел ей вслед, и вдруг меня пронзило, прострелило с ног до головы. Уши! я увидел ее уши! – крупные, перпендикулярно торчащие из-под волос, до боли знакомые. Именно в этот момент из окна стрельнул солнечный луч, и уши заиграли розовым цветом и даже стали просвечивать. Я впал в оцепенение, но тут со стороны послышался знакомый басок с хохотком:

– Нас не ждали, а мы явились! – рядом со мной из ниоткуда возник улыбающийся Митькин. Слегка потолстевший, раздобревший, но все такой же веселый и жизнерадостный. – Вот, дочь привёз, уши поправить! Говорят, что ты лучше всех умеешь это делать. Беда с этими ушами! Всю лапшу на них собирает!

– Куда же ты пропал, Митькин? Все встречи курса проигнорил, – не отрывая глаз от просвечивающих ушей, спросил я скорее по инерции для поддержания разговора.

– А зачем? Счастливые и успешные люди никому не интересны, даже психотерапевтам, – расплылся в улыбке Митькин и окликнул бирюзовую девочку.

Она порывисто, даже немного резко обернулась, и я узнал знакомую улыбку, не оставляющую сомнений. ...Полузабытый товарняк загудел внутри... Девочка подошла ближе, я слегка нагнулся и заглянул ей в глаза. Я ожидал увидеть бездонное синее море, но моря не было. Глаза были совсем другие: карие, с чуть опущенными наружными уголками, определенно знакомые или напоминающие кого-то... Ответ пришел мгновенно и отозвался глубокой и абсолютной тишиной в моей голове, как будто мой летящий грохочущий поезд неожиданно исчез, пропал в другом измерении...

Это были мои глаза...

Дмитрий БИРМАН

ВДОХНОВЕНИЕ

Вася Кошкин был заместителем начальника отдела крупной компании. У неё были подразделения, филиалы, дочерние предприятия – в общем, всё, что в настоящее время говорит не просто о серьезной «крыше», а скорее даже о близкой дружбе или родстве с кем-то из небожителей.

Вася был молод, амбициозен, удачлив и не обделён вниманием женщин. Он хорошо делал свою работу, а благодаря хобби стал известным на всю компанию человеком.

Дело в том, что Вася писал стихи. Легко и непринужденно он складывал оды к дням рождений, сочинял приветствия для корпоративных вечеров и даже стал автором текста гимна компании.

Делал он всё это «на заказ». Не за деньги (попробуй возьми их с начальника отдела или вице-президента), а для удовольствия и популярности.

Действительно, Кошкина знали во всех подразделениях и филиалах. Стоило ему приехать в командировку, как милостивые коллеги с пухлыми губами и силиконовой грудью щедро оделяли его своим вниманием.

Так и жил бы Вася припеваючи до самой, отодвинутой недавно на пять лет пенсии, если бы однажды не загрустил.

Причиной его грусти стала Ирочка – пресс-секретарь генерального директора. Высокая шатенка со спортивной фигурой, всегда в идеальном костюме, в туфлях на высоком каблуке и макияжем, как будто только вышла от визажиста.

Ирочка стала причиной грёз и бессонницы перспективного Васи Кошкина.

Пожалуй, она единственная не обращала на него никакого внимания. Когда генеральный вручал Васе грамоту «За активный вклад в общественную жизнь предприятия» и увесистый конверт, Ирочка даже не посмотрела в его сторону.

Вася стал грустным и задумчивым.

– Ты чего? Депрессуха? – спросил его друг и коллега Витёк Лукин.

– Да не, Лука, хочу книгу издать, – широко улыбнулся Вася.

– Класс! На тебя и так девки бросаются, а тут совсем прохода не дадут! – Витёк завистливо вздохнул. – Вот только в книгу-то стихи нужны о том о сём, а у тебя все с днюхами поздравления да начальникам дифирамбы!

Эти слова Лукина задели Васю за живое.

– Да я за пару месяцев такую лирику захреначу, что все премии литературные соберу!

– Давай, давай! Ты вон с Ирки начни! Захреначь ей стишок, чтобы она с генерального на тебя перепрыгнула!

Витёк похлопал его по плечу и пошёл к автомату за очередным капучино.

Кошкин задумался. С одной стороны, идея Лукина была интересной, а с другой, что он подразумевал под словом «перепрыгнула»?

Очередную бессонную ночь он посвятил сочинению стихотворения, которое должно было наповал сразить Ирочку.

На следующий день, бледный и торжественный, Вася зашёл в кабинет пресс-секретаря, сдержанно кивнув, положил ей на стол конверт и молча удалился.

Ирочка удивленно глянула вслед уходящему Кошкину, взяла конверт, повертела в руках, рассматривая со всех

сторон, вскрыла специальным ножом для почты и достала вчетверо сложенный листок с посланием.

Развернув его, она сначала поморщилась, но постепенно лицо ее приобрело умильное выражение, а закончив чтение, она начала неудержимо хохотать, радуясь тому, что дверь в ее кабинет (куда любил заходить генеральный директор) звуконепроницаема.

Среди шума компьютерных серверов,
Среди офисного жужжания,
Предаюсь я отчаянию,
Лишь бы ты мне поверила!

Полюбил я твой стан точеный,
Твои ноги стройные на каблуках,
Может быть, я не прав,
Может, я не такой утонченный!

Только вижу тебя везде,
Только ночью не сплю давно,
Я смотрю про тебя кино,
Которое крутится в моей голове.

Ирочка не отреагировала, и Вася впал в уныние. Он уже решил, что она будет его музой, его вдохновением и он станет великим поэтом. Может быть, даже как Пушкин.

Вгорячах он даже решил обойтись без Ирочки и попытался начать писать, но... голова звенела от пустоты, не было ни слов, ни рифм, ни вообще желания творить.

Тогда Кошкин, вспомнив, что поэты, как правило, дружны с Бахусом, купил бутылку коньяка, решив пить и ждать вдохновения.

Пить одному было скучно. Васина бабушка, кстати, всегда говорила, что в одиночку пьют только алкоголики.

Кошкин оделся, вышел на улицу направился в бар гостиницы, которая была неподалёку. Заведение с двусмысленным названием «Барсук» гостеприимно распахнуло перед ним свои двери. Вася устроился около окна, сделал заказ выросшему как из-под земли официанту и, повернув голову вправо, замер.

На него в упор смотрела Ирочка. Со сбившейся прической и стершимся макияжем она была через столик от него и медленно пила из бокала красное вино. Рядом, уверенно положив ладонь на ее колено, сидел генеральный директор.

Ирочка сделала ещё глоток, что-то тихо сказала генеральному, показывая пальцем на Кошкина, и они дружно начали смеяться.

Вася бросился прочь из бара. Он бежал домой по вечерним улицам и проклинал своё хобби, свою глупость, а главное, вдохновение!

Стихи Кошкин больше не писал, зато вскоре стал начальником отдела.

НЕПРОСТОЕ УКРАШЕНИЕ

Эту пытку Серега смог выдержать только два дня.

Когда на регистрации обручальное кольцо с трудом заняло своё место на безымянном пальце, он поморщился и сразу улыбнулся. «Привыкну», – пронеслось в голове под жизнеутверждающий марш Мендельсона.

На следующий день после свадьбы его, тёпленького и расслабленного, вытащил из сладкой постели телефонный звонок.

– Твою мать! – начальник участка был убедителен. – Хватит молодуху потягивать, откос пополз!

Серега широко раскрыл глаза, впрыгнул в джинсы, натянул майку и, как был в тапочках, побежал на улицу. УАЗ «Патриот» уверенно, переваливаясь уткой, вывез его из двора и, зацепившись за асфальт, устремился вперёд, урча, как сытый зверь.

Для тех, кто занимается берегоукреплением, фраза «откос пополз» как сигнал пожарной тревоги – все бросай и скорей беги на помощь.

Строительная площадка нового микрорайона лениво расположилась на берегу реки. По плану застройки нужно было укрепить береговую полосу, сделать пирс для яхт и катеров, а для люда попроще намыть песчаный пляж.

Когда стали вести подготовку к заливке бетона, выяснилось, что геологию дали неточную и под верхним слоем есть так называемый пływун. Толстая канализационная труба, долгие годы дарившая реке отходы жизнедеятельности города, проржавела и, постепенно вокруг неё воз-

никло небольшое подземное озеро. Точнее болото. В какой-то момент под давлением техники, стоящей на откосе, верхний слой «поехал».

Сергея, два года назад окончивший архитектурно-строительную академию, работал прорабом и очень хотел прославиться. Мечталось ему построить на берегу реки стоэтажный дом. Не больше, но и не меньше.

Дипломный проект «Стоэтажный дом в городе Н» он защитил на отлично, устроился на работу в солидную строительную фирму и сам попросился на участок, выполнявший работы по берегоукреплению.

И вот на тебе!

Михалыч делал частые, глубокие затяжки, выпуская клубы дыма прямо перед собой.

– Примчался, голубь? Куда же ты смотрел, дебил?!

– Все по документации, Михалыч! – Сергей пропустил мимо ушей обидное слово.

– По документации? А мозги включить? Видишь трубу? Чувствуешь, воняет?

– Да, – растерянно ответил Сергей.

– Караганда! – рассвирипел Михалыч. – Хрен ли тогда прямо над ней три экскаватора и кран?!

– Михалыч, не думал я...

Начальник участка не дал договорить. Он щелчком выбросил докуренную до фильтра сигарету и хлопнул Серёгу по спине ладонью величиной с лопату:

– Давай, голубь, вперёд, за стропаля поработай, а я за крановщика!

Только тут Сергей понял, что на объекте их только двое. Видимо, мудрый Михалыч не хотел лишних вопросов от охраняющих и надзирающих органов.

Через четыре часа они пили водку в вагончике-прорабской. Закуски, кроме сухарей из ржаного хлеба, не было, да им она и не требовалась.

Кожа на Серёгиных ладонях местами была содрана до мяса – с витыми стропами и крючьями крана полагалось работать в рукавицах.

Он почувствовал боль всего один раз: содрало кожу безымянного пальца, защемленную между обручальным кольцом и стропой – так крепко он её сжимал.

Сергея «по живому» снял кольцо, аккуратно вытер кровь, потом убрал его в задний карман джинсов.

Неделю он был на больничном и каждый день ездил в поликлинику на перевязку. Ладони зажили, осталась только корочка, которую, когда она становилась как камень, он аккуратно отковыривал.

Рабочие дали ему погоняло «Браво». Типа он так долго аплодировал, что вон до чего дошло.

Начальство не ругалось – оползень ликвидировали, а техника не пострадала.

Все бы ничего, вот только не может с тех пор Сергей кольцо обручальное носить.

Сначала надеть нельзя было – ладони и пальцы в болячках.

Потом забыл. А тут жена обижаться стала, типа хочешь за холостого сойти!

Надел и места себе найти не может, все кажется, что вот-вот зазвонит телефон, а оттуда Михалыч: «Ты что, мать твою, голубь!»

Снял он кольцо, положил в бархатную коробочку, а коробочку в верхний ящик прикроватной тумбочки. Жене сказал:

– Пусть здесь полежит, чтобы не царапалось, а потом я его нашему старшенькому подарю!

Виктор КУЗНЕЦОВ

Воротынец, Нижегородская область

НА РЫБАЛКЕ

Где-то в параллельной Вселенной...

Берег Енисея, необитаемая, первобытная глушь. Минувала полночь. В палатке мучаются бессонницей двое мужчин. Трезвых. Трезвее них, может, только таймень в ледяной воде, за которым они напрасно гонялись весь день. Только лодку опрокинули. Из полезного – баттерфляем поплавали. Почему баттерфляем? А в Енисее положено так. Не кролем, не брассом, а исключительно благородным баттерфляем, чтоб все медведи в округе ахнули.

«Ведь знал же, что надо было лететь в Епталу, там жарко сейчас, море плещется, яхта простаивает... Эх... А этот заладил: буржуй, чего я на твоей фазенде не видел, айда на природу... Ну вот она, природа: бубенчики судорогой сводит», – думал тот, что постарше, лёжа на боку спиной к товарищу. Физически крепкий, закалённый ежегодными крещенскими омовениями и практикующий хитрые медицинские процедуры, он попросту замёрз этой ночью. Хотелось глотнуть виски и погрузиться в мягкое кресло у камина, а не «вот это вот всё»...

Сосредоточившись на своём дыхании, «дед» стал проваливаться в дрему. Чудился ему легендарный таймень: вот мощный крючок вонзился рыбине в небо, леска задела, уходя с катушки в черноту омота. Он борется с речным чудищем, оба измотаны, и наконец, как в самом страшном

его кошмаре об утонувшей подводной лодке, гигантским бревном на поверхность вынырнул таймень. У него было человеческое лицо, глаза навывкате, как от базедовой болезни, и неряшливая щётка усов. «Я тебя звал?» – раздражённо крикнул «дед» лицу. Глаза-пузыри испуганно зашныряли, усы противно задёргались вверх-вниз. «Тогда пошёл вон!» – и бросил за борт удилище, на лету превратившееся в пентелевскую шариковую ручку. Ему вдруг стало смешно от того, как испугался таймень, как замахал плавниками, почему-то облачёнными в коньки. Крепко засыпая, он даже пару раз хихикнул.

«Смейся-смейся, старик. Завтра моя удача будет, поймаю тайменя и уж не отпущу», – подумал спутник «деда», молодой и самоуверенный рыбак, мигнув от нечего делать фонариком в купол палатки. «А то что ж, всегда и щука ему достаётся, и окунь, как заговорённый, на паршивую блесёнку навалом идёт. У меня спиннинг хоть и немецкий, да блесна отечественная – ещё поборемся!» – воинственно помечтал он и крепко зажмурил глаза. Нужно было покемарить часа полтора – рассвет близко.

– Алёша, подъём! – без лишних церемоний произнёс «дед», сбрасывая с разомлевшего, похрапывающего ловца тайменей тёплое одеяло. Ему было всё равно, услышит ли Алексей команду. Нет – значит, уплывёт без него, впредь будет наука. Раздевшись по пояс, «дед» бодро направился к реке. Умылся водой из батюшки-Енисея, поплескал на грудь, с удовольствием, до красной кожи растёрся жёстким полотенцем.

Под другим берегом, на яме, где им предстояло рыбачить, раздался громкий всплеск. «Дед» встрепенулся: до ямы – метров сто, не иначе, а ударила рыба, казалось, в паре взмахов вёслами. Медлить было нельзя, и он припустил к лагерю.

Алексей варил кофе на газовой горелке и бросал нетерпеливые взгляды в сторону реки. Он тоже слышал, как что-то ударило по воде, но не так отчётливо, как это показалось «деду».

– Пора, пора выдвигаться! Хозяин мелочь гоняет, завтракает, – прошипел «дед» Алексею и схватил припасённое с вечера рыбацкое снаряжение.

– А вдруг это бобры? Да и кофе почти готов. Пять минут погоды не сделают. Присаживайтесь, Владимир, угощайтесь.

Алексей разлил первосортный кофе по жестяным кружкам. Они пили, обжигаясь и шумно втягивая воздух, изредка поглядывая друг на друга.

– Думаешь, одолеешь тайменя килограммов на сто? – спросил «дед», не выдержав молчания.

– И на сто пятьдесят одолею. Зря, что ли, вы «Сайгу» с собой берёте? Главное – подтянуть его поближе, прицелиться в голову, шмальнуть и багром достать. Вдвоём управимся.

– Ну-ну. Рассуждаешь, как всю жизнь царь-рыбу ловил, – усмехнулся «дед» Владимир и уважительно, будто здороваясь, провёл ладонью по зачехлённому карабину.

До света рыбаки покинули берег. Алексей сидел на вёслах, грёб энергично, пока не преодолел течение. Через тринадцать минут лодка подошла к выступающим из воды камням, за которыми и была яма – дом легендарного гиганта.

«Дед» не спеша, умело подготовил снасть и занялся ловлей. Проводка, вторая, третья... Алёша трясущимися от предвкушения добычи руками всё никак не мог привязать блесну, нервничал, чертыхался и сплёвывал за борт. От напряжения у него не по-детски заболел живот.

Готово, наконец! Предутреннюю тишину резал теперь свист двух лесок и будоражило поочерёдное бульканье тяжёлых блёсен.

Взошло солнце, заплясало «барашками» на беспокойной воде Енисея. Таймень любит в это время устраивать шумную охоту, оглушительно бьёт хвостом, не опасаясь, что сам станет добычей медведя или браконьера. Однако, вопреки ожиданиям рыбаков, было подозрительно тихо.

«Дед» не терял надежды, хотя испробовал почти всю свою коллекцию блёсен. Солнце слепило, отражаясь от воды, и он надел тёмные очки. Алексей экспериментировать не собирался и упорно забрасывал отечественную блесну, по его опыту – счастливую.

– Ты бы, Алёша, сменил тактику. Пуляешь в одно и то же место, а всё без толку. Попробуй на мелководье, вон у тех

каменной, вдруг повезёт? – посоветовал Владимир, кивнув по направлению течения. Алексей, сколько ни вглядывался, рассмотрел только многочисленные водовороты, между которыми оставалось достаточно места для заброса.

«Там вовсе не мелко, – отметил он про себя, – но попробую».

Резко замахнувшись спиннингом, Алексей отправил блесну в полёт за удачей. На третьем обороте катушки он почувствовал явное сопротивление, с колотящимся сердцем сделал подсечку и понял, что приманка зацепилась намертво. Возможно, попала меж двух камней. Ещё раз провернув рукоятку, Алексей смирился с потерей счастливой блесны и шагнул к борту лодки, чтобы немного ослабить натяжение лески.

Это было роковой ошибкой. Его со страшной силой потянуло в воду нечто, притаившееся там, на дне. Как бракованный пластмассовый солдатик, наскоро отлитый в Китае, Алексей рухнул за борт. Глубина несерьёзная – около полутора метров, но от неожиданности, от испуга он вдохнул, и вода хлынула в лёгкие. За считанные секунды, не помня себя, он смог вынырнуть и встать, кашляя до звёздочек перед глазами.

– Бросай удочку! Утопит! – кричал «дед» что было сил, перебираясь с носа лодки на корму, ближе к Алексею. Мощным рывком таймень (кто же ещё?) довершил дело и обломал хлыст немецкой снасти, будто он был сделан из кленового прутика. Не выдержал и механизм катушки, разлетелся вдребезги. Плетёная леска была перерезана, скорее всего, острым плавником. Таймень ушёл, ни разу не показавшись на поверхности.

– Долго собираешься там стоять? Залезай в лодку, герой. Да брось ты эту бесполезную палку! – тормошил Владимир горе-рыбака, впавшего в прострацию.

– Вы, молодые, всегда так: с голой ж... на танк прёте, – помогая Алексею перевалиться через борт, приговаривал «дед». – Ни опыта у вас, ни стратегии, ни понимания, как дальше быть. Подцепил ты его на крючок, а сам не справился; теперь ему с тем крючком плавать до голодной смерти, если не выплюнет. Разве по тебе такая громади-

на? Дети вы – на ногах ещё стоять не научились. Что, не согласен?

Алексей молчал, демонстративно выливая воду из невысоких резиновых сапог. У него получилось то, о чём другие могли только мечтать: он заставил царь-рыбу подняться со дна уютной ямы, он держал гиганта на привязи. Пусть ненадолго, но всё же он ощутил вкус маленькой победы.

Поднялся утренний ветер, оживил сосны и лиственницы на древних берегах. Рыбачить дальше было бесполезно – не по нраву таймену ветра, дующие с гор и холмов, залёт он на дно, растревоженный и раненный блесной Алексея, затаился. Надолго ли? Испуг пройдёт, боль утихнет, и снова голод выгонит его на мелководье. А кто знает, вдруг новый рыбак окажется сильнее?

Вдруг очередная блесна будет по-настоящему счастливой?

Владимир КЛИМЫЧЕВ

ДВОЙНИК

Встреча с ним перевернула мою жизнь, если не сказать больше. И все потому, что вдруг объявившийся двойник был явно не из тех, кого принято называть феноменально похожим человеком, иначе говоря – не таким, как все, исключением.

Утром я ехал в переполненном вагоне метро и уже начал готовиться к выходу, меняясь местами с другими пассажирами, находившимися ближе к двери. Незнакомый мужчина, всю дорогу стоявший ко мне спиной, резко повернулся, и его лицо оказалось напротив. Не обману, если скажу, что в момент той злосчастной встречи мы оба вздрогнули от неожиданности или даже испуга, не сдержав чрезмерной реакции друг на друга. Чем была вызвана растерянность, сказать сложно, ведь ничего страшного тогда не случилось, но каждому из нас как будто вынесли суровый приговор: это двойник! Ошибиться было нельзя, как и найти подтверждение возникшей догадки, потому что между пассажиром и мною не было ни капли сходства. Незнакомец выглядел чуть выше и худее, имел особенный тип лица, его длинные светлые волосы контрастировали с моими – темными короткими. Я был одет в строгие серые брюки, рубашку и легкую куртку, а мужчина, словно обманутый метеорологами, вышел на улицу в длинном пальто, под которым виднелся пестрый шерстяной свитер и джинсы. Если обобщить, то внешне мы были похожи не

больше, чем два случайно встретившихся пассажира. При этом каждый знал наверняка: перед ним стоит двойник.

В тот день мы оба испытали эмоциональный шок, но не сказали друг другу ни слова: вышли на ближайшей станции из метро и постарались как можно скорее раствориться в толпе. А через полчаса снова встретились на улице взглядами, поняв, что каждый тайно следит за вдруг объявившимся двойником – под влиянием схожей навязчивой идеи. С той минуты между худым незнакомцем в пальто и мною установилась метафизическая связь, подтолкнувшая к желанию выведать о нем всю подноготную. Уже через день я мог сказать, где живет новоиспеченный двойник, а он располагал этой информацией в отношении меня. Так же легко удалось выяснить, чем таинственный пассажир зарабатывает на жизнь – играет на саксофоне в эстрадном оркестре (и в этом мы безнадежно разошлись: после колледжа я устроился в крупную финансовую компанию, не имея расположенности к творческим профессиям). Повторяю, ничего общего между нами не было, даже мало-мальски схожего, что могло бы вызвать взаимный интерес.

Встреча в метро произошла слишком неожиданно, оставив после себя тревожный след в виде сомнений и догадок, лишивших меня внутреннего равновесия. Жил я как прежде, не давая повода коллегам и близким людям думать, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Но тягостные мысли о двойнике мешали успокоиться, как и мучительные воспоминания о своем прошлом. В этих словах кроется тайна моей связи с двойником, объяснить которую довольно просто. С раннего детства мною руководило осознанное желание вести себя так, чтобы отличаться от гипотетического двойника, в существовании которого я никогда не сомневался. Опасность копирования его действий, пусть мелких и незначительных, рождала во мне смутную тревогу, приводившую к бесконечным депрессиям. Я мог не спать ночами, думая, что в своих поступках являюсь лишь чьей-то тенью. Так возникло желание любой ценой избавиться от унижительной «опеки», почувствовать свою значимость и неповторимость. Думая, как осуществить тайную мечту, я осознал, что единственным

спасением в этой ситуации было стремление к поступкам хаотичным, основанным на спонтанном выборе, позволяющем увернуться от действий безмолвного тирана, во всем задающего тон.

Поясню на простом примере: допустим, мне захотелось купить темный твидовый пиджак, но вместо того, чтобы войти в магазин, подобрать вещь и заплатить, я приобретал светлый шерстяной пуловер. И поступал так с одной целью: обмануть воображаемого двойника, уже купившего в моих мыслях заветный пиджак. Эта история повторялась на каждом шагу, в отношении любой мелочи: я без раздумий отказывал себе в чем-то, лишь бы избежать «навязанной» другим человеком модели поведения. Вы можете сказать, что, избегая действий гипотетического близнеца, я проживал не свою жизнь, а чужую, потому что изменял собственным желаниям: носил не ту одежду, дружил не с теми парнями или девушками, учился не в том колледже и так до бесконечности. Но каждый раз, совершая «обходной маневр», я отказывался идти на поводу у деспотичного «клона» и выражал свою личность. Замечу, я очень быстро освоил сложную науку поступать непредсказуемо, случайным образом, и жил не своей (своей) жизнью на автопилоте – это вошло в привычку и не вызывало дискомфорта.

Теперь о мужчине из метро, оказавшемся моим реальным двойником. Самое интересное в общении с ним началось после разговора на больную для обоих тему. Выяснение отношений заранее не планировалось, так как первое время мы старательно избегали друг друга, не забывая наводить справки: где и с какой целью бывает «половина», как проводит выходные, с кем общается. Новая встреча с двойником произошла так же неожиданно, как и первая. Мы столкнулись на многолюдной улице, почти нос к носу, и в замешательстве продолжали стоять рядом. Набравшись смелости, я первый спросил незнакомца, давно ли его беспокоят мысли о двойнике? Ответ шокировал меня и в то же время показался естественным: мужчина знал о его существовании с детства, а когда увидел меня в вагоне метро, понял, что проблем стало больше.

Как и положено настоящему двойнику, он в деталях рассказал то, что я раньше испытал на собственном опыте. Беспрестанные мысли, связанные с нежеланием «жить под копирку», и поиски обходных путей, помогающих выразить собственную личность – из этого складывалась его жизнь. Как и в моем случае, бедняга всегда говорил не то, что думал, носил купленную наугад одежду, посещал рестораны, которые не любил, слушал музыку, к которой не имел пристрастия. Большинству людей слова мужчины могли показаться странными, привести в растерянность, но ведь я знал ситуацию изнутри, и они меня не удивляли. Пытался ли новый знакомый вычислить среди окружающих гипотетического близнеца? Нет, потому что он жил в воображении, и эти попытки были обречены. На его месте я ответил бы так же, ведь сам ни разу в жизни не заподозрил в постороннем человеке двойника – различия дали бы о себе знать. Вы скажете, что и мужчина из метро был совершенно не похож на меня. Да, это так, но его преследовала схожая идея, мешающая жить, и только по неуловимым для обычных людей признакам мы вычислили друг друга, оказавшись в одном вагоне метро.

Дальнейшие события развивались непредсказуемым образом. Общение с Диком (так звали моего двойника) становилось более тесным, и вскоре мы начали по-дружески встречаться, преследуя цель изучить тайную сторону феноменального сходства. Темой разговоров, как легко понять, стали наши сокровенные желания, почти всю жизнь остававшиеся нереализованными. И тут меня с Диком подстерегала опасная ловушка. Вслед за предложением выпить по стаканчику любимого крепкого напитка, выяснилось, что Дик был равнодушен к шотландскому виски Chivas Regal, а в виде «обходного варианта» употреблял Blue Label. Казалось бы, сущий пустяк, но дело не в марке горячительного напитка, а в том, что мои предпочтения были точно такими же, правда, обманывал я виртуального двойника с помощью более дешевого Glen Clyde. Когда эта пикантная подробность выплыла наружу, мы с Диком обреченно замолчали, поняв, в какую нереальную ситуацию попали. А дальше не оставалось ничего

другого, как отбросить условности и честно рассказать друг другу: о чем мы с детства мечтали, что любили и хотели иметь за какие угодно деньги, не боясь повторить выбор двойника. Самые страшные ожидания подтвердились на сто процентов: в отсутствие внешнего сходства мы с Диком оказались точной внутренней копией друг друга. Будучи подростком, он, как и я, мечтал заниматься дайвингом, но записался в секцию велоспорта – известно почему. Всю жизнь Дик мечтал купить мотоцикл, но, помня о схожих привычках безмолвного угнетателя, сдал на права и приобрел автомобиль. В случае со мной – та же история. Учиться Дик хотел в колледже архитектуры и дизайна (полное совпадение), а не в музыкальном; он был, как и я, заядлым футбольным болельщиком, но следил за игрой мюнхенской «Баварии», вместо мадридского «Реала», также почитаемого мною. Я мог бы продолжать этот ряд до бесконечности, но картина пугающего сходства повторялась: одни и те же любимые книги, фильмы, рок-группы, копирующие друг друга предпочтения в одежде и еде, общие, тщательно маскируемые привычки. Только «заменители» были разные.

Хорошо помню нашу последнюю встречу с Диком – он пригласил меня к себе домой. Мы оба знали: случилось что-то невероятное, находящееся за гранью человеческого понимания, и дальнейшее общение может привести к жуткой трагедии, причины которой были скрыты. Сложившиеся к тому времени приятельские отношения дали трещину, возникла напряженность, о которой я успел забыть с самого начала знакомства. Мы сидели молча, избегая взгляда друг друга, а затем произошло нечто страшное, о чем я не забуду до конца жизни.

Дик первый догадался, что объединило наши жизни по-настоящему. Он подошел к старому письменному столу, отпер ключом ящик и вынул увесистый фотоальбом, который, скорее всего, хранил от посторонних глаз. Открыв нужную страницу, Дик протянул мне альбом, при этом его взгляд выдавал крайнее смятение, обреченность и даже страх, объяснить который удалось только в следующую минуту.

– Я любил эту девушку всю жизнь, но женился на другой, чего не могу простить себе до сих пор.

Мне пришлось взять альбом и посмотреть, кто изображен на снимках. Выразительные глаза, точеные губы и нос, пышная шевелюра. Красотку звали Ева: я тоже любил ее и даже испытывал ответные чувства, но так и не предложил девушке связать наши судьбы, по причине существования гипотетического двойника и его возможной влюбленности в эту девушку. Моя история в точности копировала ситуацию в личной жизни Дика, этому даже не требовалось доказательств. Мы оба потеряли любовь из-за тайных опасений и необоснованных страхов, хотя много лет имели семью.

Дик взял у меня альбом, не сказав о Еве ни слова. Казалось, детали его больше не интересовали, общая картина прояснилась, и теперь нужно было подвести под нашими отношениями итоговую черту.

– Вы погубили мою жизнь, – спокойно произнес Дик.

Такое развитие событий стало для меня полной неожиданностью, хотя напряжение последних минут могло иметь только драматичную развязку. Двойник пришел к важному для себя заключению, определил дальнейшую тактику поведения со мной, но в чем она выражалась конкретно, я пока не знал.

– Мы не виноваты в том, что случилось, – ответил я так, словно искал оправдание каждому произнесенному слову. – Желание быть непохожим на двойника сильно изменило нашу жизнь. Но зачем сейчас нужны взаимные обвинения, ведь мы могли и не узнать друг друга!

– Встреча произошла, и это сильно осложнило ситуацию. А значит, все сомнения и страхи, долго преследовавшие нас обоих, должны уйти, чего бы это ни стоило.

В тот момент я не понимал смысла произнесенных Диком слов и вряд ли мог предугадать, что случится в следующую минуту. Хозяин квартиры снова подошел к деревянному столу и положил фотоальбом в ящик, затем выдержал паузу, словно убеждая себя в чем-то, и резко повернулся. В его руке виднелся пистолет, ствол которого смотрел прямо на меня.

– Или вы, или я, – решительно произнес двойник. – Иного не дано. В противном случае мы будем страдать всю жизнь.

Ситуация выглядела пугающей. Только что мы с хозяином квартиры мило беседовали, пили виски, а теперь я находился у него под прицелом и выслушивал смертельные угрозы. Пистолет, судя по всему, давно лежал в ящике, но воспользоваться им Дик решил в последние минуты, когда узнал о Еве. Впрочем, детали в ту минуту были не важны, палец двойника лежал на курке, и одно движение могло оборвать мою жизнь.

– Дик, вы совершаете ошибку. Я пришел в этот дом как друг, будучи уверен в своей безопасности, и незачем поступать так жестоко.

Двойник не реагировал на слова. Вместо ответа он поднял пистолет, хладнокровно прицелился и нажал на спуск. От неожиданности и страха я закрыл голову руками, что вряд ли могло спасти жизнь. Дик стоял в пяти шагах, и пуля наверняка сразила бы меня насмерть. Но чудо произошло в самый нужный момент: вместо выстрела прозвучал спасительный щелчок – пистолет дал осечку. Я тут же вскочил с кресла и бросился на двойника. Он успел нажать на спуск еще раз, выстрел раздался, но секундой раньше я отвел руку с пистолетом в сторону – пуля угодила в книжный шкаф, раздробив его полированную стенку.

– Вас посадят в тюрьму за убийство, кому от этого станет лучше?

Вступив в отчаянную борьбу, я пытался отговорить Дика от безумных действий.

– Должен остаться кто-то один, – гневно выкрикнул мужчина. – Зря мы встретились...

Было ясно, что остановить Дика с помощью слов не получится. К тому же он оказался довольно сильным, и мне приходилось думать о спасении собственной жизни. Двойник предпринял очередную попытку выхватить руку с пистолетом. Движение его оказалось неподготовленным: кисть вывернулась, направив смертельное оружие ему в голову. Раздался очередной выстрел, и в тот же миг в голове Дика возникла жуткая дыра, из которой начала хлестать

почти черная кровь. Тело мужчины сразу обмякло, руки опустились, пистолет упал на ковер. Преодолевая шок, я осторожно положил его на пол.

Ситуация разрешилась самым трагическим образом, и я не знал, как поступить, чтобы отвести от себя возможные подозрения. Мужчина погиб по своей опрометчивости, а меня от верной смерти спасло чудо – невольно крутилось в голове. И кто мог предвидеть, что случайная встреча в метро обернется такими страшными последствиями. Опережая события, скажу, что судьба избавила меня от необходимости доказывать полицейским свою невиновность. Не нужно было в спешке прятать тело убитого двойника и выроненный им пистолет, стирать кровавые следы, оставшиеся на ковре, и многое другое. Получивший смертельное ранение мужчина бесследно исчез, зародив подозрения, что мы не пили с ним виски, не обсуждали фотографии восхитительной Евы. Объяснить этот странный фокус – главная проблема: всего на секунду я выпустил из поля зрения лежавшего на ковре Дика, а когда повернулся, не обнаружил тела на прежнем месте. Двойник словно растворился в воздухе, не оставив никакого напоминания о себе. Роковая встреча произошла в его квартире, среди множества вещей – это верно. Но при детальном осмотре гостиной выяснилось, что предметы принадлежали другому человеку – квартира была съемной. Только альбом с фотографиями и пистолет имели к хозяину дома прямое отношение, но они исчезли вместе с ним.

Какое-то время я обдумывал жуткие события, пытаюсь восстановить контакт с реальностью при помощи виски, оставшегося в бутылке Дика. Но объяснить происшествие логически так и не смог. Что случилось со мной в тот вечер? Теряюсь в догадках. И все же обмануть свою память и чувства нельзя, ведь я помню, как живой Дик сидел в кресле и говорил со мной, а после ожесточенной схватки видел мертвое тело и кровь – что еще может заставить человека поверить в реальность происшедшего. Двойник не мог прикинуться мертвым, а затем каким-то фантастическим способом выйти из комнаты, прихватив вместе с собой пистолет и фотоальбом. Напомню о крайне важной

детали: выстрелов было два, и первая пуля, миновавшая цель, раздробила стенку книжного шкафа. Я тщательно обследовал шкаф после исчезновения Дика – никаких следов на дубовой панели не осталось.

Обращаться в полицию было бессмысленно. Придя в чувство, я вышел из чужой квартиры на улицу и отправился домой. Кто поверит рассказу о случайном убийстве, если нет ни пистолета, из которого были произведены выстрелы, ни самого пострадавшего. Двойник исчез, и я был уверен, что больше никогда его не увижу.

История знакомства с Диком, его трагическая гибель и исчезновение крепко засели у меня в голове. Восстановить душевное равновесие после таких событий оказалось сложно. И все же наличие метафизической связи между Диком и мною заставляло думать, что смерть реального двойника принесет избавление и от его воображаемого соплеменника, долгое время жившего в моем сознании. Выйдя победителем из смертельного поединка, я ощутил необъяснимое желание избавиться от них обоих: Дика сразила пуля, выпущенная из собственного пистолета, и теперь хотелось, чтобы виртуальный двойник тенью отправился бы за ним. Чуда не произошло, но и здесь не обошлось без фантастических перевоплощений. Дело в том, что гипотетический двойник был для меня чистой абстракцией – он не имел ни внешности, ни характера. Представить его в виде конкретного человека я просто не мог. А после случайной гибели Дика этот диктатор мгновенно обрел плоть и превратился в знакомого пассажира метро – длинноволосого саксофониста, имевшего за плечами несчастную любовь к очаровательной Еве и попытку застрелить такого же неудачливого «соперника». Двойники совершили нечто похожее на шахматную рокировку: один из них исчез, а другой тут же принял его обличие.

О странном перевоплощении или подмене я узнал вскоре после гибели Дика, когда утром добирался в офис. В переполненном вагоне метро вдруг освободилось сиденье, которое можно было занять. И как только эта мысль возникла, я словно наяву увидел Дика, расположившегося на вакантном месте. К неожиданному появлению вирту-

ального двойника я был готов с детства, но то, что главная роль вдруг достанется Дику, «сбежавшему» из реальной жизни, оказалось сюрпризом. Мы снова встретились взглядом, оба вздрогнули от неожиданности, поняв, кем являемся друг другу. И все же традиционный защитный механизм сработал: в мыслях я уступил место другому пассажиру, таким образом противопоставив свое действие выбору Дика. Тайный преследователь моментально исчез – как во время роковой встречи, когда мы пили виски.

Теперь я живу с Диком бок о бок, но, признаюсь, это не доставляет мне хлопот. Если вы хоть раз ночевали в гостиничном номере с посторонним человеком, то знаете, как легко привыкнуть к любому соседу. Примерно в той же ситуации оказался и я: Дик всегда находится рядом, преследует на каждом шагу. Но однажды я подумал, что без него, наверное, чувствовал бы себя одиноким.

Лирический портрет

Елена КРЮКОВА

ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ

Фрагменты

Россия, словно спящая царица из сказки Александра Пушкина, не вдруг, не чудом, но начинает выходить из своих страшных снов и прискивать ту опору – физическую и духовную, – которая верно спасала её народы ещё во времена Древней Руси – это соборность. Та соборность, когда государство начинает понимать своё социальное предназначение, направленное на народосбережение. Физическое и духовное.

Духовная русская соборность ярко проявляет себя в сегодняшней практике особенного духовного пения: в знаменном распеве, где голоса поющих молитву сливаются в унисон, в монолит единогласия, в разумное соборное единомыслие.

Автор поэтического произведения «Знаменный распев», Елена Крюкова (профессиональный писатель и музыкант, имеющий многолетнюю практику церковного пения), просветлённая и вдохновлённая идеей духовного объединения людей, возможностью опоры их на древние, но живые традиции, способные воспринять новизну современной жизни с её болезненными вопросами, создала – в искусстве слова – современную версию знаменного распева.

В книге «Знаменный распев», в этом поэтическом молитвослове, активно участвуют вне временных рамок десятки голов из разных эпох и народов, поющих в унисон с одной мыслью – о продолжении Рода, продолжении достойной жизни на земле.

Это и мать, несущая своё дитя навстречу жизни. Это и усталая баба с корзиной белья на быстрой реке. Это и молитвенное песнопение Богородице. И моление о Роде. Это и счастье оцущения жизни, полёта над бездной безвременья.

Это и заплачная песня от бессилия перед безрассудством войны.

Не надо быть пророком, чтобы в самые тяжкие времена знать: тот, кто с Господом, видит главное. Знать, что Второе Пришествие может произойти обыденно, без предупреждения. Знать, что есть и грехи неоплатные, что есть спрос за неразменный талант. Знать, что есть спрос за жизнь земную, дарованную Господом.

Верую, что к этой общей молитве, к этому чудному вне-временному языку русской музыки и поэзии присоединятся ещё многие и многие люди со словами благодарности автору за возвращаемую красоту, за исповедальную искренность и открытость.

Александр ШУБИН, поэт

– Ирмосы канонов Св. Пасхи «Воскресения день, просветимся, людие»

Воскресения день, просветимся, людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поюция.

Христос воскресе из мертвых.

Очистим чувства, и узрим непреступным светом воскресения Христа блистающая, и радуйтесь рекуща, ясно да услышим, победную поюще.

Христос воскресе из мертвых.

Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное.

* * *

Воскресения день, просветимся, людие!

Я Миръ ваш безбрежный несу вам на блюде –

Беспредельный, бессчётный, бесстрашный,

бессмертный:

Упованный, упорный, безумный, безмерный.

Вся толпа, да, под куполом мощным и грозным –

Замалёванным синью святой, многозвёздной,

Каждый лик то в потоках солёных рыданий,
То улыбкой горящий во мраке преданий...
Люди, люди! Округ изумлённо толпитесь.
А вас солнечно вяжут сиянием нити –
Тот полярный утók, тот – в зените – мафорий,
Серафимы крылатые в чёрном просторе...
Я во храме стою! Среди вас, дорогие!
Всея одеждой окутан – сердца лишь нагие,
Дорогие, стучат обречённую кровью:
Колыбельным левкасом – к небес изголовью...
Всея мне дорог, хотя никого тут не знаю!
Человек, или зверь, или роза шальная
Запредельного снега, посмертного лика,
Вспоминального века, последнего мига!
Всея мне близок – слепым волосёнком на коже,
Кто со мною стоит?.. именую Тя, Боже!
Ты вот в этом, в ушанке замурзанной, старце –
А в кармане – бутылъ – для сугреву – что Святцы...
Ты вот в этой лукавой, две коски, девчужке –
Тонких русых кудряшек сосновые стружки:
Привела её бабка под купол за ручку –
Ах, смертельно больную, любимую внучку...
Ты вон там, далеко, у планетной апсиды,
Все кометами вспыхнут немые обиды –
Тихо крестится, плачет мужик бородатый,
Будто завтра, в метели, идёт во солдаты...
Да мы все, о, мы все во солдаты уходим!
Мы ревём при народе! Блажим при народе!
А расстреляны – вспыхнем безвинным весельем,
Неприступным, победным костром Воскресенья!
Вы не бойтесь, мои легкокрылые люди!
Непомерно-грядущее мёртвых разбудит!
Вот катит из-под купола – раннею ранью –
Так давай же обнимемся, до задыханья!
Всея из нас хоть во Пасху – и любит, и верит!
Всея из нас хоть во Пасху не помнит потери!
Вот монахиня рядом тихонечко плачет –
Обнимаю её всей душою горячей,

Так притисну к груди, жизнь мою удалую,
Троекратно, прощально и встречно целую!
Вы родные мои! Ледоходные льдины!
Вы пройдете, растаяв – а непобедимы!
Я девчонка, юница, старуха меж вами –
Обнимаю вас крепко огнями-руками!
Осенённо крещу вас кострами-глазами!
Обливаю слепыми дождями-слезами!
Вы собор мой, ночной, незабвенный, суровый,
Праздник мой, налетающий снова и снова,
Купол мой, раскрывающий Рая ворота,
Стон и смех мой, звезда золотого полёта!
И, пока мощный хор нам гремит Аллилуйю,
Я тебя обниму, я тебя поцелую –
Мой Пасхальный, погибший в пылающих войнах,
О, воскресший мой Мирь, так улыбка спокойна,
Мой скуластый, в поту, седина и ушанка,
Уходящий в бессмертие с нищей гулянки,
Ну же, шаг лишь ко мне деревянной ногою,
Пуст рукав, пусть я буду твоею рукою,
Твоей памятью, светлой водою ирмоса,
Твоей заметью северной, белые косы,
Бормотаньем твоим и спиртовым дыханьем,
Всем забвеньем твоим, всем твоим вспоминаяньем,
Видишь, дед, обняла тебя крепко, навеки –
Крепко небо! Целуемся мы, человеки.
И никто нас на куполе том не напишет.
И никто не поднимет нас выше и выше.
Стой себе на земле, обнимайся с родными,
Бормочи, умирая, любимое имя.
Повторяй, воскресая, предвечную ноту
В лучезарном кондаке большого полёта!

...и во храме пред тем стариком на колени
Я встаю, посередь заревых песнопений,
Многоликого хора, толпы моей кровной,
Деревянная церковь, тяжёлые бревна,
Светозарная роспись, рекой льется фреска,
Мой ты бакенщик, бедный рыбак, где же леска,

Обвяжи нас, Господь, Твоей сетью насущной,
 Я лишь рыба Твоя, во народе плывуща,
 Я лишь свечка Твоя, блюдо паникадила,
 Я сандаля Твоя, я с Тобой ходила
 Вдоль по нашим снегам, по чащобам печальным,
 Дай мне нынче во храме кулич Твой Пасхальный,
 Кус мне радости дай, что для всех, для народа,
 Для любви, для ее непостижной свободы.

– Тропарь субботы, всем святым и усопшим «Апостоли, мученицы и пророцы»

Апостоли, мученицы и пророцы, святителие, преподобнии и праведнии, добре подвиг совершившии и веру соблюдиши, дерзновение имущии ко Спасу, о нас Того, яко Блага, молитве, спаситися, молимся, душам нашим.

Яко начатки естества Насадителю твари, вселенная приносит Ти, Господи, богоносныя мученики; тех молитвами в мире глубоце Церковь Твою, жительство Твое, Богородицею соблюди, Многомилостиве.

Помяни, Господи, яко Благ, рабы Твоя, и елика в житии согрешиша, прости: никтоже бо безгрешен, токмо Ты, могий и преставленным дати покой.

Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Война

Виверны, аспиды, единороги...
 Певца Алконоста слеза скупая
 Клеймит светилом, Венерой строгой...
 А ночь войны валит, наступает.
 Орут олени. Трубят тритоны.
 Немые гарпии корчат рожи.
 А ночь войны течёт с небосклона,
 Уж ливнем хлещет в тугие кожи.
 Гудят Олоферновы барабаны.

Вопят дудуки Исуса Навина.
Содрав медный шлем, седой и пьяный,
Спит царь – пастухом во мгле овина.
Несчастных, таинственнейших и кротких,
Нас влёт бьют – павлинами и глухарями.
Апостоли, мученицы и пророцы
Гремят в Давидовы бубны костями.
На чёрном ветру, полном перлом-крупкой,
Железные глотки свои разымут
И вдаль блажат, а яблоки хрупки
Глазные, слезятся, от лука, от дыма.
Война. Она василиска древнее,
Жесточе пламенной мантикоры.
Схвати её, поборись-ка с нею,
Она человек, а не мандрагора.
Она всего лишь небес саламандра,
Красотка с горелой, скошенной мордой,
Уродка-эринья, коса-Кассандра,
Летящая пулей гневной и гордой,
Звонящая мрачным тимпаном кольчуги,
Горящая – в звёздах – пожаром Трои...
Война. На своя возвернулись круги
Вожди, изветренные изгои.
Изюм пересыпать в ладонях. Зубами
Отсечь кус походной лепешки пресной.
Назавтра сраженье. Назавтра пламя.
Господним Телом – псалом воскресный.
Господней Кровью – в любви признание.
Господней стопою – мечи и латы.
Отдать последнее целованье
Химерам, горгульям, чудищам клятым.
И шлем начищен. И мощны копыя.
Мы – нападаем? Мы – защищаем?
Слетают звёзд холодные хлопья.
Мирь необещаем, невозвращаем.
Мирь просто жуй, запивай ключевую
Струей из фляги, а лучше дамасским...
Война. Опять от тоски завою.
От дымной и злобной посмертной ласки.

От петли на шее – змеёй горячей.
Горн рубит ветер. Смеются сроки.
И только в зените стоят и плачут
Апостолы, мученики и пророки.

– Кондак второй

*Неизреченного и Божественного Твоего к человеком
смотрения, неописанное Слово Отчее, и Образ неписан-
ный, и богописанный победителен, ведуще неложнаго Тво-
его Воплощения, почитаем, того лобызающе.*

Полет

Всегда и здесь. Везде и вновь. И в первый раз.
Возьми, пльиви. Не прекословь. Здесь и сейчас.
Вот этот Мирь, подвздошь дыр, подводье нор,
Я здесь, сейчас, промежду глаз вопит мне хор.
Я Третий Глаз, у неба я лежу во лбу,
Горизонталь, волос печаль, ветла в гробу.
Ожгут ветра. Допрежь, вчера. Здесь Рай и Ад,
Лоб в лоб – с полночи до утра – улыбки яд.
Крыла размах... вот дикий страх – крылом махать...
Лететь, любить, проклясть, простить, и снова вспять.
Мне тыща тысяч голосов рвет сердце в пух
И в прах, и в клочья, на засов сажает Дух.
Дышу. Крылами так машу! Устала плоть.
Я только Дух, ломлю за двух, не проколоть
Меня ни бритвой, ни иглой. Заточка, меч,
Граната, бомба – все долой. Не стоит свеч.
Лечу. Дышу! И вижу всех. Люблю стократ.
В морозе неба – белый мех, планет парад.
Дышу. Восхищена! Гляди! Восхищена.
Горят закатные дожди. Душа одна.
Мой Мирь бушует и вопит, и глух и нем,
Отсюда – ох, потрясный вид, мясной Эдем,
Разъято тело на куски, и нотный стан,
Гармошка ребер, от тоски в дымину пьян
Баян он музыкой упился он – орган
В зенит он музыкой молился всем богам

Последний мой во облацех седой полет
Последний мой горячий цех и скошен рот
Целуй же воздух за гроши крыла вздымай
Лети чуди ори дыши пером стегай
Все безвоздушье между звёзд мешки угля
Полет последний в полный рост а где земля
Она валяется дрожит скользит растёт
Плавающий шар морей пожар калёный плот
Жара отравя рек узлы песчана сеть
А горы – сахаром из мглы их можно съесть
Из чаши выпить костяной – синь-океан
Маши крылами надо мной любовь-буран
Гляди ты Космосу в глаза не струсишь коль
Лети рыдая и сквозь крича: доколь
Пошире крылья распахни глаза разверзь
Ты не питон ты не тритон ты луч и твердь
Рисунок грозных облаков меняет цвет
Крыла жужжат спадет наряд брызнь голый свет
Вот ты бесстрашна и гола а что ж ревёшь
Сжигает вечный огонь дотла ребячью дрожь
Воочью зри великий Взрыв безликий Прах
Летишь глазами так вопишь цветок в руках
Подземно пчёлами жужжим внутри могил
А кто ты кто ты Серафим в соцветье крыл
А кто ты кто ты сонмы букв и знаков и
Царапин-ран и пыток-мук допрежь любви
Парят крыла перо и пух громадный взмах
А кто ты кто ты птица Рух последний страх
Я первый – в небесах – побег дитя зерна
Пшеничных звёзд я человек я здесь одна
Кричу хриплю о где же Бог навзрячь навзрыд
Мирь подо мною одинок он бок круглит
Сияет кровью и слезой святой войной
Как страшно люди над грозой лететь одной

* * *

Ты мой маленький, щеник мой, гриб-боровик,
Ты ведёшь через жизнь мя, прекрасен твой лик,

Ты ведь Ангел, кудрявый ты мой Ангелок,
Видишь, алым окрасился нежный Восток,
Ты ведешь мя, мой свет, через Ад, через Рай,
Ты мне шепчешь неслышно: тётенька, не умирай,
Ты такая ведь добрая... знаю, грешна,
Кто не грешен, а жизнь драгоценна, одна...
Он мой маленький Данте, рыбацкий костёр,
Через реку мой брод, мой святой Христофор,
Мой младенец Христос, Мирь не зрю я от слёз,
Нежный шёпот, мой ландыш, сквозь осень пророс,
Он качается, тает позолотой икон,
Знаком ИХТИС, ладьёй, где индиговый звон
С колокольни над ясной закатной рекой,
Он ведет мя, он мне в руку вцепился рукой,
И послушно за ним я иду, я молчу,
Жги, мой Ангел последний, надежду-свечу,
Нам осталось гореть, нам осталось идти
Лишь вперёд, жизнь сжигая в горячей горсти,
Ты веди мя, мой Ангел, туда лишь, вперёд,
Где никто, о, никто никогда не умрёт,
Ну а я, так и быть, я согласна, умру,
Улечу я листвою на осеннем ветру,
Золотого сиянья у небес не отнять,
Ты веди мя, мой сын, свою бедную мать,
Я покорно молчу, я иду за тобой,
Повторяя кондак пересохшей губой,
Повторяя тропарь кровеносной душой,
Повторяя любовь обожжённой рукой.

– Богородичен Догматик

Иже Тебе ради Богоотец пророк Давид песненно о Тебе провозгласи величия Тебе Сотворшему: предста Царица одесную Тебе, Тя бо Матерь ходатаицу живота показа, без отца из Тебе вочеловечитися благоволивый Бог, да Свой паки обновит образ истлевший страстьми, и заблуждшее горохищное обрет овца, на рамо восприим, ко Отцу принесет, и Своему хотению, с небесными совоюпит силами, и спасет, Богородице, мир, Христос, имеяй велию и богатую милость.

Колокольня

Предста Царица одесную Тебе!
На смертном одре,
на ярой гульбе,
на пыльных пустынных руинах времён –
торжественный колокольный звон.
То я звоню, баба-звонарь!
Звонарка, знахарка, с нарядами ларь,
живой да крепкий сундук костяной:
открой меня – что там было со мной!
Ох, крышка дубовая тяжела:
то глотки вопль, то плеск весла,
то пламя, где в печи горят тела –
а я выжила, на ветру ветла!
Постыдно нынче в колокол бить.
Презренно нынче друг друга любить.
А только скалиться на дружку друг,
А только не прятать красных рук!
Ладони в крови... опричной войны...
А может, просто от мороза красны!
Схвати же вервие! Раскачай язык
Чугунный! Воздень солнечный лик!
Вон там, внизу, твой бедный народ...
Собрался он вдругорядь в поход!
Последний поход!.. секиры-бердыши...
Да бочка с порохом... не дыши...
Моя колокольня, гляди, высока!
В подбор мукомольный вцепилась рука!
В канат корабельный, в рыбачию сеть,
В тугую кручёнку – казнённым висеть...
Все бью да бью в перекрестье огня,
А ветер с размаху – бьёт в меня!
Звонарка, себе господарка, глас
Пылающий, медный, на миг, на час,
Мимо котла – да прямо в нутро,
Мимо зла – да прямо в добро!
Гуди ты, моё добро, гуди!
Отчаянья-злобы ничуть не щади!

Громадной музыкой ложь пробей!
Греми, кричи меж талых людей!
Вопи, ори меж людей-ручьев!
Забыли буквицы Господних слов!
А пусть этот колокол, мой набат,
Ненависть никогда не вернёт назад!
Гуди, мой воздух: по небу круги!
По воде, где сгибли друзья и враги!
По снегу, где мёрзли волки и псы!
По веку, что шурится на часы!
Ах, сколько осталось?! Да чёрт ли в нём,
Во времени тающем, талом моём!
Теки, мой великий звон, плыви!
Народ, не вынесешь моей любви!
Качается колокольня... тяжелый крен...
Летят кирпичи... боль, трава и тлен...
И крохотные – там – фигурки – внизу:
Звонарка! не успеть отереть слезу!
Звони ты! Звони! Лови небо ртом!
Твой ветер вопит! Твоим языком!
Твоим народом твой ветер орёт!
Да мощный звон – он и есть народ!
Крепче, крепче в верёвку вцепись!
Вот так бьёт в колокол вечная жизнь!
Вот так бьёт в колокол утлая смерть –
Плыви, лодчонка, больно глядеть...
И напоследок – от души размахнись!
Яростно ударь! Вокруг оглянись!
Далёко – под тобою – земля твоя:
Озера, реки, выгиб жнивья!
Овины, хлевы... во поле стога...
Моря... пески... заливные луга...
Бегут со знамёнами... ползут во грязь
Малютки, минутки... ты их спаси...
Ты их люби... их ночи и дни...
Ты ими молись... ты по ним звони...
А и что тебе бешено, невнятно кричат?!
Что ты никогда не вернёшься назад?!

Ну и не надо! Заката пожар!
Размах – впотьмах – последний удар!
Последний колокол звонит по судьбе!
...предста Царица одесную Тебе...

* * *

Как тяжело глядеть воглубь
И видеть всё насквозь, до косточки, до жилы.
Всё знать, что будет. Ты пророка приголубь,
Пока мы здесь-сейчас, пока мы живы.

Пророк, для чуда он разверзнет рот,
Плодом воспыхнет в мощных Райских куцах.
...пророк, во срок как всё, как все, умрёт,
Провидя грозный праздник свой грядущий.

Как он, глаза я закрываю – и
Пытаюсь зреть иные окоёмы...
Не вижу ничего опричь любви –
Ни во соборе, ни в Содоме.

Как все орут... свиваются в клубки
Змеиной злобы... языки раздвоены,
И жалят, и кусают – от тоски:
Так от тоски вдруг вспыхивают войны.

Как лбами все сшибаются... вопят...
На сто веков вперёд нам ненависти меты...
Пророк, он больше не придёт назад.
Он всё нам спел. Поцеловал планету.

Не разгадаю Времени письмен.
Не обласкаю клинопись перстами.
Не поднимусь с затёкших я колен
Пред образами, что горят над нами.

Дрожу. Слеза разрежет горечь губ.
Пророчий лик все обречённой, ближе.
Мне тяжко, невозможно зреть воглубь.
Но я гляжу. И не скажу, что вижу.

– Ирмос канона Богородице «Отверзу уста моя»

Отверзу уста мои, и они исполнятся Духа, и слово изреку Царице Матери, и явлюсь светло торжествующим, и воспою радостно Ее чудеса.

* * *

Праздник, это праздник, пусть на полчаса!
 На столах навалена всей земли краса:
 Персики пушистые, вина – южный зной,
 Вспыхнут перевитою сладкою струёй!
 Хрустали гранёные! Олово, латунь,
 Рюмки, чаши сонные, блинная ладонь!
 Чокаемся, хлопаем друг друга по плечам:
 Здравия желаем дням ли, ночам!
 Это праздник Времени! О!.. догадка жжёт.
 Хочу слово выдохнуть, да замолк мой рот.
 Глотку перехватывает рыболовный прут,
 А вокруг – распятые радостью – поют!
 Вносят торт на блюде!.. тесто вдруг косит
 Головой отрубленной... виноград висит
 Кистию бессильною... звон созвездий чист...
 Золотыми листьями... ропотом монист...
 Ах, пирог возлюбленный! Где мой острый нож!
 Пополам разрубленный, нынче не уйдёшь
 От насквозь пирующих, жарко-жадных ртов,
 На тебе жирующих, рыбонька-любовь!
 Ихтис, первозванная!.. на краю взошла,
 Лодкой бездыханною ляжет вдоль стола,
 Носом осетровым – с заката – на восход:
 Рюмки полны крови – веселись, народ!

О, замри, веселие! Карнавалий, встань!
 Грянет Воскресение сквозь оклада скань.
 Встаньте все, бокалом пусть задрожит душа:
 Бог идет! Окончен Путь! Невесомый шаг..
 Бог идет с улыбкою к вашему столу.
 Бог подцепит вилкою рыбную стрелу.

Ему – табуреточку: мол, садись, пируй
С нами... ну, со встречею... под свиванье струй...

Тихо! Тихо! Встанет Он под высверки ножей
Над столом безумным, над сгибаньем шей
В ожерельях зрячих и слепых камнях,
Очами, косящими в факелах-огнях!
И замрёт неистовый Валтасаров пир,
И молчанье чистое вытрется до дыр,
И в ночи хохочущей, страшной тишине
Молвит Он тихонечко, ветром по стерне,
Скажет Он раздумчиво, медленно, как снег
Падает под тучами с поднебесных век,
Выдохнет Он песнею, музыкой огня:
– Завтра все воскреснете. Празднуйте – Меня.

Смолкли железяки все. Смолкло всё стекло.
За столом притихшим Время потекло.
И текло пьянее пьяного вина,
Дрожало сильнее, чем острая струна,
Плакало все громче, безутешней вдов,
Плакало огромней, чем в ночи любовь,
Подставляй стаканы, чашки и бокал,
Он пришел так рано, никто и не ждал,
Он пришел внезапно, как и говорил,
Нынче или завтра, с крыльями, без крыл,
И на пир явился, на безумный пир,
И за нас молился, за безумный Мирь,
Пьяное застолье, рыбы-хрустали,
За терпенье боли да за соль земли,
И сидели, смертные, все мы как один,
За судьбу ответные, за пиры годин,
За кусок ржаного, рюмочку накрыть,
За имя святого, что всю жизнь носить,
Да в лицо глядели, счастливы, Ему,
Пока не истлели, не ушли во тьму,
Да шептали песнею на исходе дня:
«Завтра все воскреснете. Помните – Меня».

– Богородичен Догматик

В Черннем мори неискусобрачныя Невесты образ написая иногда: тамо Моисей, разделитель воды, zde же Гавриил – служитель чудесе. Тогда глубину шествова немокренно Израиль; ныне же Христа роди безсеменно Дева. Море по прошествии Израилеве пребысть непроходно; Непорочная по рождестве Эммануилеве пребысть нетленна. Сый и прежде сый, явлейся яко человек, Боже, помилуй нас.

* * *

Явлейся яко человек, Боже...
Морозом-жемчугом пройди по коже...
Да чтобы волоски все дыбом встали...
На злом ветру, больничном одеяле...
Пожалуйста, не умирай, счастье...
Пожалуйста, не уходи, сила...
Я буду бормотать часто-часто,
Взахлёб и в лоб: люблю... и любила...
Ты жизнь моя... дыхания нету...
Дышу зрачками тьмой лепестками
Дышу во тьме обрывками света
Хожу душой босыми кругами
Летят вдаль волосы вдоль подушки
Не обещали горя в полночи
Склонись и как дышу я послушай
Как я гляжу гляди во все очи
Запоминай замкнут не откроют
Забросят ключ в текучее пламя
Не плачь запомни мя вот такую
Глаза блестят и щёки – кострами
И слышу я как ты трудно дышишь
И я гляжу тебе в глаза тоже
Прости люблю и наклонись ниже
Явлейся яко человек Боже

МОЛИТВА О МИРЕ

Господи Боже наш, Иисусе Христе! Летящий над землёю в небесной пустоте! Воззри на наш Мирь, изломан, избит, как сердце Твое о нём, калеке, болит! Как можешь, Господи, наш Мирь обласкай. Не дай нам испечь войны железный каравай. Не дай... дай... да мы только и делаем, что просим Тебя о том, о сём... а может, иная у нас судьба? Иное сокровище мы в сердце несём?.. Господи!.. да не дай, а только возьми: возьми мою жизнь меж иными людьми! Возьми моё счастье, а только дай всем, кого на земле не зрю и не вею! И пусть я жизнью моею за Мирь заплачу! Жги с двух сторон меня, одинокую свечу! Да только всех, всех, всех, мой Боже, спаси... на земле... под землёю... да и там, в небеси...

Виктор ЛЯПИН

Кстово

ТЫ БУДЕШЬ ТОСКОВАТЬ НЕИСТОВО...

* * *

...звезда моих полей.

Николай Рубцов

Тягуч, как Тимучин, как терпкий воздух влажен,
заплыл осенний день в бульвар, залитый мглой,
и расцвела звезда в ладонях близких башен,
заилена дождем, проколота иглой.

Троллейбус заплутал в шуршанье листолапом,
меж стекол и зеркал сломал свои рога,
и выплеснул из недр поток зонтов и шапок,
и хлынула в дворы их пёстрая шуга.

И странный постовой вознесся над дорогой.
И, глядя на него, допил свое вино
безвестный человек в сосисочной убогой,
которой нет давно, и поглядел в окно –

на то, как он бежал, троллейбус покидая,
на то, как находил в карманах медяки,
на то, как юная, живая, молодая
гроза раскалывала город на куски,

на то, как листопад в промокшем свете таял,
кружился и дрожал, прохожих костерил,

и, стекла сквозь года неонем заметая,
твердил, твердил, твердил: и я здесь прежде был...

И там, где только визг и грязная посуда,
и жарят на плите мгновенные года,
зажглась звезда полей на стенах ниоткуда
и проступил тот лик прощенья и стыда.

И день иных веков, где все вокруг иное,
и тень другой звезды, другого неба чин
открыли тихий свет, забыв про все земное,
шепча: не только тьма, не только Тимучин...

* * *

Из березового легкого –
искр мерцанье солнцеснежное.
Легче ли тебе от легкого
их переливанья нежного?

То мороз, то вьюга. ...Радостно
катят санки – хлоп, и носом в снег.
Из детсада пахнет сладостно
манной кашей, манной прошлых нег.

Позабудешь, бросишь столькое
ради странного грядущего.
Горше ли тебе от горького,
за чертой безвестной ждущего?

* * *

Осень в асфodelевых лугах.
Журавли кричат от нетерпенья.
А у нас одни снега, снега
да синиц серебряное пенье.

Налетели вьюги. Что за блажь?
Закатали реку в лёд метели.

Как ты? Может, весточку подашь
из своих осенних асфodelей?

Все вы так. Умчали, кто куда.
Бросили стихов ночных тачанье.
И привет. И горе не беда.
И – адью, силенциум, молчанье.

* * *

Ты будешь тосковать неистово
ты пропадешь в глухой тоске
по кленам, обгаренным листьями,
с обрыва рвущимся к реке,

по синей церкви с колокольнею,
по волнам полевых мимоз,
рекой спокойною и вольною
разлитых от села до звезд.

Из мглы, из бездны, из забвения
ты будешь рваться в морось дней
к заветным берегам, развеянным
по тайнам памяти твоей.

Клочок земли, живая родина,
над голой Волгой ветра вой,
где старый клен-краснобородина
пылает вечною листвою.

Людмила КУЗНЕЦОВА-КИРЕЕВА

Волгоград

МНЕ ПРИСНИЛОСЬ СЧАСТЬЕ ТИХОЕ...

* * *

*Нет, ещё не состарился я,
Ночью слушать хожу соловья...*

Борис Гучков

«Затрубил» соловушка в дуду...
Слушать за околицу иду.
Свист, почин, раскаты, дробь, желна?
Набежала лунная волна.
Штиль сердечный и девятый вал...
Птаху в темя Бог поцеловал.
На закатной зорьке соловью
Я сама тихонько подпою.
Он – зазнобе: милая, внимай.
Я ж ещё один восславлю май!..

* * *

Ах ты, счастье моё тихое,
Просто блеск счастливых глаз!
Ходики на стенке тикают,
Отмеряют каждый час.

Я же – с книгой на диванчике,
Кошка трётся о бочок.

В телевизор целит мячиком
Белобрысый мой внучок.

Сын с невесткой не ругается,
Муж и ласков, и толков,
А со школы возвращается
Младший сын без трояков.

Мать ещё бодра, не в бедности,
Жив отец, жива сестра...
Брат – сторонник ярый трезвости,
И судьба ко всем добра!

И содома нет с гоморрою,
И вместителен ковчег.
Да и я – не баба хвораю,
А молодка краше всех.

Ходики на стенке тикают,
И туманит дрёма глаз...
Мне приснилось счастье тихое,
Без особых там прикрас.

Подругам-дачницам

Свет в окошках Люси, Любы...
Луч закатный на меже.
И поэтому – на убыль
Все тревожинки в душе.

Раз вокруг живые люди –
Ночь смугла, а не черна,
И бессонницу не будет
Звать глазливая луна.

Пусть себе шныряют тени
От деревьев на тропе,
Да потрескивают стены,
И горланит вѣтр в трубе...

Пусть гогочут, точно гуси,
Лягушата на реке...
Свет у Любы, свет у Люси...
Засыпаю налегке.

А соседушкам удача,
Если свет включаю я.
Где-то там, на Горних дачах,
Их любимые мужья.

Ну а бабы коротают,
Хлопоча, земные дни
Что так быстро отцветают...
Вспыху молнии сродни.

* * *

Изнемогая от жары,
Ругаюсь жутко.
И мошкара, и комары –
Напасть, не шутка!

Пью раскалённый кислород,
С травой споря.
А где-то нежится народ
Средь пальм у моря.

Мотыгу бросив, налегке
(Пусть пашет трактор)
Шасть за калитку и... к реке...
Давно бы так-то!

Бьют родники на глубине,
Прохладно телу...
Эй, вы, средь пальм... у моря... мне
До вас нет дела!

До ваших Турций и Мальдив!..
Твердит сердечко:

На свете дивное из див –
Мосток и речка.

Как говорится, нам иной
Не нужен берег.
Пусть комариный, но родной
Заволжский ерик.

* * *

Не надыхаться, говорят,
До встречи с вечностью...
Листву роняет вертоград
С земной беспечностью.

Редее сень его дерев,
Просветы синие
Займёт закат, забагровев,
Застудят инеи...

Гнезда голубка не совьёт
На хвойной лапушке,
А соловейка не споёт
Романсов ладушке...

Пусть рощи Горние вдали,
И стёжки звёздные...
А мне страдальной жаль земли,
Где пожни – росные...

Из свежей прозы

Урмат САЛАМАТОВ

Бишкек, Киргизия

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СОЛНЦА

Где-то видела «технику счастливой жизни» – пишешь все синяки внутри себя на бумаге, а потом сжигаешь листочек. Говорят, помогает – прошлое отпускает. Ну что ж, пробую!..

1

Родители ругались. Постоянно. Как звери за территорию. Слово за слово и уже кричали с пеной у рта. Истерили. Шипели, как кипятильники без воды. Обязательно ломали что-нибудь – посуду или мебель. Махали руками, закрывали ладонями лица, вздымали головы, закатывали глаза. Как в театре. И я – актриса второго плана, которую не замечали главные героини драмы, – самоотверженно отыгрывала свою роль – металась между ними, пытаясь успокоить и примирить. А заканчивали всегда тем, что папа багровел до потери здоровья и вне себя обвинял маму в бесплодии. Когда она, не в силах ничего ответить, прятала лицо и уходила в другую комнату, он минут десять ходил кругами от одной

стены к противоположенной, недовольно качал головой и еле слышно шептал что-то. Брови его, будто спаянные веедино, не могли разойтись. В таком состоянии он ложился спать. До утра тяжело, отрывисто дышал и стонал во сне.

Уложив папу и, убедившись, что ему ничего смертельного не угрожает, я прокрадывалась в объятия мамы. Прижималась к груди, гладила по спине и пыталась успокоить. После ссор она по обыкновению не спала ночами. Смотрела отсутствующим взглядом через пол, будто дьявола в глаза проклинала. А на меня и не взглянет. Слова не выронит. Лишь изредка произносила: «Спи, родная. Я еще чуть-чуть посижу...» Иногда я засыпала, но чаще не могла оставить ее одну и всхлипывала вместе с ней, чувствуя себя виноватой...

В день моего рождения мама потеряла много крови и чудом выкарабкалась. Врачи долго боролись, но сохранить божественную искру не смогли. С тех пор она утратила возможность носить под сердцем детей. Это очень огорчало папу. Он стал выпивать. И драться...

Папа в юности был чемпионом города по карате. Не думаю, что он растерял навыки, просто ему нравилось, когда его бьют. Что-то он от этого получал, как будто батареи внутри себя подзаряжал. Бывало, кричат на улице: «Бей его!», «Сильнее!», «Во! Ух, хорошо!» Мы с мамой выбежали на балкон поглядеть что случилось, а там папа против троих дерется. Ну как дерется?.. «Бей его!» – те трое кричат, а «Сильнее!» и «Во! Ух, хорошо!» – папа. Наутро весь в синяках, ссадинах сидел в кресле, читал газету, а у самого улыбка не сходит с лица, как будто выиграл в лотерею.

Мы даже научились предугадывать, когда состоятся папины бои. Сначала он грустил. Понурился, мог часами смотреть в газету, не переворачивая страниц. Часто не отвечал на мои вопросы, не откликался на зов мамы, пока она не ткнет его в плечо. И даже тогда он будто в тумане долго искал глазами, переспрашивал и только потом отвечал. Затем он ссорился с мамой. Уходил из дома, чтобы найти противника и избить своим лицом его кулаки. Так повторялось по кругу и непременно в этой последовательности. Одно вытекало из другого.

Только сейчас, спустя тридцать лет, мне стало понятно почему папа давал себя бить. Точнее, хочется верить – он винил себя за то, что ведет себя так с любящей женой на глазах любимой дочери. Мне думается, он не мог рассказать о своем чувстве вины, извиниться перед нами, чтобы не казаться слабым. Ах, эти дурацкие стереотипы о том, что мужчина не должен извиняться. Не извиняться – значит быть сильным. Брутальным. Это бабушка его таким воспитала. Но даже ей не удалось изменить натуру и переписать душу папы.

Его мучили последствия своих действий – агрессии. Он понимал, что каждая ссора рушит семью, но ничего не мог с собою поделаться, когда злился. А из-за того, что доктора поставили крест на его мечтах о сыне, он большую часть времени злился. Неосознанно. Не специально. Он совершал поступок, а потом убивался, укоряя себя за то, что не смог с собою совладать, и проклинал себя за низость – за то, что опустился до уровня животного, оскорбляя и обвиняя любимых в том, в чем они не виноваты. Он не мог сам избавиться от этих мыслей, сам себя наказать или избить физически. Поэтому он находчиво маскировал драками свои лечебные терапии. Находил людей, которые помогали ему избавиться от мыслей, выбивая их из его головы.

Вообще мужчинам, конечно, легче. Они могут напиться. Подраться. И еще кучу вещей им можно, чтобы выпустить накопившееся и ослабить давление на плотину души. Нам, женщинам, с этим приходится тяжелее. Да и вообще нам в жизни труднее: стирать, гладить, готовить, дом в чистоте содержать и, умирая с тряпкой в руках, еще быть красивой – желательнее, когда моешь пол, чтобы лицо не потело, а то макияж потечет, на колени не вставать, чтобы платье не помять, и губы от обиды не кусать – помаду зря не переводить. Про роды, детей, кормление – вся в молоке, многогодовой недосып – вообще молчу. Семейный очаг хранить тоже мы должны, и, если тухнет от того, что в него мужчина мочится, – все равно мы виноваты. А если, совершенно вдруг, так, невзначай, плохо стало на душе, то только поплакать позволено. И все. Вот мама и плакала. Много плакала. И я. Слезы уже не помогали. И не рассказывала она никому.

Ни бабушке с дедушкой. Ни подругам. И со мною не говорила. Наверняка думала – маленькая еще. А я тогда уже – будучи пятиклассницей – все понимала. Несправедливо. И мне было обидно за нее до царапающих, черных кошек внутри. Главное, было бы за что на нее сердиться! Вот в чем была ее вина? В том, что Бог не давал ей детей? А?.. И сделать она ничего не могла. Бедная. А ведь никто не мог. Ни врачи, ни целители, ни народная медицина с их проверенными штучками. Вот и ходили все страдали. Папа оттого, что не было наследника. Мама оттого, что подвергалась моральным пыткам из-за неспособности осчастливить мужа и подарить ему сына. Она постоянно винила себя во всем и была уверена: если сумела бы вопреки воле небес родить братика, то черная полоса сменилась бы белой. И вся семья зажила бы счастливо. Без ссор. Без драк. Без постоянной ядовитой, отравляющей злости внутри каждого из нас.

Мне всегда не хватало тех минут, когда ты полностью свободна. Ничего не волнует, и ты отдаешься с головой в то, что делаешь. Я никогда не каталась на качелях вдоволь. Вот шла домой со школы, видела качели и думала: «Дай-ка покачаюсь». Раскачивалась и начинала радоваться тому, что колышутся бантики на голове, разлетаются косы, развивается платишко. Я ощущала себя маленькой пыльной тумбочкой, с которой дуновения ветра сдувают накопившуюся пыль, и чем сильнее я раскачивалась, тем чище, свободней становилась. Я запрокидывала голову и видела чистое – без единого облачка – голубое небо. Мне казалось, что не законы физики, а именно оно – небо качает меня своими невидимыми, необъятными руками. Стоило мне закрыть глаза, чтобы насладиться полетом, вдруг я как наяву видела сцены домашних ссор. Пробуждаясь, будто от плохого сна, я спрыгивала с качелей и бежала домой. По пути трясла головой, чтобы прогнать дурные мысли. Те самые, которые по наследству передались мне от папы. Только вот от них так просто не избавиться. Они-то и есть настоящие убийцы развлечений. Чем бы я ни была занята, даже чем-то очень интересным, они, мысли, не оставляли в покое. Тогда у них даже появились цвета. Серые – ссора, крики, оскорбления. Темно-серые – драка, синяк, разбитая губа. И черные – свернула шею (паралич), порвалась селе-

зенка от удара (кровоизлияние, трубка), вытек глаз (слепота) или смертельный исход (повесилась, выпрыгнула из окна, перерезала вены). Конечно, цвета этих мыслей существовали только в моей голове. И я научилась терпеть серые мысли. Закрывать глаза на темно-серые. Но когда приходили черные, я невольно вздрагивала, сердце билось – не успокоить, грудь сдавливалось так, что тяжело дышалось. Тогда бросала все и бежала домой. И вот знала – дело во мне, но проскальзывало предательское: «А вдруг!..», и я уже мчалась на помощь, не жалея сандалий и белых колготок.

В реальности в нашей семье цвета мыслей никогда не воплощались в жизнь дальше серых. Не хвастаюсь. Просто это так! Честно!

Так я и жила в то время. Хоть и было невыносимо, а все же лучше, чем сейчас... Э-эх! Если бы я только знала, посмела бы желать?..

Иногда жутко хотелось погулять с одноклассницами, поболтать о неважных пустяках, поиграть в догонялки с мальчишками или в «резиночки» с девочками, а не могла. Только начинала вливаться в коллектив, как окутывали эти самые дурные мысли, и я, как льва увидевшая, бежала домой. Так и получила свои прозвища – «чудачка», «дикарка». А, вот еще хорошее вспомнила – «полоумная». Впервые услышав это слово, я понятия не имела, что оно означает. Когда меня нарекли полоумной, я подумала, что это комплимент. Подумала, оно значит – полум умная, женским полом умная. Даже спасибо сказала. Радует, что тихо произнесла и никто не услышал.

Ладно бы если терпела все эти презрительные взгляды неодобрения, осуждения ради какой-то великой цели. Любви, например. А тут... приходила домой, где холодная война в разгаре. Слова под запретом, иначе битва проиграна. Кто добрым взглядом наградил врага, тот предал себя. Во имя чего бы то ни было милость проронил – расстрел. Желчью захлебываются и прямо до умопомрачения соревнуются. Как в игре «кто дольше», только на кону больше. А черти – восседающие на шкафу зрители – смеются, кувыркаются, хлопают в ладоши, пляшут и радуются представлению, как рождественской песне в злобе.

В эти моменты обострения со мной были холодны. Редко говорили предложениями. Били словом, словно кнутом секли. Коротко. Хлестко. Тем самым не давали повода врагу радоваться от пророненных слов, которые собирало, словно сонар, чуткое ухо бойкотируемой стороны.

И ничего не могла я сделать с ситуацией в доме, что разум мой подавлял и душу терзал. А от этого и сама страдала. По ночам ворочалась, не спала, бесконечными мыслями отравленная. И в школе на уроках многое пролетало мимо ушей. Ничто не радовало. Ничего не хотелось. И, даже когда интересно было, не могла забыть про мамины слезы и страдания папы. Когда смешное что-то случалось не могла смеяться во весь голос, только хихикну пару раз, и то становилось не по себе. Как будто предала, променяла семью, любимых ради потех мимолетных. Тут горе у семьи, несчастна она, а мне, видите ли, не до этого, я веселюсь.

Учителя те, что из хороших, видели неладное и заботливо оставляли после уроков. Наедине пытали, как пленного, своими расспросами. А что я могла им сказать?.. Ничего. А что учителя смогли бы сделать? Ничего. Чем смогли бы помочь, если я им все рассказала? Ничем. И все равно спасибо им за внимание. Приятно было ощущать себя видимой. А ведь были и злые учителя: «Але! Очнись, Жезай! Все время где-то летаешь. Небось, все о принце мечтаешь?». Эх, знала бы Марина Витальевна, что мечтала я о братике, который положил бы конец нашим семейным ненастьям, никогда бы не стала так говорить. Но она и знать не хотела. Никогда не останавливалась, пока не доходила до крайности – ее личного триумфа. Пока не обидит каждую клетку существа моего. Пока не сыграет на сокровенных струнах души мелодию, оскверняющий сам инструмент. Пока не заставит убиваться и плакать. А когда достигала цели – испивала кровь до костей, в назидание другим, не успокаивая меня, хладнокровно продолжала урок. Чуть не забыла, вот еще, ее фирменное: «Знай! Дурочек принцы не любят. Будешь так сидеть, обязательно дурой вырастешь. Поверь мне, я знаю. Видела таких. Сначала сидят в школах вот так, как ты. А потом, когда подрастут, на панель идут... И вид у тебя усталый.

Че ночью делаешь? Работашь, что ли?» И обязательно кто-нибудь из одноклассников выкрикивал: «Грузчиком». Весь класс смеялся, а я со стыда и обиды сторала, солеными соплями давилась, щеки обжигали горькие слезы, и все рукава до предплечья были мокрые от них. Сама виновата. Нет бы встать и на весь класс осадить шутника. Правдой своей жизни пристыдить горе-учительницу. Вылить чувства свои, чтобы их тяжестью утопить навсегда проклятых врагов. Чтоб в соленом море жизни моем штормовом захлебнулись их крохотные души. Но нет. Сидела, в клубочек сжавшись, голову опустив, молчала как небо немо, когда обращаешься к нему с мольбами.

2

Как сейчас помню тот день...

Я, как обычно, прибежала домой впопыхах, вся в тревоге от своих страшных мыслей. Не успела снять сандалий, как мама обругала за грязь на колготках и следы брызг на юбке.

– Что за вид?! Посмотри на себя. Ты что, в луже купалась?

Мама была в своем черном платье-тунике, которое надевала только на выход. В прихожей смиренно дожидались нежных ног мамы того же цвета туфли, также давно не выдавшие света. Это наблюдение заставило меня справиться о папе.

– Он ушел, – безапелляционно отрезала мама.

– Куда? – робко спросила я.

– Откуда я знаю. Переодевайся скорей, опаздываем уже! – сдернула с меня портфель.

– Куда?

– Куда! Куда! Одевайся, тебе говорят.

Далее я повиновалась без возражений, но молчание только усиливало тревогу. Незнание всегда порождала во мне дурные мысли и сомнения. Мама была чрезвычайно возбуждена. Быстро двигалась. Невпопад перебирала ногами то в одну, то в другую стороны, словно многочисленные нерешенные задачи, требующие неустанного внимания,

перекрывала другая, вновь пришедшая на ум и более важная мысль. Когда искала мои колготки, она опрокинула на пол сложенные в шкафу вещи и не стала укладывать их обратно. Это было очень на нее не похоже. Складывалось впечатление, что нас преследуют и мы не успеваем убежать. «Будь папа рядом, мы не стали бы спасаться бегством. Может, мы бежим из-за него? От него?» – вдруг промелькнуло в голове. Не успела я ответить на свои вопросы, как упала на колени и, протянув руки к матери, стала плакать и просить:

– Пожалуйста, мам, давай останемся... Я не хочу никуда уходить. А папа?

– Совсем больная, что ли? Что папа?

– Я знаю, он ведет себя плохо. Иногда. Но он хороший. Пожалуйста, мама, мы не можем его бросить. Он не сможет без нас.

Мама встала на колени и обняла меня, прижав к груди.

– Не хочу, чтобы ты от него уходила. Не хочу его терять. Не хочу... Не хочу. Не хочу!

– Дунька! – сказала мама и засмеялась. – Все, перестань. Никуда мы от папы не уходим. Наоборот, ради него идем. В одно очень интересное место... самой не терпится увидеть. И тебе понравится. Нет времени объяснять. Пусть это будет сюрпризом для нас обеих. Давай скорее. Опаздываем.

– Обещаешь?.. – я вскинула голову и всмотрелась ей в глаза.

– Обещаю! – она улыбнулась и тонкими, холодными пальцами легонько ущипнула меня за щеку.

Мы наскоро оделись и отправились в путь навстречу неизведанному. Тому повороту в жизни, преодолев который, оставляешь весь пройденный путь позади в незримом прошлом. После которого дорога жизни делится на «до» и «после».

Мы ехали в автобусе. Никого из пассажиров не осталось, кроме нас. Водитель заглушил мотор и в недоумении уставился на маму через стекло заднего вида. Она, как обычно, сильно задумалась и не заметила, что мы приехали. Не успела я одернуть ее, как водитель крикнул: «Але! Конечная как бы!» Мы наспех покинули утопающий ко-

рабль, капитан которого закрыл посудину и бросился в местную столовую. Оказавшись за городом, где маленькие горы из окон нашей квартиры стали большими, мама достала из сумки клочок бумажки. Развернула его и, прочитав адрес, стала глядеть по сторонам. После справилась у прохожего о маршруте. Тот долго что-то объяснял, а в конце указал пальцем в сторону единственного крохотного домика на вершине небольшой горы.

Мама посмотрела на нужный нам домик. Тяжело вздохнула. Затем, поблагодарив за помощь, сделала несколько шагов и замерла в раздумьях. Резко встрепенувшись со словами: «Ай, ладно! Раз уж приехали... Не ехать же обратно» – потянула меня в сторону аула, через который лежал путь к вершине горы.

На протяжении всего пути местные жители – бабушки, сидящие на самодельных, деревянных скамейках, дедушки, идущие мимо сгорбившись и заложив руки за спину, пастухи на конях, погоняющие отару овец, мальчишки, играющие в футбол, пиная пластмассовую бутылку вместо мяча, женщины, копающиеся с тяпками в огороде, – с улыбкой приветствуя, подсказывали нам путь. И даже с их помощью нам пришлось идти больше часа по грязи бездорожья. Торчащие из земли камни то и дело норовили нас опрокинуть наземь. Я поскользнулась и потянула маму за собой. Она ушибла колено. Схватившись руками за ногу, корчилась от боли и горько охала. Массируя ногу, я предложила ей вернуться домой и хотела позвать на помощь, но она отказалась. И уже через несколько минут была полна решимости идти дальше. «Наверное, очень интересное место», – подумала я.

Когда аул остался позади, пред нами предстала небольшая сопка. Узкая тропинка вела к домику на вершине. Заросшая поросль, очистила от грязи нашу обувь и покрасила мои колготы в зеленый цвет, пока мы дошли.

Сказать, что подъем крутой, – не сказать ничего. Мы стояли перед дверью деревянного домика и не могли отдышаться. Взмокшие до нижнего белья, с заложенными от давления ушами слышали, как бьются наши сердца. И все же я успела запомнить окрашенные в синий цвет окна –

единственный отголосок искусственности в этом месте. Все остальное в одноэтажном домике – стены, крыша, навес, крыльцо, лестница – было выполнено из дерева. Дом был таким старым, что даже древесина потеряла свой первоначальный цвет и стала маслянисто-черной. Казалось, что он выстоял так долго только из-за того, что сильный ветер обижен на этот домик и видеть его не желает.

Не успели мы взойти на крыльцо, лестница закрипела, как веселый, но бездарный оркестр, состоящий из трех человек и одного инструмента. В дверях появилась маленького роста бабка с виду лет шестидесяти, укутанная в белый вязаный шерстяной платок поверх джемпера. Обута была в блестящие лакированные галоши, будто новые. Ноги прикрывала широкая, толстого покроя юбка, цветом напоминавшая запекшуюся кровь.

– Здравствуйте! Мы... – не успела договорить мама.

– Проходите! Чего так долго?.. Все уши извел. Тыщу раз уже спросил про вас, – ворчала бабка, ведя нас за собой.

Мы прошли в маленькую комнату, где в кресле сидел старик с белой нечёсаной по грудь бородой. Глаза у него были закрыты, но веки судорожно подергивались. Руки, брошенные на подлокотники кресла, тоже тряслись. Ноги были согнуты под прямым углом. Туловище находилось в вертикальном положении и не касалось спинки кресла. Все его существо было напряжено и создавало впечатление человека, сидевшего на электрическом стуле.

– Захар, проснись. Проснись, говорю!.. Они? – бабка указала на нас пальцем.

– Они, – не шелохнувшись ответил старик. – Пусть по-сидят, – повелел он и, не открывая глаз, переставил миску с дымящимися травами поближе к нам. Бабка удалилась и закрыла за собою окрашенную в синий цвет, как окна, деревянную дверь. Мы молча сели на обветшалый, весь потертый, в сальных пятнах, местами в дырках диван.

Что именно за травы там были, я не знаю, но наряду с деревянным запахом самого дома дым из миски пахнул приятно. Стоило несколько раз вдохнуть, и как-то сразу мне полегчало. Я забыла, как труден был путь, что привел нас сюда. Сердце стало биться размеренно. Впервые мои

мысли, моя неотступно преследовавшая тревога отступили. На душе стало спокойно. Я почти улыбалась. Когда я взглянула на маму, я поняла, что она испытывает то же самое. Никогда я не видела ее улыбку такой. Глаза были закрыты, и она словно парила в небе, кружась, разгоняя тучи ей ненавистные, что делали ее погоду на земле. Будто получила высшую независимость – нет души, плоти, ума, а лишь чистая энергия, и она, будучи маленькой является неотъемлемой частичкой огромной Вселенной. Вот так она улыбалась. Я так обрадовалась за маму, и мне захотелось, чтобы папа был здесь и ощутил такое же удовольствие. Захотелось, чтобы внутри нас, в семье всегда царили именно такие чувства. Я молила Бога, чтобы это внезапно взошедшее солнце внутри меня и мамы навсегда осталось в зените и чтобы оно никогда не исчезло в бездонной пастти горизонта, снова возвращая нас тьме.

Вдруг старик пришел в движение. Губы его затряслись. Глаза увлажнились. Затем он резко, испугав нас, согнулся в пояснице, будто от удара, и, схватившись за грудь, стал жадно глотать воздух.

От увиденного мама отшатнулась с такой силой, что диван сдвинулся с места, и, задев рядом стоящий небольшой письменный стол, чуть не опрокинула белую статуэтку какой-то женщины. Точнее, может, когда-то она ею была. Сейчас же у неё не осталось ни рук, ни ног и даже голова отлетела. Видимо, будучи очень хрупкой, она много падала. Одно туловище осталось. Хорошо, что не уронила. Хотя что ей было терять-то, если только не грудь. Да и того у неё не было. Я же крепко прилипла к маме, обхватив ее, как спасательный круг.

– С вами все хорошо?.. – тихо спросила мама.

– Да. Ща. Минуту, – с трудом выдавил из себя старик.

Но потребовалось больше времени. Мы сидели в ожидании и не знали, что же нам делать и как реагировать на сгорбленного старика. Когда он выпрямился мама попыталась представиться:

– Здравствуйте! Я... – она не договорила.

– Знаю! Знаю. К сожалению, все знаю, – многозначительно покачал он головой.

Мы переглянулись с мамой. На ее лице уже не было и следа того блаженства, которое поразило и меня.

– Зря пришла, – задумчиво начал старик. – Поберечься тебе надо. Малыш в утробе.

Мама встрепенулась и подвинулась ближе к предсказателю. В волнении перебила его. Голос ее дрожал:

– Малыш?! Вы сказали – малыш! А когда...

Он, останавливая ее, поднял руку и раскрыл ладонь.

– В один из майских дней, с восходом солнца, мальчик явится в этот мир. И солнце, раб его миссии, усилит свои лучи, станет светиться сильнее, согреет вашу семью и растопит толстые льдины, что преградили сердца.

Мама вскинула было руки вверх от радости, но сдержалась. Глаза ее прослезились. Она обняла меня до боли в ребрах.

– ...Но душою он будет вечный ребенок. Судьба у него такая. Жизнь его всех близких затронет и судьбы их перепишет, – голос его задрожал, на глазах засверкали слезы. Он отер их и продолжил: – Затем и идет сюда, в мир этот. И в этом поможет ему женщина-цветок. Станом и волосами одуванчик. А ликом – пушечные ядра вместо глаз.

– Подождите... как в мае? Уже же октябрь – спросила мама.

Старик, лишь улыбнувшись, покивал в ответ. Затем посмотрел на меня, и лицо его исказилось гримасой боли. Он, покраснев, горько заплакал и закрыл лицо руками. Снова, согнувшись, спрятал голову в коленях. Все его тело тряслось, и даже седые волосы дрожали. Не поднимая головы, он глухо произнес:

– Я сказал все, что видел. Пожалуйста, уходите!

– А-а... – Мама попыталась что-то уточнить.

– Уходите, прошу вас! – застонал старик.

В недоумении мы поспешили оставить его. В самых дверях я остановилась.

– Спасибо! – сказала я.

Тогда он поднял голову. Лицо его опухло, и на нем были видны следы от ладоней. Он несколько секунд смотрел на меня, а потом губы его задрожали, и, ничего не ответив, он снова спрятал свое лицо и зарыдал. Мама одернула меня.

Мы быстро вышли на улицу. Стали ждать бабу. То ли чтобы что-то спросить, то ли чтобы попрощаться, но входная дверь захлопнулась, и мы, так и не увидев ее, побрели вниз по тропинке к автобусной остановке.

Мама о чем-то думала и, казалось, не замечала дороги, по которой ступают ее ноги. Не отвечала на мои вопросы, так что я перестала их задавать и шла молча. Но когда мы сели в автобус и он тронулся, маму как будто пробудили от лечебного сна. Она проснулась подмененная лучшей материнской версией себя. Она обняла меня и поцеловала. Склонила свою голову к моей. Затем, прижав меня, стала показывать пальцем и рассказывать, что, когда она была маленькой, автобусы сюда не ездили, потому что всех этих домов здесь не было, а лишь дикие поля расстилались до самого города. И еще много чего неустанно рассказывала и умолкала лишь чтобы поцеловать меня.

Мы слезли на две остановки раньше и пошли пешком. Купили мороженое, которое отказывалось таять, заручившись поддержкой непогоды. А я подумала про себя: вот бы почаще ездить к этому странному дедушке.

3

Тяжело отпустить прошлое. Особенно когда не помнишь иной жизни. Точнее, не знаешь. Свет ослепляет, причиняя боль глазам, что привыкли к темноте. Даже когда тебе говорят, что эта дверь приведет в новую жизнь, стоит только переступить ее порог, сделать волевой шаг трудно. Тяжело просто поверить в волшебство, способное все изменить по щелчку пальцев. Невозможным кажется искоренить годами ковавшуюся боль в одночасье. Скажите мне, кто?.. Кто этот всемогущий волшебник, который способен искусно оперировать судьбами и наполнять счастьем так, чтобы люди наслаждались жизнью настоящей, как будто прошлой вовсе и не было?.. Вот и я не знаю. Но если увижу, напомните мне сказать ему спасибо за эти мгновения...

Из услышанного от старика мне стало ясно, что братик у меня все же будет. В мае. Но верилось в это с трудом.

Одиннадцать лет не получалось, а тут нате, распишитесь, не благодарите. Получается, если бы мы раньше нашли старика-провидца, ясновидящего, колдуна, предсказателя, прорицателя (до сих пор не знаю, как правильно его называть), я могла бы и не переживать весь этот семейный гнет? На один вопрос старик ответил тысячей вопросов. Но мне было все равно. Хоть миллион вопросов пусть терзают меня, лишь бы мама всегда была такой радостной, как тогда.

Мама не спешила рассказывать папе радостную весть, чтобы он не освирепел, если оно не сбудется. Но по ее неуместным, безотчетным улыбкам было видно, что она радуется. Никогда не слышала, чтобы мама пела, когда стирает. Даже тихо. Чтобы улыбалась, оттирая унитаз или драя полы в подъезде.

А в тот день она настолько увлеклась, что даже папа заметил. Мы сидели за столом и ужинали. Точнее, мы с папой ели суп, а мама и ложки не отведала. Прибором она с улыбкой гоняла кусок морковки туда-сюда, как бог подвергает корабль испытаниям, волнуя море. Она не заметила, как мы перестали есть и уставились на нее, пока папа не съязвил:

– Слышь?! Нормально всё?.. Может, тебе скорую вызвать?

– Себе вызови... Дурак! – Мама высунула язык и засмеялась.

Э-эх, видели бы вы папу в тот момент, который так истосковался по такой – радостной маме. Он поспешил ответить взаимной теплотой и засмеялся в ответ. При этом не отводил от нее глаз, будто увидел гору из бриллиантов и боялся, думая, что, стоит ему отвлечься, она может исчезнуть. И он больше никогда ее не найдет.

Но уже через мгновение, что-то пошло не так...

– Соль подай! – вдруг, как пушечное ядро в бою на кулаках, выбросил отец.

У мамы улыбка с лица сошла так, будто ее пнули в зубы. Она демонстративно кинула ложку на стол, та, звеня и подпрыгивая, остановилась на середине стола. Резко встала и направилась к навесному шкафу, где лежала соль.

Сделав два шага, зашаталась, раскинула руки в стороны и, не найдя опоры, присела на пол.

Скорую все-таки пришлось вызвать. Она-то, точнее врач бригады скорой помощи, и подтвердила деликатное положение мамы. Папа был в восторге. Казалось, он не мог поверить и бесконечно переспрашивал: «Точно?.. Это уже точно?.. Вот прямо точно-точно?» И смотрел на маму, безмолвно спрашивая ее: «Но к-как?» Когда его все-таки убедили, он прослезился и стал нервически, неестественно смеяться. Даже пару раз подпрыгнул от радости, обхватив руками затылок. Во всеулышание благодарил Бога, уставившись в потолок, на котором обвалился кусок штукатурки. Затем и вовсе, в знак благодарности за благие известия налил супа в литровую банку медаботникам, а, когда те запротестовали и отказались принимать, ссылаясь на то, что нечем есть, папа подарил каждому по ложке из серебряного набора. Они не смогли отказаться. папе пришлось принять валерьянки, чтобы успокоиться. А после он лежал и, как молоком досыта накормленный щенок, терся о маму, заискивая и благодаря. Та отвечала взаимностью.

И все изменилось, как по взмаху волшебной палочки волшебника, которого при жизни нам не суждено увидеть.

Родители перестали ссориться. Совсем. Папа бросил выпивать и драться. Он стал больше времени проводить с мамой и со мной. Каждые выходные мы часами гуляли в парке. Не было недели, чтобы папа оставил маму без цветов – ромашек, ее любимых. И жизнь стала сладкой, как те пирожные, что мы ели каждую субботу. В тот год я съела столько сладостей и мороженого, сколько не съела за все одиннадцать лет моей жизни. Папа стал неотступно заботиться о маме, всячески предостерегая ее от переутомления, и взялся лично выполнять большую часть ее домашних обязанностей. Даже мамины подруги стали кусать губы от зависти и приводить папу в пример своим мужьям. Он совсем не стеснялся массировать ей опухшие ноги. Готовить еду для нас. Убираться дома. Мне очень полюбилилось вместе с ним очищать от пыли книжный шкаф. Он то и дело останавливался, чтобы рассказать про очередную книгу

и чувства, которые испытывал после ее прочтения. Тогда мы выбирали с ним наиболее интересную, которую он перед сном читал нам с мамой. Он стал помогать мне с уроками, стараясь изо всех сил. Иногда я, заведомо зная ответ, притворялась, что мне нужна помощь и наслаждалась его участием, отвлеченными рассказами из папиного детства. Даже волосы помогал расчесывать и надевать бантики. Хотя поначалу делал он это неумело. Когда расческа застревала в волосах он, пытаясь расчесать клубок, говорил: «Да что ж такое!.. Это у тебя в меня – волосы мощные», – и смеялся. А я вместе с ним. Еще стал провожать в школу. На удивление всем, я стала хорошо учиться, но так и не наладила отношения с одноклассниками. Мне было некогда, а потому я не задерживалась после уроков и со всех ног бежала домой, чтобы наверстать упущенные годы радости, тепла, нежности от семейной близости и родительской любви.

Как-то раз папа сделал мне сюрприз. Он дождался меня после школы, и мы поехали на автобусе за город. В руках у него был пакет, в который он не разрешал заглядывать. Мы доехали до конечной и дальше пошли пешком. Когда мы миновали небольшой лес, я увидела зеленое поле, раскинувшееся до самых гор вдали. Солнце отливало оранжевым, и одинокое облачко, повинувшись, принимало его свет, окрашиваясь и будто, превращаясь, в апельсиновое мороженое. Дул теплый ветерок. Папа велел закрыть глаза и не подсматривать. Я сделала, как он просил, но не выдержала долго и стала подглядывать. По-моему, он заметил, что я нарушаю условия, но не подал виду. И я не стала выдавать себя. Он вытащил из пакета самодельного воздушного змея, который спустя минуту послушно завис в небе. Передав конец веревки мне в руки, он разрешил открыть глаза. Когда он присел на корточки, обнял и щекой прижался к моему уху, я не выдержала и заплакала, отирая рукавом слезы. Он перехватил веревку и, развернув меня к себе, обнял со словами:

– Доченька, ну ты чего?..

– Не хочу!.. – выдавила я из себя.

– Чего не хочешь? Не понравилось место? Змей? – спросил он.

- Нет.
- А чего тогда?
- Не хочу, чтобы это кончалось...
- Что именно?
- Все это!

Он помолчал несколько секунд и, сильнее сжав меня в объятьях, произнес:

- Не кончится... Теперь не кончится. Обещаю!

Тогда-то в голосе папы – в этой едва уловимой нотке, я почувствовала искреннюю веру в то, что все изменилось навсегда. Я почувствовала ту необъяснимую связь между папами и дочерьми, о которой все говорят, и поняла, что через них он знает про мои надежды и никогда не подведет. Не обманет. Не предаст. В объятьях сильных рук я ощутила себя в той безопасности, которой мне всегда так не хватало. Впервые я почувствовала себя любимой и нужной.

Со временем мои дурные мысли отпустили меня, и я научилась жить, радуясь настоящему и не заглядывая в будущее. И да, я наконец покачалась на качелях вдоволь. Угадайте, кто меня покатал?.. А мама смотрела на нас, улыбалась, кушала мороженое, сидя на скамейке напротив, уже с выпирающим животом. «Ух, как высоко. Доча, держись хорошенько!.. Любимый, я тоже так хочу», – просила она. «Но, но, но... вам нельзя, мадемуазель!» – шутил отец. Мама строила смешную гримасу обиды. И мы от души смеялись над нею.

Иногда на меня все же находили моменты, когда мне становилось страшно. Я боялась, что это может закончиться, стоит мне проснуться завтра. Тогда я искала спасения в объятиях папы, стараясь на всякий случай утолить жажду счастьем наперед, как верблюд напивается про запас.

Когда родители стали чаще улыбаться, смеяться, греть мою детскую душу, старое было быстро забыто, как дурной сон, который вылетел из головы сразу после пробуждения.

Большого для счастья мне и не нужно было, но, когда родился Аман, солнце взошло по-настоящему, озаряя и показывая истинную красоту жизни, которой мы слепо жили. Он показал, как дорог каждый миг жизни и каким

счастливым можно быть, если умеешь увидеть бесценное в моментах настоящих. Как ярко ты можешь светиться изнутри, если научишься видеть настоящее в жизни, в ее считанном времени и конечном течении.

4

Роды дались тяжело. Трое суток мама мучилась схватками. А в конце так обессилела, что врачи решили делать кесарево сечение. Братик, как и предсказывал старик, пришел в этот мир с боем. Мама выносила его все девять месяцев, но, несмотря на это, вес при рождении составил всего лишь восемьсот грамм. Врачи не верили в возможность такого и бесконечно задавали странные вопросы маме, чтобы установить причину явления. Как сказал главный врач родильного дома, всегда находившийся в окружении молодых докторов: «Это всего лишь формальность. Необходимо ее соблюсти, чтобы защитить нас. А когда мы защитим себя, тогда уже и вас удивим». Но вопросы эти, как и ответы на них, не сильно помогли Аману. Точнее, совсем не помогли.

Его поместили в специальную капсулу с дыхательной трубкой и поддержкой нужного уровня температуры. Он тяжело набирал вес, и врачи сказали маме, что его шансы крайне малы. Однако через месяц упорной борьбы всех – мамы, папы, врачей и самого Амана – он быстро пошел на поправку. И уже через две недели лежал дома в бывшей когда-то моей деревянной кровати, которую по случаю собственноручно собрал папа.

Когда впервые увидела братика, я сразу почувствовала необъяснимую связь с этим белым комочком. Лицо его напомнило мне солнышко из детских книжек – сказок про колобок – круглое, почти правильный круг, рыжее, с румяными щеками и светлыми кудрями вместо лучиков. Когда я сказала об этом родителям, те засмеялись и со словами: «Точно! А ведь вылитое солнышко!» – подтвердили мое наблюдение.

Папа с мамой были счастливы и так радовались рождению наследника, что стали танцевать. Представляете?!

Тан-це-вать! Я часто ловила их в комнате, где спал Аман. Они кружились в медленном танце под песню, которую пел папа, переделывая ее на колыбельный лад. Мама подпевала.

Я прибегала из школы, бросала портфель, не переодеваясь и не обедая, часами любовалась братиком, который кряхтел и улыбался, стоило мне с ним заговорить. Я часто замечала, что даже в дождливые майские дни стоит мне полюбоваться братом, как серые тучи в душе отступали. А когда он улыбался, свет в комнате становился ярче, как будто Бог поставил на паузу фильм, который сам отснял, чтобы прибавить контрастности изображения на телевизоре.

На удивление, он редко плакал. Мог часами лежать, смотреть на люстру и, дрыгая, маленькими ручками, что-то кряхтеть на своем детском языке.

Шло время. Аман научился ползать, вставать, открывать двери, класть в рот все подряд, танцевать, делиться вещами, кормить нас. Он просто доставал из своего рта кусочек чего-нибудь и протягивал маленькую ручку ко рту мамы или папы и ждал, пока те отведают предложенное яство. А еще он чистил туалетным ершиком папины туфли. Мыл руки в унитазе. Совал мозаики в нос и уши. Облизывал пол. Жевал ковровые катышки. Бил посуду. Отрывал обои. Тыкал пальцами в розетки. И еще кучу всего, что присуще обычным детям. Ничего необычного. Все как у всех. Однако...

Ему стукнуло пять...

Он никогда не плакал. Только от обиды. Увидел как-то бомжа и говорит:

– Кто это?

– Это бомж.

– Ему плохо? Он болеет?

– Ему негде жить, он не работает, поэтому грязный и кушает с мусорки.

Тут он заревел так, что долго пришлось его успокаивать. Отбивался от нас, не желая ничего слушать. И объятий ему не надо было. Прохожие глядели на нас, как на похитителей. Слава богу, он уснул. А когда проснулся, долго был сам

не свой. Сидел, молча уткнувшись в одну точку, как мама в те дни из моего грустного прошлого. Приходилось подолгу ему объяснять и даже иногда обманывать, чтобы вырвать его из объятий пожирающих мыслей. И всего чаще он отходил только тогда, когда слышал что-то доброе, хорошее... то, что хотел услышать. Например, в случае с бомжом мы сказали, что бездомный сам выбрал такую жизнь и он счастлив так жить – свободно. Никуда не надо рано вставать, идти туда, куда не хочется. Он делает все так, как ему хочется. И только тогда, рассмешив нас, он оттаял со словами: «Везет. Хочу стать бомжом, когда вырасту». А затем, будто радуясь за него, стал самим собой – веселым, неунывающим – моим младшим братиком с огромным сердцем.

Как-то в один из знойных дней лета мама попросила меня протереть подоконники от пыли. В обмен за труды я выторговала себе денег на сок. Но купила питье раньше, чем приступила к работе. Очень пить хотелось. Жара невыносимая стояла. Душила. Пришла из магазина, а майка к телу прилипла, глаза заливают струйками пота, из волос разбег берущими, ладони взмокли. Плюхнулась на диван. Проткнула трубочкой треугольный пакет и жадно впилась, утоляя жажду. Меньше половины осталось, когда я увидела Амана, стоявшего и со скромной улыбкой, ожидающего, чтобы сказать:

– Жезай эже, можно мне тоже?.. Пожалуйста, – он сложил руки на животе.

– Конечно, можно... – протягивая сок, я отдернула руку. Прищурилась. – Но сначала протри-ка пыль с подоконников.

– Со всех? – уточнил он.

– Конечно, со всех! Не с одного же, – возмущилась я.

А он лишь радостно хихикнул и с энтузиазмом, вприпрыжку побежал за тряпкой. Уже через минуту он, позабыв о соке, вытирал подоконники, вникая в сам процесс, все время аккуратно сгибая тряпочку, чтобы не выронить собранную пыль и тщательно вглядываясь в поверхность места, чтобы не упустить малейшую песчинку.

Он выполнял это задание от всего сердца – на совесть. И долго. Пока он закончил с одной комнатой, я нестерпи-

мо захотела снова пить и глотнула соку. И еще раз. Так, незаметно, я осушила пакет почти до дна и с досадой обнаружила это слишком поздно.

Когда Аман закончил с делом, он встал передо мной и, заложив руки за спину, с радостной улыбкой произнес:

– Готово! – в предвкушении, поглядывая на пакет с соком.

Я в попытке усмирить совесть нашла оправдание и сказала себе: «Количество не было оговорено. Так что все честно!» – и, откинув в сторону чувство стыда, протянула ему остаток сока.

Он схватил пакет и всего разок глотнув, вместе с издающимися звуками понял, что пакет опустел.

Я была готова ко всему – к любой реакции, но только не к той, которая последовала. Я ждала, что он обидится, заплачет, расскажет маме об обмане, папе о моей недобросовестности, стукнет меня от злости, кинет в меня тряпку, пакет от сока швырнет, начнет прыгать на месте, кататься по полу от злости, разобьет стекло от шкафа. Всего что угодно ждала!.. А он... Не возроптал. Лишь с благодарностью уставился на меня, как на человека, воплотившего в реальность все его сокровенные мечты. И радостно, взглянув на пакет, сказал:

– Спасибо!.. Очень вкусный.

Прошло не больше месяца после этого события, как приехал дядя по родственной линии папы и привез нам, детям, игрушки. Аману – плюшевого медведя, а мне – железную, красного цвета машинку – ГАЗ-24 «Волга» – сувенирную. Так было написано на деревянной подставке.

Аману она полюбилась много больше, чем медведь. Просил меня поменяться с ним. И даже родители уговаривали отдать. А я не менялась намеренно, чтобы подарить на его день рождения, через три месяца. И, как мне казалось тогда, чтобы усилить радость от получения игрушки, я запретила ему прикасаться к машинке. Заперла подарок на ключ в серванте, через стекла которого бедный ребенок каждый день любовался столь желанной машинкой и не мог коснуться ее. Когда я приходила из школы и заставляла его скромно стоящего на стуле, восхищенного, но не смеющего

ослушаться и поддаться искушению (он знал, что ключ от дверцы лежит в одной из полок того же серванта), сердце мое замирало, а глаза мгновенно намокали. Но я твердо решила стоять на своем.

До дня рождения оставалась неделя, когда к нам навелись гости – из села – дальние родственники, вместе со своими друзьями. Всего человек пять – три женщины и двое мужчин. Родственники как родственники, друзья как родительские друзья. Посидели, как всегда, шумно. Громко смеялись, облобызали нам с Аманом по очереди все лицо, а одна женщина и вовсе посадила его к себе на колени и не хотела отпускать. Обнимала. Целовала. Угощала сладостями. Щекотала. Смешила. Да так к нему подладилась, что братик и сам уже не прочь был находиться в ее компании.

Последние тосты сорвались с уст. Папа с братиком проводили гостей. После все вместе стали прибираться. Мы с Аманом носили все со стола из гостиной на кухню, где мама мыла посуду, а папа сразу сушил ее полотенцем и расставлял на место.

Закончили мы поздно. Стоило мне коснуться подушки – я сразу уснула. Ночью я проснулась от громких разговоров чужих людей в родительской комнате. Когда я направилась к ним, я увидела распахнутой входную дверь, и в пролете стояли мужчины. В комнате стояли папа и женщина в халате. Мама сидела с Аманом на руках. Братик заболел.

– Ничего страшного. Типичное отравление. Не переживайте!.. Промывание желудка мы сделали. К утру поправится, – заключила женщина и стала собираться уходить.

– А если... – не договорила мама.

– Женщина, не надо загадывать! Вот когда «если», тогда и поговорим, – потрясла она рукой. – До свидания!

Весь следующий день Аман пролежал без сил. Лицо его было бледным и даже зеленым, как вены под кожей. Когда я звала, он открывал опухшие глаза и удивленно смотрел на меня, словно не узнавая, и только через несколько секунд с трудом пытался улыбнуться. За день он с трудом проглотил пару ложек супа и выпил неполный стакан воды. Раз-

говаривать он не мог, разве только шепотом. Конечности обессилели и будто увяли. Ночью этого рокового дня он стал тяжело дышать и обливаться потом. Мама держала его на руках. Сама не зная для чего... скорее, чтобы себя успокоить, нежели ему помочь, она покачивала братика и едва сдерживала слезы. Ее полный отчаяния взгляд искал помощи от кого угодно, то и дело, устремляясь к двери. Отец побежал встречать скорую.

Вдруг Аман перестал дрожать, дыхание выровнялось, он открыл глаза и сосредоточенно осмотрелся. Увидел маму и, высвободив руку из окутывавшего пледа, приложил ладонь к ее лицу со словами: «Не плачь, мама! Все будет хорошо. Вот увидишь». Затем нашел меня взглядом и, улыбнувшись, произнес:

– Жезай эже, можно я поиграюсь с вашей машинкой? Пожалуйста!

Я дернулась бежать за игрушкой, но он остановил меня в дверях.

– Не сейчас! Завтра!.. Когда я выздоровею, – он закрыл глаза и с улыбкой, спрятавшись в халате мамы, добавил: – какая же все-таки машинка классная.

Мои дурные мысли, те, про которые я давно забыла, снова накатили, будто и не уходили вовсе. В панике я бросилась за игрушкой. Не помня себя, силясь скорее открыть сервант ключом, разбила стекло и порезала руку. Я не почувствовала боли. Мама вскричала навзрыд. Я бросилась к ним. Мама рыдала, склонив голову над мертвым братом, чья маленькая, пухлая ручка безжизненно свисла к полу.

Кровь из порезанной руки текла и, разливаясь по машинке, капала на пол до тех пор, пока я не потеряла сознание.

Когда я проснулась, страшные сны воплотились в реальность. Рука еще болела в области кисти, и я не совсем могла управлять пальцами. Папа пришел на помощь с медработниками. Те привели меня в чувство, перевязали рану и констатировали смерть Амана. А папа все спрашивал их: «Точно?.. Это уже точно?.. Вот прямо точно-точно? Может, укол сделаете? Просто побольше какой-нибудь, мощнее? Прошу, ну, сделайте! Что вам жалко, что ли!..» –

а потом, обняв маму, горько заплакал, как Аман когда-то. От обиды. Оттого, что не может ничего сделать.

Амана похоронили.

Через три дня не стало папы. Он напился и в пьяной драке нарвался на нож. Попали в сердце. Скончался на месте. Что-то мне подсказывает, что он намеренно не увернулся – специально дал себя ударить, как раньше. Подзарядить было нечего – сгорели батарейки внутри.

Маму забрали в психиатрическую больницу. Ее отстраненные, отсутствующие взгляды вернулись с новой силой, но со дня смерти братика она перестала смотреть в недосягаемость через пол. Теперь смотрит только вверх, через потолок. Бога в глаза проклинает, а может, братика ищет. Кто знает? Не говорит же совсем. Только «Несправедливо!» и произносит без конца. До сих пор не узнает меня. Много лет прошло, прежде чем я узнала от врачей, которые и сейчас маму лечат, что брат испустил последний вздох свой с улыбкой, сказав: «Несправедливо!».

А еще, спустя много лет, я вспомнила ту женщину из села, которая у нас гостила – чрезмерно накрашенная, черная краска вокруг глаз, будто пушечные ядра, тоненькая талия, руки, ноги и шея, а прическа – кудри, пышно накрученные, вьющиеся вокруг головы. Одуванчик...

Как я могла забыть?! Я во всем виновата!

Ну, вот и все! Вроде пока работает. Осталось найти огонь, чтобы сжечь написанное и уже навсегда распрощаться, отпустить прошлое. Надо уговорить Ваню одолжить спички. Хотя вряд ли получится. Другие тоже не дадут. Заведение серьезное – правила здесь строгие. Шутить не любят – сразу в рубаху оденут. Так-то я нормальная. Единственное, как только вижу солнышко – впадаю в беспамятство.

Сергей КРИВОРОТОВ

Астрахань

НО КОМПРЕНДО

Занятий в институте сегодня не было, и Саня заглянул с утра в книжный магазин на Советской – вдруг выбросили что-то из фантастики? Стругацких там или маленькие покет-буки серии «Зарубежная фантастика» издательства «Мир»... Если точнее, ноги сами привычно занесли туда. Так-то бывшая мамина сослуживица в маленьком киоске на базаре оставляла для него подобные новинки. Но далеко не всё из многотысячных тиражей к ней доходило, и потому он часто навещался в книжные магазины в центре города.

В этот утренний час в длинном зале встретилось всего пять-шесть человек, но среди них Санёк обратил внимание на девушку в отделе книг на иностранных языках. Нет, вовсе не писаной красавицей та оказалась, да и росточком не вышла. К тому же и одета серо-невзрачно, просто нарочито по-детдомовски. Бесформенное в крупную клетку пальтишко дерюжного вида без талии выглядело не совсем ей соразмерным. Ничего броско привлекательного глазу от клетчато-бежевого берета единого с пальто грубого покроя до столь же неказистых осенних коричневых туфель на невысоком каблуке, но в чём-то она точно смотрелась необычно и мгновенно зацепила его дотошный взгляд.

Он быстро убедился, что никакой фантастики сегодня на прилавке нет и в помине, а уже на обратном пути

завернул к заинтересовавшей его особе. Сделал вид, будто сосредоточенно выбирает среди выставленного на английском, которого в иностранном отделе имелось больше всего прочего. Сам же не сводил с незнакомки изучающего взора. Прямые иссиня-чёрные волосы девушки из-под низко надвинутой беретки падали единой волной на плечи, полукругом охватывая воротник пальто. Вблизи выглядела она ещё совсем молоденькой, девчонкой школьного возраста да и только, этакая птичка-невеличка, и ничего больше. В далеко не идеальных, но несомненно миловидных не по-здешнему загорелых чертах исподволь проступало нечто, живо напомнившее виденные им прежде изображения инков или ацтеков. Едва наметившаяся в профиль орлиная горбинка аккуратного носика придавала задумчивому лицу несколько не хищное, а благородное, почти царственное выражение. Александру подумалось, что её предками запросто могли оказаться тамошние царьки или по меньшей мере представители знати.

Их город издавна славился многонациональным составом населения, но Сашка сразу догадался, что она не нашенская, слишком непривычный не похожий на местные этнический тип, явная иностранка. И кто ещё станет рыться в подобных книгах? В местных школах, как и везде, из инязов преподавали английский, немецкий, ну, французский гораздо пореже... Но чтобы испанский... О таком слышать не доводилось. Вероятнее всего, студентка из Рыбвтуза или рыбного же техникума. Туда кто только не приезжал учиться, всегда полно всякой иностранщины.

Он ещё ближе пододвинулся и сделал вид, будто внимательно рассматривает лежащие перед девушкой яркие обложки. Она прервала чтение и скользнула по нему равнодушным беглым взглядом глаз цвета густой чайной заварки, но тут же вернулась к прерванному на миг занятию. Похоже, ей совершенно не было никакого дела до подошедшего, ну ни капельки не заинтересовал он её.

И тогда, чтобы прервать бесконечное молчание, хоть что-то сказать, пробным камешком он брякнул первое пришедшее в голову:

– Ду ю спик англиш?

– Но, – отрицательно покачала она головой. – Но. И русо не говорю никак... Пэрдонэ!

– Ну и ладно, разве это главное? – успокоил Александр, хотя последнее слово осталось непонятым. Впрочем, не типа ли это «пardonьте» у французов? – Дело, знаете ли, вполне поправимое...

– Пэрдонэ...

Она задержала на нём повторный уже внимательный взгляд чайных глаз и вежливо, не больше того, улыбнулась на встречную улыбку. Пожала плечами, отложила рассматриваемую книгу и неторопливо направилась к выходу.

Внезапно всего на миг он представил её без этого так не шедшего ей нелепого пальтишки, именно всё то, что столь возмутительно скрывалось под грубой казённой материей. Наверняка там крылась гибкая изящная фигурка с подчёркнутой талией, плоский животик, развитые грудки, округлые бёдра с продолжением в пусть не модельные, но вполне сообразные её невеликому росточку ножки. Что невозможного в том, чтобы увидеть её так на самом деле?! Ему немедленно захотелось такого.

Сашок спохватился и успел догнать девушку вовремя, чтобы предупредительно распахнуть перед нею массивную дверь и придержать, пока не выйдет. Тут же выскочил вслед, с радостью убеждаясь, что она вовсе не торопится избавиться от его общества, а напротив, медлит, словно нарочно поджидая.

– А как вас... тебя зовут? – Он озвучил, наконец, то, что больше всего на свете хотелось сейчас узнать.

И торопливо добавил, поймав недоумённый взгляд:

– Вот из ё нэйм? Ну, я, например, Александр, Саша, понимаешь меня? Са-ша. Ну, как Александр Македонский, что ли... Знаешь его, наверное...

– Са-ша... – повторила она старательно и переспросила удивлённо: – Македонски?!

– Да не бери в голову, я это просто так, для наглядности... – он гулко стукнул себя кулаком по центру грудины. – Александр, Саша! Са-ша! А вы, сеньорита, кто будете? – Его указательный палец требовательно нацелился на девушку, не достававшую ему даже до плеча.

– Мари, – её припухлые слегка подкрашенные губы маняще раскрылись в широкой белозубой улыбке, она театрально приложила загорелую ладошку меж скрытых уродливым клетчатым пальто грудей. Глаза мигом утратили начальную отрешённость, ожили, озорно заискрились, в их глубинах можно было бы легко заблудиться, утонуть, потерять голову.

– Мэри! – радостно кивнул головой Саша, она его поняла! Уже что-то, лёд тронулся, господа присяжные!..

– Но Мэри – Мари! – сразу запротестовала она категорично.

И он снова кивнул, соглашаясь: Мари так Мари! Имя ей действительно шло, наверняка кто-то станет называть здесь по-домашнему Машей, если только она так разрешит. Но сейчас Мари для него звучало гораздо приятнее и необычно.

Девушка продолжала выжидающе смотреть на нового знакомого, и Саша уверенно махнул рукой, показывая направление, в котором им следует идти вместе. Стоило ему стронуться, Мари тотчас послушно пристроилась рядом. Они медленно двинулись по тротуару центральной улицы в сторону местного кремля.

День выдался похожим на предыдущие – пасмурным без солнца, скрытого плотной пеленой облаков. Спасибо, хоть серое хмурое небо привычно не просыпалось колюче-ледяной моросью. Чувствовалась прохлада излёта поздней осени, зато нередко пронизывающего до нитки хулиганистого северного ветра сегодня тоже не появлялось. Интересно, а как там сейчас на её родине, не только погода, а и вся прочая обстановка?

Саша попытался представить, насколько чуждым и неласковым кажется здешнее небо для девушки из далёкой южной страны. Но тут под ним сейчас не стреляют, и гусеницы танков не грохочут по улицам и площадям города. Такое здесь казалось совершенно невозможным. Он почти уверился, что его спутница из Чили, где недавно власть захватили, путчисты. Но выяснить поточнее не помешало бы... Он понадеялся, что название предполагаемой родины на других языках прозвучит для неё достаточно узнаваемо:

– Ты из Чили, да? Фром Чайл?

– Си... – гордо подтвердила она с грустной улыбкой, в глазах её блеснули неожиданные слёзы. – Рипублика Чили, капиталъ.

Уже потом он узнал, что после путча группу молодёжи удалось вывезти на Кубу и переправить в СССР. Все они оказались из семей репрессированных сторонников законно избранного правительства. Их спасли, как некогда детей испанских республиканцев после победы Франко. Но многие из прибывших сами успели стать на родине революционерами ради лучшей жизни для своего народа. Раза два случайно встретив позже на городских улицах группки её соплеменников, обычно не ходивших поодиночке, он сразу признавал их по характерной внешности и одежде. На девушках узнаваемой униформой смотрелись те же клетчатые неказистые пальто. Ни одна из них ни в чём не показалась симпатичнее Мари. Он снова поразился их схожести с детдомовскими воспитанниками, не переставая удивляться: почему несчастных скитальцев, попавших на чужбину без всего привычного, не могли хотя бы приодеть по-человечески? Предоставить им самим выбор, чтобы каждый мог проявить собственную индивидуальность? Либо те, кому поручили их принять и обустроить, сэкономили на них, либо скупо отпущенных средств не хватило для полного подтверждения интернациональной солидарности.

На асфальте под ногами шуршали опавшие пожухлые листья, прощальные приветы осени, её обесцененные никому не нужные купюры, обрывки недавнего золотого убранства. Дворники не успевали сметать их днём даже на центральных улицах. Александр удивился, с чего его пробило на такую лирику? Не от близости ли случайной латиноамериканки? С подозрением покосился в её сторону. Начиная ощущать неловкость от зависшего между ними молчания, никак не мог придумать, о чём заговорить, чтобы ей сразу стало понятно?

Наконец, попробовал объяснить цель, к которой решительно её повёл – Сашка вознамерился показать главную городскую достопримечательность. И с первых же произнесённых слов потерпел заранее предполагаемое фиаско.

– Но компрендо*, русо не понимай, – виновато вставила Мари между потоков его словоизвержения и жестов, едва улучила возможность.

– Да и ладно, – махнул рукой Саша. Он и сам ничего не понимал, сознавая, что не может просто так взять и уйти, оставив новую знакомую посреди улицы, будто между ними успела установиться странная незримая связь и теперь он имеет перед ней какое-то моральное обязательство.

Проходя мимо музейного вида здания местной администрации под флаштокком с красным флагом, не удержался и пояснил:

– Здесь наша власть, облисполком, а вон там напротив обком партии. Ну, как там у вас, наверное вроде мэрии, что ли... Понимаешь?

Его спутница смешно наморщила лобик и серьёзно кивнула:

– Эль-аюнтамьенто...

Что ж, подумал Александр, может быть, и так.

Когда они достигли центрального прохода под аркой многоярусной надвратной колокольни крепости, отчётливо услышал почтительный шёпот Мари:

– О, гранде ла торре...

Уже внутри распахнувшегося навстречу обширного асфальтированного двора подвёл её к заметному округлому возвышению с каменным бортом по периметру, примыкавшему к широкой и многоступенчатой соборной лестнице.

– Знаешь, такое Лобное место есть ещё только в Москве. Многие считают, что оно служило исключительно местом для казней, потому и названо Лобным. Но на самом деле плахи обычно возводились рядом, а его само не оскверняли кровью приговорённых, сохраняя святость места. Отсюда прилюдно оглашали царские указы и прочие повеления верхов... А разным горлопанам с него всегда сподручнее было мутить народ. В отличие от Москвы тех, кого хотели казнить прямо тут, сбрасывали с башни Раската, которой уже давно нет в помине.

При этом Саша невольно вспомнил сообщения о стадионе в Сантьяго, который недавно превратили в концлагерь

* Не понимаю (*исп.*).

для тысяч противников нового режима, и, конечно же, о Викторе Хара. Коммунисту и барду революции перед смертью раздробили руки вместе с гитарой, под которую он пел свои песни задержанным на оцеплённом футбольном поле. Но вслух об этом ничего не сказал.

Она перестала повторять монотонно однообразное заклинание «но компрендо», только внимательно слушала его голос, улавливая изменяющиеся оттенки тембра, хотя заведомо ничего не могла понять.

Показывая одной рукой на уходящую ввысь башню кремля, другой он осторожно приобнял девушку за плечо. Никаких возражений с её стороны такое действие не вызвало. Придерживая обеими руками берет, чтобы не съехал с начально определённого для него места, Мари задирает голову, рассматривая небольшую антенну на верхушке колокольни, высокие луковицы куполов внушительного Успенского собора. Лишь иногда с её губ слетали милым для слуха бормотанием красиво звучащие новые незнакомые Саше слова:

– Эль-кастильо... ла катедраль...

Сегодня вороны без обычного гвалта расположились в остатках листвы на здешних деревьях, а голуби нахохлившись пернатыми комочками усыпали крыши старых зданий музыкальной и художественной школ. По безошибочной народной примете – к скорой непогоде.

Когда он заметил, как несколько раз спутница, отодвигая кверху грубый рукав посконного пальто, украдкой посматривает на золотые часики на тонком смуглом запястье, понял, что их совместное время необратимо уходит. Несомненно, чей-то подарок, скорее всего, от родителей, память об оставленной не по своей воле прошлой жизни. На вопросительный жест его руки, указавшей на её единственную драгоценность, тут же последовало подтверждение дрогнувшим голосом:

– ...Падре...

Всё же он успел многое показать ей на территории древнего русского оплота, по скрытым каменным лестницам они поднимались на многометровые зубчатые стены с передовым для своего времени особым расположением

бойниц. В их прорезях глазам предстала просторная Ленинская площадь, более походившая на вытянутый широкий бульвар с аккуратными газонами, огранёнными цветниками, умершими до весны фонтанами и памятником основателю современного государства в центре. Место для проведения парадов и разрешённых демонстраций в общенародные праздники, о чём свидетельствовала темнеющая на общем фоне коричневая трибуна.

Вытянутое вдоль проезжей части уродливое чужеродное для окружающей архитектуры сооружение предназначалось исключительно для хозяев области и города и потому круглосуточно охранялось милицией. Да и было что стеречь кроме плиточной облицовки. От маминых знакомых строителей Александр слышал, что московские метростроевцы соорудили в подземной части трибуны туалет с буфетом для находившихся наверху всего по несколько часов в год. В холодное время на уровне ног постоянно подавался поток подогретого воздуха. Мрачная конструкция всегда напоминала Сашке отколотый фрагмент Мавзолея — последнего пристанища вождя, перед статуей которого её и возвели.

Чуть позже, вернувшись внутрь кремля к такому же старинному, как и всё здесь, приземистому строению с надписью на крыше «Кафе “Огонёк”», Саша понял, что им обязательно и срочно нужно именно туда. И не зря. Мари сразу исчезла за дверью с маленьким женским силуэтом, он последовал её примеру, обнаружив по соседству такое же стилизованное изображение человечка.

Когда они встретились в вестибюле, Александр попытался уговорить девушку сдать пальто в гардероб и пройти вместе с ним внутрь, чтобы присесть за столик. Несколько бумажных трёшек в кармане, остаток тридцатипятирублевой стипендии, навели на мысль угостить спутницу обедом. Но на все его повторные настояния следовало категоричное «но», и с этим он уже ничего не смог поделать. Оставалось только гадать, что может скрываться под нелепым пальтишком, чего она так стесняется показать свету? Такое же по-детдомовски казённое платье, носить которое ей самой представлялось неудобным и постыдным?

Он проводил Мари на троллейбусе до рыбтузовского общежития иностранных студентов. С этим Саша угадал – оно и оказалось её новым пристанищем здесь, далеко от оставленного дома. Когда пробивал компостером припасённые билеты, заметил на одном счастливым номер: сумма трёх левых цифр равнялась сумме трёх правых. Как объяснить ей эту приметку и поинтересоваться, есть ли у них такое же странное суеверие, не знал, просто убрал талоны в закрома куртки, ничего не говоря. Ему почему-то даже в голову не пришло отвезти девушку на такси. Правда, поймать свободную машину было непросто, а торговаться с частником на глазах необычной попутчицы ему бы совсем не захотелось. Но скорее всего сказала студентская привычка с первого курса экономить на всём, кроме выпивки. Правда, для Александра существовало ещё одно исключение – на приглянувшуюся или просто нужную книгу он всегда мог потратить последнее. А пускать пыль в глаза понравившимся девчонкам, бездумно соря деньгами направо и налево, которых всегда почему-то не хватало, считал глупостью.

Мимо за окнами проплывали старинные невысокие строения центра, издавна называемого Белым городом, которые она с неподдельным интересом внимательно разглядывала. Оба тесно угнездились рядышком на одном сиденье, и ему казалось, будто он чувствует сквозь разделявшую их одежду обжигающий жар близкого девичьего бедра. Иногда Мари поворачивала к нему лицо с таинственно улыбающимися чайными глазами, и он сознавал, что мог бы ехать вот так возле неё до бесконечности, пока не кончится путь или электричество для движения троллейбуса.

Он галантно предложил ей руку, когда добрались до места, и она приготовилась сойти по ступенькам. С улыбкой доверчиво вручила свою в его ладонь и ласково сопроводила королевский жест словами:

– Грасьяс, энкантада!

Ему ничего не оставалось, как посчитать их благодарностью за проведённое вместе время, и в этом он почти не ошибся.

Едва вышли, как не обращая внимания на окружающих, девушка настойчиво потянула его за рукав к скамейке у остановки. Они снова очутились рядом, теперь уже на холодных крашенных досках уличного жёсткого сиденья. Девушка торопливо извлекла из кармана аккуратный блокнотик и шариковую ручку, что-то быстро нацарапала на вырванном листке и протянула его Саше с просительной интонацией:

– Пор фавор...

Крупным почти детским почерком чётко и красиво написанные латиницей имя с фамилией – Мария Карраско, номера комнаты и городского телефона.

– Телефон... – пробормотал Саша ненужной озвучкой очевидного.

– Ми нумеро телефоно, си! – И это она могла не подтверждать, оказалось и так понятно.

Интересно, подумал Сашка, сколько их там живёт вместе? Иностранцам обычно предоставляли льготу – всего по два студента на комнату.

Неожиданно Мари порывисто прильнула к нему и так быстро чмокнула в щёку, что он не успел ответить. Теперь, когда они сидели рядом, разница в росте несколько ей не помешала. Её горячие губы убедительно заверили, что целоваться она ещё как умеет!

Возможно, он ей и в самом деле успел понравиться. Но, скорее всего, Мари просто захотела отблагодарить первого по-человечески отнёсшегося к ней здесь на чужбине. Он растерянно помахал рукой вслед, когда она так же стремительно упорхнула прочь и скрылась за безжалостно отсекавшей его взгляд гильотиной входной двери. Её прощальное «адиос!» некоторое время ещё висело возле него в воздухе, щекоча слух.

Весь остаток дня, вечер и последующие сутки Мари не шла у него из головы. Он снова и снова прокручивал перед собой подробности их случайного знакомства в магазине и недолгой совместной прогулки. Даже позвонил своей постоянной в последние месяцы девушке, с которой заранее условился встретиться, наплёл о предстоящем зачёте, извинился, что не сможет в эти дни прийти.

Чайные искрящиеся глаза, волосы вороного шёлка и прощальное касание щеки горячими губами не давали ему ни минуты покоя. Надо было бы поскорее набрать номер с блокнотного листка, и вся недолга! Но что он скажет, когда её позовут, когда он снова услышит её милый волнующий голос, если она совершенно ничего не поймёт без переводчика, как и он её! Как им договориться, не прибегая к помощи посторонних?! И куда пригласить, если комнатка в общежитии окажется занята соседками, ещё неизвестно, как могущих его принять? Да и вообще – пропустят ли его туда вахтёры? Иностранка же, как ни крути...

Представил, как нелепо она смотрелась бы в своём несообразном детдомовском пальтишке, приведи он её на вечер в свой институт. Запросто могла бы оказаться заманчивой мишенью для бесцеремонных циничных насмешек будущих медиков. Воистину лягушонка в коробчке! Только и он сам вовсе не сказочный Иван-царевич! И ещё одна проблема: чем её угостить – мороженым или пироженками с чашечкой кофе в одном из кафетериев, которых в городе можно было пересчитать по пальцам руки и где порой подолгу приходилось ждать свободного места? Предпочитает ли она вино или шампанское? Не бормотуху же распивать с молоденькой чилийской беженкой, совершенно не знакомой с реалиями здешней жизни и надеявшейся после всего пережитого на родине найти что-то лучшее в этой стране! Ну никак не мог наметить примерный план действий прежде, чем позвонить и предложить нечто конкретное. Остро чувствовал неуверенность и собственную неловкость, не имелось у него ни малейшего опыта интернациональных отношений. Как вообще вести себя с иностранкой, которая, как говорится, ни в зуб ногой ни по-русски, ни по-английски?

Если решительно «взять быка за рога», внаглую привести к себе домой, вряд ли мать обрадуется и поймёт такое. Наверняка нарочно останется дома и начнёт совать нос не в свои дела, всё согласно закону подлости. Что же делать? Извечный жгучий для русских вопрос из романа Чернышевского, чтоб его... Никак не мог он найти подходящего простого решения, а может, сам всё усложнял, накручивал

для себя, как обычно. Куда ни кинь – чревато серьёзными международными осложнениями, сплошное минное поле. Так впустую прошёл день, затем другой.

– Да ты чо – совсем с дуба рухнул, что ли? – очумело воззрился на него заскочивший следующим вечером школьный приятель Славик, теперь студент Рыбного института. Единственный, с кем Александр поделился своими неразрешимыми заморочками. – Похоже, ты прав, она из этих самых чилийцев. Сказали, многие из ребят были там молодёжными активистами. Всего несколько дней, как их прямиком с Кубы вывезли. К нам человек двадцать определили, степуху всем дали повышенную. Пока только языку начали учить. В нашем Рывтузе преподавать на испанском основные предметы некому. Если у них не получится – могут ещё куда переправить. Сам-то не соображаешь? Их день и ночь кагэбэшники пасут. Не вздумай к ней и близко подойти, сразу политическую статью с аморалкой пришьют! Хочешь, чтоб из института вышибли? В армию захотел?!

– Серьёзно, что ли? Не гонишь?

– Нет, блин, шучу! Куда уж серьёзнее-то, дятел? Сашок, не будь дураком – зачем тебе приключения на свою задницу? Да среди этих прибывших чилиек и симпатюлек, кажись, ни одной. Хотя, говорят, все они давалки известные. У них дома, в Чили, едва снимет студент или студентка каморку, а то и место в общеаге получит, первым делом двухспальную кровать затаскивают, даже если ничего уже больше туда не поместится. Это для них наиглавнее учёбы, южная кровь короче.

Сашок не стал возражать товарищу, имевшему гораздо более богатый сексуальный опыт.

Недавно в библиотеке ему попалась переводная научно-популярная брошюрка «География рака». В ней на разноцветной карте мира Чили выделялась страной с наиболее часто встречаемым поражением шейки матки. Он уже знал из лекций: едва ли не главной причиной служила частая и беспорядочная смена партнёров. Конечно, нельзя всех стричь под одну гребёнку, почему именно Мари должна обязательно оказаться такой? Не верилось в эти

наговоры, никак не хотелось верить. И всё же подобное заставляло призадуматься.

– Да, ладно, не дрейфь, старина. Если экзотики захотел, найдём тебе эфиопку или мулаточку там же, за этими точно не так следят, как за жертвами политических репрессий. Только скажи, зачем тебе это надо в натуре? Своих, что ли, не хватает?

Но всё это лишь отчасти удержало его поскорее набрать заветный номер общежития. То ли убедил себя, то ли оправдал своё бездействие тем, что надо дать Мари возможность хоть немного подучить русский. Только тогда они смогут поговорить без ненужных посредников и по телефону.

Осень уже собиралась окончательно уступить права на город вплотную подступавшей зиме. Хотя на карте Чили вытянулась длинной лентой вдоль латиноамериканского континента чуть ли не до Антарктиды, вряд ли на большей части страны, за исключением высокогорных Анд, знакомы со снегом. Сашка решил, что скоро сам, и никто другой, покажет Мари, как играют в снежки, научит лепить снежную бабу, покатает на санках, на которых потом вместе не раз съедут с ледяной горки... А если повезёт, то и Новый год встретит с ней в тепле у наряженной ёлки. Наверняка русская зима с её обязательными морозами и снегами должна показаться чилийцам в диковинку.

Он так и не позвонил, хотя долго и бережно сохранял записку. После знакомства с девушкой из Чили захотелось поподробнее узнать из доступных источников, что происходило на её родине все эти годы. Однажды его прорвало написать по теме стихи, на подгонку размера в которых ушло несколько часов. Запоздало подумал, что мог бы потратить это время на что-то более интересное или нужное.

Переписал начисто и сам немедля отнёс в литературный отдел областной газеты. Принявший там пожилой редактор нашёл время для студента, снисходительно пробежал глазами представленные вирши в присутствии автора. При этом он безбожно дымил, прикуривая новую сигарету от ещё не законченной. Саша подобного терпеть не мог, но стойко дожидался заключительного приговора:

– Политический посыл в твоих строчках несомненно виден мощный, просто ударный! Вполне идеологически грамотно, определённо нашенский, социалистический подход, словом.

Знарок литературы затянулся поглубже и, выпуская сигаретную струю в сторону Александра, поднёс написанное от руки поближе к глазам. Отставил руку с дымящейся сигаретой далеко в сторону, близоруко прищурился и пафосно продекламировал выбранный отрывок:

Девочку Чили
Утром схватили.
Били, пытали,
Но не сломили!
Ветер доносит
Пепел оттуда,
Нам остаются
Строки Неруды.
Песнь не разбита
Вместе с гитарой
В сломанных пальцах
Виктора Хара.

Покачал головой и продолжил уже прозаически:

– Хоть сейчас для стенгазеты или заводской многотиражки, повыше вряд ли. Художественно, знаешь ли, не вполне тянет. Глагольная рифмовка опять же... А то и полное отсутствие самой рифмы нередко. С формой как-то не того... Уж ты, брат, определись, выбери одно: либо белые стихи в каждой строчке, либо везде зарифмуй, как положено. И вот что ещё про Чили... Как-то некорректно по отношению к стране с историей, самобытным народом и тяжёлой политической судьбой. Я бы сказал волонтаристски даже. По мне так она вовсе давно не девочка, а вполне взрослая, созревшая женщина, сомнений в том нет, если пользоваться твоими же спорными метафорами. А идейно всё надлежаще на уровне, гневно вкупе с интернациональной солидарностью. Молодец в этом! Только, извини, нам не подходит. Но ты продолжай, обязательно продолжай, определённые способности налицо. Читай больше клас-

сиков, учись у них. Да и пособия по стихосложению посмотри. Вот так-то, брат, будь здоров!

Александр немного расстроился, но совсем ненадолго. Больше всего жалел, что никогда своё сочинение не прочтёт вслух для Мари, да и не поняла бы она ничего без испанского перевода-подстрочника. Стихи отдал в институтскую стенгазету и с головой ушёл в учёбу. Всё как-то завертелось помимо его воли, не оставляя времени на другое. Однако притом всё же успевал встречаться с нравившейся ему привычной девушкой, на которой вполне ожидаемо женился следующей осенью на последнем курсе института, когда она забеременела. Впрочем, однажды, отмечая конец сессии с одногруппниками, поздно вечером он всё-таки позвонил по номеру общежития и вежливо попросил позвать к телефону Марию Карраско из такой-то комнаты. Но сонный голос пожилой женщины равнодушно известил, что чилийцы у них давно не живут.

Изредка заходя в книжный магазин на Советской, глупо надеялся встретить Мари. Но так и не знал, что предпринять, если вдруг повезёт увидеть перед собой мгновенно узнаваемые чайные глаза.

Сергей ЗЕЛЬДИН

Житомир, Украина

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ

Ночью втер так рвал и трепал ворота, что казалось, на стройку ломятся глухонемые буйнопомешанные.

Это штормовые шквалы были созвучны чувству, бушующему в груди Сергея Павловича – в далекой киевской больнице лежал и боролся со смертью его друг, Вадим Олегович Сидоренко.

Хиленькие ворота из гофры гнуло и надувало, как парус западным ветром, и Сергей Павлович представлял, как падает атмосферное давление и это вредит больному сердцу друга, и ему хотелось кинуться и загородить своей грудью это родное сердце. Сергей Павлович стукнул себя по лбу и дернул за волосы – прыгнуть бы смерти на спину, оттащить от друга и пусть делает что хочет, только бы Вадим остался жив!..

Некоторые любят рассказывать о своих болезнях, предчувствиях и предзнаменованиях скорой смерти.

Но большинство мужчин этого не делают из-за своих понятий о мужественности, а если делают, то скупо.

Кроме того, многих удерживает сознание какой-то неприличности, сопровождающей рассказы о нездоровье и смерти.

Но Сергей Павлович Каплун, любящий поговорить об изъянах и упущениях своего здоровья, делал это не из-за отсутствия мужественности или от бескультурности, а просто он был мистиком. То есть не в полном смысле

мистиком, который разговаривает с тенями умерших родственников и смотрит «Битвы экстрасенсов», но тем не менее он был убежден в существовании у каждого личного ангела-хранителя, время от времени занимающегося нашими делишками. По мнению Сергея Павловича., ангелы-хранители практически все были на один лад – бесталанные, очень черные юмористы.

Обычная их, повторяющаяся уже тысячи лет и миллиарды раз, шутка – одной рукой дать что-нибудь очень желанное для человека – славу, власть, деньги, – а другой забрать вдвойне, уже по-настоящему ценным.

Причем, по наблюдениям Сергея Павловича, ангелы-хранители как сущности изначально неоригинальные и, что греха таить, говноватые, обожают отнять у человека именно то, с чем он расставаться никак не хочет, очень боится этого и, чтобы не сглазить, никогда и никому об этом не рассказывает – здоровье, а то и саму жизнь.

И наоборот, когда человек каждый день треплется, что вот-вот содохнет, жалуется, пьет таблетки, без конца мерит давление, надоедает разговорами о сахаре и моче, то ангелам-хранителям совершенно неинтересно делать с людьми то, чего он ждет и к чему готов.

Вот поэтому Сергей Павлович не скрывал от знакомых и соседей, что чувствует свою скорую смертушку и совершенно этого не боится. Вообще к своему ангелу Сергей Павлович относился сурово, чтобы тот не сильно распускал крылья.

Соседи и знакомые говорили:

– Дурной! Разве можно такое говорить? Докаркаешься! – и сами поступали наоборот, шифруясь о скачках давления и о болях в подреберье, как партизаны на допросе в гестапо.

Сергей Павлович считал их дураками и ждал, что будущее расставит всех по полочкам.

А сейчас он метался по своей будке, полный отчаяния и горя, а его друг, Вадим Сидоренко, мужественный и немногословный человек, висел на тонкой ниточке в клинике имени академика Амосова. У друга расслоилась аорта. Сергей Павлович не знал, как такое может быть, но звучало это гнусно.

Он то высказывал покурить и, неприязненно глядя на польский костел через дорогу, говорил:

– Ну! Если такой всемогущий, так давай! Помилуй раба своего Вадима! Сделай что-то раз в жизни!

То, сидя в будке на топчане, опускал лицо в сложенные ладони и глухо взрыдывал:

– Только попробуй мне умереть! Я тебе дам! Нам еще твоего внука в садик вести!

У Вадима Олеговича, борющегося со смертью, не было внуков, так как дочь-бизнесвумен и зять-прокурор еще не до конца созрели для этого. Поэтому Сергей Павлович и говорил это, как будто друг мог его услышать через сто сорок километров, сквозь стены больницы, в тяжелом искусственном сне.

А у самого Сергея Павловича, хотя и далеко, за границей, но внучка была, но он, щадя чувства друга, мало о ней рассказывал. А может, он напрасно не рассказывал, и другу было бы приятно послушать, как здорово шестилетняя Алекса болтает по-фински и ходит на гимнастику, но Сергей Павлович зачем-то избегал этого, не желая причинять огорчения другу, у которого еще неизвестно, когда будет внучка или хотя бы внук.

Делая все это – крича на Бога, куря и бегая, Сергей Павлович вдруг подумал, что даже не знал, насколько Вадим ему дорог.

У него никогда не было настоящего друга. Конечно, были дружки-одноклассники, армейские «земы», товарищи по работе. Но то, что они были друзьями, было только словами, а на самом деле это были только приятели, в лучшем случае собутыльники, хотя Сергей Павлович почти не пил, решив что у него мотор не в порядке.

А был ли когда-нибудь настоящий друг у Вадима Олеговича, неизвестно, но, наверное, нет, раз о нем не было слышно.

В юности Серега и Вадик знали друг друга по городу, но так, «привет-буфет», ничего серьезного, а потом разошлись по жизни на сорок лет.

А потом встретились и как-то сразу подружились. На первый взгляд это было странным, все-таки это были

люди, занимающие разное положение в обществе. Вадим Олегович был то комсомольским вожаком, то занимался бизнесом, то был кандидатом наук, а Сергей Павлович, наоборот, сполз до скромной роли сторожа, кочуя со стройплощадки на стройплощадку. Но с психологической точки зрения здесь не было ничего необычного.

Наверное, в самом начале Вадима Олеговича привлекла возможность общаться без напряжения с ниже себя стоящим. Потому что когда тусуешься с себе подобными, тебя всегда подсознательно кумарит мысль, не хуже ли ты собеседника преуспел в жизни и если да, то удовольствие от общения уже не то. А с Сергеем было легко и свободно и можно было не корчить из себя большого пацана и не бояться, что тебя считают поцем..

Но в дальнейшем, пообщавшись подольше, Вадим Олегович не мог не заметить глубоких Сереговых взглядов, обширной советской начитанности и надменного отношения к жизни у этого нищего простолюдина. Это забавляло, а потом стало привлекать Вадима Олеговича, раньше считавшего, что бедняки произошли от других обезьян, нежели приличные люди.

К тому же, как все начитанные болтливые люди, Сергей Павлович казался слегка юродивым, что всегда вызывает доверие и симпатию. Вспомним хотя бы Иоанна Грозного и скорбного главою Николку, от которого только царь-надежда и воспринимал критику в свой адрес.

Сергею же Павловичу в Вадиме Олеговиче нравилось... Может быть... Наверное... Нет. Скорее всего, проведя столько времени среди плиточников и бульдозеристов, он просто соскучился по культурному общению. И теперь ему казалось, что, отмывшись в баньке от болотной тины, чистый, розовый, в шелковой хозяйской косоворотке, гоняет он чай из огнедышащего самовара, ведя разговор приличный с помещиком Нечуй-Правицким, владельцем именишка, куда рок забросил его после неудавшейся охоты.

При таких условиях два приятеля все крепче сдруживались, все чаще встречались и вскоре уже не могли друг без друга, как Иван Иванович и Иван Никифорович. Но если

те поссорились при первой возможности, то наши два друга о таком и не думали, и даже было непонятно, что их могло разлучить, так они дорожили своей обретенной близостью хотя бы и с позиций возраста, а им уже было каждому под шестьдесят. Да, безусловно, старческое одиночество тоже присутствовало, но главное было не в этом.

Если правда, что у каждого человека где-то бродит его половинка, то это относится не только к девушкам, но и к друзьям. Встретить друга так же трудно, как инженеру Лосю было найти свою Аэлилу. Ему пришлось лететь на Марс. Но Сергей Павлович с Вадимом Олеговичем встретились здесь, на Земле, на углу Хлебной и Бориса Тэна.

Вот как это произошло.

Был чудесный осенний денек. Вадим Олегович стоял возле аптеки «АНЦ» и вежливо препирался с аптекаршей, ставшей на пороге своего заведения и преградившей ему путь внутрь. Дело было в том, что Вадим Олегович случайно забыл дома маску и не смог купить в гастрономе каких-то продуктов к столу. Он пошел в аптеку, чтобы купить новую маску, но и туда его не пустили, потому что он был без маски. Возможно, в другой раз его бы пустили, чтобы он быстро купил маску и тут же ее надел. Но то ли у аптекарши был какой-то зуб на мягких и вежливых мужчин, то ли просто это был не Вадима Олеговича день, но они стояли в дверях ни туда и ни сюда. Неизвестно, сколько бы тянулась эта казуистика, но тут к этой живой картине подошел Сергей Павлович, который хотел купить пачку «Кардиомагнила» для разжижения крови от инсульта. Некоторые не пьют препараты, разжижающие кровь и представляющие собой маленькие дозы аспирина, и этим играют своим здоровьем, особенно после сороковника, а тем более полтинника. Конечно, обычный аспирин намного дешевле «Кардиомагнила», тем более что он наш, но у него дозировка пятьсот миллиграммов, в то время как надо всего семьдесят пять, и поэтому как вы раскрошите таблетку на такие кусочки?

И вот Сергей Павлович, который не узнал Вадима Олеговича, так как обладал слабой зрительной памятью, остановился, чтобы войти в аптеку, и тут Вадим Олегович, ко-

торый, несмотря на свой культурный характер, стал уже закипать, узнал его и воскликнул:

– Нет, ну, Сережа, это цирк!

Вскоре и Сергей Павлович с трудом, но узнал старого знакомого и, войдя в курс дела, зашел в аптеку и купил ему маску, так как сам никогда не забывал ее дома, регулярно стирал и гладил.

Вместе пошли домой, хотя и жили в разных местах – Вадим Олегович в центре, а Сергей Павлович напротив ждэ вокзала, разговорились, повспоминали молодость и, как-то так, незаметно, понравились друг другу и обменялись телефонами, то есть их номерами.

Вот так они и повстречались через сорок лет благодаря чокнутой аптекарше.

Наверняка они и раньше встречались за эти почти полвека, просто никогда не сталкивались нос к носу, тем более что у Сергея Павловича была хреновая зрительная память. Да и по-любому время взяло свое, и теперь Вадим Олегович, когда-то похожий на Андрея Губина, стал вылитый артист Вельяминов из «Тени исчезают в полдень», а Сергей Павлович вместо молодого Стинга в последние годы напоминал старого Вицина.

Они созвонились и прогулялись раз, другой и третий. У Сереги было много свободного времени, так как он работал сутки – трое и дома сидеть не любил.

А Вадим Олегович только что покинул стены университета, не сойдясь с новым ректором во взглядах, и тоже с непривычки скучал.

И они, хоть и не с первого дня, но все же подружились.

Или Сергей Павлович звонил и говорил:

– А то в проходку, пан профессор? Воздух попинаем, тучки понюхаем?

И Вадим Олегович говорил:

– Нет вопросов!

Или Вадим Олегович звонил и говорил:

– Я тут думал, не сделать ли моцион? Если только граф Каплун не сильно занят.

На что Сергей Павлович всегда отвечал словами Пятачка:

– До пятницы я совершенно свободен!

И они смеялись, потому что это действительно была отличная шутка, имевшая много ответвлений, вроде:

Девочка Лена купаться пошла,
В среду нырнула, в субботу всплыла.

Они три или четыре раза в неделю гуляли по городу, особенно любя гулять по парку имени Гагарина, который по недосмотру патриотов не был переименован и так и носил имя этого хрущевского сатрапа.

Обойдя все дорожки парка, причем сторож Сергей Павлович больше говорил, а бывший декан Вадим Олегович внимательно его слушал, приятели поднимались по улице Лермонтова, вероятно, не изменившейся с тех пор, когда по ней гулял Лариосик из «Белой гвардии», садились за столик кафе «Геретения» у подножия водонапорной башни, памятника архитектуры XIX века, пили кофе и кушали пирожные, за которые тактично расплачивался Вадим Олегович, имевший капитал, а также пенсию, равную пяти Серегиным зарплатам.

Попив кофе, Олег Вадимович опять слушал Сергея Павловича, а тот закуривал и говорил не умолкая то о статье Томаса Манна про сифилис Ницше, ставший причиной его гениальности, то о рассказе Алексея Толстого «День Петра», где виден его настоящий взгляд, а не как в романе, написанном для Сталина, то о мистике, окружающей нас, гораздо более реальной, чем видимость так называемой «жизни». И тут же втирал свою теорию об ангелах-вредителях. На что Вадим Олегович улыбался и ничего не говорил, так как с дефолта 98-го был верующим христианином, а христианство придерживается иной концепции.

Вадим Олегович, бывший в свое время довольно узким специалистом в области украинского языка и для которого все рассказы Сергея Павловича были новостью, слушал его с уважением и ничем не перебивал.

И ихние жены вслед за мужьями тоже подружились и нашли в себе много общего и даже лучше – того, чего не хватало им и теперь дополнялось через подругу.

Жена Вадима Олеговича Оксана Иосифовна, владелица переводческого агентства «Вселенная», говорила жене Сергея Павловича Виктории Дионисьевне, работавшей собачьей няней у харизматов:

– Викусичка! Я давно хотела подарить тебе одну шубейку! Мне она уже не налазит, а тебе будет как раз! Сделай мне приятное, возьми!

И Викуся брала, чтобы не обижать свою приятельницу.

И Олег Вадимович тоже говорил, стыдливо улыбаясь:

– Сережа! Тут Ксюша отобрала кое-что, шкаф разгрузить. Оно новое, будешь на работу носить, уважь друга!

И Сергей Павлович, сделав на лице выражение: «Ну что с вами делать, мерзавцы вы эдакие!», давал себя уговорить и нес из гостей огромный пакет с брюками, свитерами, куртками и даже шапками и перчатками, и потом говорил насмешливо, разглядывая себя в домашнем зеркале:

Как денди лондонский одет –
Таким его увидел свет.

Или Оксана Иосифовна, очень любившая Викусю Сергея Павловича, потому что она не корчила рожу, как какая-нибудь судья апелляционного суда, звонила и говорила:

– Пани Каплун! Приходите на утку в темном пиве! Отказы не принимаются! Да, захватите своего Ницше!

И паны Каплуны шли в шикарную сталинку на Большой Бердичевской и очень весело проводили время за уткой в темном пиве и всем, что следовало к ней.

Вадим Олегович с Сергеем Павловичем так сдружились, что какой-нибудь гомофоб разглядел бы здесь сексуальный подтекст. Но ведь так можно и гоголевских героев обвинить черт-те в чем. К тому же, между нами, фрейдистами, говоря, такой подтекст присутствует во всем, но это ни о чем не говорит.

Да что! Дошло до того, что их не разъединяли даже резко отличные политические взгляды. Противник и ругатель всех и всяческих Майданов Сергей Павлович и их сугубый защитник и апологет Вадим Олегович, всегда вовремя останавливались и расходились с ласковой улыбкой, какой улыбаются неполноценному ребенку, в то время

как миргородский Иван Иванович давно бы уже убил своего Ивана Никифоровича из его же ружья.

Но двое эти уже настолько сблизились, что еще немного, и они стали бы как те два друга-скифа, о которых писал Лукиан Самосатский во втором веке нашей эры и о которых Сергей Павлович рассказывал Вадиму Олеговичу в «Теретении». Друзья-скифы так любили один-другого, что буквально соревновались, кто первый отдаст жизнь за друга. А когда один погиб из-за одного царя, второй организовал скифский набег на Лидию и Комагену, и они там вырезали всех под корень. И второй постарался погибнуть в бою, не желая жить без друга.

Как уже говорилось, Сергей Павлович склонялся к картине мира, исполненной мистицизма и поэтому и теперь не переставал говорить о своем плохом здоровье, севшем зрении, грыже спины, аритмии вкупе с брадикардией и так далее, переходя от одной части тела к другой, чтобы запутать своего ангела и отвести его от шуток.

Вадим же Олегович, будучи старым «афганцем», орденосцем и медалистом, о чем никогда не говорил, как и о всяких мелких контузиях и ранениях военного времени, обычно помалкивал, сочувственно выслушивая жалобы друга и предлагая деньги на лечение.

Однако в последнее время что-то и его точило, взгляд его понемногу делался слегка отсутствующим и как бы немного тоскливым, как это бывает у людей и животных накануне смерти.

И вот как гром среди ясного неба – позвонила Оксана Иосифовна и сообщила ужасную новость: Вадим Олегович, тихо и незаметно легший в больницу узнать, отчего у него болит за грудиной, был подвергнут коронаграфии и срочно увезен в Киев в Институт имени Амосова, где профессор, едва выяснив основной факт – есть ли у пациента плюс-минус миллион гривен, немедленно отправил его в операционную, шесть часов колдовал над ним с вызванным из Харькова сосудистым светилом и успел спасти Вадима Олеговича в самый последний момент, как в дешевом фильме, где чуть вспотевший герой отключает атомный фугас в центре Лос-Анджелеса за секунду до взрыва.

У Вадима Олеговича была взята артерия на ноге и вставлена вместо изношенной аорты. И теперь оставалось самое главное – постараться выжить после такой замены, на что честный профессор давал не более двадцати процентов из ста.

И вот теперь Вадим Олегович, ужасно далекий и одинокий, бродил в долине теней, ища выход, а его друг Сергей Павлович метался по своей сторожке как зверь, ища, чем помочь, и не находя этого. Он то набрасывался с упреками на ангела-хранителя Вадима Олеговича, обвиняя его во всех грехах, то презрительно и свысока разговаривал с официальным Богом, стремясь растормошить его и вызвать на чудо.

Наконец, утомленный и опустошенный, Сергей Павлович рухнул на топчан и заснул.

И снится ему, да так ясно, что он даже не заподозрил, что это сон, и был совершенно уверен, что стоит на лестнице в своей родной восьмой школе возле входа в актовыв зал, но не школьником, а уже таким, как сейчас, взрослым и вдруг видит, как снизу поднимается и равняется с ним блестящий офицер, капитан, в сопровождении двух майоров, несущих за ним чемоданчик, похожий на ядерный. Присмотревшись, вернее, даже не присматриваясь, ведь во сне и так все понятно, Сергей Павлович узнал в блестящем гвардейце своего старого армейского зему, Саню Мищенко, с которым они оканчивали учебку в ПриБВО.

– Здравия желаю, товарищ капитан! – несмело сказал Сергей Павлович, неуверенный, как его примут.

– А-а, здравствуй-здравствуй, друг мордастый! – рубанул капитан. – Извини, спешу, проверял ваш округ, теперь по банкетам затаскают!

И коротко, по-военному кивнув, прогарцевал со свитой куда-то вверх, в направлении кабинета астрономии.

Сергей Павлович во сне приосанился и подумал: «Ну, Сашок!..»

И вдруг совершенно неожиданно вспомнил, что Саня Мищенко уже лет пять как помер и последний раз он видел его на Житнем рынке, опухшего и пахнувшего мочой,

и еще, помнится, не дал ему тогда пять гриваков, и не оттого, что не было, а как-то так, побрезговал, что ли.

Тут Сергей Павлович понял, что это сон, что он спит и что сон этот вещий, и его Вадим Олегович только что умер и в этом нет никакого сомнения.

Сергей Павлович всхрапнул разинутым ртом, проснулся и лежал, мокрыми глазами глядя на лампочку в газете, вяло думал: «Ну не сука ты?..» – относя это к своему ангелу-хранителю. Хотя при чем тут был он, если у Вадима Олеговича был свой ангел, который шутил, как команда КВН «Девчата из Новой Боровой»?

Сергей Павлович вышел на двор и обошел стройплощадку, на которой хотели строить высотку и заборы вокруг были исписаны патриотической общественностью, требовавшей на этом месте обелиска героям Майдана, а не очередного доходного дома. Хотя при чем здесь доходный? Доходными в старину назывались дома, в которых квартиры сдавались внаем, а хозяин имел с этого доход. В частности, в доходном доме жили профессор Преображенский, сахарозаводчик Полозов и буржуй Саблин...

Ветер стих, и было слышно, как по Киевской прошел первый троллейбус, везший в парк шоферов с кондукторами.

Сергей Павлович, обойдя территорию и убедившись, что экскаватор с бульдозером на месте, вернулся в будку и, улегшись, смотрел на начавшее сереть окно. Будка была сделана из старого армейского кунга и отличалась крепостью и теплотой.

Под словом «кунг» скрывался кузов-фургон военного прицепа. А сейчас это была будка на кирпичах, похожая на курятник.

Сергей Павлович часто разглядывал внутренность своего кунга, смотрел на какие-то трубы и патрубки, выходящие из стен и заткнутые тряпками, а когда-то служившие суровой военной цели; на солидно вделанные двойные иллюминаторы, задергиваемые кожаными шторками; на ряды потолочных плафонов, сейчас нерабочие, а когда-то освещавшие работу ракетного расчета или штабистов за картами – и думал, насколько же люди любят воевать или по крайней мере готовиться к войне. Если бы с такой же

любовью они мирно жили, страшно подумать, где оказалось бы человечество, и никакие бы коронавирусы ему не были страшны, да и откуда им было бы взяться, раз нет войны и военных.

Голова Сергея Павловича была набита мокрой грязной ватой. Неясные мысли о суициде расшевеливались в нем.

Он достал телефон поглядеть время. Вдруг он так зазвонил, что Сергей Павлович подскочил и в тоске поднес его к уху:

– Сережа... – сказал незнакомый голос Оксаны Иосифовны, и Сергей Павлович пережил самую трудную секунду в своей жизни. – Вадим пришел в себя... Прошептал: «Передайте привет Сереге»... Профессор говорит, что редкий случай и будут переводить в палату...

Сергей Павлович вспорхнул, перелетел улицу, опустился перед костелом, унылым и туманным и истово, слева направо, перекрестился:

– Господа ангелы! – сказал он. – И вы, Пан Езус! Огромное вам человеческое мерси! Можете же, если захотите!

И заплакал сладкими слезами.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Девятого апреля Сергей Палыч проснулся в пять пять-десять пять.

Как всегда, в первые мгновения он подумал, что пора собираться на работу. Но сразу вспомнил, что на работу только послезавтра.

Сергей Палыч работал сутки через трое. Трех выходных было много, и уже через два дня его тянуло назад к книгам, пешим прогулкам по лону природы, к самосозерцанию – он работал сторожем.

Сергей Палыч лежал, слушал, как через приоткрытую форточку в комнату заползают осторожные звуки, глядел, как светлеет штора.

Штора была оригинальной расцветки, и напоминала Сергею Палычу желтоватый белок огромного глаза в лопнувших кровеносных сосудах.

Сергей Палыч, стараясь не скрипеть, сходил в туалет, потом вернулся, включил планшет и стал смотреть «Козла отпущения» с Бастером Китонем.

Бастера Китона, звезду немого кино, он открыл для себя недавно. Этот хрупкий молодой человек с каменным, ничего не выражающим лицом, буквально магнетизировал Сергея Палыча. Чудовищные трюки Короля Падений целый день стояли перед его глазами и снились по ночам.

Отдаленное, весьма смазанное, представление о номерах Бастера Китона дает Джеки Чан в своих лучших фильмах. Но и Джеки далеко до Бастера. А ведь Китон снимался сто лет назад, в двадцатых годах прошлого века!

Особенно нравилось Сергею Палычу, что Бастер Китон забыт. Это в его глазах было лишним свидетельством его гениальности.

Чарли же Чаплина он ставил гораздо ниже, примерно как Раймонда Паулса по сравнению с Моцартом.

Посмотрев «Козла отпущения», «Ученика мясника» и «Брак назло», Сергей Палыч увидел, что пора курить.

Он выкуривал по три сигареты в день. Первую он любил выкурить на маленьком базарчике возле дома, попивая «американо» и наблюдая базарные сценки.

Сейчас базарчик был закрыт на карантин, и Сергею Палычу приходилось курить возле гастронома «Железнодорожник», купив кофе в кондитерском отделе, сдвигая и натягивая маску между затяжками и с отвращением глядя на свои руки в резиновых, кондомного цвета, перчатках.

Откровенно говоря, Сергею Палычу не стоило делать ни того, ни другого – ни курить, ни пить кофе. Здоровье у него было поганое, сердце подвержено порокам – то аритмии, когда пульс, слабый и неровный, взлетал до ста тридцати и Сергей Палыч, красный как помидор, лежал пластом, то – брадикардии, когда пульс, наоборот, опускался ниже сорока и у Сергея Палыча путалось в голове и стыли пальцы на ногах.

Медицина же давно отступила перед его недугами и сдалась. По крайней мере, в последний раз весельчак кардиолог в поликлинике сказал ему:

– Полноте, дусенька, с вашей аритмией жить и жить! Только не надо думать о плохом и хоронить себя заранее! Держать хвост пистолетом! Позовите там следующего!..

Поэтому, полагая, что двум смертям не бывать, тем более что все мы ходим под Богом, Сергей Палыч покуривал и иногда пил кофе. Ему даже казалось, что от этого его аритмии и брадикардии делается легче.

Сергей Палыч, кряхтя, обувался в прихожей, когда из своей двери выглянула тетя и тихонько сказала:

– С днем рождения, Сергуня, племяшик дорогой!

Взгляд у нее был как у затравленной газели:

– Извини, что я опять без подарка! Вот получу антикризисные!..

Тетка получала пенсии тысячу восемьсот гривен, что в переводе на доллары означало шестьдесят. Поэтому ей все время хотелось быть щедрой и расточительной.

– Не балуйтесь, Нина Васильевна! – сказал Сергей Палыч. – Какие подарки на позициях!

Этим он хотел сказать, что когда Григорий Мелехов, потрепанный красными, приехал в станицу на побывку, то на бабские приставания с подарками так и ответил, хмурясь как туча: «Какие на позициях подарки?»

Сергей Палыч был любящим племянником и частенько баловал тетку халвой и сосисками «Нежные», до которых она была большая охотница.

Он сходил покурить и купить хлеба.

Дома его встретила проснувшаяся жена Зинаида и сказала:

– А ныл, что не доживешь! Дожил как миленький! Ну, долгих тебе лет! – и подарила крем после бритья.

Зинаида с Нового года сидела без работы, а когда нашлось место, началась пандемия, и она опять сидела дома, потихоньку начиная звереть.

– Садимся в час, – сказала Зинаида.

У Эдика, мужа Зинаидиной младшей сестры Танюхи, накануне умерла мать, и Зинаида собиралась поехать на Крошню, часок-другой посидеть у гроба. Она только сомневалась, что ее пустят в троллейбус без пропуска. Но хотела попробовать, а то она уже целый месяц не видела живых людей. Поэтому Зинаида и сказала: «Садимся в час».

Тетка налепила пельмешек, пол-литра «Немирова с перцем» была куплена и только дожидалась торжественного банкета, посвященного пятидесятидевятилетию виновника торжества.

Тут на Зинаидин телефон хлынули поздравления от друзей. У Сергея Палыча телефон был хороший, но кнопочный, а у жены шестой айфон, потому-то поздравления и шли не на тот телефон, а на этот.

Первый друг, Козлов, прислал стихи:

Прекрасный мужчина, отец, семьянин –
Об этом все знают, такой ты один.
Завистники пусть отдыхают в сторонке,
Давай в именины откроем бочонки!

Козлов любил поэзию, хотя и служил юристом в «Житомирсвете». Сергей же Палыч стихов не любил и не понимал, вслед за Львом Толстым считая поэзию аферой и бумагомаранием.

Но это было поздравление от друга, и это было очень приятно.

Потом пришло поздравление от второго друга, Ляха. Он прислал красочную заставку с горящим камином, а перед камином стоит столик с толстой пачкой баксов по сто долларов, пузатая бутылка коньяка, видимо, очень дорогого, и коробка сигар, наверное, гаван.

Сергей Палыч весело сказал жене, что доллары и коньяк – это не по его части, но что сигарку он выкурит с удовольствием.

Зинаида сказала колкость насчет умения зарабатывать баксы, Сергей Палыч ответил матерной резкостью и, слово за слово началась распря. Тетка прижухла в своей комнате.

Чтобы не портить себе праздничное настроение, Сергей Палыч обулся, надел маску и пошел развеяться.

Улицы были чисты и пусты. Изредка навстречу спешили одинокие прохожие в голубых аптечных масках. «Пацки! Всем надеть намордники и радоваться!» – с грустной иронией пробормотал Сергей Палыч. Коронавирус захлестнул мир, и теперь казалось, что всю жизнь были карантин и самоизоляция, не хватало кислорода в больницах, не работали магазины. Закрытие же парикмахерских привело к тому, что волосы у Сергея Палыча отросли настолько, что он стал похож на нигилиста.

По пути Сергей Палыч набрал Ляха, который тоже изнывал дома с женой, тихой, забитой им в психологическом плане, женщиной. Они договорились встретиться у входа на бывшую «Выставку достижений сельского хозяйства УССР», которую в далеком тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году открывал лично дорогой Никита Сергеевич. Теперь весь район назывался Выставкой, а от самой выставки осталась лишь триумфальная арка, увитая гипсовыми снопами и овощами.

Друзья сели на скамейку, сдвинули маски и, зорко поглядывая, нет ли мусоров, закурили. Опасения эти не были

напрасными, уже был не один случай, когда за маски штрафovali на семнадцать тысяч. Для Сергея Палыча, получавшего три пятьсот, это бы стало катастрофой «Титаника».

Два друга покурили и, поговорив какое-то время о днях рождения и о старости вообще, перешли к другим темам.

– Знаешь, Вадимыч, – сказал Сергей Палыч, – я открыл для себя старую звезду немого кино Бастера Китона! Я бы хотел чтобы ты тоже посмотрел и сказал свое мнение. Я думаю, ты чокнешься!

– Мне больше делать нехрен, как смотреть твоё глухонемое кино! – ответил Лях, бывший и вообще-то грубоватым, а сегодня почему-то особенно не в духе. – Ты слышал, что учудила твоя любимая Россия?

Лях был стихийным русофобом, а по каким причинам, он бы и сам не смог сказать. Это было тем более странным, что все хохляцкое он ненавидел ещё больше. Сергей же Палыч был, возможно и не русофилом, но, по крайней мере, считал, что война Украины с Россией – это ужасная ошибка и тому, кто это устроил, нужно вырвать яйца с мясом.

На этой почве у них с Ляхом возникали споры, доходившие до криков, визгов и посыланий, напоминая споры между почвенниками и англоманами в XIX веке.

Но тут вдали показался патруль, и друзья натянули маски по самые брови, надели резиновые перчатки и стали постепенно остывать. А скоро беседа вошла в мирное русло и зашла о недавних событиях в Вацковском переулке. Там три дня назад похоронили Анатолия Оноприенко, известного в прошлом культуриста Аполлона, который, дожив до шестидесяти лет, вдруг омрачил свой юбилей самоубийством.

Теперь два друга спорили, каким именно способом Аполлон это совершил, не замечая, что это, в сущности, детали, а главное, что не стало человека, тихого и невредного.

А вскоре они попрощались и пошли по домам, потому что было уже полпервого и Сергей Палыч не хотел опаздывать на пельмени. Как гласит народная мудрость: «В большой семье свои нюансы».

Пельмени теткинны удались, и они ели их с маслом и с уксусом, наливая рюмочки и произнося тосты. Зинаида,

выпив, смягчилась. Тетка сидела на краешке стула и деликатно жевала беззубым ртом.

Вечером Сергей Палыч лежал у себя и смотрел все подряд: «Козел отпущения», «Невезение», «Пугало», «Копы», «Паровоз “Генерал”», «Навигатор» и ужасную «Лодку».

Потом ему взгрустнулось. Он думал о Бастере, как он не смог приноровиться к эре звукового кино, как разорился, как стал пить запоем и курить по три пачки, как состарился и умер от рака легких в 67-м, когда ему было семьдесят, а Сергею Палычу было пять.

Он чувствовал себя совсем несчастным, когда позвонили дети из Финляндии. Сын сказал: «Ну, старый симулянт, тебя и ломом не добьешь! Расти большой и толстый!»; невестка улыбнулась и сделал ручкой, а внучка представила дедушкин портрет – классическую сахарную голову с ниточками по бокам – и рассказала стишок на финском языке. Сергей Палыч вслушивался в загадочный внучкин лепет и умилялся. Вообще он считал, что Луиза, эта маленькая пятилетняя девочка, должна прожить прекрасную, счастливую, редкостную жизнь и стать если не президентом Европейского союза, то хотя бы финской писательницей вроде Астрид Линдгрэн, объездить весь мир, долго жить на Барбадосе и получить Нобелевскую премию два раза подряд. Иначе объяснить, зачем появились на свет и жили свои жизни они с Зинаидой, было просто невозможно.

Зинаида же в троллейбус не попала, у гроба не посидела и была вне себя от злости, так как купила восемь гвоздик, пять из которых стояли теперь в вазе, а три в банке на кухне.

Когда Сергей Палыч заснул, то ему приснилось, что он внутри какого-то фильма с Бастером Киттоном и его все время возят в инвалидной коляске на высоких тонких колесиках.

Дарина КОПЫТОВА

Королёв, Московская область

ОБСИДИАН

Дворники моего старенького «форда» прибивало к ветровому стеклу, над головой сыпался удар за ударом. Будто сидишь в дребезжащей капсуле, наполовину размозжённой дождём. Из-за скользкой рваной дороги «форд» уводило в стороны. В машине что-то хрустнуло. Шумел двигатель, гудела моя голова. В ушах ревел гром.

«Что за звук? – подумал я. – Разбились медикаменты? Надо было переложить в салон... Плевать. Сейчас главное – переждать грозу».

Запахло бензином. Дошло: в багажнике лопнула запасная канистра. Нащупал в бардачке карту – до ближайшей заправки больше сорока километров.

«Не дотяну».

Когда небо пронзил очередной разряд, я, крепче сжав руль, начал всматриваться вдаль, силясь разглядеть хоть какие-то признаки цивилизации. Но вокруг не было никаких строений: лишь бесконечное поле тянулось со всех сторон, затягивая вглубь дороги. Скоро должна быть развилка. Глаза смыкались: невыносимо хотелось спать. Спусти час ливень начал утихать. В последний раз сверкнув небесным хвостом, гроза исчезла. Поле затянуло туманом. Снова посмотрел вдаль. Что-то изменилось. Сначала я даже не понял, что именно...

Вдалеке я увидел свет – тусклый, неясный. Блики расплывались передо мной, перебивая друг друга. Думая, что мне мерещится, я вытянулся вперёд, чтобы их разглядеть.

Вдруг включилось радио, заиграл симфонический оркестр. От неожиданности я затормозил. «Форд» дёрнуло в сторону. Накренился, но я успел вывернуть руль. Тряхнуло сильно: чуть не улетел в кювет. С зеркала заднего вида слетела фотография дочки и упала под сиденье. Нащупав, поднял: бережно вытер рукавом и положил в нагрудный карман рубашки.

Туман рассеялся, я взглянул в лобовое стекло: развилки не было. Передо мной простиралась асфальтированная дорога – такая ровная, будто по ней ещё никто не ездил. По её краям выгибались изящные тонкие фонари, излучавшие белый чистый свет. Подняв голову к небу, я заметил, что облака растворились, почернело небо. Дрожали звёзды.

Музыка из динамика становилась громче...

* * *

«Спокойно, – рассуждал я, выключив радио дрожащей рукой, – гроза кончилась, связь наладилась, вот оно и заиграло. Но я ведь отключил его во время ливня... Какие-то неполадки, всякое бывает после грозы».

Продолжив путь, я осмотрелся по сторонам: поле осталось позади. Фонари не кончались. Вскоре впереди показались те же белые блики. Огни смешивались. «Форд» плыл мягко. Подъехав ближе, я разглядел неограждённый коттеджный посёлок. Домиков было всего пять, но расположены они были близко друг к другу и все белые.

Подъехав к одному из домов, я припарковался. Вышел из машины, открыл багажник. Завоняло бензином: канистра была пробита в двух местах. Я зло захлопнул багажник и выругался.

Прислушался. Меня вдруг охватило странное чувство: всё вокруг пронизывала тишина. Ни звука. Лишь от фонарей исходил тихий электрический гул. Поёжившись, я подошел к двери дома. Постучал. Никто не открыл.

«Ну конечно, спят же люди».

В окне зажётся свет.

«Проходите», – слышался тихий старческий голос. Непонятно, откуда он исходил. Будто внутри меня произнесли. Списав это на усталость, я открыл дверь и вошёл.

* * *

Непроизвольно закрыл лицо ладонью: ослепил яркий свет. Тело окутало теплом помещения. Опустил ладонь.

Передо мной в большой гостиной сидели на пяти креслах-качалках три старушки и два старика. Улыбались.

Но молчали. И я молчал. В голове вертелась лишь одна мысль: всё это время они молча качались на креслах в темноте?

– Извин...

Старик, сидевший ближе других, остановил меня жестом руки.

– Проходите на кухню. Марта... – обратился к одной из старушек. – Проводи.

Старушка мягко поднялась с кресла, подошла ко мне. Взяла за руку. Я оторопел, но подчинился.

«Добрые какие... Видимо, часто тут у них теряются...»

– Я...

– Вы пьёте молоко?

Ошалело кивнул. Старушка проводила меня на кухню. Вынула из духовки пирог. Я молча сел за стол. Марта отрезала мне пышущий ароматом кусок, положила на тарелку. А сама села напротив. Подложила под щеки кулачки. И смотрит, улыбается.

Я тихо пробурчал «спасибо» и набросился на пирог. Яблочный. Похож на пирог, который мне пекла бабушка.

Марта положила мне второй кусок, налила молоко из кувшина. Запил молоком. Деревенское.

– У вас разве есть коровы? Я не видел здесь фермы.

Марта вдруг выскользнула из-за стола, подбежала и щёлкнула меня по носу. Засмеялась.

– Приготовлю спальню, – приложила палец к губам и убежала из кухни.

«Маразм, что ли, старческий?»

Накатила волна усталости. Казалось, что прямо здесь и засну. Я огляделся: изнутри дом тоже был белым. Везде чисто, но я чётко уловил ощущение, будто здесь никто не живёт. Будто человека в нём не было. Видимо, старики уже не считались за людей: их жизнь почти не отражалась на доме.

Вскоре Марта прокричала со второго этажа:

– Молодой человек!

Поплёлся из кухни на голос старушки. Она ждала меня в одной из спален. Я поднялся по лестнице и зашёл в комнату.

Приглушенный свет, низкая кровать, тумбочка с лампой. Марта взбивала подушку.

– Спасибо вам.

Марта собиралась уходить, но заметила в моем нагрудном кармане фотографию Евы. Старушка вдруг вытаскила её из кармана и отпрыгнула от меня. Начала рассматривать и вертеть в своих сухеньких ручках. Я бросился к старухе и остервенело выхватил фотографию. Старуха не хотела отдавать: больно хлопнула меня по руке и дёрнула фотографию на себя. Порвалась у неё в руках. Я зло посмотрел на старуху. Та обиженно кинула фотографию на кровать и выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью.

С размаху ударил кулаком в дверь. Обессилено приник к ней лбом. Прислушался. Снова тишина. Старики так быстро уснули? Посмотрел на руку: кровила правая кисть. Но татуировку не задел: надпись «Ева» осталась. Выдохнул.

Проваливаюсь в сон. Дополз до кровати.

Взял разорванную фотографию дочери, поцеловал и положил в карман рубашки. Лампа на прикроватной тумбочке горела тёплым светом. Вдруг она медленно погасла и так же неторопливо загорелась. Я наблюдал, как она загорается и угасает. И вскоре уснул.

* * *

Проснулся от чьего-то плача. Резко открыл глаза и оцепенел: на моей кровати сидел старик и плакал. Растирал слёзы по морщинистому лицу.

– Что с вами?

Старик замолчал и задумчиво посмотрел на меня. Но вдруг зарыдал ещё сильнее. Начал бить себя по лицу. Я вскочил с постели, схватил его за руки. Смотрю ему в глаза. Он отворачивается, вырывается.

– Всё хорошо, хорошо!

Старик вдруг обнял меня и заплакал тихо, как ребёнок. Я погладил его по голове и ужаснулся: у меня вдруг тоже потекли слёзы.

Резко отстранился от старика.

«Да что со мной?»

И быстро вышел из комнаты. На первом этаже играла музыка. Я спустился.

В гостиной старики танцевали под пластинку симфонического оркестра, включённую на граммофоне. Странно танцевали: медленно двигались поодиночке, дёргая руками и потрясывая ногами в такт музыке. Они были похожи на поломанных кузнечиков. Со второго этажа сбежал плачущий старик и, задев меня на бегу, присоединился к танцующим. Марта пританцовывала с закрытыми глазами, изгибалась своим неуклюжим старческим телом.

«Я понял. Эти старики больны аутизмом... Не смотрят в глаза, ведут себя странно... Это дом престарелых! Но почему за ними никто не ухаживает? Где персонал?.. Не могли же их оставить тут одних».

– Простите, вчера я не представился.

Старики замерли и одновременно уставились на меня.

– Я...

– Нам всё равно, кто вы, – сказала одна из трёх старушек. – Присоединяйтесь к нам!

– Но мне нужно ехать... Могу я заплатить вам за ночлег и... Может, у вас есть немного бензина?

Один из стариков спросил:

– Куда вы едете?

Я не знал, куда еду. Подальше от места, откуда уехал. Это всё, что я мог сказать. Но вместо этого лишь помотал головой – неважно куда.

– Марта, помоги гостю.

Старушка радостно, словно девочка, подпрыгнула на месте и повела меня на задний двор. Мы оказались на пустыре. Я огляделся в поисках канистры или другой ёмкости.

– Но где?..

– Стой, – сказала старушка и начала расстегивать на груди платье.

Я оторопел.

– Нет, нет!.. У меня есть деньги. Я заплачу за бензин. Оденьтесь!..

Я не поверил в то, что увидел. В солнечном сплетении старушки зиял маленький черный камень. Он был похож на обсидиан: такой же гладкий и блестящий.

Марта подошла ко мне и дотронулась пальцем до моего солнечного сплетения. Я попытался отстраниться от потока чего-то тяжёлого, но оно, пройдя сквозь пальцы, вошло мне в грудь. Оно ждало подчинения, прекращения сопротивления. Меня закружило. Перед глазами возникло то, от чего я бежал.

* * *

Жена покачивала Еву, но как-то безучастно. Меня это испугало. Я следил за ними через прозрачное окошко родильной палаты. Кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. Мрачное лицо врача усилило моё беспокойство.

– У вашей дочки врождённое заболевание... Мы можем... Но это...

Фразы врача слышались мне отрывками. Я не услышал ни названия заболевания, ни причину. Всё, что долетало до моего затуманенного сознания: «...доживёт максимум до пяти лет», «советую отказаться», «мать подписала... А вы... Вы?»

Я ударил врача в лицо, сломав ему очки. Помню жжение на костяшках пальцев – крошки стекла облепили руку. Меня оттащили и впихнули в пустую палату, чтобы пришёл в себя. Не пришёл. Никогда не приду.

* * *

Новый вихрь. Мы в нашей маленькой квартире. Еве три года. Кормлю молочной кашей. В перерывах между ложками дочка грызёт ногти. Я мягко отнимаю её руку от рта и сую ложку с кашей. С каждым днём Ева угасает. Но я буду с ней до конца.

Звенит будильник: пора вкалывать поддерживающее лекарство. Ева, услышав дребезжащий звук, вскакивает

со стула и убегает в другую комнату. Я так и не смог сделать уколы привычными для неё. После дезинфекции рук и шприца иду за ней. Сажая на диван и рассказываю новую сказку про котят, любящих молочную кашу. Ева корчится, но терпит.

После укола включаю по телевизору её любимые мультики, а сам иду в ванную. Обливаю лицо ледяной водой. От усталости закрываются глаза. Ева не спала несколько ночей: мучилась. Положил голову на холодную раковину.

* * *

Проснулся от чьего-то плача. Огляделся: лежу на ковре в ванной. Тут же поднялся и побежал в комнату дочери. Ева громко плакала, извивалась в диких позах. Я подхватил дочку и побежал к машине. Пока ехали, рассказывал про котят, любящих молочную кашу. Ева не реагировала. Её больше не интересовали ни котята, ни молочная каша. Единственной больницей, нас принявшей, оказалась та, в которой рожала бывшая жена. У врача, осматривающего Еву, рассечена бровь, под ней – шрам. Пронеслась мысль: ему я очки разбил три года назад.

– Госпитализация.

Это слово я слышу у себя в голове до сих пор.

Через несколько часов врач пригласил меня в кабинет. В забытьи я опустился на стул. Врач объяснил мне, что к судорогам привёл не введённый мной поддерживающий препарат, а выброс в организме определённого гормона.

– Если бы я привёз её раньше, это бы...

Сдержался.

– Она бы...

– Вашей вины в этом нет, если вы об этом. И я, и вы сделали всё, что могли. До пяти лет это должно было произойти. К сожалению, можно было лишь поддерживать... и... Очнитесь!

Я сполз со стула, накрыв голову руками. Врач уложил меня на кушетку, поднёс что-то к носу. Я неотвратимо проваливался куда-то глубоко, и не хотелось сопротивляться этому... Врач хлестнул меня по щеке. Всё же вернул должок. Я очнулся.

* * *

Ещё виток. Вытаскиваю фотографию Евы из альбома, проделываю дырочку, пропускаю через неё нитку. Оставляю хозяину квартиры ключи и бегу к машине. Кладу в багажник аптечку, канистру с бензином и остальные вещи. Вешаю фотографию Евы на стекло заднего вида. Хозяин выбегает из дома, подходит к машине:

– Вы забыли игрушки...

– Сожгите их, – закрываю окно. Жму на газ, и «форд» срывается с места.

* * *

Я очнулся. Старушка стояла напротив меня с оголённой грудью. В солнечном сплетении блеснул и переливался обсидиан. Не осознавая, что делаю, дотронулся до горячего камня. Закрыл глаза.

Открыл. Передо мной стояла Ева. Грызла ногти на правой руке. Лево́й пыталась освободиться от платья Марты, которое ей было велико. Ева утонула в нём, как в одеяле. Моргну́л. Ещё раз. Не исчезает.

Я кинулся к дочке. Обнял. Заплакал так громко, что испугался себя. Ева обхватила моё мокрое лицо маленькими пальчиками и засмеялась. Она говорила мне что-то. Но я не хотел её слушать. Лишь бы не исчезала.

Но вдруг она заплакала.

– Что с тобой? Где болит?

Плач усиливался, Ева начала молотить по мне кулачками и кричать:

– Отпусти меня, отпусти!

Я запаниковал. Где у неё болит, почему плачет? Ева колотила меня по лицу, груди. Вырвалась из объятий и отбежала. У меня помутнело в глазах. Закрыл.

Открыл. Марта застёгивала платье. Я тихо спросил:

– Где она?

Марта не ответила.

* * *

Я обернулся: из дома выходили старики и расходились по пяти домам.

– Куда они? – спросил я Марту.

Старушка молча прошла мимо меня к своему дому. Я последовал за ней. Марта поднялась в свою спальню, меня остановила жестом руки. Легла на кровать.

«У стариков тихий час?» – подумал я.

Но старушка вдруг снова раскрыла грудь. Камень в солнечном сплетении запульсировал. Я услышал гудение, похожее на гул тех фонарей. Марта прикоснулась к обсидиану.

В него со всех сторон начали влетать белые сущности. Они взвивались в воздухе и с шумом устремлялись в солнечное сплетение старухи. Меня отбросило от двери мощнейшим потоком, но я успел схватиться за её косяк и крепко держался за него. В спальне вдруг стало невыносимо ярко. Я зажмурился.

Через минуту всё исчезло. Я открыл глаза. Марта стояла надо мной и улыбалась. Прикоснулась к моей руке, но я отшатнулся, отдёрнув руку: место прикосновения было подобно ожогу.

Я сорвался с места и побежал на первый этаж. Там меня ждали остальные старики. Спустилась и Марта.

– Да что здесь происходит?

Я озираясь: старики обступали меня. Я кинулся к двери, начал дёргать: не открывалась.

– Останься, – сказал один из стариков и указал на стул. – Тебе ведь некуда идти.

* * *

Я кинулся к окну. Попытался открыть затворку – не вышло. Начал выбивать ногой. Одна из старушек навела на меня руку и сжала кулак. Меня откинуло от окна, я проехался по полу и врезался спиной в столешницу.

– Побудь с нами, сынок, – сказала она.

Как загнанный кролик, я обвёл их глазами:

«Да они сумасшедшие. Сектанты».

– Если вы меня не отпустите, я сверну шею каждому.

Марта грустно посмотрела на меня и указала рукой на стул.

– Пожалуйста, – попросила она.

Я сглотнул кровь, нащупал языком разбитую десну.

«Так, значит? Ну хорошо...»

С усилием поднялся и доковылял до стула.

Старики расселись на свои кресла-качалки. Молчание. Смотрят на меня и улыбаются.

– Что за хрень здесь творится? Приносите в жертву людей?

Старики заулыбались.

– Мучаете их в своих белых домиках?

Молчание.

– Выносите им мозги в подвалах? Закапываете на пустыре?

Молчание.

Мне стало страшно. Не от своих слов. От взгляда стариков. Они уже не улыбались. А смотрели куда-то внутрь меня.

– Как думаешь, люди умирают полностью? – спросил старик, сидевший ближе других.

Я молчал.

– Все эти гробы, венки, земля. Ты веришь в это?

Сглотнул уже новую кровь.

– Люди умирают лишь физически. Все догадываются об этом. Но людям проще приходиться на могилы, поливать цветы. Разговаривать с покойным. Привязать к себе умершего и не отпускать до конца уже своей жизни. Людям кажется, что так они испытают меньше боли. Но боль от этого становится сильнее. И ты знаешь это.

Я сжал кулаки.

– Мы делаем то, чего не можете сделать вы: освобождаем. Вбираем в наши обсидианы души умерших и переправляем их с Земли туда, где они наконец станут свободными, – старик посмотрел вверх. – Раз уж ты случайно нашёл нас, мы решили сделать тебе подарок: в последний раз увидеть дочь. Теперь ты можешь отпустить её, и мы освободим душу твоей дочери, как и души многих других.

Прошептал:

– Она у вас?

– Мы лишь сопровождаем. Её дом – Вселенная, – старик развёл руками.

Марта наклонилась в мою сторону:

– Твоя бабушка делала прекрасные пироги.

Я наклонился:

– Она тоже с вами?

– Была, – сказала Марта, – несколько лет назад. Мы проводили её, – кивнула вверх, – но я по старой привычке помню тень её души. – Может, поэтому тебе так понравился мой пирог... Но твоя дочка сейчас со мной, не волнуйся.

– Вы сделаете её свободной?

– Да. Но душе будет легче, если её отпустит не только Земля, но и ты, – сказал другой старик.

Я закрыл лицо руками. Слезы хлынули. Я не могу её оставить, мою девочку. Только не её. Не сейчас.

– Мы подождём. У тебя минута, – сказала Марта.

Мысли бурей мешались между собой. Внутри горело страшное: боль, злость, отчаянье. Я разрывался.

– Нам пора, – улыбнулся старик. Сделал знак остальным: те встали с кресел.

Я тоже встал. Подошёл к Марте.

– Проводи меня.

Старушка посмотрела на предводителя. Пришелец кивнул ей.

Я взял Марту за руку, и мы вдвоём вышли на улицу. Отошли от дома.

– Ей же будет там хорошо?

– Обещаю, – сказала старушка. И улыбнулась.

* * *

Я бросился на Марту и повалил её на землю. Старушка подняла руку, но я успел скрутить её и зажать ногой. Марта хотела закричать, но я сдавил её тонкое горло одной рукой. Другой же распорол платье. Схватил пальцами обсидиан и изо всех сил рванул его на себя. Старушка издала глухой стон. Глаза её почернели. Я отскочил от неё, упав в траву.

Со стороны домов поднялся оглушающий треск.

Я зажал уши кулаками, повернул голову: дома соединились вместе. Стены и крыши тянулись друг к другу, с лязгом и грохотом сцеплялись между собой. С сильнейшим треском бились окна, сыпалось стекло. Фонари заго-

релись ярчайшим белым светом. Я подумал, что ослепну, но отвернуться не мог. Вдруг эта громада поднялась вверх. Завыл ветер. Я припал к траве, сжав в руках горячий обсидиан. Корабль поднялся над моей головой. Я зашептал:

«Оставьте... оставьте...»

Шум и свет стали невыносимыми. Я зажмурил глаза, продолжая молить...

* * *

Когда очнулся, над головой белело небо. Я привстал и огляделся: трупы Марты не было. Ветер был спокойным. Подрагивала трава.

Почувствовал тепло в руке. Раскрыл ладонь: камень переливался и блестел. Я припал к нему и прислушался: Ева рассказывала мне мою же сказку.

Я раскрыл рубашку и прижал обсидиан к груди. Камень врос в солнечное сплетение.

* * *

Девушка припарковалась у дома. Постучала в дверь. Тишина.

В окне зажгётся свет.

«Проходите», – послышался тихий старческий голос.

Поёжившись, девушка зашла. Перед ней в креслах-качалках сидели две старушки и три старика.

– Простите, я...

Старик, сидевший ближе других, прервал девушку жестом:

– Проходите на кухню. Я провожу вас, – старик улыбнулся. Встал с кресла и мягко взял девушку за руку. Девушка заметила на кисти его руки выцветшую татуировку «Ева».

– Но я... Как же...

– Вы пьёте молоко?

ЦЕЦИЛИЯ

Франческо Райболини стоял у большого окна, выполненного во флорентийском стиле. Райболини любил его, хоть никогда и не выезжал из Болоньи. Свет заливал старческую фигуру Франческо с головы до ног. Иссохшее лицо художника целовало утреннее солнце. Франча сделал всё, чтобы солнце светило для него: художник всю жизнь выполнял заказы на золотые и серебряные вещи для церквей и дворцов Италии. Был придворным художником при дворе Мантуи. Не знал себе равных и оттого мысленно подчинил себе даже светило. Один из слуг Франческо стоял поодаль и зачитывал благодарности, посланные Райболини особами высшего света за прекрасную картину, которую тот отдал в дар одной из церквей Болоньи. Уже год, как Райболини заявил о том, что ни одной картины больше не будет им написано. Ведь он написал всё, что хотел и что заложено было в него Богом. Но Франча слукавил, объявив это голодной публике. Он нарисовал всё, кроме одной картины, терзавшей его душу: Цецилию. Райболини пытался написать ее много раз, но она не желала выходить из-под его кисти. Франча разрывал наброски, со злобою сжигал их в камине. Франческо так не удалось нарисовать деву-мученицу, так часто посещавшую его во снах.

Слава молодости освещала старость художника. Но Франческо поддерживал ее, преподавая изобразительное искусство в своей мастерской, знаменитой на всю Болонью. В нее отовсюду съезжались художники, пытаясь повторить мастерство Райболини, но никому не давалась кисть так же легко, как ему. Франческо яростно бичевал

картины, которые ему подносили: в каждой был изъян. С едкой усмешкой Франческо разбивал надежды своих учеников – самых талантливых художников Италии. Райболини насмехался над их ошибками, тяжестью линий: в искоренении бездарности Франча видел истину. И являл он эту истину самыми жестокими способами.

– Мои картины дышат, а ваши лежат мертвой краской на холстах. Вы не достигнете умения, каким обладаю я, но стремление постичь истину – и есть ваш путь. Не всем Бог вкладывает в руки силу, смиритесь с этим и продолжайте трудиться. В этом будет ваше счастье, хоть и не столь яркое.

Измученные ученики писали картины ночами, но ни у кого не получалось даже чего-то похожего на то, что писал сам Франческо: его картины являли собой высшее искусство и точность линий. Спокойствие и благодать исходили от его полотен. В один из дней к Франческо пришел бедный, но талантливый художник из Неаполя. О его миниатюрах шептались в Болонье, но к себе художника не подпускали: слишком уж беден и грязен он был, а картины свои продавать отказывался. Художник пришел к высшему мастеру, подобным в чем-то богу – к Райболини, чтобы тот оценил его творения по достоинству. Но Франческо, увидев миниатюры художника, разорвал одну из них со словами, что это самое бездарное, что он когда-либо видел: тяжелые аляпистые мазки, рваные грязные линии... Бездарность. Художник упал на колени перед Франческо и плакал, пока тот не развернулся и не ушел. Следующим утром на окраине Болоньи обнаружили потухший костер, в котором догорали картины: от них остались голые рамы. Подняв головы, люди увидели труп: повесившийся на столбе художник покачивался на ветру.

Франческо узнал об этом, но ни лицо, ни душа его не дрогнули. Молва о художнике из Неаполя прекратилась. А те, кто хвалил его миниатюры, переменили мнение: «Не таким уж и талантливым он был...»

– Синьор, вам письмо...

Посыльный стоял в широких дубовых дверях, протянув письмо перед собой.

– От кого?

– От господина Рафаэля... Мне прочесть?

Франча, хромая, быстрым шагом дошел до посыльного и вырвал у него из рук письмо.

– Свободен.

Райболини, шурясь, поднес пергамент к лицу. Почерк Рафаэля: дрожащий, рваный. Райболини приложил лист к носу: бумага пахла оливковым маслом и краской. Франча улыбнулся. Он слышал о славе Рафаэля, иногда переписывался с ним, но картин его никогда не видел. Внезапно настигшая Франческо старость не давала ему отправиться в Рим, чтобы увидеть картины вживую.

Рафаэль писал, что сотворил для кардинала деи Пуччи Санти-Кватро алтарный образ святой Цецилии, который следовало отослать в Болонью. Рафаэль намеревался привезти картину в капеллу при церкви Сан-Джованни-ин-Монте, где находилась гробница блаженной Елены-даль-Олио. На Франческо налагалась дружеская обязанность – устранить возможные ошибки и поместить картину на алтарь этой капеллы.

Франча усмехнулся: Рафаэль сделал достойный выбор, доверив картину ему. Никто другой не то что не исправил бы ошибки – не оценил бы произведение по достоинству. Старик с наслаждением перечитал письмо. Рафаэль писал к нему в таком уважительном тоне, что Франческо подумал: «Что ж, он считает меня равным себе... Видимо, оттого, что о его славе, как и о моей, гудит вся Италия. Другого такого, как я, не родится, но пусть погрееется в лучах славы вместе со мной, если на то воля Божья...»

– Внесите!

Слуги раскрыли двери настежь и внесли длинный увесистый ящик, украшенный весенними птицами. В клювах птицы держали золотые яблоки. Франческо по-хозяйски махнул рукой. Со всех окон сняли завесы. Картину вытащили из ящика задней стороной к Райболини и аккуратно поставили перед художником. Франча кивнул. Картину развернули к нему.

Райболини попятился назад. В доме повисла тишина. Слышался лишь треск голубиных крыльев за окном.

Франческо, дрожа, подошел ближе. И не смог сдержать стоана.

Перед ним стояла та, что приходила ему во снах каждую ночь: в тех же одеждах, с тем же блестящим органо́м в руках. Но она была красивее, величественнее, чем во снах. Цецилия возносила свой взгляд к Богу. Она сияла. Франча упал на колени. В ушах его гремела музыка небес. Райболини поднес руку к картине, но тут же одернул: он заметил движение в святой мученице. Она вдруг оторвала взгляд от неба и устремила его на Франческо. Провела мягкой рукой по его шершавому лицу. Франча почувствовал тепло на правой щеке. И закрыл глаза.

Опомнившиеся слуги тут же кинулись поднимать иссохшего старика. Он отбивался от них, кричал, кусался. Подоспевший лекарь приказал отнести старика в кровать и подготовить травы с инструментами для кровопускания. Когда Франческо уложили в спальне, он вдруг затих. И не отвечал больше ни на один вопрос.

Франческо ди Марко ди Джакомо Райболини умер 5 января 1517 года в Болонье. Перед смертью Франческо шептал в бреду имя Рафаэля, но слуги так и не поняли, что он хотел сказать. Когда старик умер, на щеках его покоились невысохшие слезы.

Лирический портрет

Олеся НИКОЛАЕВА

Переделкино

**ТАК БЫЛО:
ВСЕ ДОРОГИ В РИМ ВЕЛИ...**

Прививка

Словно к персику – сливу и к груше – миндаль,
или к сорту живучему – осыпь,
мне тут что-то привили во всю вертикаль,
и теперь я – гибридная особь!

Что там вырастет, как отзовется нутро
иль забродит, как дух винокурен,
или выпустит ветку из уха?

Хитро
наблюдает за нами Мичурин.

Или ягода волчья поперет из ноздрей,
плющ обвяжет вокруг поясницу,
по плечам разрастется резной сельдерей
или гриб обустроит грибницу?

И, конечно, все это незримо для глаз
И хрусталик темнит без усилья,
но – то скрипнет под тяжестью костный каркас,
то повиснут в тоске сухожилья.

То ли разум погас, то ль природа больна,
если можно с ней буром и ломом,
иль под знаком селекции нынче она
сметена под откос с буреломом?

А о том, как у мира менялось лицо –
словно лысый затылок там вышит,
как пололи, равняли всех заподлицо,
Ангел времени в Книгу запишет.

Туфли

А неважно, ты щедр ли, ты скуп ли,
всё равно – как себе не купить
из сафьяна летучие туфли,
чтобы в них над землёю парить?

Чтоб ничто не давило, не жало,
не томило, но в тёмной груди
всё запело бы, затанцевало,
словно целая жизнь впереди.

Чтобы чаша со смертной тоскою
расплескалась в руке молодой
над зелёной волною морскою
и над тучей кудрявой седой.

И тогда на утёс, на уступ ли
положить, заряжая, как сон,
лунным светом старинные туфли,
позапрошлого века фасон.

Карантинные сценки

Так было: все дороги в Рим вели,
язык – до Киева, письмо – до Шлиссельбурга.
Ползли повозки, плыли корабли.
Шли шведа бить, француза, немца, турка...

И вдруг всё замерло, как будто приросло.
Все по углам сидят и смотрят хмуро.
Ржавеет якорь, и гниет весло,
а лодку унесло...
Замри, фигура!

У окон тени выстроились в ряд,
мир огласился криком, бранью, воем.
Едва ли не цугундером грозят
сознательные граждане – изгоям.

Сосед, подвыпив, говорит кусту:
– Вольно в однообразии сутулом
маячить тут? Вот-вот и я врасту
в диван, в подушки, в пол и в стол со стулом.

И отвечает сам себе, огнём
зажегши глаз, глядящий скарабеем:
– Стой, где стоишь, а нет – ходи конем
и вражескую королеву бей им!

Простая история

А мать и брат не знают, они всерьез считают,
что дочь/сестра – жар-птица, хотя она – блудница!
Увы! – она блудница. Коварная столица
и льстит, и наливает, блазнит и растлевает.

А девичья натура в столице, словно кура,
и ошип ей грозит. Здесь холодно. Сквозит.
И каждый местный житель почти что соблазнитель:
унизит, поразит, улыбкой проскользит.

Слова его кривы:

– Откуда вы?

– С Москвы!

И как тут ни старайся – мой, красься, одевайся,
молчи – сам крикнет вслух провинциальный дух.

А мать и брат не знают... Их помыслы витают там, на высотах птиц, меж глянцевых страниц и в сериальной дымке о том, как из глубинки всем золушкам – ликбез в столицах на принцесс.

Иль есть такая мода – в директоры завода направит их Москва, бездетная вдова.
А что она не пишет – родное сердце слышит:
звук громкий нарочит – там музыка звучит.

Жизнь

Тот любит бурю и грозу,
чтоб закрутилась жизнь воронкой,
и, брызнув, капля на глазу
сияла радужною пленкой.

А этот любит тишь, покой,
отмыты туч густые пятна,
и жизнь, как галька под рукой,
и осязаема, и внятна.

Но кто в лицо из куража
взглянул ей – смотрит, как страдалец.
«Что – Бог там, смерть?»
А он, дрожа,
к губам прикладывает палец.

Александр КОСТЕРЕВ

Санкт-Петербург

ДОМ, КОТОРЫЙ Я СТРОИЛ

Стойкость

Оловянный солдат из призыва обломанной ложки
на бессменном посту охраняет мячи и матрешки,
не пугают бойца вой пластмассовых пуль и картечи,
наша форма крепка, не допустим каверны и течи...
Наша форма крепка, и солдат достается сынишке,
защищают войска мирный отдых потертого мишки,
ни к чему выбирать между танком и старой кобылой:
а солдатик – участник боев, и в живых – подфартило...
Да, участник боев, и ему отступить не пристало,
сколько их полегло в искореженных грудах металла?
Не сгорел, не обмяк, не поддался на сладкие речи,
оловянный солдат – он, по сути, такой человечий...
Не красив, не урод, в трудный час не преклонит колена,
не китайский, а тот (из любимых отцом), довоенный...
Оловянных солдат не упрячешь в обшарпанный ящик...
Дай им, Боже, любви, не игрушечной, а настоящей...

Ежик

Сколько трагичности в мире: туманы и реки...
Ежики бродят в траве, в городах – человеки,
в тайной надежде отведать душистого чаю,
с другом/подругой вечерние звезды считая...
– Шишел не мышел, – пророчат летучие мыши,
ухает филин, а страхи ночные все ближе...

Слабо фонарик мерцает вдали светлячковый,
отданы: чувства, долги, ожидания, швартовы...
Кто сбережет нас в промозглой ночной канители,
ежиков – стражей тончайших душевных материй?
Кто защитит от простуды, тумана, испуга?
Как хорошо, что мы живы и есть...
Друг у друга...

Ходики

На стене, на гвоздике
жили-были ходики:
жили-были,
жили-были
(точно ходики ходили),
жили-были,
жили-были
(горевали и любили,
проводжали и встречали,
дни недели отмечали).
Досаждали только гири:
так тянули и давили,
возвращая к прошлому –
ничего хорошего...
Как-то лопнула цепочка –
встали ходики, и точка:
неразлучны в мире
ходики и гири...
Вот превратности судьбы...
Жили-были,
жили бы...

Дом, который я строил

Дом, который я строил,
был, как водится, мал:
в нем я не был героем,
на Луну не летал,

колдовским баритоном
не тревожил сердец,
не бросал батальоны
под разящий свинец...

Но зато в этом доме,
без дверей и замков,
есть и солнце на склоне,
и погост стариков,
запах хлеба из печки,
нежность близкой руки,
и резное крылечко
на четыре строки.

Дворнику

Наш тихий задумчивый дворик
пугает загадочный дворник,
ведь каждое утро неспешно
вдоль дома он катит тележку,
в которую будто в копилку,
и время кладет, и бутылки...

Неделя идет и другая,
и годы послушно мелькают,
а дворник святой и безгрешный
все катит и катит тележку...

И многих не стало на свете:
и те исчезают, и эти,
а дворник ползет понемножку,
колеса стучат по дорожке...

Средь зодиакального круга,
мы вряд ли отыщем друг друга,
мелькают века и планеты,
одно не меняется это:
загадочный дворник неспешно
все катит вдоль дома тележку...

Помилуй

Помилуй... Бог в улыбке и руке,
а не в иконах в красном уголке,
он безусловно прячется повсюду:
помоет губкой грязную посуду,
под вечер шьет и штопает носки,
а что его шаги – они легки,
касания его подобны чуду...
У тихих вод заросшего пруда
желтеет одуванчик придорожный,
он тоже Бог, и жизнь его проста,
а мы с тобой, выдумывая сложность,
ей воздвигаем гордый пьедестал...
А сколько жить – полгода ли полста?
Под гнетом гирь торопятся часы...
Недолг век у капельки росы,
И по тропинке за крутым холмом
мы к перевозданной тишине бредем...
Для грешника такая благодать
со стороны за Богом наблюдать...

Из будущих книг

Наталия ГУСЕВА

ЛЕТОПИСЬ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Фрагменты

Маленький шаг в большую медицину

На практику мы поехали вдвоем: мы с Наткой и наша подруга Кися – в рабочий поселок Вача. На рейсовом автобусе мы приехали в Вачу вечером. Нас временно уложили спать в рентгеновском кабинете. Не знаю отчего, то ли от рентгеновского кабинета, то ли от плохого завтрака, а может, просто от волнения нам всем троим утром стало очень плохо. Но этого никто не заметил, и нас направили на патолого-анатомическое вскрытие трупа молодого армянина-сапожника, который был убит ударом ножа в сонную артерию ночью. Это вскрытие нас добило. Не помню, куда делась Кися, а Натка полулежала на скамейке у входа в больницу. Я спряталась в туалете, чтобы никто не видел, как мне плохо.

Но потом все уладилось. Нас распределили по отделениям, выделили комнату для жилья в старой заброшенной аптеке, поставили на довольствие. Обедали мы в больнице, а завтракали и ужинали – как придется. Я начала практику с терапии, Натка – с хирургии, а Кися – с акушерства и гинекологии. Немного понаблюдав за нами, главный врач предложил нам работать медицинскими сестрами в соответствующих отделениях в ночные смены. Мы с Нат-

кой согласились, а Кися отказалась – боялась, что не справится. И началась наша трудная производственно-учебная жизнь. Ночью – дежурства в отделении, днем – практика, а в те редкие ночи, когда мы с Наткой ночевали дома, нашу аптеку осаждали местные парни, любыми путями стараясь пролезть в нашу спальню. Мы запирали все двери и окна и всю ночь дрожали от страха, а когда мы с Наткой дежурили, Кися ночевала с нами в больнице. Однажды я все-таки поставила главного врача в известность о нашем печальном существовании. Он известил милицию, которая провела соответствующую работу с местной молодежью, и нас оставили в покое.

Работа была интересная. Я быстро освоила все виды инъекций, в том числе и внутривенно-капельные, введение зонда в желудок, взятие на анализы крови и желудочного сока, а главное – правильное общение с больными, чтобы им было легче переносить неприятные процедуры. Я работала с удовольствием, а больные радовались каждому моему дежурству. Поэтому после дежурств я без усталости, старательно осваивала врачебную практику: проводила осмотры и обследования больных, ассистировала на операциях, участвовала в приеме родов. В это время в районе было много патологии беременности. Врачи часто выезжали в села и деревни для помощи беременным, и на это время меня привлекали к приему терапевтических больных в поликлинике, к выезду на вызовы к больным на скорой помощи, и даже к производству биохимических анализов.

Однажды меня вызвали ночью к тяжелому сравнительно молодому больному-сердечнику. Я очень волновалась. У больного был инфаркт миокарда, осложненный кардиогенным шоком. Я не очень быстро, но справилась с шоком и на носилках отвезла его в больницу. Утром ему стало намного лучше, и его лечащий врач, посмеявшись над пугливой практиканткой, разрешила ему вставать и ходить, не смотря на мой запрет. К обеду он умер. Я очень переживала его смерть, а по поселку поползли слухи, что молодая его правильно лечила, а лечащий врач – все напортила.

Иногда во время дежурств в отделении мы с Наткой принимали экстренных хирургических больных, Кися тоже нам помогала. Мы накладывали гипс, спускали мочу катетером, вправляли вывихи. Однажды поступил старый мужчина, кричавший от боли на всю больницу. У него ущемилась головка полового члена. Мы с Наткой решили ее вправить, а Кися давала рауш-наркоз. Наверно, мы не очень успешно справились с этой манипуляцией, потому что больной не переставая кричал, мы с Наткой действовали в четыре руки, а Кися заявила: «Наркоз дан», когда мы уже все вправили.

Сложнее всего мне пришлось во время практики по акушерству и гинекологии. Мне упорно не давались аборт-ты. Гинеколог, который был моим наставником, постоянно меня ругал, и я очень переживала. Немного лучше было и с акушерством. Я, правда, быстро научилась принимать физиологические роды. Поэтому однажды, когда ребенок шел хорошо, плод был небольшой, а роды были физиологические, мне разрешили самостоятельно их вести. Я старательно контролировала раскрытие шейки матки, частоту и силу схваток, сердцебиение плода. Все было в порядке. Роженица даже не сильно стонала, только спрашивала: «Скоро уже?» Но когда ребенок родился, у меня закружилась голова, затряслись руки, и я с трудом перевязала пуповину. Ребенок родился таким, какого я не видела и в анатомическом музее. На лице не было ни носа, ни глаз. Вместо рта громадная щель через все лицо, а там, где должен быть лоб, торчало какое-то образование, типа маленького мужского члена. Руки и ноги были недоразвиты, туловище было округлое, как вторая голова. Младенец несколько раз пискнул. Я подозвала дежурную акушерку, которая быстро забрала ребенка и куда-то унесла, громко причитая: «Ребенок нежизнеспособен». Такого ребенка мы не могли показать молодой женщине, у которой были первые роды. Потом она часто меня спрашивала, какой был ребенок, а я, с трудом подбирая слова, отвечала, что ребенок задохнулся от обвития пуповины, как мы условились с акушеркой. В общем, не повезло мне с акушерством и гинекологией.

Зато повезло с хирургией. Единственный в районе хирург, Виталий Иванович, был красивым и веселым мужчиной средних лет, у которого было два любимых слова. Когда ему что-то не нравилось, он протяжно констатировал: «Тоска!» А когда привозили больных из отдаленных деревень, которые были бестолковы и всего боялись, он пожимал плечами и резюмировал: «Чертятники!» Мы с Наткой тут же в него влюбились, поскольку он был талантливым хирургом и вдумчивым врачом. Кися его очень боялась. Я с удовольствием делала перевязки, ассистировала на операциях, вскрывала абсцессы и флегмоны. Виталий Иванович полюбил всех нас троих, в том числе и Кисю, и говорил, что больнице повезло с такими практикантами. Именно Виталий Иванович заставил нас с Наткой полюбить хирургию и впоследствии стать хирургами.

Интернатура

Однажды Борис Владиславович на дежурстве спросил меня о месте распределения. Я рассказала ему про Мурашкино, и он очень удивился и вспомнил: «Вы же отличница?» Что я могла ответить? «Как-то так вышло». Борис Владиславович был серьезный и опытный человек: «Вам обязательно зимой надо съездить в Мурашкино. Может, там и должности хирурга нет. Попадете в участковую больницу на 20 коек и потеряете все хирургические навыки». Работа в районе меня не очень пугала, но мысль о том, чтобы уйти из хирургии, была невыносима. Я тут же побежала к нашему руководителю интернатуры и попросила направить меня на месяц в Мурашкинскую центральную районную больницу, по месту распределения. Руководитель счел мою просьбу обоснованной и дал свое разрешение. На следующий день я поехала на автобусе в Мурашкино.

О, мудрый Борис Владиславович! Как в воду глядел! Ставка хирурга была действительно занята за счет внутреннего совместительства. При этом оперирующим был только один хирург. Второй хирург сидел на приеме в поликлинике и сильно выпивал, но был чьим-то мужем.

Однако оперирующий хирург был очень рад моему приезду, поскольку у него были неотложные дела, связанные с разводом с женой, которая жила в областном центре, и женитьбой на Кате-фельдшерице из Мурашкина. Так я осталась единственным оперирующим хирургом на весь район. Конечно, было страшновато. Главный врач предложила мне три варианта жилья: квартиру в доме, деревенский дом, аренду комнаты у хозяйки. Я выбрала последнее и не прогадала. Хозяйкой у меня была тетя Лена, старушка, работающая на телеграфе, добрая и заботливая. Ее считали немного не в своем уме, поскольку в один день она потеряла трех близких людей: мужа, умершего от инсульта, внучку, умершую от кровотечения из раковой опухоли, и зятя, погибшего от несчастного случая на производстве. Но я никаких отклонений у нее не наблюдала, зато заботы и участие видела много. Этот месяц был самым счастливым и самым трудным в моей жизни: счастливым – потому, что я была полностью освобождена от всех хозяйственных дел: стирала, готовила, убиралась тетя Лена, несмотря на мои протесты. Более того, хотя я обедала в больнице, к обеду тетя Лена всегда мне приносила домашние блюда: пельмени, запеченные со сливками в горшочке; картошку, тушенную с мясом в русской печи; блины с яблоками и творогом, обильно политые маслом, пирожки с мясом, капустой, яйцами. Такого в моей жизни больше не повторялось. Плохо было то, что я мало спала. Почти каждую ночь меня вызывали на дежурство, если были травмы, кровотечения, симптомы острого живота, а врачи других специальностей не могли с ними справиться. Помогал мне только акушер-гинеколог, тоже молодой врач, который ассистировал мне на операциях, а я, при необходимости, ассистировала ему. Каждый вечер, после того как я ложилась спать и засыпала, на улице, под нашим окном раздавался гудок скорой помощи, и шофер стучался в окно. Тетя Лена начинала с ним ругаться, чтобы я подольше поспала. Шоферу она кричала: «Чего шумишь? Мы уже давно спим». – «Тетя Лена, Александру Павловну вызывают, там перелом привезли». «Ну и что, что перелом! Там дежурные врачи!» – «Вызывают, значит надо! Давай скорее, больному пло-

хо!» – «Им всегда плохо! Человек не спит каждую ночь!» И видя, что я уже встаю и одеваюсь, она резюмировала: «Безобразие!» И я ехала или в больницу, или в какую-нибудь отдаленную деревню, где случилось несчастье.

Однажды пришлось ехать в самую дальнюю деревню Колотуху. По трассе ехала на машине, потом – на тракторе, потом – на санях. Дом еле нашла в темноте с помощью всезнающего возчика. В доме было темно, все спали, только на полу лежал молодой парень в луже крови. Я сначала перепугалась какого-нибудь криминала, но потом оказалось, что это сильное носовое кровотечение. Я быстро ввела тампоны в носовую полость и кровоостанавливающие средства в мышцу, с помощью возчика одела парня и отвезла в стационар, где стала переливать кровь и кровозамещающие жидкости. В другой раз привезли шестнадцатилетнюю девчонку-лыжницу с вывихом бедра. Я с ужасом вспомнила, с каким трудом наши хирурги в городской больнице вправляли вывих бедра, но потом в памяти всплыли мудрые слова Бориса Владиславовича: «С вывихами главное – не торопиться. Дай расслабиться мышцам, а потом хорошо оттяни головку кости, образующей сустав». Я положила девчонку на стол на живот, свесив пострадавшее бедро, когда девочка успокоилась, а мышцы расслабли, попросила дать рауш-наркоз и, взяв рукой стопу, своим коленом сильно оттянула бедренную кость. Она щелкнула и сама встала на место. Потом, посмотрев в окна, я увидела множество зрителей, которые наблюдали за моими манипуляциями коленом. Что делать, я не надеялась на силу своих рук.

По воскресеньям у нас были гости. Однажды приехала дочь тетя Лены с моей институтской подругой Ниной. Мы хорошо посидели за столом, поели вкусный тети Ленин обед, поговорили о жизни, но потом меня вызвали в больницу, и я вернулась только вечером, когда гости уже уезжали. В другой раз приехала подруга моей сестры Маша, которая работала фельдшером в недалеко расположенном местечке Кетросе. Маша привезла сливок, яиц, сушеных грибов и соленых огурцов. Но в этот раз я не смогла даже спокойно пообедать, потому что меня вызвали в больницу,

где я была до поздней ночи. Но Маша договорилась с тете́й Леной, что в следующую субботу за мной приедет муж Маши – главный врач Кетросской больницы, на «газике», и увезет на выходные в Кетрось, чтобы я, наконец, выпалась. Действительно, Миша – Машин муж за мной приехал в субботу и даже договорился с главным врачом, что увезет меня на выходные, оставив свои координаты. Он привез мне теплый овчинный полушубок, валенки и теплый платок, чтобы я не замерзла в овеваемом всеми ветрами «газике». Дорога была жуткая: бескрайняя равнина, покрытая снегом, гудящие столбы, завывающая метель и темная-темная ночь, какой никогда не бывает в городе. В машине я все равно замерзла и была очень рада, когда Маша сразу по приезде потащила меня в жарко натопленную баню. Мы нагрелись, намылись, напарились и пошли в избу ужинать. Ужин был очень вкусный: и печеные яйца, и жаренная в печи курица, и тушенная в печи картошка, и соленья, и варения деревенского изготовления. За столом присутствовал какой-то мужчина из прокуратуры, приехавший в Кетрось по своей работе. Они с Мишей хорошо выпили и завалились спать на полу, около голландской печи. Мы с Машей почему-то очень боялись, что они задохнутся, и постоянно проверяли, как они дышат. Они дышали хорошо.

Ночь я проспала нормально. Утром пришел Юрочка, Машин сын, и включил магнитофон с песнями из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Я была наверху блаженства, но недолго. Пришел Миша и сказал, что звонили из больницы. Требуют возвратить меня по месту работы. Они с Машей ругали мою больницу, главного врача, судьбу хирургов, но были вынуждены отправить меня на первой попутной машине в Мурашкино. По дороге меня сильно укачало, и я приехала больная и обиженная на весь мир. Так и прошел месяц. В итоге оказалось, что Борис Владиславович был прав. Свободной должности хирурга в районе не было, и мне надо было перераспределяться.

Перераспределили меня в распоряжение районной администрации крупного города Дзержинска, где была единственная в области больница скорой медицинской

помощи. Мудрый Борис Владиславович опять дал мне очень ценный совет: «Саша, вы не обращайтесь в районную администрацию, а идите прямо в отдел кадров больницы скорой медицинской помощи. Я знаю, там нужны хирурги, вас быстро оформят». Он оказался прав.

Первые шаги

Мой первый день работы я запомнила на всю оставшуюся жизнь, потому что он был как раз в день моего рождения. Накануне откуда-то появился Леша и сказал, что такой день мы будем праздновать вдвоем в ресторане, и он заказал уже столик. Но, чтобы на душе было спокойно, я решила перед рестораном съездить в Дзержинск в больницу скорой помощи и оформить документы на работу по распределению. Как и советовал Борис Владиславович, я, минуя городской отдел здравоохранения, поехала прямо в больницу. Леша вез меня на своей новой машине, которая благоухала от громадного, подаренного им, букета цветов. Впервые после санатория жизнь казалась прекрасной, и всё как будто встало на свое место.

Больница была не просто больницей, а целым больничным городком, аккуратно огороженным красивой металлической изгородью. В городке было несколько корпусов, что свидетельствовало о том, что здесь принимали самых разных больных, нуждающихся в экстренной помощи и даже детей с хирургической патологией. Леша остановил машину у хирургического корпуса, а я направилась в административный корпус в отдел кадров. Заведующий отделом кадров Пал Палыч, бывший сотрудник Комитета государственной безопасности, долго изучал мои документы и долго изучал меня, задавая разные вопросы, в том числе собираюсь ли я замуж и хочу ли иметь детей. Я ответила, что все девушки собираются замуж и хотят иметь детей, но от желаемого до действительности еще далеко. Он заполнил какие-то документы и, что-то решив, предложил мне осмотреть место моей работы: приемный покой, экстренную операционную и второе хирургическое отделение. В приемном покое мы встретили молодого врача,

моего ровесника, который был в растерянности: привезли больного с прободной язвой, а ответственного хирурга еще нет (он приходит в пять часов), второй дежурный хирург заболел. Заведующий отделом кадров его успокоил: «Вот вам второй хирург! Александра Павловна! Прошу любить и жаловать». Я была неприятно удивлена: «Но ведь я хотела приступить к работе с понедельника». «Я вас оформил с сегодняшнего дня, а понедельник – день тяжелый, – ответил бывший работник КГБ, который все знал и все предвидел. Дежурный хирург, которого все звали Пирожком, очень обрадовался и тут же спросил меня: «Ты прободную язву оперировала?» Я с благодарностью вспомнила Бориса Владиславовича, который несколько раз давал мне самостоятельно оперировать прободную язву, и гордо ответила: «Конечно, оперировала», – и стала переодеваться. Потом вспомнив о Леше, подошла к окну и крикнула, что день рождения отменяется и у меня экстренная операция. Леша стоял унылый и растерянный и говорил что-то, очевидно, нехорошее про руководителей больницы. Потом он отнес букет в приемный покой и уехал.

Операцию я сделала быстро, потому что она была несложная, всего-то зашить маленькую дырочку в желудке. Пирожок удивился, а анестезиолог Петрович сказал: «Ну, Шура, ты прямо – Пирогов». Но испытания мои в этот день еще не кончились. Не успели мы с Пирожком выпить чаю, как нас снова вызвали в экстренную операционную. Привезли молодого парня с завода химического машиностроения с тяжелой травмой. Парень был недисциплинированный, в рабочее время выпил спирта и в состоянии опьянения попал в вальцовочный станок: ему оторвало правую руку, ранило левую кисть, сломало несколько ребер и ранило правое легкое. Он был в состоянии болевого шока и выжил-то, наверное, потому, что был пьяным. Мы вывели парня из шока, Петрович дал наркоз, я стала обрабатывать рану легкого, а Колобок – раны предплечья и кисти. В общем, заштопали парня. Ночью он крепко спал. Утром парень очень удивился, увидев, что лежит перевязанный, на больничной койке, без правой руки. На утренней конференции ответственный хирург, который работал

с 5 часов вечера, доложил о наших деяниях. Все удивились, увидев незнакомого хирурга, спрашивали, откуда я и что здесь делаю. Оказалось, что я работаю во втором хирургическом отделении (гнойном) хирургом-ординатором на 1,5 ставки и имею 10 ночных дежурств в месяц, поскольку это – больница скорой медицинской помощи и дежурит она ежедневно.

И началась самая настоящая круговерть. Поскольку никто не спрашивал моего согласия на такую рабочую нагрузку, а мне не приходило в голову выяснить этот вопрос, то работала я с утра до ночи и с ночи до утра. При таком режиме ездить на электричке домой, даже не каждый день, было невозможно. Но, к счастью, через месяц работы меня вызвал к себе главный врач. Он сказал, что поскольку я успешно справляюсь со своей нагрузкой, то могу еще выполнять обязанности внештатного специалиста по переливанию крови больницы с оплатой за расширение объема производственной деятельности. Я не понимала, как еще можно расширить объем моей работы, но спрашивать об этом не стала, а попросила устроить меня в какое-нибудь общежитие, потому что ездить домой при такой нагрузке очень тяжело. Главный врач согласился и устроил меня в общежитие завода пластмасс. Жизнь потихоньку стала входить в спокойное, хотя и сложное русло. Утром я ходила на станцию переливания крови, получала там необходимые инструкции, утверждала программы семинаров по переливанию крови и кровезамещающих жидкостей. По своему статусу я была включена в медицинский совет больницы и принимала участие во всех контрольных мероприятиях за работой отделений по разделу переливания крови.

Больных я вела много, 45 человек, потому что в отделении было три хирурга: освобожденный заведующий отделением, я – на 1,5 ставки, еще хирург – на 1 ставку и челюстно-лицевой хирург, который вел одну палату больных с заболеваниями и травмами нижней челюсти. В отделении было около 80 больных.

Первый год моей работы был ознаменован следующими событиями. Во-первых, было почему-то много гангрен

полости рта после удаления зубов. Такие больные, как правило, умирали, потому что поступали поздно. Ведь никто не мог подумать, что после удаления зуба в полость рта попадет анаэробный микроб, который вызовет эту жуткую гангрену, а она отравит и задушит больного. Много было и переломов нижней челюсти, поскольку химики – народ буйный и агрессивный, от химии лечатся спиртом и в минуты возбуждения очень опасны.

Во-вторых, много было патологии беременности и заболеваний женской половой сферы, которые требовали оперативного вмешательства. Здесь не могу не упомянуть нашего заведующего отделением, фронтовика, бывшего кавалериста, уникального хирурга, думающего и прогрессивного врача Федора Алексеевича. Он владел любыми операциями, в том числе на прямой кишке, при урологических и гинекологических заболеваниях, травмах и другими. Его часто приглашали на консультации в родильный дом, оттуда он привозил тяжелейших больных, которых оперировал и выхаживал вместе с нами. В-третьих, по закону «бутерброда» в одну из моих палат попал Славик, парень, который упал в вальцовочный станок, а я его оперировала в первый день своей работы. Он лежал у меня около года. Раны после вальцовочного станкагноились, на левой кисти три пальца, оставшиеся после травмы, были в контрактуре, а легочная ткань правого легкого была поражена посттравматической пневмонией. Ему не только нужно было сохранить жизнь, но и адаптировать к сосуществованию с его дефектом, с которым ему придется жить всю жизнь.

Дядя Федя – реабилитолог

Славку удалось спасти и подготовить к новой жизни, и этим он обязан в первую очередь Федору Алексеевичу, который имел большой авторитет везде, в том числе и на заводе химического машиностроения. В ответ на просьбу Федора Алексеевича завод прислал нам все необходимое для лечения и ухода за Славкой, в том числе и дядю Федю – пенсионера, который должен был осуществлять индивиду-

альный уход. Это был очень серьезный и добрый человек. Если сказать, что к Славке он относился как к сыну, – это ничего не сказать. Он относился к нему как к самому близкому и любимому человеку, от которого зависит его судьба и счастье. Дядя Федя очень скрупулезно исполнял все мои указания, к сожалению, в отличие от дежурных медицинских сестер. Но и их он контролировал более строго, чем я, и в определенное время строго указывал: «Сейчас у Славки должен быть укол, а через полчаса – таблетки». В конце концов, я стала оставлять ему выписку из листа назначений, хотя нужно сказать, что я почти постоянно была в больнице, вследствие моих совмещений и дежурств.

Сначала необходимо было спасти Славку от интоксикации и тяжелых легочных нарушений. Я ввела в рану на груди дренажи и наладила ее промывание по типу диализа. Но дренажи могут засориться и не пропускать отток жидкости. Вот за этим и следил дядя Федя. Он следил за бутылкой, куда стекала оттекающая жидкость, и в необходимое время включал электрический отсос. Затем Славку необходимо было хорошо кормить. Я выписала ему усиленное питание, а дядя Федя даже приносил из дома что-нибудь вкусное: пирожки, салатки, морс, компоты. Славка сначала есть ничего не хотел, и приходилось кормить его с уговорами, но потом в нем проснулся здоровый аппетит, и он с удовольствием съедал все, что ему предлагали. К сожалению, должна сказать, что родные Славки почти не участвовали в его оздоровлении. Через несколько дней после травмы ко мне пришла его мать, женщина из «простых», в платочке и с громким, злобным голосом. Она стала просить меня не лечить Славку, потому что он хулиган и ей не нужен, и что, наконец-то, пока он в больнице, она обрела покой. Я не стала ей объяснять, что он вырос таким, каким она его воспитала, и жаловаться ей надо только на себя. Я просто сказала, что лечить больного – это мой долг и обязанность и за это я получаю зарплату. Медсестры были менее вежливы. Они выпроводили ее из ординаторской и ехидно уведомили на прощание: «Этот доктор обязательно его вылечит!» Тетка подала на меня жалобу главному врачу, но я об этом не знала. С главным врачом

объяснялся Федор Алексеевич, который представил ему историю болезни Славки, листы назначений, подтвердил, что контролирует тактику ведения этого больного, упомянул дядю Федю. Все обошлось. Но хорошо, что никто не вспомнил о том, что я не поставила при поступлении Славки диагноз алкогольного опьянения, а то бы и мне досталось, и Славка, став инвалидом в 18 лет, не получил бы никаких льгот.

Славке необходимо было проводить профилактику от пролежней, смазывать спину и крестец, поворачивать несколько раз в день. Все это дядя Федя исполнял неукоснительно, и через месяц рана начала рубцеваться, и опасность интоксикации и нарушения дыхания отпала. Далее необходимо было Славку реабилитировать и адаптировать к предстоящей жизни.

Тогда мы смутно представляли себе, что такое реабилитация больных, приказов, инструкций и методик по этому направлению еще не было разработано, но ясно было одно, что Славке предстоит еще долгая жизнь и он должен научиться сосуществовать со своим дефектом, а дефект был серьезный. Правая рука была ампутирована до плеча, и хотя рана культи зажила хорошо, но сама культя была небольшая, и впоследствии могли возникнуть проблемы с протезированием. Кисть левой руки была серьезно повреждена: отсутствовали указательный и средний пальцы, а остальные пальцы имели выраженную контрактуру в межфаланговых суставах. Очевидно, были повреждены нервы, и любое движение причиняло Славе сильную боль. Когда раны левой кисти зажили и боль прекратилась, контрактура осталась и делала левую кисть совершенно нерабочей. Травматологи, которые консультировали Славку, сказали, что операция не показана, а кисть следует разрабатывать длительное время. В бой с контрактурой вступил дядя Федя. Это был главный Славкин реабилитолог.

Я пригласила к Славке нашего лучшего инструктора по лечебной физкультуре, красавицу из красавиц – Светочку. И Славка, и дядя Федя сразу влюбились в нее. Света составила и научила делать комплекс упражнений для разработки пальцев и кисти и для улучшения функции дыхания,

а затем приходила и контролировала правильность и результаты лечебной гимнастики. Мы с дядей Федей решили дополнить комплекс упражнений практическими занятиями. Славка должен был этой кистью научиться держать ложку и вилку, чистить зубы, писать, умываться, одеваться и обуваться. И как ни жалел дядя Федя Славку, он заставлял его все это делать самостоятельно. Славка пытался чистить зубы, очевидно, впервые в жизни. При этом дядя Федя выставлял очень веский аргумент: «Светочка придет, а у тебя зубы желтые!» Славка пытался сам есть, расплескивал суп, ронял котлеты, с трудом удерживал, а иногда ронял и стакан с компотом. Питание отнимало у него час времени. Но дядя Федя был пенсионером, он никуда не торопился и советовал Славе не спешить и делать все правильно, как велела Света. Славка пытался писать. Сначала он писал письма мне, где информировал меня о своем состоянии. Это были коротки неграмотные письма, написанные громадными кривыми буквами. Однако впоследствии, когда почерк стал более приличным, он писал письма Свете, очевидно, с объяснениями в любви, потому что они были на красивой бумаге (бумагу доставал дядя Федя) и обязательно с нарисованными цветочками – ромашками и васильками. В принципе приближался момент, когда дядя Федя был уже не нужен и Славка мог жить самостоятельно и не нуждался в уходе. Но у нас появился новый враг – легочные свищи. Понятно, вальцовочный станок не был стерильным, и грязи в легочную ткань было внесено много. Диализ только частично смыл эту грязь, в глубине тканей она оставалась и способствовала формированию свищей. Я пыталась их лечить, промывала, иссекала, но как только Славка начинал кашлять, они открывались вновь. Поэтому Славка был на щадящем режиме, и дядя Федя был ему еще нужен. Впоследствии я демонстрировала Славку на нашем хирургическом обществе в областном центре. У меня было много его фотографий, начиная с первых перевязок в отделении и кончая его адаптацией к самообслуживанию. Везде присутствовал дядя Федя. Борис Владиславович после заседания общества с присутствующей ему вежливостью и тактом спросил: «Саша, как вы

воскресли его? Ведь понятно, он был обречен!» Я ответила: «У меня был дядя Федя».

Позднее, когда я уже была замужем, а мужа переводили на работу в областной центр и я тоже возвращалась в свой родной город, ко мне пришел красивый молодой человек, в новом модном белом плаще, с протезом правой руки и букетом цветов в левой руке. Я сначала его не узнала. Неужели Славка? Да, это был он. Он протезировал руку, получил вторую группу инвалидности и продолжал работать на своем заводе. Славка собирался жениться. Я видела результаты нашего труда и была счастлива. Ведь Славку спасали все мы, и в первую очередь дядя Федя!

Света, Нина, Лена, Фая и другие

Поистине трагической была судьба нашей пациентки Светочки, которая недавно вышла замуж по большой любви с обеих сторон, в положенный срок удачно родила здорового младенца. Но после родов начались непонятные боли в кишечнике, и на консультацию вызвали, как всегда, Федора Алексеевича. Понятно, что в брюшной полости шел какой-то воспалительный процесс, но данных за острый живот не было, и решили больную обследовать и вести консервативно уже в нашем отделении. Вел Светочку сам Федор Алексеевич, а мы были на подхвате. Несмотря на активную антибактериальную терапию, воспалительный процесс нарастал, а боли усиливались. Наконец, после консилиума, решили все-таки Свету оперировать. На операции были отмечены воспалительные явления в брюшине, источником которых стал некроз ленты толстого кишечника *tenia*. Некроз поразил ленту всего кишечника, поэтому решили промыть брюшную полость, ввести антибиотики и отгородить пораженный кишечник, по возможности, сальником. После операции процесс немного стабилизировался, сформировались кишечные свищи, и, несмотря на активное лечение, в том числе переливание крови и уход, Света стала угасать. Молодой муж не мог смириться с этим. Он не отходил от Светы, ухаживал за ней, ждал улучшения, которое так и не наступило. Когда

он понял, к чему все идет, то словно сошел с ума, разбил капельницу, расшвырял стулья и тумбочки и кричал на все отделение. Хотя все уговаривали его угомониться, но мы были тоже в большой печали. Муж оставался без жены, ребенок – без матери. А мы ничего не могли сделать. Я все спрашивала Федора Алексеевича, можно было все-таки что-нибудь сделать с этой некротической лентой. Он долго что-то обдумывал, а потом сказал: «Знаешь Саша, иногда словно что-то мешает идти на операцию. Ведь для больного важен каждый лишний день жизни».

С Леночкой было еще хуже. Она тоже недавно вышла замуж, но детей молодые пока иметь не хотели, советов хороших им никто давал, и Лена сделала аборт в центральной больнице одного из районов области. После аборта у нее появилась температура, боли в правой нижней области живота и признаки воспаления в анализе крови. Врачи считали, что это осложнения аборта, и проглядели острый живот. Когда вызвали на консультацию хирурга и он срочно взял Лену на операцию, оказалось, что это гнойный аппендицит, осложненный воспалением брюшины. С тех пор я стала бояться аппендицитов. В послеоперационном периоде сформировался кишечный свищ. Ко мне она была переведена из центральной районной больницы уже в достаточно тяжелом состоянии. Леночка была бледная, с цианозом губ, тяжело дышала, свищ был с небольшим отделяемым. Меня больше всего взволновала легочная симптоматика, которая свидетельствовала не только о пневмонии, о которой упомянули в справке больницы, но и о возможном плеврите. Мы с Федором Алексеевичем тут же взяли ее на рентгеноскопию легких и обнаружили уровни жидкости в обоих легких. Сделали пункцию и получили мутный экссудат с неприятным запахом фекалий. И вот тогда я поняла, что такое, когда руки не хотят оперировать. Несколько часов мы с Федором Алексеевичем ходили около Лены и думали. Наконец решили собрать консилиум и все обсудить. На консилиуме было принято решение: у больной абсцесс под диафрагмой, и его необходимо вскрыть. Как нам не хотелось вскрывать! Но решение принято, и надо его выполнить. На операции мы

увидели нечто страшное: диафрагмы практически не было, содержимое кишечника хлынуло в плевральную полость и поразило оба легкого. Больной было просто нечем дышать. После операции Петрович не смог снять ее с искусственной вентиляции легких. Под утро она скончалась. Я была всю ночь с ней и ничем не могла помочь. А может, без операции она бы ещё немного пожила? Лене было 22 года. Утром на конференции я была как сомнамбула, ничего не слышала и ничего не понимала. Иван Иванович – детский хирург принес откуда-то маленького щенка и вручил его мне: «Возьми, Шура, этого друга! Он будет тебе помогать в тяжелые минуты».

Нина была веселой, молодой женщиной тридцати двух лет. Она была замужем и имела одного ребенка. Потом решила родить второго. Роды были нормальные, ребёнок родился здоровым. Но у Нины после родов начались боли в нижней половине живота. Вызвали хирурга для консультации, а поскольку это было ночью, я дежурила, то послали меня. Живот у Нины был нехороший, острый, давал симптом раздраженной брюшины, и я взяла больную к нам на операцию. Нину посмотрел ответственный хирург и согласился со мной в отношении необходимости оперативного вмешательства. Мы пошли на операцию. Когда я вскрыла брюшную полость, то увидела, что в малом тазу в гнойном выпоте плавают два черных яичника. Их надо было удалять. Но как на это решиться у молодой женщины, пусть даже с двумя детьми. Позвонили главному акушеру-гинекологу, он согласился с нашей тактикой. Я удалила оба яичника, перевязала трубы, промыла область малого таза. На утренней конференции нас почему-то ругали, а я чувствовала себя виноватой. Однако ответственный дежурный хирург, а это была очень боевая пожилая женщина, тут же очень громко отчеканила: «Посмотрела бы я на вас, как бы вы оставили черные яичники, плавающие в гное, в брюшной полости!» Все притихли, потому что действительно вряд ли кто оставил бы. Проведенное гистологическое исследование показало гангренозное изменение яичников. Операция была сделана правильно, но от этого было не легче. Женщине грозили гормональные

расстройств и бесплодие. Все это надо было ей объяснить. Мое положение облегчало то, что у Нины был очень легкий характер. Гормональные расстройства её не напугали, поскольку иметь ещё детей она не хотела, тем более я пояснила, что направлю ее к гинекологу и она будет долго лечиться. Она была довольна, что выздоровела, что здоров ребенок. Она радостно порхала по отделению и тут же завела себе поклонника – Колю из 5-й палаты. Кузьминична на нее ворчала: «Только со стола соскочила, а уже начала хвостом мести!» Кстати, дружба с Колей у неё была крепкая, после выписки они оба часто заходили ко мне для контроля послеоперационного течения и просто так.

Самый светлый след в моей памяти оставила Фая. Фая поступила ко мне после экстренной операции удаления желчного пузыря. Операция осложнилась нагноением послеоперационной раны и формированием свища. После иссечения свища была вытащена из раны забытая на первой операции салфетка. Послеоперационная рана заживала очень долго, потому что Фая была очень толстая, причём не просто толстая, а как-то уродливо толстая. Громадная складка жира свисала с живота почти до колен. Фая не была замужем, жила с матерью и работала швейей. Но при этом она была очень милая, добрая, спокойная и немного грустная. Все в отделении любили Фаю. Она всех стеснялась, особенно мужчин, и с большим трудом переносила перевязки из-за своего уродливого живота. Но у Фаи было много подруг среди соседей по дому. Они часто навещали её, а меня спрашивали о здоровье Фаи и сроке выписки. Мне было грустно расставаться с Фаей, я очень к ней привязалась. Санитарка Зоя жила с Фаей в одном доме. Она рассказывала, с какой радостью встретили соседи Фаю из больницы и как уютно у неё в квартире. Наверное, потому, что Фая сама была очень уютная.

Владимир СЕДОВ

СИНДРОМ АДЫ

Отрывок из романа «Русский клуб»

Глеб очень часто был в поездках. Но и быт семьи нужно было устраивать.

Он купил старый дом на Гребном канале, снёс его и стал строить себе городскую усадьбу.

На время, пока шло строительство, Глеб поставил там сторожа и купил ему для порядка трехмесячного щенка-кавказца, сучку по кличке Ада. А так как ездил туда почти каждый день контролировать, как идет стройка, то привязался к Аде как к человеку. Та росла быстро и в год уже была здоровая псина. Кормили ее только свежим мясом, и со временем она превратилась в великолепного зверя, больше похожего на светло-бурого медведя, чем на собаку.

Ада была умное животное.

Она сразу определилась, что живет в стае.

Все люди вокруг – это члены ее стаи, и она точно такая же, как все вокруг нее, и не важно, что некоторые ходят на двух ногах.

Есть вожак стаи – это Глеб, если он разрешает так ходить, значит, и должно быть так.

И самый главный здесь Глеб.

Все должны его слушаться, ему подчиняться, и все должны любить его так же, как она любит его. И, когда машина Глеба только поворачивала с трассы к дому, она уже вставала в стойку, начинала скулить от любви и нетерпения.

Хозяин едет.

В усадьбе было много работников. Их Глеб подбирал по принципу «украсть можно все», поэтому от них ничего не пряталось и все лежало открыто, но эти люди воровать не хотели. Получали очень хорошие деньги. И угроза потерять их подавляла желание стащить то, что как бы лежало под руками. Но за усадьбой было много людей, для которых принцип воровства того, что плохо лежит, был смыслом жизни. А вот усадьбу охраняли довольно серьезно. Здесь как раз и была большая роль кавказской овчарки.

Всех остальных членов «стаи» Ада делила по ранжиру.

Ида, самый близкий член стаи к хозяину, после Ады, конечно.

Дети, смешные щенки.

Работники, члены стаи.

Кто-то готовил, кто-то подметал, кто-то за цветами и садом-огородом ухаживал, кто-то охранял усадьбу, кто-то возил хозяина.

Ада же была, естественно, самая главная над всеми, вторая после вожака стаи. Когда она вставала на задние лапы и клала их на грудь хозяина, его лицо было напротив ее морды, и она видела, как они были похожи.

Она так любила хозяина, что готова была разорвать любого, кто задумал что-либо плохое против него.

Готова была умереть за него, сразиться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Естественно, она тоже любила тех, кого любил хозяин. Особенно его детей. Дети тоже очень любили с ней играть. Она видела, что хозяин их любит, и поэтому детям позволяла все. Они катались на ней, валялись с ней, бегали, прятались.

Но однажды произошел случай, который заставил Глеба пересмотреть свое отношение к тем, кто рядом.

Самая младшая из дочерей Глеба, познавая мир, стала изучать его более тщательно. Ей в этот день попала на глаза Ада.

Малышка, вначале поизучав хвост, лапы, постепенно перешла к глазам, носу и клыкам. Увидев в пасти этой мохнатой игрушки огромное количество зубов, она

моментально засунула в эту пасть свою ручонку. Ада, не ожидая такого, подавилась, закашлявшись и слегка прикусила руку малышки. Сколько было крика, слез. Даже Глеб напугался. В итоге на руке дочки оказалось маленькое пятнышко. Но это было пятнышко, и пятнышко на нежной маленькой ручке дочери. И Глеб в сердцах так сильно отругал Аду, что та, распластавшись на земле, закрыв морду передними лапами, застыла, только виновато поскуливая.

К вечеру она тихо уползла к себе в загон, а Глеб, проходя мимо добавил к ее горю, еще раз отругал ее: «И как тебе не стыдно. Ты укусила такую маленькую девочку. Мою дочь. Бесстыжая. Эх-хе-хе».

Утром Аде не вышла из загона.

Отказалась от еды. Она лежала в углу, спрятав морду под лапы, и ни на что не реагировала. Вечером приехал Глеб. Ему доложили, что с собакой происходит что-то не ладное.

Глеб, вместо того чтобы пожалеть Аду, еще добавил: «Ну что, бесстыжая, стыдно?» – и, не сказав больше ни слова, ушел в дом. Ада, подняв голову растерянно смотрела вслед своему хозяину такими виноватыми глазами, что те, кто это видел, чуть не расплакались.

Утром следующего дня она опять лежала в углу и ничего не ела. Потом Глеба дня два не было дома, а когда приехал, оказалось, что Ада, как и прежде, отказывается от еды и не выходит из загона.

Тут уже Глеб сменил гнев на милость. Зашел в загон и стал гладить Аду. Она устало подняла голову, посмотрела в глаза Глебу. «Да, – говорил ее взгляд, – виновата, хозяин, прости. Хотя понимаю, что мне прощения нет, и лучше я умру, чем так жить дальше», – и она опять спрятала голову в лапах.

Глеб постоял, постоял, но решил, что ничего, пройдет. Но на всякий случай велел вызвать ветеринара.

Ветеринар приехал, осмотрел вялую Аду и сказал Глебу: «Стресс, очень сильный стресс, может умереть. Она очень сильно переживает, что вы так сильно ее отругали».

«Чушь какая-то, – подумал Глеб, – еще у собак не хватало гамлетовских страстей».

Но так это или не так, через неделю Ада уже еле дышала. Она по-прежнему ничего не ела, только пила. И ругалась только на Глеба и смотрела на него виноватыми глазами, а потом и совсем перестала смотреть. Прячала глаза.

Глеб уже не ругал ее, а гладил и говорил: «Ну что ты? Ну, поругал маленько, что ты обиделась? Всякое бывает. Ну, извини, переборщил. Давай вставай, уже не сержусь».

Но Ада не вставала.

Глеб опять вызвал ветеринара. Поставили Аде питательную капельницу. Но ничего не помогало. Она угасала. Ветеринар сказал, что все бесполезно, она вот-вот умрет.

Глеб уже не знал, что делать, присаживался к Аде, тихим голосом заговорил, поглаживая ее: «Ну, прости меня, дурака, давай уж забудем все, хорошо?» Глеб разговаривал с собакой как с самым близким человеком. В последний раз, когда она уже почти не дышала, Глеб подошел, Ада шевельнулась, подняла морду и опустила, не открыв глаз. И тут Глеб увидел, как из ее закрытых глаз текут слезы. Она дернулась, вытянулась и умерла.

Глеб встал, вышел из загона и бесцельно стал бродить по участку.

«Черт-те что, – думал он, – уж если у зверей творится в душах такое, на что же способен человек? А может, мы, люди, не способны на такие чувства, на которые способны они? Может, мы, оторвавшись от природы, забыли про эти чувства внутри нас? Все бежим, суетимся, чего-то ищем, что-то все надо. А настоящее – вот оно, рядом, а мы и не замечаем ни любви, ни верности, ни преданности».

Аду похоронили и вскоре привезли нового щеночка. Тоже кавказца, тоже суку. Назвали ее Тера. Но с ней Глеб уже был подальше. Слишком опасно быть совсем рядом с тем, с кем не можешь быть всегда рядом. Можешь стать причиной несчастья и душевных травм.

Стихи по кругу

Галина СТРУЧАЛИНА

Белгород

Гефсиманский сад

Деревья с бугристой корой, цветы белизны небывалой.
О, сад Гефсиманский, открой калитку свою как начало.
Здесь масло годами текло, под камнем оливки стирались,
И дни, как один, повторялись, и время размеренно шло.

Здесь спали беспечно в ночи, здесь льстиво склонялся Иуда,
И здесь обнажали мечи. Здесь было и не было чуда.
И выход из сада ведёт туда, где, оставив земное,
Душа свои камни сочтёт и тихо попросит покоя.

Входи же сюда, не робей: томимый предсмертной тоскою,
Поплачь над корой вековой и чашу отруты испей.
О жизнь, Гефсиманский мой сад, я здесь, я стою у калитки...
Оливы всё также молчат, как в ночь испытанья и пытки...

Николай ПОЛОТНЯНКО

Ульяновск

Сказ про князя Святослава Игоревича

Ветер дул с понизовья, упругий и свежий.
В небесах отражался закатный пожар.
Русский князь Святослав шёл на Белую Вежу,
Чтоб безжалостный меч обнажить на хазар.

Были полны добычей из Булгара чёлны.
На могилах друзей отшумели пиры.
И дружина устала грести через волны,
И пристала к подножью Синбирской горы.

Запылала костры. И над станом дружины
Плыл от Волги туман, предвещая тепло.
Князь отведал сопрелой сырой строганины,
Лёг на землю, главу преклонив на седло.

И объял его шум листвяного напева.
И прозрела душа, устремляясь во тьму.
И, восстав из воды, златовласая дева,
Наготовю сияя, явилась ему.

И сказала она: «Ты Хазарское царство
Разгромишь и развеешь по ветру, как прах.
Только помни, о, князь, опасайся коварства
На днепровских порогах, в ковыльных степях».

Месяц плыл над землёю туманным осколком.
– Кто ты?.. И как мне найти тебя, где?
И промолвила дева речная: «Я – Волга».
И сокрылась в прибрежной кипящей воде.

Он проснулся и встал. Кумачового цвета
Облака проплывали над ним на заре.
И шумели прибором деревья от ветра
На высокой и древней Синбирской горе.

Сказ про первосёла

Он построил из глины и дёрна жилище.
Зиму провёл в задымлённой норе.
Первенца-сына отнёс на кладбище,
Что основал на недалнем бугре.

Богу молился, чтобы страх уничтожить.
Сброю чинил, глядя в звёздную тьму.

Выжила б только кормилица-лошадь,
Счастье же пашня подарит ему.

Вновь журавли в небе синем поплыли,
Липа взмахнула зелёным крылом.
Вышел во двор, в ноздри дунул кобыле:
– Отзимовали, Карюха, живём!

Ну-ко, пошли... Навались!
Жирным дёрном
Пласт отвалился, блеснув чернотой.
С хрустом холстинным лопались корни
Под деревянной скрипучей сохой.

Долог денёк за крестьянской работой.
Пышет, как печь, вековая страда.
Терпким мужицким пропитана потом
Каждая в поле его борозда.

Екатерина ФОМИЧЁВА

Бор

Сердце

Сердце уснуло во мне.
Я бреду по холмам,
Что окрашены в тёмный цвет.
Я смотрю на восток –
А там
Возвышается чудный храм.
«Вот, спасение впереди», –
Говорю.
И спешу туда,
Как спешили волхвы за звездой.
В это время внутри
Что-то вдруг начинает жить
И мешать.
«Сердце, было легко без тебя.
Засыпай опять.

Или страхи свои
В темноте схорони,
Чтобы тихо идти на свет». —
Сердце вмиг замолчало,
Послушное, робкое.
И опять мне легко,
И уж храм предо мной.
Твёрдой, каменной рукой
Я толкаю дверь —
Заперта.
У меня — ни ключа, ни креста.
«И куда мне теперь?» —
Вопрошаю
Молчащее бытие.

Хлопья снега летят
Из каких-то неведомых царств.
Их изгнали оттуда до срока —
Теперь они здесь.
Как и я,
Холодны, одиноки.
Усталые дети зимы.
Падшие ангелы,
Не выигравшие войны.
Я слежу за печальным паденьем
До самой земли —
Неожиданно взор мой
Во тьме различает письмо.
Кто же автор? Неведом.
Быть может, не мира сего
Он создание.
Строки его письма
В мою душу впечатываются огнём:

«Если сердце неспящее ты принёс —
Дверь открыта тебе. Проходи и живи.
Если сердце застыло от муки и слёз —
Дверь открыта тебе. Проходи и живи.
Если сердце холодное жаждет любви —
Дверь открыта тебе. Проходи и живи.

А коль голос сердечный ты сам заглушил –
Уходи и сокройся в безлюдной глуши.
Для тебя здесь спасения нет».

Дверь заперта.
Я стучу и кричу: «Спаси!
Дай мне ключ!
Пощади! Впусти!»
Я молю своё сердце:
«Очнись!
Настал твой час!»

Тишина.
Хлопья снега с небес летят.
Их, изгнанников,
Здесь приютит земля.
С ними ей – и покой, и свет.
А уснувшему сердцу
Приюта нет.

Наталья РОЗЕНБЕРГ

* * *

Когда мама отправилась в путь
неизбежный, заоблачный дальний,
всё былое умение жить
растворилось во тьме, может быть,
под беспечный мотив трали-вали,
не давая ночами уснуть,
попытаться себя обмануть,
переехать и покуролесить,
словно прежде, в ущелье, в арык,
в Петербург, и Москву, и Египет,
словно времени дали впритык.
Но стакан на поминках не выпит
до конца, до хрустального дна,
где я больше не дочка, и точка,

строгим ангелам стала видна
без защитной родильной сорочки.
Хищный космос в проталинках звёзд,
подбирается ближе, и свежесть
проникает под двери, одежду.
Буквы слов не вмещаются в тост,
а была мастерицею прежде...

* * *

Открыт доверчивому взгляду
осенний законный вид,
распахнутой обложкой букваря
тихонько, ничего не говоря,
щегол на мокром проводе сидит,
удравший со щегольега парада,
скромна его безмолвная бравада
мол, оказался там, где было надо.
Бросай скорее в банку стрептоцид,
где георгин испуганный дрожит
и начинает обморочно падать,
тобою на мгновенье позабыт.

Вячеслав БАРАНОВ

* * *

Растил,
растил деревце,
а вышел осиновый кол,
на языке извивается,
вертится
и матерится глагол.
Рыба подплывает небесная,
нюхает червяка.
Нет на свете вкуснее,
говорливее,
изворотливее
дурака.

* * *

На Сенатской площади
никакого сената нет,
лишь два алкоголика
возле мусорного бака,
и если пойти по аллее
на липовый просвет
засеребрится таблоид
дорожного знака.
Пока набираешь твой
номер да ждешь гудка
очередного, в помехах
вороньего грая,
мысленно выстраиваешь
остатки полка,
никаких требований
к жизни не предъявляя.
Никаким событиям
здесь не произойти,
лишь зря оцетинится
мрамор державный,
когда нечто забьется
в горячей горсти
женским голосом,
и запахнет
болотами, справа...

Елена ГАЛИАСКАРОВА

Красноярск

Джульетта

Джульетта начинает танцевать,
Стремительно звучат оркестра звуки...
Тревожа льда сверкающую гладь,
Она изящно к небу тянет руки.
Здесь нет любви. Отпели соловьи,
И ясный день сменился на ненастный.

Пятнадцать роз пурпурных отцвели
Давно, и чувства нежные угасли.

Зачем ты строишь замки из песка,
Спешишь за ней угрюмой, мрачной тенью.
Неправедным достанется тоска,
Нечестным – равнодушие и забвенье.

Торжественно танцует менуэт
Судьба, печально дождь стучит по стеклам.
Джюльетта верит – тьму заменит свет,
В победном такте музыка умолкнет.

Татьяна ЯРЫШКИНА

Сыктывкар

Время как долг

Делать больно тем, кого ты любишь...
Наказанье? Чья-то шутка злая?
Знать, что дорогие сердцу люди
Как болезнь тебя переживают.

Постоянно помнить: людям этим
Без тебя гораздо было б легче.
А с тобою...
Только ты в ответе –
Ты! – за то, что Время их не лечит.

Время норов твой зачем-то терпит.
Как и те, что от тебя устали...
И оно лишь приближает к смерти,
Но не избавляет от печали.

Ни тебя, ни тех людей, что жизни –
Целой жизни – для тебя дороже.
Ты в долгу.
И Время долгом виснет...
Научи добро им делать, Боже!

Душа и чай

Все мои вопросы – без Твоих ответов,
Боже, – трепетание души.
Как свеча, трепещет.
Как свеча, согрета
Лишь Твоею близостью в тиши.

Чай не помогает. Согревая тело,
Душу оставляет при своём.
При своих вопросах...
Никакого дела
Телу нет, что мы с Тобой вдвоём.

И ему не слышно Твоего молчания.
Вновь себе заваривает чай...
А душе не нужно никакого чая,
Только Ты её не оставляй.

Мария ЗАТОНСКАЯ

Саров

* * *

И облака ночные нарастают,
и каждый здесь теперь как будто знает,
что чернота бессмертию равна,
и в ней все наши жизни проступают,
как будто фотоплёнку проявляют,
ветвятся очертания деревьев.
– Кто эта ветка? – спросишь ты бесцельно,
на ней зажётся майский жук случайный,
и дождь зажётся белым-белым светом,
и через нас проходит небосвод.

* * *

Добрые люди в диспансере
разрешили вручить тебе посылочку,

ты смотрел и всё это ненавидел,
как я достаю барахло из пакета,
как жирный снег липнет к паркету,
когда ухожу по своим следам.
Как воздух снаружи игольчат и окна заиндевели,
играла попса по радио
и вроде там
о любви пели.

Наталья ЛУЖБИНА

Как чувств чарующая Навь...

(Навеяно романом В. Набокова «Лолита»)

Как чувств чарующая Навь
спешит раскрыться.
Густо приправленная ЯВЬ
Вам снится.

Мелодий чудных череда
Звучит на флейте.
Вы только в чувства никогда
Играть не смейте.

Усмешки, взгляды и слова
Летят фривольно.
Цветок надломлен был едва –
Уже не больно.

Как остр и тонок карандаш...
Всегда заточен.
Как взгляд глубокий ваших глаз
Увы, порочен...

Как снег искрился в декабре
И был прекрасен.

Последний день в календаре
Так чист и ясен.

Как на прощанье свой платок
Вы ни мусольте
Хотите выйти? Вам сюда.
Тогда... извольте

Галина ТАЛАНОВА

* * *

По верёвке подняться б к бумажному змею,
Что парит над землёй
В чьих-то сильных руках.
Но карабкаться вверх к небесам не умею.
А на землю глядеть – липкий чувствовать страх.
Он, подхваченный ветром
И солнцем облитый,
Улетает к реке,
Всё закованной льдом.
И надежда на счастье,
Как птица, подбита,
Ковыляет по насту и машет крылом.
И надежда на чудо –
Давно на исходе,
Хоть трещит под ногами неколотый лёд.
Только кажется змею,
Что он на свободе
И таранит в лицо в синяках небосвод.

* * *

Я выдохнула воздух,
Что польнью
Весь пропитался в августовском дне.
Плеснуло небо в сумерках мне синью –
И захлебнулась в нежной я волне...

Как после поцелуя, воздух сладок,
Хотя горчит разлукой и бедой.
Как век любви и человека краток!
А тропы зарастают лебедой...
Блаженный вкус,
Последняя истома...
И в горле уж клокочет тихий плач
При виде заколоченного дома
И запертых на зиму летних дач.
Метла дождей проходит над горою...
Ещё чуть-чуть – и долетит гроза.
По дереву с замшелю корою
Ползёт смола, как по щеке слеза.
Ещё чуть-чуть.
Осина сбросит листья.
Последние потери впереди.
Пока горчат рябиновые кисти –
И их вкушать не думай, погоди...
И лишь в тот день,
Как под ногою травы
Стеклярусом весёлым зазвонят
И на воде начнутся ледоставы,
Ты обрати на них потухший взгляд.
Любовь была.
Она не отгорела.
Она всё тлеет.
Уголёк так жжёт.
Но только ветру нету больше дела
Взметнуть пожар до облачных высот.

* * *

Чем ближе к концу,
Тем пронзительней жизнь...
Ценить научилась капризы погоды,
Как будто художник,
Взяв краски и кисть,
Застыл пред мольбертом,
Пугаясь свободы,

Пугаясь того,
Что не сможет никак
Другим передать красоту пейзажа.
И только сжимает кисть в крепкий кулак.
И спутались мысли,
Как тонкая пряжа.
И капает краска, как алая кровь.
Край неба купается в красном закате.
И ветренный вечер разбудит любовь,
Что в жилах забродит,
Как сок в винограде,
Что долго хранили в чердачном тепле,
Где солнце ласкало и грело сталь крыши.
Как краток,
Пронзителен век на земле!
А дальше, как птица, –
За облако, выше.

Александр ЛУШИН

Мальчишка с улицы Короленко

Ничего, что разбита коленка,
Я не плачу, – ведь мне десять лет,
И по улице по Короленко
Мчу свой старенький велосипед.
Из домов тянет сладкою пенкой,
За заборами радостный смех, –
Это значит, что на Короленко
Будет скоро варенье у всех.
Я вихрастым крикливым грачонком
По бульжному тракту качу.
– Ну-ка, брысь! Разбегайтесь, девчонки!
Я же взрослый, и я не шучу.
Ехать мне хорошо и приятно,
И коленка почти не болит.

Каждый дом на старинной Канатной
Свой имеет характер и вид.
Пусть потом похромаю немножко,
Я ж бедовый в свои десять лет.
Мне из каждого машут окошка,
Я же важно киваю в ответ.
Эй, смотрите, Сережка и Ленка,
Как я лихо педали кручу!
И по улице по Короленко
До Студеной стрелою домчу!
Не страшны мне ухабы и ямы,
Ни размытый дождями кювет.
Знают все: я мальчишка упрямый
И рисковый, ведь мне десять лет!

Мальчишка с Полевой

Полевая, дорогая,
Нет мне улицы милей,
Полевая, как родная,
Вечно в памяти моей.
Мне ночами детство снится,
Просыпаюсь сам не свой,
Голубь в воздухе кружится
Над мальчишкой с Полевой.
Полевая, дорогая,
Бескорыстный мир друзей,
Бесконечно ты, родная
В доброй памяти моей.
Я от городского гула
В тишину твоих дворов
Через Тихий переулок
Окунуться вновь готов.
И пока живу на свете,
Мне становится теплей,
Ведь как лучик счастья светит
Имя улицы моей.
Полевая, дорогая,
Нет давно твоих дворов,

Но как в детстве, ты, родная,
Даришь свой душевный кров.
Мне не зря ночами снится
Двор, задорный, боевой.
Голубь весело кружится
Над мальчишкой с Полевой.
Нет уютной Володарки,
И Ошара уж не та,
И за новенькою аркой
Поселилась суета.
С детством я давно расстался,
И на улице другой...
Но в душе навек остался
Я мальчишкой с Полевой.
Но в душе своей остался
Тем мальчишкой с Полевой!

Любовь АРТЮГИНА

Мендиг, Германия

* * *

Бродит небо в сером ватнике
За колючками ветвей.
Носит стоптанные валенки.
А в кармане – соловей.

Смотрит вниз, как мы тут бесимся,
Одиночеством горя,
И встречаемся на лестнице
В запахе нашатыря;

Будни празднуем и праздники,
В парк ведём гулять собак,
И сощуриваем глазики,
Если что пошло не так.

А в другом кармане, вшитая,
Есть заточка у него,
И чекушка недопитая,
И шаги по мостовой.

* * *

Где ветер был, там листьев нет,
Деревья им ополовинены,
И продолжающийся свет
Не скобяной уже, а – глиняный.

Из неприкаянных пустот
Сочится небо серой массой
И в ноябре перетечёт
Во рты раскрытые под масками,

В автобусы, потом в дома,
В деревни, к горлу подступившие,
Где гусем-лебедем зима
Роняет пёрышки над крышами

И кличет, кличет. Клюв раскрыт,
И видно, как впадает струями
В него дверной надсадный крик
И дым над избами сутулыми.

Геннадий ЁМКИН

Саров

Нижегородские соловьи

Светлане Леонтьевой

1

Славны курские и прочие
Соловьиные места.

А у нас в Нижегородчине,
О ста разных голосах,
По оврагам да терновникам,
За любою городьбой,
По сиреням да шиповникам,
Княжич свой!

Куст калины чем не вотчина?
Вот и гнёздышко совьют.
И во всю Нижегородчину
Запоют!

Взять, семёновские –
Шалые...
Свистнет – лезвиё ведёт!
О таких ли и вздыхала ты
Ночи напролёт,
Дорогая Серафима?
Он, манил тебя не золотом,
А стелил пиджак на мяту.
Помнишь, помнишь, Серафима?
Всё над омутом, над омутом,
Где, с глубокой старины,
Все с усами поларшинными
Жили в омуте сомята.
И, наверное, сомы...

Хулиганисты и в Павлове-
На-Оке,
Свистнут – звёзды плавают
По реке.
И плывут на встречу с Волгою,
Не зови...
И свистят, им вслед и цокают
Соловьи.

Есть и почта соловьиная.
И не диво, что случается –
Запоют в Липелее ли, в Линде ли,
В Люнде, в Лидовке отзывается –

Завздыхают сирени и ломятся
Изо всех палисадов прочь.
И у каждой девчонки бессонница
Во всю ночь.

Хохлома играет солнышком –
Чернь по золоту! – закат.
Запоют, один про гнёздышко,
А другой про соловьят:
– Ах, родная, много ль надо нам!?
Каждый, ладушку под крыло...
Распевают – стелют бархатом,
Осыпают серебром.
Серебром тотчас и бархатом
Отзовётся тут и там:
– Ах, родные! Много ль надо нам
Соловьям?
И коленца с новой силою
Сыплют, дюжины подряд!
– Мы таких нарóдим, милая,
Соловьят!

В маломальской самой вотчине,
Распевают от души.
Соловьи Нижегородчины –
Хороши!

2

Из заглавных ударил.
Страстно. Неуёмно.
Да с переливами.
И одной соловьихе ясно:
– Вот-он, ми-лый мой!
Ми-лый, ми-лый!

Вот жиган отжигает лихо:
– Уведу-у! Уведу-у! Уведу-у!
И красавица соловьиха:

– Ах, подру-женьки!
Пропа-ду-у...

В бузине заполошный, взъерошенный
Чешет клювиком грудь.
И подруга его огорошена:
– Где-ты, где-ты?
– Там-там-там-та-ам!
Тю-тю-тю-тю-у!
Фиють! Фиють!
Фьють!

Годовальный юнец старается,
Ломкий пробует голосок.
От кручёной воды отражается
– Цок-цок-цок-цок!

И поют соловьи соловушкам,
Каждый с гнёздышка своего.
Обмирают от счастья хорошие,
Слыша, каждая своего.

Соловьиные ночи не длинные.
Милый, милую выбирай!
Будет счастье всем соловьиное!
Месяц май.

3

В краснотале или в смородине,
Подмастерье или солист,
Запоют соловьи на Родине –
Сердце вдрызг!

За деревней ли самой маленькой,
В три жилых-то всего двора,
В Нижнем грянут ли по окраинам,
И до самого
До утра.

Всякий куст соловейке отчина.
Песня каждая – самая-самая!
Вот и есть моя Нижегородчина –
Соловьиное царство заглавное!

Чем не Родина куст смородины
Соловьихе и соловью?
Куст калиновый чем не Родина?
Сядут рядышком и поют...

Пойте, птахи мои невеликие!
Пойте, милые! Пойте, славные!
Ваше пение, даже тихое,
Стало музыкой мне державною.

По окраинам ли рабочим,
По просёлкам лесным твоим,
Край любимый, Нижегородчина!
Соловьи...

Александр ФИГАРЕВ**АВТОР С КРЫЛЬЯМИ**

Поэту, прозаику и лингвисту-переводчику
Владимиру Лебедеву – 85

Этого человека с гордой статью и прической, как белое лебединое крыло, знают не только на Нижегородчине. В детстве и юности прозвали Володю Лебедева – Лебедем. И не только за фамилию, но и за душевные качества: добрый нрав, готовность помочь, за верность идеалам.

Владимир Лебедев – лауреат премии «Литературной газеты» (жанр афористики), победитель и дипломант литературных конкурсов, «Поэт года-2019» по линии Российского Союза профессиональных литераторов. Его стихи и прозаические миниатюры печатались во многих литературных изданиях России, начиная от журнала «Нижний Новгород» и альманаха «Земляки» до зарубежных журналов Европы, Азии и Австралии.

В своем творчестве поэт и доцент, кандидат филологических наук Владимир Борисович Лебедев выступает, с одной стороны, как тонкий лирик, глубоко чувствующий и понимающий мир, который его окружает, а с другой – как личность, принимающая близко к сердцу то, что происходит на планете. В его книгах, написанных в новом веке («Земные облака», «Язык и лира», «С любовью к

языкам») – теплые лирические строки о красоте природы, о своей малой родине, которую он называет «пристань детства», о жизни на земле и сельских буднях, о родном доме, возведенном еще до октябрьских событий его дедом. С особым чувством он пишет об однокашниках, учителях, давних знакомых – простых людях села, добрых честных тружениках, о временах самой беспощадной войны ушедшего века, что принесла беду в каждую семью.

В своей последней книге «Строкой врываясь в новый век» поэт размышляет о месте человека в современной жизни и каким он должен быть: «С чьей радостью венчаюсь, С кем земной вращаю шар?» – спрашивает автор. Человек – частица огромного общества, в котором он легко может потеряться. «Не растворишься в пучине жизни, Не растворишься, Не расколешься пустым орехом, Не расколешься», – призывает Владимир Лебедев в одном из лучших своих стихотворений. Автор страстно желает, чтобы он сохранил всё лучшее, всё самое сокровенное из того, что он имеет: «Не продавай на рынке черном свою мечту». Он верит, что добро победит зло:

Надежду зажигая, как звезду,
Я одолею распри и напасти
И, выбившись из сил, не упаду,
Нет, приземлюсь на остров счастья.

Поэт очень уважает человека труда, который, начиная день с рассвета, «множит, крутясь, века». Исходя из того, что события в жизни происходят не сами по себе, поэт подчеркивает необходимость тесной связи времен, которые не должны противостоять друг другу.

Проникновенно написан раздел «Пристань детства». Он содержит стихи о доме деда, родных стенах, которые хранят святость прошедших десятилетий, о русской печке, что держит дом на плечах, являя собой «избы российской жар и свет», о своей бабушке, что прожила почти сто лет и родила 13 детей («От дочки к сыну по стене ее круизы»), о сельской гармошке, о любимой реке, где всё происходит по щучьему веленью, о детском пляже, где

Ветла, вздыхая, внемлет всплеску вод
И, не решаясь перейти их вброд,
Лишь провожает с легкой грустью волны.

Трогают душу воспоминания о старых ходиках, которые устали и «никуда не спешат», но хорошо помнят, что когда-то хозяйка-бабушка им, «как брови, стрелки подвела».

Размышляя о поэтическом творчестве, автор говорит: «Я б хотел стихию прозы Обратить в стихи надежды».

Владимир Лебедев – известный в нашей стране автор четверостиший – афористичных стихов, которые, наряду с собственно афоризмами (а их он пишет многие годы), стали его визитной карточкой. В них он превыше всего ценит глубокую мысль. Вот избранные ударные концовки его четверостиший:

*Жизнь – занятный сериал, но какой убойной силы!
Лучше воз везти, как лошадь, чем ишачить, как осел.
Там, где сплошь головоотяпство, всадники без головы.
Мой совет: чтоб не упасть, нужно вовремя
споткнуться.*

*Коль не хочешь быть холопом, отбояривайся, друг.
И вот ловкач за хвост схватил жар-птицу, а прохиндей
ее уж потрошит.*

*Но если ты идешь на поводу, неужто ты и есть друг
человека?*

*Хочу быть видным, как жираф, но вот боюсь: дадут
по шее.*

*Где совесть спит, храпя во сне, там здравый смысл не
ночевал.*

*Хороша любовь-морковь, а тянуть-то репку!
И вот нехватка времени читать становится привыч-
кой быть невеждой.*

Талант его многогранен. Долгое время он без отрыва от профессиональной деятельности периодически писал как внештатный корреспондент в областные и городские (а до этого в армейские) газеты. Что касается литературного ампула, то здесь активная фаза у автора насчитывает

десятилетия. Прозаические миниатюры, рассказы (включая юмористические), монологи, басни в прозе, афоризмы – вот приблизительный перечень прозаических жанров, которые вышли из-под пера автора.

Он коренной нижегородец. Родился в Сергаче, но детство и юность прошли в селе Бутурлино, что на середине пути между Нижним Новгородом и пушкинским Болдином. Детство Владимира Лебедева пришлось на трудную пору военного лихолетья и тяжких послевоенных лишений. В семье рос без отца – как большинство отцов его сверстников, тот погиб на фронте. А в июне 44-го, заболев малярией, умерла шестилетняя сестренка.

Тяжело переживала те беспощадные времена и школа: не хватало, а зачастую и вовсе не было учебников, писали на полях газеты, обрывках бумаги. Холодной зимой сидели в классе в пальто. Но это не мешало Володе учиться на отлично. С детства он любил гуманитарные науки, и в первую очередь языки: родной и иностранный, хотя очень уважал и математику, особенно алгебру, с вдохновением решая любимые задачки. Увлекала его и главная интеллектуальная игра всех возрастов и поколений – шахматы.

Конец войны. Он вспоминает, как 2 мая 1945 года завуч Фёдор Петрович Пудеев, построив всех на линейку, во дворе школы торжественно объявил им, первоклашкам, что Красная армия взяла Берлин. До долгожданного Дня Победы оставалась всего неделя.

С самого начала Владимир чувствовал особое влечение к языкам и литературе. Очень любил книгу, живое слово. С большой охотой бегал в библиотеку, что тогда находилась на другом конце села. Нет, он не глотал книги – он впитывал в себя то, что было написано пером и сердцем, увлеченно переносился в другой, еще не познанный мир. Ценил и прозу, и поэзию. На всю жизнь запомнились ему волнующие стихи М. Исаковского о родной природе:

Сыплет спелые орехи
Мне орешник в кузовок,
Лес рябиновые веши
Расставляет у дорог.

Когда в школе проходили «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, учительница (это была Римма Сергеевна Новлянцева) поручала ему читать перед классом главы из романа. Был лучшим на уроках немецкого (в то время – единственный иностранный в сельской школе). Знание иностранного помогало ему, будущему филологу-лингвисту, лучше понять слово, заглянуть внутрь его, выйти за пределы привычных представлений. И где-то в 9-м или 10-м классе он начал переводить любимые песни на иностранный.

Окончив школу, несмотря на высокий конкурс, успешно поступил в Горьковский педагогический институт иностранных языков.

С 1959 года Владимир Лебедев начал работать в вузе, который окончил с отличием, но через два года был призван в ряды Советской армии на срочную службу. И, что удивительно, находил там время, чтобы расширять свой лингвистический кругозор: за неполный второй год службы овладел основами четырех языков! А потом снова вошел как преподаватель в студенческую аудиторию.

Защитил кандидатскую диссертацию, пять лет заведовал кафедрой. Будучи доцентом, писал и публиковал книги для вузов и средних школ в центральных издательствах, где его за нестандартный подход к творчеству называли «автор с крыльями». Среди этих книг – описание всех волжских городов в виде путешествия по великой русской реке, учебные пособия по немецкой разговорной речи, страноведческая книга-учебник по Германии, юмористические истории для школьников (всё – на немецком языке).

Как филолог-лингвист В.Б. Лебедев уверен, что настоящая литература объединяет народы. Он верен Добру, красоте Слова, поэтому переводит лучшие стихи нижегородских поэтов на немецкий язык. А это куда труднее, чем с иностранного на родной! Почему же его так тянет переводить? Потому что, считает он, за рубежом должны лучше знать и понимать нашу литературу, в том числе стихи земляков. Перевод, как Владимир Борисович пишет в своих трудах, – это живое общение двух языков, один из которых протягивает руку другому, чтобы донести новому

читателю самые сокровенные мысли из языка оригинала. Надо сказать, он давно мечтал объединить два своих самых любимых занятия, поэзию и лингвистику – через такие переводы.

Нижнему Новгороду Владимир Лебедев посвятил свою книгу очерков по истории, культуре и архитектуре на немецком языке. И тем самым еще шире раздвинул стены читательской аудитории. А в 2021-м, юбилейном году в спецвыпуске альманаха «Российский литератор» было напечатано 10 стихотворений Владимира Лебедева, которые посвящены городу и его людям, оставившим заметный след в истории Нижегородчины: А.М. Горькому, Н.А. Добролюбову, поэтам Ю. Адрианову, Б. Корнилову, А. Люкину, великому певцу Ф. Шаляпину и другим.

Как автор определяет понятие «родина»? Для него это место, где он рос, делал первые шаги по жизни, учился видеть мир: «Родина – детства резные врата», и «Родина – тропка, ведущая вдаль». Он гордится земляками-бутурлинцами, оставившими заметный след в истории района, и посвящает им многие свои строки. Таковы стихотворные произведения об академике И.В. Петрянове-Соколове, о маршале артиллерии В.И. Казакове, о заслуженном художнике РФ скульпторе В.И. Пурихове, талантливом и скромном человеке, с которым поэт связан узами дружбы и общим творческим подходом к жизни. Общался он, кстати, и с другим своим славным земляком скульптором Павлом Ивановичем Гусевым, бывал у него в мастерской. Весьма уважительно Владимир Борисович относился и к своему коллеге, доктору философских и доктору филологических наук, профессору М.И. Михайлову из Сурадеева, что в 20 км от Бутурлина, глубоко преданному своей малой родине, около пяти лет назад безвременно ушедшему из жизни. А учился Владимир Лебедев вместе с будущим заслуженным артистом РФ Эрнстом Вербиным. Один или два года они сидели за одной партой, увлекались гуманитарными науками и – футболом, как-то даже играли вместе в составе районной команды. Оба писали стихи...

Автор очень благодарен своей родной школе и учителям – труженикам нивы народного просвещения, которые

«знают, что и как посеять, чтоб зрел на ниве колосок». С душевным трепетом пишет он о родной природе: о «лугах с душистым разнотравьем – там, где песня начинает взлет», о «пленительном цветке» – анютиных глазках, что, как глаза любимой девушки, смотрят на него: «Быть может, счастье это?» И в другом стихотворении – как открытие: «Лучше, чем шуршанье “Мерседеса”, скрип педалей на лесной тропе». Сразу несколько стихов Владимир Лебедев посвящает родной реке, на которой прошло его детство: «Стучит сердечко – не знаю краше, чем чудо-речка, родная наша». И – как глубокое признание:

Я пришел на Пьяну,
С ней хочу побыть,
В этой жизни странной
Трудно к счастью плыть.

Доверяя читателю всё то, что дорого ему самому, он говорит о «кипучей флоре вишневых садов», о «параде окунчиков в излучине Пьяны», о речном закате, подобном «песне прощанья», о вечерней росе, умывающей жаркий денек, о птичьем гнездышке, что укрыто в траве. Здесь, в родных местах, поэт «жадно вбирает мудрый свет покоя».

Немало строчек – о временах года: о белоснежной зимухе-зиме, это она, «белый коврик расстелив у дома, свой узор выводит на окне». Поэт равнодушен к разгулявшейся метели, которая «мчится – косы на плетень». «Да куда же ты помчалась? – восклицает автор. – Обними меня, метель!» А весна для него – это веселая трудяга и одновременно виртуоз-музыкант: «зимы оковы сокрушая, она играет туш с листа». Он рад весеннему лучику, что «рвется к нему сквозь ненастье», и восхищен золотой осенью, у которой «шедевров целый Эрмитаж». А каким романтичным было долгожданное свидание с родным лесом! И в конце автор, он же лирический герой, просит прощения у матери за позднее возвращение: «Ты прости уж... Припозднился, мама: роща так соскучилась по мне». Вот так поэт и шагает по жизни, живя одним дыханием с природой. «Что может быть восторженной природы, которая поет в душе твоей?»

Немало у него и проникновенных слов о человеческой любви: «Когда б не ты, певучая волна, мне никогда бы не узнать прилива», о ностальгии по первому большому чувству: «Подойди ко мне, подойди, рану старую разбереди...». Любовь для него – это «птица, что бьется в груди».

Выше всего поэт ставит великое предназначение человека земли, умом и сердцем понимает крестьянскую душу. О человеке-труженике он говорит такими словами:

К труду насущному радея,
В делах земных за годом год
Иван да Марья – два Антея,
Что держат мирозданья свод.

Автор считает, что селу предназначена исключительно высокая миссия: «Тебе, деревня-скромница, Историю писать». И страстно желает, чтобы грядущее поколение переняло всё лучшее, что свойственно людям земли. Чтобы что-то создать, нужно любить труд. «Ленивый не будет великим» – это звучит как афоризм.

Немало строк автор посвящает такой глобальной теме, как «жизнь».

Что сказать про нашу жизнь:
Вьюги, встречный ветер,
Поле сорняков во ржи,
Радости букетик.

Разве это не так?

Вехи памяти

Михаил ЧИЖОВ

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК

Исполнилось 130 лет со дня рождения
Константина Паустовского
Биографический этюд

Я ушёл от экзотики, но я не ушёл от романтики и никогда от неё не уйду – от очистительного её огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от постоянного её непокоя.

Паустовский о своём творчестве

1

«Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересно, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадёшь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты – уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустыки». Так писал Константин Паустовский о своей любви к путешествиям, которые он начинал с изучения карты и известной на тот момент литературы о крае, куда он собрался.

Ещё со школьной скамьи я знал этот совет знаменитого писателя и изучил карту Коми АССР, прежде чем отправиться

туда летом 1968 года в составе студенческого отряда политехников на строительство газопровода «Сияние Севера». То была вторая очередь трубопровода из Вуктыльского газоконденсатного месторождения, открытого в 1964 году. Я нашёл на карте, где находится посёлок Вуктыл, прикинул маршрут газопровода до Ухты и немного пофантазировал о том, где мы будем работать. Тогда всё делалось быстро: через четыре года после открытия газ дошёл до Ухты, а годом спустя до Череповца. По причине кадрового «голода» стройку в марте 1968 года объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

И с чего это, спросит читатель, автора понесло в воспоминания о своей скромной жизни простого труженика? Ведь таких, как он, десятки миллионов. Надо говорить о гениальном писателе Константине Паустовском, а он о себе.

Во-первых, жизнь автора «простая и значительная» так же, как и у Паустовского, отдана во славу Отечества вместе с большинством народа. Во-вторых, путь своей жизни я сверял с судьбой любимого мной Писателя, сказавшего: «Моя страна, мой народ и создание им нового, подлинно социалистического общества – вот то высшее, чему я служил, служу и буду служить каждым написанным словом». По словам Маяковского, я «делал жизнь с товарища» Паустовского. Мои воспоминания лишь фон, задник на сцене, на которой разворачивается явление «Влияние творчества Паустовского на одного из многомиллионных своих почитателей». Кроме того, Паустовский бесконечно прав, доведя до многих мысль о пользе анализа любого жизненного опыта. «Воспоминания – это не пожелтевшие письма, не старость, не засохшие цветы и реликвии, а живой, трепещущий, полный поэзии мир». Свои воспоминания я буду часто сопровождать выдержками из рассказов, повестей, романов Паустовского.

Задолго до работы в студенческом отряде я уже серьёзно «болел» Паустовским. Эта болезнь началась лет с двенадцати, когда по иронии судьбы или по счастью занятия в школе приходились в основном на вторую смену. По утрам на радио (оно было единственным окном в большой

мир) в десять часов шла передача «Радио детям». Так по памяти. Можно, конечно, в интернете найти точное название, но я не буду этого делать. Пусть будет так, как в памяти, тем более такой замечательной, как детская. В большом бревенчатом доме я был один и словно затерян во времени и пространстве, и оттого заострённые одиночеством чувства были особо настроены на восприятие прекрасного.

Позже я нашёл у Паустовского такую подтверждающую моё состояние мысль: «Впереди – пустынный сентябрьский день. Впереди – затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье». Вероятно, и для меня одиночество казалось счастьем, которого я не мог выразить не только словами, но и проявить эмоциями.

Я сидел на стул, над которым висела чёрная тарелка радиовещания, имевшая грубое название «свиное рыло». Тогда-то я услышал рассказ Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Кто-то завораживающим голосом читал: «Стояла осень. Если бы можно было собрать всё золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста». Наш дом в ту пору стоял вблизи осинников Щелоковского хутора, и я хорошо знал, как дрожат листья осины. А то, что они дрожат от птичьего свиста, я ещё не ведал, хотя догадался, что это намеренное преувеличение. Такое, что западает в душу навсегда.

Прослушав рассказ, я ощутил смутное чувство чего-то непонятного, тревожащего сердце. Трудно описать, что испытывают люди, очарованные силой подлинного искусства, то ли от чтения стихов или прекрасной прозы, то ли от щемящей музыки, то ли от лицезрения экзотических красот природы и архитектуры. В этом очаровании была некая тайна, ставшая вдруг понятной и мне. До

меня дошло, возможно, с трудом, не сразу, что Паустовский писал свой пронзительный романтический рассказ в том числе и для меня, 12-летнего пацана из крестьянской семьи.

Так произошло моё первое «знакомство» с Паустовским, ставшим близким и любимым учителем. В пятом классе я записался в большую детскую библиотеку: школьная не давала мне того, что хотелось бы знать. Я спросил Паустовского, и мне дали небольшую книжечку с яркой обложкой, а на ней красовались жёлто-зелёные пальмы. И я будто побывал на Колхидской низменности в долине реки Риони, на работах по осушению болот, покрывавших эту долину, чтобы выращивать здесь чайный куст, лимоны, апельсины, мандарины. Из этой книги я узнал, что чайный лист более душист и полезен на кустах, растущих на склонах гор, а не в низине. Ценность этого знания была не в этом частном случае, а в том, что пробудила во мне и, значит, и в других читателях, любовь к процессу познания, или короче, жажду знаний. Думается, что Паустовский, побывавший в Колхиде в 1933 году, сам обогатился этими знаниями и спешил поделиться ими с читателями. И жажду знаний и умений надо рассматривать как важнейшую часть жизни, – как бы говорит он. «Самое ощущение нашей жизни как чего-то единственного и удивительного растворяет в себе разочарования, потери и проблески неполного счастья. Может быть, задачей писателей, поэтов и художников и является прославление жизни как самого прекрасного и разумного, что существует под солнцем».

А до «Колхиды» были «Блистающие облака», «Кара-Бугаз», также прославляющие жизнь. Повести о сильных, любознательных людях: путешественниках, учёных, инженерах, строителях новой, социалистической реальности. Она воплощалась в создании заводов, освоении и преобразовании земель и, главное, человека и его постоянном росте над самим собой.

Почти каждый год из-под пера Паустовского выходят буквально одна за другой повести. Следующей была «Чёрное море». Её я прочитал во втором томе собрания

сочинений 1957 года. На всю жизнь запомнилась эта тёмно-коричневая толстая книга с подписью автора поверху «К. Паустовский», а ниже две косые параллельные полосы: верхняя – красная, нижняя – чёрная. Первой шла повесть «Чёрное море», последней «Золотая роза».

Так уж сложилось, что в школу все одиннадцать лет приходилось мне ездить на трамваях. Возвращаюсь я в гремящем железными ручками трамвае, звонко отсчитывающем стыки стальных рельс, холодном, продуваемом ветрами (тогда двери автоматически не закрывались), но не замечаю всех этих неудобств. Вспоминаются прочитанные накануне строки. Может быть, такие: «Мы живём в громадном, плохо разгаданном мире и топчем камни, цветы и травы, не подозревая о совершенстве их строения, не подозревая, что знакомство с ними обогатило бы наш опыт во всех областях жизни и какой-нибудь скромный одуванчик мог бы открыть дорогу к глубокому физическому оздоровлению человечества».

Серьёзная, глубокая, без сюсюканья, проза Паустовского формировала зрелое и деятельное мировоззрение своих читателей. И, конечно, меня, благоговевшего перед его прозой, не похожей ни на одну, известную мне в ту пору. Да и сейчас, стариком, я не знаю лучше её, хотя и прочитал тысячи книг. До сих пор я с волнением беру книги Паустовского и внимательно, будто повторяя урок, просматриваю ставшие родными глубокие по смыслу строки. Заметил, что даже в наугад открытой его книге взгляд тут же находит то, что даёт ответы на тревожащие в данный момент вопросы. «...Дурной язык – следствие невежества, потери чувства родной страны, отсутствие вкуса к жизни. Поэтому борьба за язык должна начаться со всеобщей борьбы за подлинное повышение культуры, за власть разума, за истинное разностороннее образование». И, огорчаясь, думаю: «Ну какую разносторонность может дать Болонская система в вузах и ЕГЭ в средних школах?»

В жгучем от холода трамвае подростку становится теплее от сладкого ожидания любимых, ясных строк, легко ложащихся на душу и оседающих в памяти навсегда. Дро-

жа от нетерпения, я бежал от трамвайной остановки в свой бревенчатый дом на окраине города по раскисшей от дождей тропинке. Дощатый забор воинской части, мимо которого проходил мой путь, почернел от сырости, от него, казалось, несло зловещей угрозой. Низкие, рваные осенние тучи цеплялись за высокие тополя за забором. Быстро темнело. Меня это ни капельки не волновало. Становился весьма понятен смысл слов завуча школы, однорукого учителя русского языка и литературы, инвалида Великой Отечественной войны. «Занятия в школе приобретают цель, когда вас дома ждёт что-то приятное. Пусть это будет простой конфеткой. Лучше, конечно, любимой книгой». И смотрел на нас долгим пронзительным взглядом фронтовика, побывавшего в окружении.

«Только рядом с людьми приобретает смысл и значение всё, что написано на дальнейших страницах», – резюмирует Паустовский, предваряя повесть «Чёрное море». Что ж, социальный смысл человеческой жизни, тем более в коллективной её ипостаси, общеизвестен. И Паустовский всегда рядом с людьми: и в путешествиях по СССР и миру, и в гуще общественных событий. Даже на смертном одре, за месяц до кончины, он звонит из больницы председателю правительства СССР Алексею Косыгину и просит оградить режиссера Театра на Таганке Юрия Любимова от нападков либеральных, псевдолитературных деятелей...

Судьба свела меня, подростка, со студентом-медиком, тот был старше меня на шесть лет. Шесть лет в отрочестве – это другой мир, другие интересы, другой кругозор. Родители сдавали ему комнату. У медика была редкая фамилия из трёх букв и заканчивалась на букву, с которой известное слово пишется на заборах.

Он был боевым парнем: кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе, начитанным, наблюдательным, отчасти циничным (кося от срочной службы в армии, он работал на шахтах Кемеровской области), но хорошо воспитан и чужд зазнайства. Лучшего авторитета для мальчишки трудно сыскать. Его похвала многое для меня значила. Если сказать прямо, то он добавлял в развитие моего мировоззрения по Паустовскому, житейскую, живительную

струю. Как-то студент застал меня за чтением Паустовского и одобрил правильность выбора. Ещё он поинтересовался моими пристрастиями. В пятом ещё классе я завёл общую тетрадь (48 листов) для записи прочитанных книг. Таблица содержала всего четыре графы: порядковый номер, ФИО автора, название книги и примечания. Они были просты и лапидарны: «фигня», «хор.» и «ура!». Может, мне показалось, но после просмотра медиком этих записей разница в годах между нами как бы исчезла. Ему нравилось на кого-то влиять, кого-то воспитывать, и я, как кусок глины для скульптора, представлялся ему подходящим материалом. Студент иногда устраивал мне проверки на правильность усвоения «уроков», преподанных им. В 1962 году на экраны вышел фильм «Девять дней одного года», и он посоветовал мне посмотреть его. После просмотра он спросил: «Ну как?» В моём ответе «Здорово!» прозвучало восхищение, и студент, внимательно посмотрев мне в глаза, ответил: «Молодец! А вот мне вчера довелось услышать разговор профессора с симпатичной медсестрой, дежурившей на посту. Знаешь, иногда мастиные светила науки любят снизойти до простого народа. Обсуждали этот фильм. Медсестра честно призналась, что фильм никудышный. Профессор огорченно хмыкнул и, разочарованный, пошёл прочь от поста». Эти примеры формировали у меня взрослый интерес к жизни.

Нечто подобное отмечал Паустовский в повести «Далёкие годы» из цикла «Повесть о жизни». «Я начал замечать, что чем непригляднее выглядела действительность, тем сильнее я чувствовал всё хорошее, что было в ней скрыто. Я догадывался, что в жизни хорошее и плохое лежат рядом. Часто хорошее просвечивает через толщу лжи, нищеты и страданий. Так иногда в конце ненастного дня серые тучи вдруг насквозь просветятся огнём заходящего солнца. Я старался находить черты хорошего всюду».

Романтика странствий, столь красочно и со вкусом обрисованная Паустовским, звала на край света. «Побережье Чёрного моря дало мне много знаний о людях, революции, кораблевождении и жизни глубин, ветрах и древних культурах. Все эти знания были овеваны запахом морской

соли и воздухом нашей молодой страны». И всеми этими знаниями Паустовский щедро делится с читателями, побуждая их к путешествиям, к поискам чего-то ранее неизвестного да и самого себя тоже. И всё это, облачённое в романтические одежды, тревожит душу. Ну как удержаться от поездки к Чёрному морю, когда прочитаешь такую сочную романтическую прозу. Как же прекрасны строки Паустовского и сотни тонких его наблюдений, оживляющих неживые предметы, как в сладкой сказке.

Вадим, сын Константина Георгиевича Паустовского от первого брака, вспоминал об отце. «По своему подлинному складу, скорее внутреннему, чем внешнему отец, подобно, например, Горькому, был и оставался бродягой». Естественно, и мне в 16 лет захотелось побродяжничать, ощутить на своих губах вкус солёной морской воды и чтобы свежий бриз нещадно трепал пышные в ту пору кудри. Вперёд! Только вперёд к новым знаниям, встречам, впечатлениям! После девятого класса я совершил своё первое путешествие по стране. Это было, разумеется, не горьковское пешее бродяжничество по Руси. Времена пришли другие, но... Сначала я погостил у старшей сестры на Украине, потом самолётом перебрался в Севастополь, к дядьке, бывшему морскому офицеру, вернулся в Москву поездом, пожил в столице, бродяжничая по музеям и историческим местам. Посетил брата, проходившего срочную службу в Переславле-Залесском, на автобусе добрался до Ярославля к зятю, начальнику порта, он посадил меня на алексеевскую «Ракету», быстро домчавшую меня к родным берегам. Вот такая малая «кругосветка», навеянная сочной прозой Паустовского, излучающей свет странствий.

Перед поездкой к морю я читал: «Плавучий бакен-ревун кричит за Константиновском фортом. Его мотают буруны и хлещет ветер. Когда он тяжело подымается над волной, мокрый, разъярённый, он видит тонущие в беспокойной воде огни Севастополя. Тогда он мычит, как человек с завязанным ртом». В июле, когда я был в Крыму, штормов на Чёрном море нет, но крымскую жару запомнил навсегда. Солнечный зной раскрашивал тихую гладь севастопольской Северной бухты в разные оттенки

синего, голубого, лазурного, зелёного. Над Севастополем висела жара. Паустовский писал о ней так: «Кажется, что кто-то невидимый осторожно налил её во все севастопольские улицы и дворы до уровня черепичных крыш. Под слоем этой тяжёлой жары требовательно звенят в своих подземельях цикады».

Конечно, романтичному юнцу, коим был я в ту пору, хотелось увидеть всё то, о чём так сочно рассказывал Паустовский. Многого удалось. Но в одном я уверен, общение с двоюродным братом, ровесником, позволило мне узнать то, о чём не догадывался даже Паустовский. Под памятником погибших кораблей, стоящему на известняковой скале, прибой за долгие годы пробил подводную сквозную, но очень узкую штольню. В неё мы ныряли с одной стороны скалы, а выныривали с другой. Гаврики (так здесь звали ватажных мальчишек) предупредили меня, чтобы я не болтал об этой дыре. «Иначе, – говорили они, – её замуруют». Знать то, чего не знают взрослые, было особым мальчишеским шиком. Мы загорали в Хрустальной бухте, запросто именуемой местными Хрусталкой. Совсем рядом на другом берегу узкого заливычка величественно возвышались сказочно прекрасные колонны Херсонеса. Сидя на огромных валунах, мы играли в подкидного дурака.

Об этих больших камнях и вообще об этом месте Паустовский писал; «Верхний слой был полон гигантских камней от обвалившихся стен Херсонеса и новых могил – в прошлом веке (XIX. – М. Ч.) в Херсонесе было устроено карантинное кладбище. Второй слой принадлежал византийской эпохе. Здесь нашли много монет Византии. Ниже лежал третий слой, где было много остатков римских времён. И, наконец, в самом низу, на материковой скале, лежал слой эллинских вещей, главным образом черепков посуды, покрытых тусклым чёрным лаком».

Довелось мне съездить с дядей на ночную рыбалку, в Голубую бухту, обогнуть с юга Крымский полуостров на «финляндчике», посетить Сапун-гору, побродить по узким, греческим (так я их называл) улочкам Балаклавы, вспоминая, что писал о ней Паустовский. «Весь день мы бродили по этому городу красных скал, кошек и стари-

ков, беседующих около вытасненных на берег, подпертых известковыми глыбами шхун. Мы ходили по сетям, разостланным во всю ширину набережной, как по серым коврам. <...> В нишах домов вместо статуй стояли сухие олеандры и мётлы из полыни. Тусклые огни светили из окон на воду, черневшую рядом с порогами домов».

Кажется, время в Балаклаве остановилось и мало что изменилось с середины тридцатых годов, когда здесь был мой любимый писатель. Но вот в Голубой бухте изменения были значительны. Я часами плавал в маске и разглядывал дно сквозь прозрачную голубовато-зелёную толщу воды. Боже мой, чего там только не было. Сверкающие белозубой черепа лошадей (людских я не видел), остовы грузовых машин, телег, пушечные стволы и лафеты; гильзы и пули устилали дно окисным ярко-зелёным ковром. Здесь в мае 1944-го освобождающие Крым советские войска с 10–15-метровых обрывов сбросили в лазурную воду ненавистные немецко-фашистские орды. За 19 лет восстановления хозяйства Крыма руки ещё не дошли до очистки дна Чёрного моря.

«Всё смешалось в здешней каменистой почве – и черепа гуннов, и римские надгробья, и французские ядра, и кости расстрелянных матросов с “Потёмкина”, и заржавленные врангелевские штыки». С сороковых годов XX века в ней добавились мрачные свидетельства Второй мировой войны.

Студент-медик стал интерном, а я – студентом-политехником. Мы поддерживали связь. В начале 1967 года он дал почитать мне только что вышедший двухтомник «Повести о жизни» и рассказал, как Паустовского срезали на Нобелевской премии по литературе. Эту историю привёз из Москвы его тесть, директор крупного горьковского завода, истовый любитель русской словесности. Вот что он мне поведал. В Швеции у Паустовского объявился неутомимый переводчик его прозы, бесконечно влюблённый в неё и автора. Одна за одной выходили книги Паустовского на шведском языке. Своим азартом он заразил и больших людей, и «стариков» Нобелевского комитета. В феврале 1965-го Паустовского выдвинули на соискание самой

почитаемой в мире премии. В октябре этого года он вместе с женой (Т. Евтеева-Арбузова) участвовал в конгрессе писателей в Риме. В литературных кругах Италии не было никаких сомнений, что лауреатом будет Паустовский. К нему записывались журналисты для интервью. Сам же он отвечал скептически: «В прошлом... дали премию Паустернаку, что вызвало скандалы. Второй раз подряд они – по отношению к Союзу – не посмеют дать премию советскому писателю, снова неправоверному». И действительно, «доброжелатели» Паустовского доложили Брежневу о предварительном решении Нобелевского комитета. Тот якобы посоветовал, как надо ответить комитету. Если премируют Паустовского, то СССР откажется от многомиллионного заказа на строительство в Мальмё какого-то очень крупного корабля. Брежнев предложил взамен Шолохова. Как бы там ни было, Паустовский, у которого было уже три инфаркта при удушающей астме, расстроился и слёг в кремлёвскую ЦКБ с ишемией и кратковременной потерей речи. Паустовского ещё два раза номинировали на Нобелевскую премию, но... увы. В политбюро ЦК КПСС его действительно считали «неправоверным» из-за поддержки Солженицына, Бродского, Синявского, за негативные высказывания о советской бюрократии...

Живительная проза Паустовского насыщала и продолжает насыщать меня духовной пищей. Можно задавать себе сотни вопросов и на все найти ответы в его книгах. Он так вкусно рассказывал об Одессе и Северном Причерноморье, что не побывать там я счёл великим грехом. Первый свой полноценный отпуск в 1973 году я с семьёй провёл в Николаеве. Наша туристическая группа совершала вылазки в Очаков, на остров Березань, где был расстрелян лейтенант П.П. Шмидт. О нём Паустовский много рассказывал в повести «Чёрное море». В Одессе я искал историческую пивную «Гамбриниус». Никто из местных ничего толком о ней не знал, и это меня сильно печалило.

На маленьком (1,5×1 км) безжизненном, безводном, но величавом острове Березань хотелось плакать от ощущения прошумевших над ним тысячелетий. Древние греки звали его Борисфеном, скифы – Березантом (то есть вы-

сокий), Пушкин назвал его в «Сказке о царе Салтане...» Буяном. На острове сохранился древнерусский культурный слой: нательные кресты, топоры, стрелы, дротики. Севернее от него можно увидеть руины древнегреческого поселения. В южной, более высокой его части возвышается обелиск Петру Шмидту и матросам, расстрелянным вместе с ним. На острове нет деревьев, только кустарники, заросли вереска да полынь, покрытая шершавой пылью. Я разминал пальцами её серебристые комочки и вдыхал неповторимый запах южных степей, густо смешанный с морским. Хотелось поставить палатку и пожить здесь хотя бы недельку. Когда мы взошли на него через низкий берег в восточной части, я жадно рыскал глазами в наивных поисках какой-либо реликвии. Чёрные копатели и дипломированные археологи давным-давно уже нашли и выгребли всё мало-мальски ценное для кармана и истории. Пришлось ограничиться каким-то черепком, быть может, от глиняной посуды, в которой грабители варили себе пищу...

Вернёмся к началу. Мы, студенты, поехали в Коми АССР «за туманом и за запахом тайги». За всем, что отвечало романтическому настрою, помогающему определить смысл жизни, наполнить её новыми знаниями, умениями, красками впечатлений. «Коротко гремели мосты. Несмотря на быстрый ход поезда, можно было заметить под ними мгновенные отблески звёзд в тёмной – не то болотной, не то речной – воде. Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьянённый собственным быстрым ходом».

На станции с сочным названием Коряжма в пристанционном книжном магазинчике был, вот удивительно, отдел букинистической книги. Сердце замерло от счастья, когда в глаза бросился второй том собрания сочинений Паустовского, тот самый тёмно-коричневый с косыми полосами и размашистой подписью автора. В меру подержанный. Меня не интересовало его физическое состояние, главным был дух манящих строк.

– Только один том? – спросил я, с безумной надеждой глядя в лицо продавца.

– Да, молодой человек, – сухо ответил тот.

Но, заметив неподдельное огорчение, добавил с горечью:

– Спивается от неведомого горя учитель русского языка и литературы. Носит мне и продаёт по одному тому из разных собраний. Выпьет чекушку в буфете и уходит восвояси. Есть два дурака: один продаёт, другой покупает.

Последняя народная мудрость пришлась мне не нраву, но я смолчал. Теперь у меня была конфетка, скрашивающая время и тяжёлый труд, который свалился на нас тяжёлым булыжником. Мы валили золотистые сосны, и при падении каждой из них вздрагивало сердце от жалости к погубленной красоте. Обрубали ветки и брёвнами перекрывали болото. Такая дорога называлась лежнёвкой. По ней проходила мощная укладочная машина, состоящая из нескольких секций. Труба диаметром в 1200 мм уже лежит на нашей лежнёвке. Одна секция приподнимает её, другая полирует её железными щётками, третья покрывает гудроном, четвертая обматывает поливинилхлоридной плёнкой. Последняя опускает её в траншею. Так газопровод «Сияние Севера» шёл вперёд и вперёд. Нас перевозили на другое болото, чтобы перекрыть его новой лежнёвкой, которая после прохода трубоукладочной машины навек, без следа уходила в болото.

В ожидании чтения рабочий день пролетал быстро. Ведь меня ждали любимые строки, которые можно десятки раз читать и перечитывать. Стояли белые ночи с таинственным неярким светом, заполнявшим до отказа часы, на которые в родном городе приходилась беспросветная темь. Я жадно читал до позднего вечера, не обращая внимания на студенческий галдёж в вахтовом домике. «Спать не хотелось. Читать в рассеянном блеске белой ночи было нельзя, так же как нельзя было зажигать свет. Электрический огонь казался крикливым», – Паустовский писал будто не только о себе, но и обо мне. По субботам после трудов праведных мы скидывались на бутылку питьевого спирта, запечатанную красно-коричневым сургучом. Разводили костёр на болотной кочке и горланили: «По тундре, по широкой по дороге, где мчится скорый Воркута – Ле-

нинград, мы бежали с тобою от проклятой погони, чтобы нас не застиг в девять граммов заряд». Рядом, в полукилометре от нашего костра, действительно, по стальным рельсам бежали скорые и не очень скорые поезда Воркута – Ленинград. Мы же чувствовали себя сухопутными флибустьерами, таёжными бродягами.

Воду мы брали из болотных бочаг, круглых, в диаметре чуть шире ведра и, вероятно, очень глубоких. Вкуснейшая и чистейшая вода, испить которую можно лишь лёжа на пушистом мху. «Кое-где по мху... попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца всё время подымается тихая струя и в ней вертятся сухие листики брусники и жёлтые сосновые иглы». Это можно прочесть в «Золотой розе» – повести о жизни и творчестве Паустовского, о его творческом методе и других великих писателей. У этой фразы есть невольное продолжение из очерка «Медные подковки», кратко рассказывающем о Маяковском и Есенине. Вот оно. «Зачерпните в жестяную кружку воды из такого родника, сдуйте к краю красноватые листочки брусники и напейтесь воды, дающей молодость, свежесть, вечное очарование родной стороны...»

В воскресенье 14 июля студенты в посёлке Микунь играли в футбол с местной командой. Накануне пришла весть, что судья заболел, но помериться силами очень хотелось. Мне предложили судить этот матч. Студенты с треском проиграли (1:5), и по причине неравных сил судить было легко. Возвращаясь, кто-то из наших включил транзисторный приёмник.

– Ну-ка, ну-ка, включи громче, – вздрогнуло сердце.

Передавали сообщение о кончине Паустовского. Меня будто пронзил разряд тока, и я встал, словно вкопанный. Идущий сзади толкнул меня:

– Идём, судья!

– Оставь его, – сказал кто-то из нашего вагончика, знавший о моём ежедневном чтении Паустовского.

Стоял яркий солнечный день. Для меня же солнце показалось чёрным пятном. Ноги налились безмерной усталостью

и не держали меня. Я сел на дощатые, нагретые солнцем переходы, и уставился в одну точку. В другой день и час я вслушался бы в детские крики, краткие гудки манежового паровоза, посвист неизвестной птицы, от которого дрожат листья осины. Но не сейчас... Нам кажется, что любимые живут бесконечно. Не умирают. Возможно, это так и есть, тем более если речь идёт о мудром писателе.

Очевидцы рассказывают, что хоронили Паустовского (доктора Пауста, как звали его близкие друзья) всем миром на кладбище городка Тарусы в Калужской области на высоком обрывистом берегу речки Таруски. После похорон ударила невиданной силы гроза. Маргарита Алигер так рассказала об этом.

Паустовского Таруса хоронила,
На руках несла, не уронила,
Криком не кричала, не металась,
Лишь слеза катилась за слезою.
Все ушли, она одна осталась
И тогда ударила грозойю.

2

О писательском мастерстве Паустовского можно говорить бесконечно. Но лучше помолчать и читать, читать, читать его, забывая о времени и о себе, наполняясь к людям и природе любовью, которую доносит нам проза Паустовского. «Нужно научиться видеть. Хорошо может видеть людей и землю только тот, кто их любит. Стёртость и бесцветность прозы часто бывают следствием холодной крови писателя, грозным признаком его омертвления».

Свою любовь к людям и русской природе Паустовский передавал своим ученикам в Литературном институте на семинаре прозы, который он вёл с октября 1938 года в течение десятилетий. Дорогу в писательскую жизнь он вымостил для известнейших советских писателей. Юрий Трифонов, Юрий Бондарев, Владимир Тендряков, Григорий Бакланов, Инна Гофф, Сергей Никитин, Ольга Кожухова и многие другие обязаны Паустовскому своим становлением и мастерству.

«Моя писательская жизнь началась с желания всё знать, всё видеть и путешествовать. И, очевидно, на этом она и закончится».

«Всё знать!» В советские годы был детский киножурнал «Хочу всё знать». Помните пионера, раскалывающего молотком орех знаний? Подобный призыв в полной мере отвечает романтическому складу человека, особенно молодого. И хотя журнал лишь отчасти восстановлен в 2021 году, но долгие тридцать лет, прошедшие с известных событий, выхлостили смысл бескорыстного призыва. В XXI веке, когда главенствуют идеи безудержного чистогана, потребления и комфорта в разных видах и ипостасях, желание быть романтическим бессребреником, ищущим знания, подвергается не только непониманию, но и осмеянию. Тяжело было бы жить в таком мире Паустовскому с его жизненным идеалом: «Романтическая настроенность не позволяет человеку быть лживым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказываться от неё в нашей борьбе за будущее и даже в нашей обыденной трудовой жизни». К этой формуле я добавил бы и такое качество, как корысть.

Если вы хотите облагородить свою душу, читайте Паустовского, проникайтесь нюансами его романтической жизни и творчества. Особенно нужен и незаменим он детям согласно распространённой формуле «все мы родом из детства». И, как говорил Лев Толстой, человека нужно воспитывать в период, когда он лежит поперёк кровати.

Для формирования вкуса Паустовский остро нужен каждому читателю, не говоря уж о писателях. Для них его «Золотая роза» должна быть настольной книгой, по которой «инженеру человеческих душ» надо частенько сверяться, не пишет ли он белиберду, не интересную народу. «Если принимает читатель, – значит, принимает народ, и тогда уже ничего не страшно», – резюмирует доктор Пауст незадолго до смерти. Да, «Повесть о жизни» – это своеобразная, поучительная сага, как стать писателем и Человеком. Ещё и ещё раз прочитаем и почешем затылок при таких вот строках: «Писатель! Он должен так много знать,

что даже страшно подумать. Он должен всё понимать! Он должен работать как вол и не гнаться за славой! Да! Вот! Одно могу вам сказать – идите в хаты, на ярмарки, на фабрики, в ночлежки... Чтобы жизнь пропитала вас, как спирт валерьянку! Чтобы получился настоящий настой. Тогда вы сможете отпускать его людям, как чудодействующий бальзам! Но тоже в известных дозах».

Хороший вкус, разносторонние знания, равнодушие к людям, любовь к природе – всё это читатель находит в Паустовском, щедро одаряющим нас своим забытым ныне романтизмом. Вслушайтесь и представьте себя на таком вот месте. «Под первой же раскидистой сосной хорошо прилечь и отдохнуть от духоты молодой чащи. Лечь на спину, почувствовать сквозь тонкую рубашку прохладную землю и смотреть на небо. И, может быть, даже уснуть, потому что белые, сияющие своими краями облака нагоняют дремоту».

Представьте и вы почувствуете, как вам стало легче на душе.

Владимир ВЕЩУНОВ

ЗАБЫТЫЙ РЫЦАРЬ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

1924 год. Подмосковный санаторий. Настоянный на хвое воздух, врачующий больных туберкулёзом. По заснеженным аллеям прогуливаются Анастасия Ивановна Цветаева и её галантный кавалер, интересный собеседник. В недавнем прошлом известный писатель. Увы, всё забывается, даже такие люди. Забыт и он...

Иван Сергеевич Рукавишников (1877–1930) входил в плеяду поэтов-символистов Серебряного века. Блестящая эпоха в истории русской культуры: 1890-е годы – начало 1920-х. Достойное продолжение пушкинского золотого века. Пора буйного цветения всяких «измов» в литературе и искусстве. Одним из ведущих течений, помимо акмеизма, имажинизма, футуризма, являлся символизм. Направление, возникшее в европейской и русской поэзии на рубеже XX столетия. Суть его – в художественном выражении идей символами. А они зачастую находятся за пределами чувственного восприятия.

Русский символизм обозначил в 1892 году Д. Мережковский. Мистика, символы, художественная впечатлительность – вот основы этого направления. В 1894 году вышел сборник с программным названием «Русские символисты». В первых сборниках поэтов-символистов предпочтение отдавалось В. Брюсову. «Лелеять слово, оживлять

слова забытые, но выразительные, создавать новые для новых понятий, заботиться о гармоничном сочетании слов, работать над развитием словаря и синтаксиса» – этому завету Валерия Яковлевича неукоснительно следовал Иван Рукавишников.

На русском символизме сказалось влияние французских поэтов Верлена и Рембо. В нём слышны отголоски философии Ницше и Шопенгауэра. Однако наши поэты освежались истоками русской поэзии – Тютчева, Фета. Фофанова. Русский символизм отличался духовностью, разнообразием голосов. Необычность его вызывала насмешки современников. Символистам приклеивались ярлыки декадентов за упадничество, безнадёжность, неприятие жизни, индивидуализм. Да, мотивы тоски и подавленности были свойственны ранним стихам Бальмонта. Творчество Мережковского, Гиппиус, Сологуба, Минского, Рукавишникова было связано с богоискательством. Приверженцами религиозно-философского понимания мира, обоснованного В. Соловьёвым, стали А. Блок, А. Белый, В. Иванов. Искусство для них – средство преобразования мира земного, грубого, низшего; помогает достичь идеалов, приобщиться к царству души. Это поиск тайного смысла – в реальности. Потому в поэтических строках – сакральность, зашифрованность. Метафоричность символизма настолько необычна, что порой слова теряют смысл: «Она была живой костёр // Из снега и вина» (А. Блок).

Поэзия Ивана Рукавишникова – таинственна, тревожна, но в ней свет надежды в человеческих блужданиях.

С гор спустилась.
Заблудилась.
Как пройти? Как пройти?

Созвучное у Ф. Сологуба:

В поле не видно ни зги.
Кто-то зовёт: «Помоги!...»

В смятении покаяние странствующей души из стихотворения Рукавишникова «Песнь в долине»:

Тьма нас любит.
Бог не любит.
Гонит прочь. Гонит прочь.
Небо, горы.
Божьи взоры...

С «Божьими взорами» пагубная безысходность, ведущая в небытие, преодолевается.

Маятник мой,
Свидетель жизни.
Украшенный жемчугом
Маятник мой.

Он говорит мне:
Уйдёшь из жизни.
А я говорю ему:
Жизнь везде.

«Жизнь везде» – и за пределами земного бытия. На земле она – с неизбывной светлой печалью. А как же без траурной поволоки поэту-символисту?

Белые колонны. Аллея тенистая.
Над рекой сверкающий глинистый обрыв.
Там живёт и плачет мечта моя чистая,
Бродит, очи синие трауром покрыв.

Картина из юности поэта: отцовский дворец на волжском Откосе, юношеские грёзы... Живописно, зримо, чувственно! А недоброжелатели брюзжали: несостоятелен-де как поэт. Да, в первые его поэтические книги угодили критические стрелы В. Брюсова, Н. Гумилёва, В. Шершеневича. Как же без критики возрастая поэту?

Будучи в конце 1890-х в Петербурге, Иван Рукавишников по праву входил в литературный круг В. Короленко, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, М. Цветаевой. А. Блок приглашал его участвовать в литературных вечерах. В год создания Всероссийского союза поэтов в 1918 году стал его членом.

Жанровая «палитра» творчества Рукавишникова весьма насыщена: стихотворения разных форм и ритмов, поэмы, сказы, переводы, рассказы, повести, пьесы, романы, каллиграммы, триолеты, статьи. Зачастую во всём этом разнообразии видны признаки некой увлекательной творческой игры. С юношеских лет Рукавишников стремился к этой свежести.

Из подвалов мёртвой осторожности,
Где змеятся чахлые ростки,
В башню, в башню радостной тревожности...

С высоты узнать, как над болотами
Сонно пляшут белые пары,
Как седая жизнь томит дремотами,
Как тоска скрипит воротами,
Посмеяться
И умчаться
В чуждый мир иной игры.

И он умчался. Из отцовского дворца, где родился и вырос. Рукавишниковы... На Руси издревле многие семьи назывались по ремеслу: Кузнецовы, Плотниковы, Гончаровы, Бондаревы... В русские морозы нельзя обойтись без одежды для рук. Рукавицы, они же вареги, варежки, голицы, изготавливались из кожи, вязались из шерсти. Мохнатки выворачивались мехом наружу. «Работящие» рукавицы быстро изнашивались – всё работа для рукавишников! Всё прибыль! Изделия их ценились: «Ныне молочко-то в рукавичках щеголяет», – сокрушались слободские о подорожании молока. Купцы били по рукам, заключив сделку: «Дело наше хоть в рукавицы обуи!»

Рос капиталец рукавишников. Не довольствовались они более шитьём рукавиц. Требовалось дело посолиднее – с купеческим размахом!

В 1474 году на месторождении соли в Нижегородье возник посад Балахна. Здесь обосновалась семья Рукавишниковых. Соль они не добывали, варницами не владели. Открыли лавки по продаже соли. К концу XVIII века солеторговцев развелось столько, что наиболее зрелая ветвь

Рукавишниковых отпочковалась от корневого древа и переместилась в Нижний Новгород.

Основатель нижегородской купеческой династии Рукавишниковых Григорий Михайлович торговал железом. Разжился, и в 1822 году его завод начал выпускать сталь.

Михаил Григорьевич унаследовал от отца трудолюбие, деловую хватку, на работе не терпел нерадивых. Кратно увеличил производство стали, которая поставлялась в другие губернии и в Персию. Создал торгово-промышленную империю. Владельцы Уральских горных заводов князя Голицыны и Строгановы предпочитали иметь дело только с Рукавишниковым, «железным стариком», как его звали нижегородцы. Девиз Михаила Григорьевича звучал похристиански: «Жертвую и попечительствую!» Он ежегодно вносил средства для Общества попечения о тюрьмах, для женской гимназии.

После его кончины в 1874 году дети образовали компанию «Наследники М. Г. Рукавишникова». Возглавил её Иван Михайлович, член совета Нижегородского купеческого банка, гласный городской думы, действительный член Общества поощрения образования. Он выделил средства для строительства исправительной колонии для малолетних преступников и на возведение церкви Святого великого князя Михаила Черниговского.

Варвара Михайловна Бурмистрова (урождённая Рукавишникова) была почётной попечительницей городского приюта, членом Общества вспоможения бедным. Собрала коллекцию картин, которую передала художественному музею.

Владимир Михайлович являлся почётным членом совета Кулибинского ремесленного училища, открыл музыкальную школу.

Митрофан Михайлович был председателем совета Братства святых Кирилла и Мефодия, учреждённого для вспомоществования бедным ученикам гимназии. Он финансировал строительство здания Братства, домовая церковь при нём, а также больницы общества Красного Креста. В 1894 году вместе с братьями построил Дом трудолюбия для занятия трудом бесприютных бедных

и нищих, а также по просьбе П. П. Кащенко лечебницу для душевнобольных. Собрал коллекцию картин Васнецова, Крамского, Айвазовского, Куинджи, которые были переданы в музей.

Сергей Михайлович Рукавишников в 1877 году построил великолепное здание; в 1918 году в нём обосновался художественно-исторический музей. С 2010 года – филиал Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника «Усадьба Рукавишниковых». По инициативе С. М. Рукавишникова построен торгово-промышленный комплекс с банковскими конторами по проекту известного архитектора Ф. Шехтеля. Главный вход банка украшали скульптуры рабочего и крестьянки (прообразы «Рабочего и колхозницы» В. Мухиной). Они символизировали союз промышленности и земледелия. Изваял их выдающийся скульптор С. Конёнков.

От заработанных миллионов немалую долю Рукавишниковы выделяли на благотворительность. Эта династия по праву заслужила славу самых щедрых нижегородских меценатов. Местное купечество настолько укрепило экономическую мощь родного города, что Нижний Новгород с его знаменитой ярмаркой называли «карманом России», третьей столицей. А иные подумывали возвеличить и до первой.

Российское купечество славилось добродетелями: помогало неимущим, сиротам, болезным. Меценатством поддерживало русскую культуру, искусство, образование. Вот нравственный пример для нынешних нуворишей. Благочестие, добродетель, душевность, человечность – корневые произрастания русской совести. Не грызёт она теперешних толстосумов – зубы обламывает об их окаменелые сердца.

Некоторых потомков купеческого рода Рукавишниковых предпринимательская стезя не прельстила. У сыновей Сергея Михайловича Ивана и Митрофана обнаружилась тяга к искусству. И немудрено! В 1877-м, в год рождения первенца, отец снял леса с возведённого особняка-дворца в стиле итальянского палаццо. Фасад украшен лепниной, атланты держат балкон, между окнами красуются кариа-

тиды. Парадная мраморная лестница; бальный зал с подиумом для оркестра, с огромными окнами и зеркалами, с росписями; повсюду гобелены, картины, скульптуры. Вот в таком дворце блистательной архитектуры, среди произведений искусства росли отроки Иван и Митрофан. Здесь прививался им художественный вкус. Ныне же проводятся музыкальные вечера с участием симфонического оркестра Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича, играют музыканты с мировым именем, блистают губернаторские балы.

Братья потянулись к искусству. Старший, Иван, семь лет занимался живописью в художественной школе художника-фотографа А. О. Карелина. Однако затем увлёкся историей, уехал в Петербург и окончил археологический институт. Митрофан был на десять лет младше Ивана, но твёрже в выборе творческого пути. Набравшись мастерства в частных студиях Рима и Москвы, стал скульптором. Отпрыск купеческого рода Рукавишниковых – основатель скульптурной династии. Его сын Иулиан, народный художник СССР, – автор памятников А. П. Чехову, И. В. Курчатову, А. В. Щусеву. Иулиан Митрофанович с сыном Александром, народным художником России, создали памятник выдающемуся лётчику Петру Николаевичу Нестерову, установленный в 1987 году на его родине в Нижнем Новгороде. Александр Иулианович с сыном Филиппом изваяли памятник писателю В. В. Набокову. Последние годы жизни Набоков провёл в Монтрё (Швейцария). В честь 100-летия со дня рождения писателя в 1999 году в этом городе установили памятник.

Мензелинский купец Василий Никитич Рукавишников в 1855 году перебрался в Москву. Стал совладельцем горных заводов в Пермской губернии и одним из учредителей Московского купеческого банка. Можно предположить, что московские и нижегородские Рукавишниковы (связанные не родством, а ремеслом по шитью рукавиц) общались между собой на предпринимательском и банковском поприще.

Сыновья Василия Никитича Иван, Николай, Константин возвысили купеческий род до дворянского. Дочь Ивана Васильевича Елена вышла замуж за известного

политического деятеля В. Д. Набокова. У них родился сын Владимир, будущий писатель. Ему (Рукавишникову-Набокову) и посвятили памятник А. и Ф. Рукавишниковы.

В 1993 году в Академии художеств состоялась выставка «Три поколения скульпторов Рукавишниковых». В июле 2017-го Александр Иулианович привёз в город своих предков выставку, на которой были представлены скульптуры, живопись, графика. Так в творческом направлении продолжается добрая слава купеческого рода.

Творческие деяния Ивана Рукавишникова оказались не столь безупречны. Первые его стихи появились в 1896-м в «Нижегородском листке», затем в других газетах Поволжья. Молодого стихотворца пригласил к себе Горький. Поругивая стихи, склонил к прозе. Предложил «Журналу для всех» его рассказ. Вместе с Короленко поддерживал начинающего прозаика, одобрил повесть «Семя, поклёванное птицами» (1896).

В 1901 году Рукавишников окончил Санкт-Петербургский археологический институт. Путешествовал на Востоке, в Европе («Париж пленён чарльстоном и туманом»). Лечился в европейских санаториях от туберкулёза.

Ещё в Нижнем Новгороде из-за болезни часто прерывал учёбу в Дворянском институте. В стенах этого привилегированного заведения купеческий сын сполна ощутил на себе неприязнь и даже вражду. В среде же более низких сословий слышал заспинное шушуканье и шипение: «А это тот, у кого дед!.. А это тот, у кого отец!.. А это тот, у кого дворец!..» Вот и терзания молодого Ивана!

Тени и сполохи этого душевного смятения сказались на стихах декадентского толка, модных в то время. Их печатают петербургские газеты и журналы.

Отпрыск влиятельной купеческой династии, наследник миллионного состояния – восторженно встретил революцию 1905 года риторическими стихами: «Кто за нас – иди за нами!» Путаясь в политической неразберихе, поэт сотрудничал с эсерами. Движимый революционным духом справедливости, написал роман «Проклятый род» и в 1911 году предложил его журналу «Современный мир». «В саду моей юности росли золотые яблоки», – когда-то о

благодатной поре в отцовской усадьбе сердечно отозвался он. И вот, презрев поучительную ветхозаветную притчевую историю о Ное и его сыновьях Иафете, Симе и Хаме, написал трилогию о неприглядной жизни своего рода без «золотых яблок». Христианские добродетели купечества общеизвестны. Но не праведники же они. Грешны, как и прочие. Подчас деньги властвуют над ними, толкая к пороку, к греху. Но не до такой же степени порочен купеческий род «железного старика», чтобы назвать его «проклятым»!

Читатели роман не приняли и потребовали прекратить его печатать в журнале. И только петербургское издательство «Освобождение» в 1912-м решилось выпустить роман полностью, включив третью часть «На путях смерти». К. Чуковский подверг его критике: «Ужли и вправду в Нижнем все купцы только тем и заняты, что предаются смертному трепету? Десятки раз употребляется определение “чёрный”: “чёрная дыра отчаяния”, “чёрное крыло птицы страха”, “чёрная пустота”»... Отмечая невзрачность образов, Корней Иванович отметил и психологизм в их изображении. Подчеркнул, что «роман о современном купечестве заполняет пробел в познании нашей Родины». М. Куприна-Иорданская, работавшая в «Современном мире», сокрушалась, что роман слишком долго тянется, однако талантлив при всей его сумбурности.

В центре романа – история трёх поколений купеческого рода. Писатель ярко живописует уклад их жизни, психологические характеры членов семьи «железного старика». Манера повествования необычна. Смешение многих жанров: ритмическая проза, символистские стихотворения в прозе, плач причитальный, народный эпос, сказовость. А как живы разговорная речь и диалоги! Рукавишников в совершенстве владеет искусством художественного письма. И оно – для искушённого читателя. Вот почил Макар, «железный старик»:

Потекли торжественно гудящие и звенящие часы – дни отпевания, перенесения, отдания земле.

И часы эти были так кратки и легки, как миги, то тяжелы и тягучи, как скучные годы.

Новые шумы и новая тишина. Новые люди и новые думы.

Нарушился чин крепкого кирпичного дома. И по-новому звенело солнце по стёклам фасадных окон. И по-новому шуршала ночь в мебели и в обоях чутко неспящих комнат.

«Новый человек», поэт-декадент Виктор из Макарова рода, возвращается из странствий по Востоку:

«Из Индии далёкой, из Индии великой плыл корабль большой, многолюдный...» Волны Средиземного моря являют ему «чёрных, проворных мордастых дельфинов, за долгие века уставших быть загадочными». Н. Гумилёв же, «восточный путешественник», Рукавишника ещё и поругивал когда-то.

«Скука серебряной мухой в дому звенит. Лето давно. Волгу могучие пароходы баламутят... Барки черны, мачты на них высокие. Беляны белые, весёлые. Коноводки брюхастые, тихоходные. Плоты сплавные, бесшабашные...»

Смею назвать роман «Проклятый род» поэмой. Социальные язвы в нём как бы врачуются поэтическим духом. Переизданный в Нижнем Новгороде в 1999-м роман переживает второе рождение. Для современных читателей, которые чтят русское слово, историю России, – это подлинное открытие! Среди произведений о купечестве, губернской провинции А. Н. Островского, П. И. Мельникова-Печерского, Б. Д. Боборыкина, В. Г. Короленко, М. Горького роман И. С. Рукавишника «Проклятый род» занимает достойное место.

Ранняя поэзия Рукавишника полна неясных, мистических предчувствий, мечтаний о неземной любви. Но волжский ветер освежал мрачноватое подчас томление духа.

Весною тянет на простор
Из тесных городов,
Туда, где ты, весна, ковёр
Соткала из цветов.

Туда, где солнце, поле, лес,
Туда, где ты царишь,
Где необъятен свод небес,
Где ласковая тишь.

Как «созвучен» стихотворению «Весна! Чудесная весна!..» облик поэта, нарисованный Э. Шуб: «Высокий, ху-

дой, с узкой, клином, русской бородкой, с русыми волосами и светлыми глазами, мечтательный, с доброй улыбкой. В нём одновременно было что-то иконописное и схожее с Дон Кихотом. Он был очень скромен в одежде, ограничен в пище. Любил деревню, волжскую природу, русскую песню, старинную одежду». Эсфирь Ильинична Шуб, кинорежиссёр-документалист, личный секретарь В. Мейерхольда, работала с Иваном Сергеевичем в Наркомпросе.

Иное впечатление произвёл Рукавишников на В. Ходасевича. Туго пришлось пишущей братии после революции. В полуподвальной комнатухе бедствовал Ходасевич с женой Анной Чулковой. Без Нюты, как вспоминала Надежда Мандельштам, он бы не выжил. Она добывала пайки, топила печурку, мыла больного мужа. А так мечталось о счастливой жизни, нарисованной Чернышевским в четвёртом сне Веры Павловны! Доведённые до отчаяния, В. Ходасевич, А. Белый, Б. Пастернак, Г. Чулков пошли к А. Луначарскому в Кремль. Выслушав ходоков, нарком просвещения никакой помощи не обещал, сославшись на пословицу: «Лес рубят, щепки летят». И призвал создавать «только подходящую литературу». Вместе с ним находился Рукавишников, он работал в ту пору в Наркомпросе. Роман «Проклятый род» вызвал разные толки, до неприятия. Теоретик искусства увидел в произведении художественную, историческую и социальную ценность. И вот в «приближённом» положении романист, выпивший, воспроизвёл Чернышевского о дворце из стекла, мрамора и алюминия. И добавил своё: чтобы у всех писателей были комнаты, одежда, питание; чтобы они могли пользоваться библиотекой.

Родившийся во дворце, отрёкшийся от «дворцовства», Иван Сергеевич взывал к вождю культуры о достойной жизни поэтов. Он просил за них! А потом основал Дворец искусств.

Разобиженный Владислав Фелицианович углядел только, что Рукавишников, бездарный, свой в Кремле, и пьян. Сочувствовал поэту при таких категоричных отзывах Николай Минаев:

Ты долго пел, а это подвиг – петь,
Когда вокруг и слушать не желают.

Поэт не только «пел». В родном Нижнем Новгороде вместе с братом Митрофаном занимался обустройством художественно-исторического музея в отцовском доме. В 1918 году Наркомпрос забрал в своё ведение дворец графини Е.Ф. Соллогуб. По инициативе Рукавишникова его обустроили во Дворец искусств (ныне Центральный дом литераторов), который он и возглавил. Часть жилых помещений отдала содружеству людей искусства. Для них готовили завтраки и обеды. Под началом Рукавишникова проводились литературные вечера, лекции, концерты. В ноябре 1920-го на «Вечере современной поэзии» выступали петербуржцы Н. Гумилёв и М. Кузмин. Здесь провожали в заграничную поездку К. Бальмонта. Получив солидные командировочные, назад он не вернулся; в изрядном подпитии поносил страну, позаботившуюся о нём.

После закрытия Дворца искусств в 1921-м Иван Сергеевич участвовал в создании Высшего литературно-художественного института. Профессор читал лекции по стиховедению.

Злопыхатели же смаковали сплетни о пьянстве Рукавишникова; о его видном общественном положении, которого он якобы достиг благодаря красавице-жене Нине Зурман. В Наркомпросе она заведовала цирками и от Рукавишникова ушла к циркачу. Его же поддерживали Горький и Луначарский. Сам он о злословии собратьев по перу отзывался просто: «Спокойно ближних зло приемлю». Не могли уразуметь, как купеческий сынок остался без миллионного состояния. Его же, оскорблённая «Проклятым родом», семья лишила наследства. Вот и зубоскалили, карикатурили, изображая в лучшем случае пьяненьким да юродивым. А такой разве может что-то путное написать? «Причащаться влагой жгучей» Рукавишников вынужден был из-за болезни. Алексей Максимович Пешков частенько захаживал в купеческую усадьбу и присоветовал подопечному литератору действенное лекарство от туберкулёза – водку. И ей, родимой, Рукавишников лечился и путешествуя по разным странам, у индийских целителей, и в европейских санаториях.

Приметливая писательская память вобрала в путешествиях по Востоку библейские истории, древнеиндийские и древнеарабские сказания. Этот благодатный материал отразился в книге «Близкое и далёкое». Дух Востока выражен ритмической и орнаментальной прозой.

Мудрости у многоопытного Ивана Сергеевича и своей хватало. М. Кузмин с удовольствием приводит в альманахе «Шиповник» изречения Рукавишникова из «*Diarium*» («Дневник»), называя её «далеко не скучной книгой»: «Если человек, шедший в горах, сорвался и упал в пропасть, и лежит на дне, то он не упал ниже только потому, что дно случилось там, где оно случилось». Известный афоризм из «Дневника»: «Пушки к бою едут задом».

Остроумие Рукавишникова проявлялось в сатирических стихах («Запись в книге посетителей». «Рассказ о культурном помзамзаве»), в плакатных надписях, как в окнах РОСТА Маяковского («Не чисть машину на ходу!»), в эпиграммах («Сед, но выхолен и розов...»).

Любимый «жанр» Ивана Сергеевича – открыточные поздравления, посвящения (Маяковскому: «Сажённый рост, фигура Геркулеса...»). Сотни ярких, с добрым юмором пожеланий... И горькое признание поэта:

Один ли я? Нас много, много.
Но где вы, все мои друзья?

На исходе зима. Он болен. Его знобит, морозит. Одно утешение: по нему, укрытому одеялом, играя, бегают четыре котёнка. Знакомого по санаторию навестила Анастасия Цветаева: он жил в комнате бывшего Дворца искусства. Она заботилась о нём: поила чаем, ставила градусник, давала лекарства. Когда ему полегчало, он стал приходить к ней в гости, познакомил её с братом Митрофаном. Интересный собеседник, Иван Сергеевич живо рассказывал о своём роде, об истории Поволжья, о японских трёхстрочиях, о Маяковском и Есенине. Её же особенно интересовали триолеты... Он сделал Насте (её все звали Ася) предложение, но понял, что дальше дружбы она не пойдёт. В своих воспоминаниях «Неисчерпаемое» Анастасия Ивановна

писала: «Я глядела на него теперь, как на утраченную драгоценность». И признавалась, что «он был проще, добрее и чище».

Н.Я. Серпинская, бывавшая во Дворце искусств, поэженски трогательно отозвалась в «Мемуарах интеллигентки» об Иване Сергеевиче: «Любимый всеми за чистую, светлую душу ребёнка, притаившуюся под поэтическим панцирем».

«Поэтический панцирь» Рукавишникова отливал символизмом. Вольность его, бунтарство сказались в творческих исканиях поэта. И этот поиск совпал с поэтическими открытиями Гийома Аполлинера (Аполлинария Костровицкого). Несомненно, Рукавишников был знаком с творчеством известного французского поэта.

Петербургские знакомства с близкими друзьями Аполлинера, постижение его новаторства отразились на создании Рукавишниковым каллиграмм. Увлечённый формальной затеей, сам Аполлинер озаглавил свою новаторскую книгу «Каллиграммы». Часть стихотворений из неё набраны в виде «лирических идеограмм», или каллиграмм. Их тексты образовывали рисунки: дом, косые линии дождя, звезда... Наиболее известна каллиграмма «Зарезанная голубка и фонтан». Эпитафия, плач по погибшему в Первой мировой войне другу: «Зарезаны нежные образы. Фонтан над моими страданиями плачет...» Строки, «рисующие» распростёртую голубку над брызгами фонтана.

У Рукавишникова строки «рисуют» чашу, меч, крест. Каллиграмма «Звезда» изображает шестиконечник, «выложенный» строками, начинающийся с «острия» и: и / кто / придя / в твои / запретныя / где не был до того никто /.

Многие обрушились на эти «выверты» Рукавишникова. Критиканский пыл профессор охладил триолетами. «Твёрдая форма» этого стихотворения состоит из восьми строк на две рифмы. Привычная форма триолета – одиночная строфа, строфа – произведение, выражающее сжатую мысль. Триолет возник во Франции в XV веке, в пору расцвета барокко и рококо. Этой формой владел Н. М Карамзин. Необычайную популярность триолет приобрёл среди поэтов Серебряного века К. Фофанова. К. Бальмонта,

В. Брюсова, И. Северянина, Ф. Сологуба. Непревзойдённым мастером триолета был признан Иван Рукавишников. Поэт-символист стал автором двух книг триолетов. В институте читал лекции о «твёрдых строфических формах». В «Литературной энциклопедии» 1925 года помещена его статья на эту тему. Вот программное стихотворение поэта:

Какая сладкая отрав
 Легко звенящий триолет!
 Его изящная оправа,
 Какая сладкая отрав
 И вечно детская забава,
 Когда владеет ей поэт.
 Какая сладкая отрав
 Легко звенящий триолет!

Мягкой иронией этой «музыки» сметаются все ярлыки о «непоэте» Иване Рукавишникове. Необычайно широк его поэтический кругозор. Превосходны переводы украинских поэтов Б. Лепкого, О. Олеся, С. Чернецкого, И. Франко.

1958 год. Магадан. На сцене родного драмтеатра живая легенда, народный любимец – Вадим Козин. Сын петербургского купца исполняет песню сына нижегородского купца «Цыганка Цора».

Погадай-ка мне, цыганка,
 Чернобровка Цора:
 Я дождусь ли дней счастливых
 И дождусь ли скоро?

И цыганка по ладони
 Мне прочла ответ:
 «Будешь, милый, будешь, милый,
 Бедовать семь лет».

«А? Семь лет? Ну что ж, стерпел бы...
 А потом? Весь век?»
 «А потом... Потом привыкнешь,
 Милый человек».

Настолько хорош перевод на русский стихотворения украинского классика Ивана Франко, что автором «Цыганки» значится Иван Рукавишников. Вот так из забвения выводила к народу его имя песня.

Широта и новизна тем и идей, жанров, строфики, ритмики, новаторское преобразование канонизированных форм – несомненные достоинства творчества И. С. Рукавишникова. Оно – для тех, кто слышит музыку стиха, замирает в его недосказанности, таинственности. Для тех, кто любит русское слово, ценит художественную выразительность, образность.

«Музу возлюбя, ты принял жизнь высокую и злую», – эпитафией, ещё при жизни поэта, прозвучал стих Н. Минаева.

Иван Сергеевич умер от туберкулёза 9 апреля 1930 года. 15 мая ему бы исполнилось 52 года.

В писательских кругах к нему относились с симпатией и чтили за рыцарское служение русской литературе. Жизнь и творчество Ивана Сергеевича Рукавишникова достойны всеобъемлющего исследования и описания на уровне книги серии «ЖЗЛ».

Светлана ЛЕОНТЬЕВА

ЗАПОВЕДИ
ОТ ФЁДОРА СУХОВА

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ – квасить огурцы. О да! Не капусту, не помидоры. И не солить. Именно квасить! С лимоном – жёлтым, как день. Петрушкой – зелёной, как ночь. Немного мёда. Изюма. Перца и холодной, колодезной воды, ибо она, пропущенная через жернова песков, глины, очищенная до первоосновы и даёт этот рассольчатый, молочный, материнский вкус.

Фёдор Григорьевич Сухов – поэт.

Фёдор Григорьевич Сухов – прозаик.

Фёдор Григорьевич Сухов – эссеист, культуролог, влюблённый в природу, ибо знает её законы, её величие, её матричные устои. А как без них?

Фёдор Григорьевич Сухов – описатель правды в её исконном народном понимании. Супротив всяческой лжи и неискренности. Супротив нечеловечности.

Он прошёл войну, стрелял, уничтожал фашизм. Но не людей конкретно, а корень зла. Извращённое сознание. Он стрелял в несправедливость. Был ранен. Контужен в боях.

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ – печь пироги с капустой. Это полезная еда. Капусту вымачивают заранее с морковью для перемешивания соков. Солят уже поджаренную. Приправ

не надо, кроме петрушки ничего. Квашню ставят под утро в четыре утра. Так делают староверы, они знают толк в соленьях-вареньях, в моченьях-укропах. Это старинный рецепт. От матушки.

Несколько встреч с Фёдором Григорьевичем Суховым, это словно долгие и тягучие беседы с батей-отцом, с человеком, понимающим тебя по-отечески.

Первая и незабываемая встреча на Автозаводе 7 мая 1987 года. В шесть вечера. Это, словно до завтра была война. Это победа в грядущих наступающих войнах. Фёдор Григорьевич Сухов – воин.

Фёдор Григорьевич Сухов – боец.

Фёдор Григорьевич Сухов – победитель.

Фёдор Григорьевич Сухов – солдат, младший лейтенант, командир и просто раненный человек, когда его, истекающего кровью, привезли в госпиталь...

Фёдор Григорьевич Сухов – это когда началась Великая Отечественная война, это когда была мобилизация в 1941 году и отправка сначала в Казань, а затем на переобучение в пехотные войска в Ташкент, в училище, после окончания которого в 1942 году был отправлен на фронт командиром взвода в звании младшего лейтенанта. Это в 1943 году знаменитое, яростное сражение на Курской дуге, это крошечная деревня Ивница, там Фёдор Григорьевич возглавил роту, это страшная схватка, бой с превосходящим противником: заменив погибшего командира в смертельной схватке с фрицами, освободив Ивницу с малочисленной группой товарищей, ибо многих уже убили фрицы, это выигранный бой, это отступление немцев. За это был удостоен первой награды – медали «За отвагу». Победу встретил в Германии – Восточной Пруссии в звании старшего лейтенанта. И не сразу 9 мая всех увезли обратно в Россию. Война продолжалась для Фёдора Григорьевича весь 1946 год. Освобождение – это не значит очистка. Фашизм надо искоренять, выкорчёвывать, как гнилые деревья до самого ядра земного!

Фёдор Григорьевич Сухов – это огромной силы и интеллекта человек!

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ – умение быть воздержанным. Нет, не сдержанным-терпеливым. А именно воздерживаться, взнуздываться, вовремя окорачиваться...

Что это такое за умение, Фёдор Григорьевич?

Вообще, научить человека чему-то приятному просто.

Научить неприятному ему, но нужному иным – сложность чрезвычайная.

Для этого надо приложить усилия. Например, как из лентяя сотворить человека трудолюбивого? Из неприлежного – сделать аккуратного?

Назидания никогда не приносят пользы. Они «не полезительны». Ибо чужды и не прививаются. Что значит привить?

Это не дать. А, наоборот, отобрать. Пожалеть. И раскаяться.

Идти через боль свою, чтобы дойти до боли чужого человека.

До Большого мне Болдина словно до Марса,
хоть я рядом, не более верст так двухсот,
проживаю. А коль по прямой ехать трассе,
так не более сто сорока на восход.

Ах, далёкое, непостижимое! Рвётся
моё сердце тобою. Смотри же, смотри
все пути до тебя в моей жгутся крови,
все пути до тебя – световые – сквозь солнце.
Это как высверк молнии. Тысячи лет
пробираться к тебе, чтобы пасть прямо в ноги.
Я к тебе напрямки, без разбора дороги,
до мозолей кровавых ступней в сбитый след.

ВСТРЕЧА В БОЛДИНЕ – как четвёртая заповедь поэтическая. Фёдор Григорьевич приехал со своей молодой женой Марией Сухоруковой. Это тяжёлое время и одновременно звучащее для него мелодией. Он тогда преобразился. Читали супруги стихи по очереди. За сценой. И на сцене. Всё-таки праздник.

Затем супруги разошлись, как это бывает у поэтов. Но их налипчивая и сугубо детская связь так и

не разорвалась впоследствии на долгие годы. Это была и беда, и наказание.

Фёдор Григорьевич Сухов – это человек, рождённый 14 марта 1922 года в селе Красный Оселок Лысковского уезда Нижегородской губернии в старообрядческой семье, отец – Григорий Петрович – кузнец, мать – Мария Ивановна, уроженка села Великовского, сельская труженица. Фёдор Сухов обучался в Красноосельской начальной школе, а затем в неполной средней школе в селе Просек. И далее Лысковский рабфак.

Глубинка.

Покосево.

Ширь.

Избы, нависшие над оврагом.

ЗАПОВЕДЬ ПЯТАЯ. Сбор шиповника на склонах возле могилы Сухова.

Это было полузаброшенное старообрядческое кладбище. Вы шли вниз по склону, чтобы поклониться до земли великому русскому старцу-сподвижнику, великому русскому поэту всея шири и космоса Руси.

Мы читали стихи. Мы слушали пение птиц. Мы видели чёрных дроздов на раскидистых ветках не порубленных яблонь. Хотя эти яблони – весь сад широкоствольный, ветвями переплетённый, срубили.

Но мы видели его, этот сад, хотя его давно пустили под пилы предприниматели. Но сад рос! Ветвился. Наполнялся пением птиц по весне.

Это всё равно живой сад, хотя убитый, сломленный. Но он жил как-то наднебно. Он дышал нам в груди. В рёбра кололся, сыпал лепестки белые, как хлопья.

Шиповник тоже был.

Колючий.

Колени в кровь обжигал.

Цвёл розово, ало, прибрежно.

До могилы мы добрались. И поклонились ей – могиле, где лежали бранные, сухие кости матери и отца Фёдора Григорьевича Сухова.

ЗАПОВЕДЬ ШЕСТАЯ. Путешествия:

Сухов Ф. Г. работал над прозой «Буреполом» и поехал в Среднюю Азию в 1989-м, а затем в соляную, солнечную, жаркую Турцию, в античную Греция, в довоенную Сирию в 1990-м, после в Крым в 1991 году. В 1990-м подписал «Письмо 74-х», был участником внеочередного пленума Союза писателей СССР, на котором выступил – как будто предвидел! – с речью о защите русского языка. Именно о защите и охране языка русского! Он не поддерживал раскол Союза писателей и в августе 1991 года, всю ночь был в числе защитников, отстаивавших здание СП СССР на Комсомольском проспекте, 13.

Ибо, писатели соединяйтесь! Объединяйтесь! Расколу не быть!

Любой разъём между писателями, поэтами – есмь неверный шаг. За писателем люди стоят, читатели.

Писатель – это полководец своего окружения.

...И бросилась бы в ноги я ему отцу-Сухову, гуру-Сухову, верно, верно говорите! Единение – вот основа основ, сплочение. Отбрось амбиции, писатель!

ЗАПОВЕДИ ЛЮБВИ:

...в конце 1991 года Сухов обвенчался с Клавдией Ермолаевной Сусловой. «С Клавдией Ермолаевной поэт познакомился в 1950 году, когда учился в Литинституте и жил на бывшей даче драматурга Тренёва, в Переделкине, а она работала медицинской сестрой в соседней Баковке в детском туберкулезном санатории, располагавшемся в бывшей усадьбе Самарина, в 1952 году она стала его женой, и в 1953 году у них родился первенец Алексей...»

Баковка! Еду мимо на электричке.

Баковка! Лес. Тропинка, петляющая, ведущая в посёлок. Место дачное. А раньше иначе было: первоначальное официальное название посёлка – 20-я верста от названия железнодорожной станции у деревни Мамоново. На рубеже XIX–XX веков крестьяне деревни Мамоново здесь валяли лес вдоль небольшой лесной речной системы – притока реки Сетуни, высоко тянущейся к югу, от лучистых комариных рощ, от поселения и питающую пруды имений Думновых и Самариных.

Заповедей любви пять:

*беречь,
хранить,
рожать детей,
утром приносить в крынке молока,
уважать и ценить.*

Любовь – это много и это всё.
Любовь – это звёзды до воды, до меры и безмерья.

Наши имена – станут улицами, городами, посёлками.
Наши имена – старинные, древние, многокорневые.
Наши имена – это более, чем мы сами.
Мы есть – кусок нашего имени.

«Я загнал остаток своего имени, как остаток своего коня»

...и мы собирали шиповник, поднимаясь по склону выше от могилы. И он царапал руки, но мы всё равно брали ягоды и ели их. Ибо была жажда.

*И сырой воздух. И парило солнцем. И душно было.
Воды мы не взяли. Не подумали о жажде.*

И мы ели ягоды – ибо в них были капли живительно сока.

Поднимись и ты на этот склон в Красном Осёлке!
Взойди!

А когда взойдёшь, то встань на самый валун, круглый, что облако, и взмахни руками к небу.

И поймёшь, что можно, можно чуть-чуть оторваться от поверхности земли.

ПОЛЕТЕЛИ!

Сначала дубовый гроб лодочкой вплыл в зал Союза писателей, расположенный на улице Минина, затем лодочкой поплыл на родину писателя, также лодочкой с горы спустился в свою обитель у реки на старосельское, старобрядовое кладбище – тихое, потустороннее, как Малино-

вый скит, ибо без скита старообрядцу худо, без вышитых крестиком материй, рубашек из малинового рядна, холодной колодезной воды для запива крепкой самогонки, ядрёного огурца по суховскому рецепту и пирога с капустой по-старообрядческому канону.

Старообрядцу нужен простор, нужен дикий шиповник, красные ягоды и шипиги-колючки, это их уклад, их жизнь.

Это матушка и батюшка, чей покой рядом с упокоением сына земли. Сына всей планеты, освобождённой от ига фашистского.

И закатиться на своей лодочке в глубины родимой земли, и найти свой уют-пристанище; и поют соловейчики да иволги, и поют дрозды сада срубленного, забыв, что его нет – это ли не диво?

Срубленный сад, но не значит покорённый.

Им, детям и внукам Сухова Фёдора – посвящается вся эта земля. Вся Русь просторная, ибо Русь – это чувство, это потайная дверца сердца, резное окно старой избы.

И летит эта изба над покаянием, над молитовкой, над маковкой церкви.

И помнит изба летящая, и говорит языком поэтическим. Тем, который отстаивал в своей речи поэт Фёдор Сухов.

РЯДОВОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ АРМИИ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВ

У меня в руках книга Алексея Ивановича Елисеева «А. М. Горький в Н. Новгороде», изданная в Волго-Вятском книжном издательстве в 1974 году. Вот что пишет в предисловии А. И. Елисеев: «Хороший город! – говорил о родном Нижнем Новгороде А. М. Горький. – Очень здесь красиво. И вообще – славно!»

На Великую Отечественную войну Алексей Иванович был призван в 1941 году, служил в разведке. Был демобилизован в декабре 1945 года.

Итак, нижегородские фронтовики-писатели, ветераны войны, какие они? Что пронесли сквозь горнило, что рассказывали, вернувшись домой? Что они писали? Чем занимались?

Иногда думаю, что это поколение атлантов. Ибо вынесли они на своих плечах не просто победу над фашистами, а победу русского духа, русского писательского знамени. Торжество и непоколебимость. Вот как сам пишет в своей биографии Елисеев Александр Иванович:

«Родился 26 декабря 1905 года в Нижнем Новгороде. Вся моя жизнь прошла в городе, в котором родился, так что могу называться старожилом его. Отец был из мещан, работал печатником в типографии газеты “Волгарь”, а затем почтальоном более двадцати пяти лет. Мать из крестьян, работала портнихой. Учился в трехклассной школе, потом отдали в Первую губернскую гимназию, но тут революция 1917 года, гимназию переименовали в Опытно-пока-

зательную школу им. В.И. Ленина, эту школу я и окончил. В 1925 году поступил на литературное отделение педагогического факультета Нижегородского государственного университета и окончил его в 1930 году, получив звание преподавателя литературы и родного языка. Студентом, под руководством моего преподавателя А.Н. Свободова, занимавшегося краеведением, я увлекся изучением литературного нижегородского гнезда, и в первую очередь изучением жизни и творчества М. Горького...» (из библиографического указателя. Алексей Иванович Елисеев. К 100-летию со дня рождения. Нижегородские краеведы.)

Алексей Иванович Елисеев каждое утро пешком шёл на работу в Волго-Вятское книжное издательство, в котором работал после войны.

Надо сказать, что походка у него была стремительная, торопливая. А наш город медлительный, горожане степенные, центр города до революции был заселён потомственными мещанами. И хотя преобразования коснулись города, были построены новые дома, появилось освещение, но устои постоянны. У горожан речь медлительная, продуманная, каждое слово взвешено. А тут Елисеев с его привычкой идти быстрым шагом, торопливым... Рассказывают, что на углу, недалеко от бывшего Дома пионеров была психбольница им. Кащенко. И был случай, что из-за этой спешащую походку Елисеева приняли за сбежавшего пациента Кащенко, но выручил Елисеева его товарищ, показавший удостоверение корреспондента «Известий» санитарам, подхватившим под руки Алексея Ивановича.

«Я застал Елисеева, уже пережившего войну. Он стал другим, как говорили старшие, видимо, служба в контрразведке сказала на его открытости. Многих друзей война унесла с собой. Его раскованное веселье в день празднования победы над Японией в деревянном кафе сада Минина меня удивило и запало в память. После того вечера я больше не видел его таким веселым и безудержно шумным. Круг знакомых Алексея Ивановича, я помню его по семейным сборам, был невелик и отличался постоянством...» – пишет в своих воспоминаниях Юрий Андреевич Адрианов – племянник супруги Елисеева.

Необычный человек был Елисеев! Он знал по латыни названия цветов. Например, одуванчик он называл не иначе, как *Taraxacum officinale*. А цветов в июле в Нижегородской области немерено. Тем более в Кстовском районе, где в деревне Великий Враг Елисеев отдыхал с супругой. Алексей Иванович часто поправлял людей, объясняя, что тракт, ведущий в Большое Мурашкино, – это Аввакумова дорога. И, выезжая с Сенной площади в сторону Великого Врага на автобусе, повторял: «Великий путь!»

Елисеев пил за столом на празднике исключительно вино «Херес», водку не любил. А послевоенный «Херес» – это вкусный и запашистый виноградный напиток. «Херес» продавали тогда в винном магазине на улице Пискунова, он был либо янтарно-желтого цвета либо красно-коричневого. Разливали его в красивые бутылки с этикетками на испанском.

Далее вот что пишет Алексей Иванович в своей биографии:

«Как раз в двадцатых годах, о которых идет речь, получает развитие горьковедение как в стране в целом, так и на местах, особенно в нашем городе – Нижнем Новгороде. Стал приобщаться к литературному краеведению и я. Когда, в 1928 году, к 60-летию со дня рождения А.М. Горького, в Нижнем Новгороде был открыт музей М. Горького, меня, студента, пригласили работать в этом музее. Я стал директором первого тогда в стране Литературного музея А.М. Горького (в Москве существовала только выставка) и работал в нем до Великой Отечественной войны. Музейная работа увлекательна, но начинали мы и жили тогда в условиях довольно трудных, собирая, как говорят, по крохам то, что должно было составлять содержание экспозиции и фондов музея. С особым волнением вспоминаю поддержку музею со стороны Алексея Максимовича и Екатерины Павловны Пешковой. (книга «Писатели-горьковчане». – Горький, 1970. – С. 73–75.) К периоду работы в музее я отношу и начало своей литературно-критической деятельности. Я начал печататься в местных и центральных газетах и журналах

с 1929 года. Тогда же сблизился с местной писательской организацией, а с 1936 года стал членом Союза писателей СССР. Литературные интересы мои связаны главным образом с творчеством М. Горького и творчеством местных писателей...»

И тут война!

Как известно, Горький тоже бомбили фашисты.

Алексей Иванович с его разработками, мечтами, документами, собранными для книг, его кабинет, оставленный на время нахождения на фронте, его мысли и наработки по исследованию творчества Горького, его большая дружба со Свободовым Александром Николаевичем – всё сразу в одно мгновение было оставлено позади. Елисеев ушёл на фронт...

Алексей Иванович был не просто интеллектуалом, он был собирателем книг. И обижался, когда ему не доставалась какая-то книга, а ведь он жил одной заботой – о книгах, жил с книгами, заботился о них, как о малых детях. Книги – это его ближайшие духовные друзья, соратники. Его основа.

Алексей Иванович после войны публикует сотни статей о Горьком, а также о Н. Кочине, Патрееве, Федорове, Шестерикове и других. Он публиковался в «Литературной газете» с очерками в семидесятых годах. Писал о театре. О новых постановках. Выходили его статьи в «Горьковском рабочем», в «Горьковской правде».

«...В декабре 1945 года, после демобилизации, областным комитетом партии направлен на работу главным редактором Горьковского издательства, в котором с перерывами проработал в общей сложности четырнадцать лет. Немало времени приходилось уделять различной общественно-литературной работе. Был организатором коллективных сборников местных писателей и журналистов (сборники “Огни зажглись”, “Пусть поют соловьи”, “Вчера. Сегодня. Завтра”, “Поэтические альманахи” и др. издания), ответственным редактором или членом редколлегии нашего писательского “Волжского альманаха”. В 1946–1948 гг. руководил Горьковским отделением

Союза писателей. С 1964 года я перешел на профессиональный литературный труд».

Помню, как пришла я в Волго-Вятское книжное издательство. Помню большой стол, а на нём кипы бумаг, книг, печатная машинка, а ещё помню отчего-то горсть конфет, лежащую на блюде. Эти конфеты мне крепко запали в память, особенно «Мишка косолапый и «Ну-ка, отними».

Не отнимешь!

Наше советское прошлое.

Нашу Победу.

Наших ветеранов-писателей.

Но это были не громкие люди. Они не были докучливы. Но они воспитывали настоящее поколение писателей. Помогающих, заботящихся...

Таким был Алексей Иванович Елисеев – писатель, краевед, основатель и первый директор музея Максима Горького. Не шумливый. Не рвущийся. Он не оставил за собой какой-то особенной школы, но он был той самой школой понимания цели. И целеполагания. Помню о двух ярких «елисеевских делах» – о них написано и сказано краеведами достаточно много. В первую очередь это спасение книги Дмитрия Смирнова «Картинки нижегородского быта XIX века» – за её издание Елисеев получил партийный выговор с занесением в личное дело, а также поддержка поэта-сормовича Александра Люкина. Чья книга была тоже издана Елисеевым, хотя не все из редакции поддержали его идею. Вообще расцвет творчества поэта Люкина и его узнавание читателями начался с лёгкой руки Елисеева.(1958 год).

Не раз приходилось Алексею Ивановичу «краснеть» на писательских собраниях и активах за разбор поведения своего племянника, ибо Юрий Андреевич обладал, кроме своего таланта, непростым характером. И лишь спокойный тон елисеевского голоса, его заступничество, его крепкое плечо и настойчивая вера в самое лучшее спасало писателей от выговоров.

А теперь вспомним заголовки книг и статей Елисеева:

«Его имя носит наш город». «М. Горький в воспоминаниях современников». «Домик Каширина». Все эти книги

находятся в фонде редких книг в нашей Нижегородской научной универсальной библиотеке им. Ленина.

В первую очередь это – скрупулёзный труд. Конечно, легко писать об эмоциях, о природе Нижегородчины, о наших садах, о реках. Но горьковеды – народ, бережно собирающий по капле биографию и житие Горького; каждый след, каждый вздох писателя бережно хранят их драгоценные труды.

Книга А. И. Елисеева «А. М. Горький в Нижнем Новгороде» – это максимум фактов, дат, пристального внимания к деталям. «Снова Полевая улица. Вблизи площади каменный дом, курепинский, как привычно называли его нижегородцы в прошлом, по имени крупного домовладельца. Соседний с тем местом, где стоял каширинский «дом с кабаком». У Курепина, в квартире, занимавшей весь верхний этаж, и поселился А. М. Горький с семьёй в конце 1898 года и жил до марта 1900».

Елисеев считал, что важно рассказать о достопримечательностях города, о нахождении в городе великого писателя. Точными мазками, выпукло и чётко Алексей Иванович рисует памятные места: сад имени 1 Мая, площадь Горького, дом Курепина.

Не могу не упомянуть Ковалихинскую улицу. Эта улица особенная. Это улица – бывшая речка, она в настоящее время засыпана настом, закована в асфальт. И нижегородцы помнили, как по Ковалихинской протекала речка Ковалиха, что она начиналась от Чёрного пруда и оканчивалась в подгорном сельце Высокове. Ранее Ковалиха до 1850 году свободно текла, отражала звезды, золотой серп месяца, серебрилась, бархатная вся. Местами Ковалиха была совсем неглубока – шириной с бабий прыжок, можно было переступить её, подогнув юбку. Кое-где были положены мостки, по ним можно было перейти, чтобы купить товар в лавке. Поначалу Свободов проживал в Дворянском институте, там у него была комната внизу. В начале Варварки было болото – топкое, клюквенное. А ещё овраг, что до Чёрного пруда, – омутный, омываемый сточными водами, и был положен мост, и ютились домишки, чьи заборы ныряли прямо в тину, как в зеленую вату. Вот и не верь после

этого, что Нижний Новгород – «место мокрое, болотное, овражное», ну, истовое море пресное! Я бы сказала, абрикосовое море! Но абрикосы в Нижнем Новгороде сроду не водились, а вот яблони росли, они цеплялись корнями возле Печёрской слободы, сыпали мелкие розовые наливные яблоки. По левому берегу Оки шиповник, терновник, что солдаты в засаде, чтоб не пустить противника к граду Нижнему. И утопал город в садах, цветах, в болотных ягодах.

Вот что пишет Елисеев об улице Ковалихинской, дом 33: «Ещё до рождения Алеши Пешкова известный в нижегородской ремесленной среде цеховой старшина Василий Васильевич Каширин построит на Ковалихинской большой дом с флигелем в саду. Прямо во дворе их дома была расположена красильная мастерская. В 60-е годы XIX века дела шестидесятилетнего Каширина пошли в гору. Однако вскоре удача оставила Василия Каширина, уже в 1870 году владения на Ковалихе пришлось продать...

Екатерине Павловне Пешковой так и не довелось увидеть восстановленную квартиру в доме Киришаума – она скончалась в 1965 году. ...обстановку нижегородской квартиры, более 2000 вещей: мебель, картины, книги, фотографии, посуду чайную, обеденную, различную бытовую утварь передали в дар городу».

Вот так по крупице Елисеев с тщательной дотошностью передавал потомкам свои знания.

Это авторский приём – через путешествие по улицам города рассказывать о бытии писателя Горького. Скорее всего, это путеводитель, справочник, где не упущены никакие детали. Мы не увидим здесь описаний пения птиц, запаха цветов, первых клейких листов берёзы, нет здесь описания самого быта нижегородцев тех годов, но есть фотографии и упоминания о днях пребывания Горького в Нижнем Новгороде (Горьком). Есть объяснение, почему надо гордиться тем, что писатель был здесь, жил, что он писал, где работал. Вот, например, рассказ о «Волжском гудке», где были опубликованы первые работы Горького. А впоследствии Алексей Максимович назвал «Гудок» «слабой газетой, публикующей посредственные материалы».

Да, мы все начинаем с посредственных газет. Вот совершенно точно! Ай да Алексей Максимович Горький! Браво!

Не забыл Елисеев сотрудников музея, в частности Т. А. Лебскую, а также заведующую Литературным музеем Максима Горького (1957–1977) Аллу Владимировну Керимову, которая в прошлом году отметила своё 98-летие!

Много уточнений и деталей самого музея и музейного быта, каждая полочка, шкаф, стол, стулья, всё-всё имеет свою историю. Всё связано до тонкостей и объяснения причин нахождения в музее. Даже солонка. Ложка. Книги. Всё это вышагивает словно из прошлого столетия благодаря книге, которая находится у меня в руках. Эта книга сохранилась всего в нескольких экземплярах. Один находится у меня...

Последнее время у него болело сердце. Он умер на 75-м году жизни. Сказались и ранения, полученные в войну, и переживания. 1980 год – издательство тогда ещё жило, работало, существовало, выпускало книги В. Шамшурина, Ю. Адрианова, Н. Кочина, А. Ерёмкина, выпускало сборники.

В одном из сборников «Молодые голоса» (вышедшем уже после смерти Елисеева в Волго-Вятском книжном издательстве) есть и мои стихи под названием «Во всём есть тайный смысл...» И мне радостно и напевно от этого. Хочется верить, что Елисеев его прочёл тоже наравне с иными стихами.

А как он пел, как играл на пианино! Мягкий, обволакивающий баритон.

И эти шорохи штор. И лунные лучи.

Улицы нашего города, стены домов, высокие заборы, парки – тоже хранят воспоминания о хорошем человеке, делавшем своё любимое дело. Елисеев сам себя называл «рядовым писательской армии». А уж он-то знал толк в званиях.

Служил Елисеев во время Великой Отечественной войны в Смерше – в его обязанности входило предотвращение диверсий. По правде говоря, Елисеев неохотно говорил о своей службе, потому что о многом рассказывать было совсем нельзя. Он отвечал: если Родине надо! И ответ был

краток. Никакой романтики. Это всё равно, что сравнивать небесное и земное. Было много солдат, которые возвращались из плена, были раненые офицеры, прошедшие госпиталь. В задачу Елисеева входили – боевой настрой, реабилитация людей, политическое насыщение и поднятие боевого духа. Сам Алексей Иванович был мягким, интеллигентным человеком, он много повидал, через его сердце прошли разные судьбы. Он чутко прислушивался к каждому рассказу, заступался, был начеку. При этом был дисциплинированным человеком боевой выучки. Имел награды, памятные медали. Но оставался скромным человеком и не считал большой заслугой пребывание на службе и умение держать в руках боевое оружие. Главное для него было то, что он наравне со всеми защищал Родину.

Елисеев считал себя просто рядовым как в писательском смысле, так и в военном. Он не требовал для себя, не искал лучшей доли, не докучал никому просьбами.

Вот таким он был человеком.

Прежде всего – горьковедом, собирателем материала о Горьком, радением о русской литературе. Это была его личная война – война против косности.

Далекое – близкое

Александр ЦИРУЛЬНИКОВ

**ВИКТОР БАЛАШОВ
И ИГОРЬ КИРИЛЛОВ**

Один за другим в 2021 году нас навсегда покинули два великих телевизионных диктора – Виктор Иванович Балашов в 96 лет и Игорь Леонидович Кириллов в 89 лет. Я знал их – встречался по работе: с Кирилловым в Москве, с Балашовым – в Москве и в Горьком в местной телестудии. Сейчас, когда перечисляют их славные дела в эфире, говорят про того и про другого, что он первым сообщил о полете в космос Юрия Гагарина. Конечно, из уст Балашова и Кириллова мы восприняли много новейшей и важнейшей информации, но, как ни крути, первым о полете Юрия Гагарина сообщил стране и миру Юрий Борисович Левитан. От него мы узнали и о запуске первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Левитан сообщал эти великие новости первым по радио, а Балашов и Кириллов через какое-то время дублировали их по телевидению. И на телеэкране они были первыми в разных выпусках новостей. Так что тут вряд ли нужно и возможно устанавливать приоритеты. Все равно – после Левитана!

Хотя мастерами своего дела все трое были замечательными и безусловно великими.

Мне никогда не забыть один выпуск теленовостей в 11 часов дня на единственном еще тогда канале, который

позже стал Первым, в начале 1970-х годов в исполнении Игоря Леонидовича Кириллова. Термин «в исполнении» здесь самый точный и уникальный. Больше подобного никогда не было. Не знаю, была ли это личная инициатива диктора или он исполнил поручение начальства или режиссуры, но такое случилось. Кириллов своими словами рассказал все новости политики, общественной жизни, городских и сельских забот и дел. Мы были для него не просто зрителями и слушателями, а скорее – собеседниками, с которыми он делился просто по-товарищески, по-дружески, по принципу: я узнал и хочу, чтобы вы тоже знали... Я смотрел этот выпуск дома, и Кириллов был у меня в гостях и в гостях у миллионов моих сограждан. Почему-то ничего подобного в Новостях ЦТ больше не было, видимо, кому-то не понравилось и это прекратили после первого опыта. Нечто похожее повторилось через много лет, когда Кириллов стал сотрудничать со «Взглядом», приходил в свитере, садился на диван и рассказывал новости вместе с Листьевым, Мукусевым, Любимовым, Политковским... Это было в другое время, на другом телевидении и для другой страны...

Как-то при встрече в Останкине я попытался расспросить Кириллова о том выпуске новостей, как он случился и почему остался единственным. Игорь Леонидович мягко улыбнулся:

– Саша, это было так давно, вы, наверное, только один про это помните...

Больше ничего не сказал, но по его лицу и взгляду я понял, что по крайней мере есть еще один человек, который про это знает и помнит, но не хочет говорить...

У Виктора Ивановича Балашова была своя минута вольности в эфире – это «...и о погоде!» Тут он тоже говорил «своими словами», по-своему трактуя данные о температуре воздуха, осадках в виде дождя и снега, ветрах и атмосферных явлениях. Иногда попадал впросак, путал знаки тире и минус. Помню, как в июльский день он сам удивился, какая аномалия грозит температуре воздуха «от 21 градуса тепла до минус 23 градусов». Удивился и пояснил: «Тут так написано, просто невероятность какая-то!»

Помню, как в октябре 1968 года в пятидесятилетие ВЛКСМ в космос полетел Георгий Тимофеевич Береговой, самый пожилой на то время отечественный космонавт, участник войны, летчик, уже отмеченный за боевые заслуги званием Героя Советского Союза, так что, вернувшись из космоса, он стал дважды Героем страны. Традиционная звездная эстафета новостей пришлась на начало ноября, на преддверие Октябрьского праздника. Я по какому-то поводу был в Москве и благодаря коллегам проник в студию, где готовилась передача... Ко мне подошел Виктор Иванович Балашов со стулом в руках:

– Саша, вы должны мне помочь: найдите и принесите мне сюда любую газету, желательно потолще, на каком угодно языке. Не спрашивайте, зачем и почему, – так мне надо!

Я вышел из студии, предупредил милиционера, что скоро вернусь, и прямо у лестничного марша на подоконнике обнаружил кем-то забытые «Московские новости» на английском языке.

– Очень хорошо! – встретил меня Балашов. – Вы так мне помогли...

Со стулом и с газетой в руках он потоптался у входа в студию, мысленно что-то прикинул, поставил стул на пол, сел и развернул газету. К нему бросился Фокин :

– Витя, ты чего тут делаешь? Здесь сейчас Береговой пойдет...

– Ну и хорошо, мне он и нужен...

Я не знаю, услышал ли эти слова ведущий программы, потому что заиграла музыка, и его смело на рабочее место.

Береговой под овацию вошел в студию и сразу оказался в плену у Виктора Ивановича:

– Дорогой Георгий Тимофеевич, я встречаю и приветствую вас как ветеран войны ветерана войны. Я прошу подойти к нам участников Великой Отечественной войны, которые пришли на эту встречу с первым космонавтом-фронтовиком...

(Между прочим, первым участником Великой Отечественной войны среди советских космонавтов был Константин Петрович Феоктистов – бортинженер первого «Восхода» в экипаже с командиром Владимиром Комаровым

и врачом Борисом Егоровым. Подростком он был удостоен боевой медали.)

И фронтовики пошли к Балашову и Береговому, пожимали руки, обнимали, поздравляли... Надо было видеть побледневшее лицо Юрия Валериановича Фокина. Но растерялся он лишь на мгновение, а через мгновение возглавил организованное Балашовым мероприятие, оттеснив того в сторону:

– Садись и читай газету, не мешай мне работать...

Балашов потом говорил мне: «Фокин зря сердится, я же просил его: придумай мне мизансцену для участия в передаче... Пришлось действовать на свой страх и риск. Но, согласись, хорошо получилось...»

Помню, как Балашов приезжал к нам в Горький на студию телевидения. Я с ним был знаком благодаря моим репортажам в программе «Время». Иногда я перегонял по релейке «немую» пленку и текст к ней для прочтения московским диктором. В этом случае Балашов звонил мне в Горький: уточнял названия колхозов и заводов, фамилии людей, обязательно – ударения в словах.

Мы попросили его принять участие в эфире «Горьковских новостей» и прочитать их вместе с нашим диктором Женей Новиковой. Он согласился, но попросил заранее никого не предупреждать, пусть я появлюсь у вас в эфире неожиданно и даже пусть пойдут слухи, что я переехал на работу в город Горький.

Он появился в павильоне в отутюженном голубоватом пиджаке, темном галстуке в горошек и светлой переливчатой рубашке.

А внизу – о ужас! – старые выцветшие джинсы, которые когда-то были голубыми. На ногах растоптанные желтые кроссовки.

– Это мой обычный эфирный прикид! – пояснил он. – Не знаю, как в Горьком, а у нас Останкине дикторам шьют только новые пиджаки. Без брюк. И обувь не покупают. Внизу носите, что хотите, все равно не видно. Моему коллеге Игорю Кириллову к «Песне года» забыли сшить брюки, пиджак сшили, а брюки надел от старого магазинного костюма...

ОБЫЧНАЯ СИТУАЦИЯ В КОСМОСЕ: ГЛАЗА СТРАШАТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ...

Место короткой дружеской «стыковки» в кафе «Беркут» на Дубравной улице в Сормове космонавты назначили сами еще за неделю до поездки из Москвы через Нижний Новгород в Чебоксары. Ехали они в Чувашию, чтобы перед Днем космонавтики поклониться и возложить цветы на могилу своего товарища космонавта-3 Андрияна Григорьевича Николаева. А в «Беркуте» подобная встреча с дороги была не первой, здесь уже бывали гости из Звездного городка, ведь названо кафе космическим позывным славного покорителя небесья космонавта-4 – Павла Романовича Поповича. П.Р. Попович и А. Г. Николаев в 1962 году на кораблях «Восток-3» и «Восток-4» совершили первый в мире групповой полет в космос.

Дважды Герой Советского Союза Владимир Александрович Джанибеков и Герой Советского Союза Анатолий Николаевич Березовой – ровесники, оба родились в 1942 году, оба в 1970 году были зачислены в отряд советских космонавтов. И наш разговор начался с того, как обычные военные летчики становятся кандидатами в космонавты.

– Было объявлено собеседование, все желающие могли записаться, – вспоминал Владимир Джанибеков. – Я встал в очередь, прошел собеседование. А дальше открылись ворота в ростовский госпиталь, куда сразу пошли доблестные пилоты ВВС.

– Вообще-то желающих стать космонавтами в этом наборе было 1150 человек, – пояснил Анатолий Березовой. – В Ростов было направлено 150. А в авиационный госпиталь в Москву из 150 были допущены лишь девять человек.

– Семь летчиков и два инженера, – уточнил Джанибеков. – А что же остальные, спросите вы. А остальные получили диагнозы! И ограничения по полетам, а кое-кто из пилотов был вообще списан и уволен со службы. Так выглядит первый риск для того, кто пытается стать космонавтом. Можно легко поломать себе карьеру, которая уже есть.

На медицинское обследование у нас ушло в сумме 4 месяца. Особенность проверок здоровья была такая: то день за днем обследования, обследования, обследования, а потом 3-4 дня ничего. И эти паузы изматывали и волновали. Представляете, здоровые мужики ничего не делают день-два-три, ну и пошли откаты. Не выдерживали это состояние ожидания. Нервничали. И потом узнаем: этот ушел, тот ушел. Другой товарищ озабочен, а что ему там написали. И ходит в поисках своей толстой медицинской книжки, чтобы полистать, к сестричкам пристаёт. И не догадывается, что это тоже проверка и что о нем от сестричек идет информация, мол, нервный очень, терпеть и ждать не может. А это называется медико-функциональное обследование. И в 7-м отделении госпиталя смотрят буквально все. И в итоге – все! Свободен. Или говорят: ждите, может быть, пригласим. А может быть, и нет. Месяц там пролежал, а потом улетаешь к себе в часть. И, если не комиссован, опять работаешь, а вызовут или нет, никто не знает. А потом вдруг телеграмма: срочно завтра должен быть там-то. Потом мандатная комиссия, на которой многие срезались. Одному из ребят – Валерию – сделали две операции по мелочам, чтобы что-то подправить в организме. А на мандатной комиссии задают ему вопрос: «Когда летала Валентина Терешкова? И какие задачи решались в ее полете?»

А он ничего и не смог сказать. Не врубился.

Ему говорят: ты же был месяц в госпитале, там большая библиотека, по космосу там во всяком случае собра-

но. Хорошая библиотека в госпитале. Его спрашивают: и что ты там читал? А он отвечает: Александра Дюма всего прочитал. Ему говорят: ну и читай своего Дюма и оставайся летчиком... Много разных смешных и грустных вещей происходило.

Березовой вспомнил, как в самоволку уходил.

– Центральный госпиталь обнесен большим забором, а за забором было озеро. Гражданские лица там купались, загорали, я через забор – и туда. И ни разу не попался, поэтому и оказался в отряде.

Встреча происходила на второй день Пасхи, и как-то само собой возник вопрос об отношении к религии. Анатолий Березовой охотно откликнулся:

– Что могу сказать? Неверующий я. Правда, не скажу, что – совершенный атеист. Когда мои друзья – настоящие верующие – из Московской епархии спрашивают меня об этом, я им говорю: поймите – мой путь к храму только начинается. Они соглашаются – это очень правильно. Главное – сделать первый или второй шаг, а когда ты придешь к своему храму, это уже не важно. Иногда человек приходит в веру в силу каких-то экстремальных ситуаций. Вот я знаю священника Петра, который служил на подводной лодке. Случилась авария. Из 100 человек спаслись только 25. И он в числе этих 25. Я его спросил: а что ты чувствовал, Петр, когда спасался? А он говорит: обратился к Богу – Господи, если я спасусь, то буду всю оставшуюся жизнь служить тебе. Он выскочил из торпедного аппарата в снаряжении, его спасли. И после этого он окончил семинарию, потом академию, а сейчас – большой человек в Московской епархии. Я ему верю, потому что он не чиновник со свечкой, его вера основана на спасении, он поверил и спасся. А ведь очень много священников, которые сплошные шарлатаны. Помнишь, Володя, того попа из Сергиева Посада, смотришь на него, а у него глазки плотно стреляют по прихожанкам, он не о вере думает, а совсем о другом. Мы-то тоже посматриваем на красивых девушек и женщин. Но нам, как говорится, сам бог велел. А ему нельзя... А я уже не полный атеист, но еще и неверующий, я где-то так на дорожке, которая ведет тихонечко к храму.

Может быть, приду к концу своей жизни к ступенькам храма. Вот так.

Джанибеков слушал друга с улыбкой, а потом пошутил:

– Это же у тебя такая уловка, чтобы еще пошкодить, пошалить побольше и чтобы как можно дольше идти по дорожке...

Березовой не спорил:

– А что здесь плохого, Володя?

Конечно, спросили об отношении к НЛЮ. Сейчас можно от многих узнать, что видели, слышали, что-то неведомое ощущали.

Джанибеков был категоричен:

– Не видел, не слышал, не ощущал.

Березовой повторил слово в слово:

– Не видел, не слышал, не ощущал.

Оба признались, что тема эта им самим интересна, сами держали в руках фотографии с НЛЮ.

Когда один из нас, собеседников, заметил, что космонавты серьезные люди, а значит, должны владеть точной информацией, Джанибеков переспросил:

– Космонавты – серьезные люди? В первую очередь они люди, хотелось бы верить, что серьезные. Люди любопытные, пытливые, с большой фантазией.

Тему поддержал Березовой:

– Многие считают, что мы что-то знаем и скрываем.

Я вам так скажу: когда ты действующий космонавт, и тебе сверху говорят: если ты что-то видишь, то помалкивай, – пока помалкивай. Пока находишься в обойме. А если я уже давно пенсионер и ни от кого не завишу, кроме своей семьи, своей жены и своих детей, даже от правительства не завишу, от президента нашего не завишу, то какого черта мне это утаивать, если да, сказал бы да, а если нет, то и говорю – нет!

Я спросил:

– Отбор так же строго происходит, как раньше?

– Нет, проще, конечно, проще, – ответил Березовой.

А Джанибеков сострил:

– Просто сейчас таких здоровых людей уже нет, какими были когда-то мы, чтобы тот отбор выдержать...

Понятно, что говорили о полетах в дальний космос, к соседним планетам, например на Марс. И услышали в ответ от Анатолия Николаевича:

– А зачем нам лететь на Марс? Что мы оттуда привезем? В XXI веке нам на Марсе делать нечего. Я считаю, что куда важнее для нас наш земной океан. Обследовать его надо в этом веке. Мы только прикоснулись к нему. Давайте разрабатывать технологии, которые позволят нам очень интенсивно разведывать и осваивать океан. Будущее человечества не на Марсе, не на Венере, а в океане. Со мной кто угодно может спорить, но это моя точка зрения. Нам надо Землей заниматься. Если не будем заниматься Землей, все мы тут и загнемся.

– Вы говорите о конце света?

– Никакого конца света не будет, пока по нам не шарахнет что-нибудь из космоса. А как бороться с этим, пока никто не знает. Есть кометная опасность. Откуда неведомая комета прилетит, никто не знает. Просчитать ее траекторию трудновато. Но вопреки всем нынешним пророкам говорю: нам в обозримом будущем ничто не угрожает. Но надо работать, чтобы предотвратить опасности и в случае чего спастись в океане...

Владимир Джанибеков пять раз покидал Землю для работы в космосе. Что, каждый старт – как первый? Или опыт позволяет чувствовать иначе?

– Первый старт – слава богу, все экзамены позади, и отсюда меня уже не высадить.

Второй старт – уже начинаешь что-то понимать, но знаешь, что опять полный ЦУП дипкорпуса, хоть со мной монгол летит, но по предыдущим стартам мы знаем, что такое международный экипаж, кого там сейчас в ЦУПе только нет. Ты говоришь: Боженька, не дай осрамиться. А еще у меня было столько нештатных ситуаций, ни одного полета нормального не было, начиная с первого, когда за месяц мне поменяли бортинженера. Начинал тренироваться с монголом Газориком, а его поменяли на Гуррагчу. Его срочно пришлось учить и переучивать. В третий раз. С Сашей Александровым готовимся лететь на полгода, но заболевает Юра Малышев, которому предстоит полет

с французом, и мне перед Новым годом говорят: готовься, после 1 января с французом полетишь. Четвертый полет – Светочке Савицкой спасибо за то, что выбрала. А о пятом вообще не мечтал, хотя во сне он снился.

Березовой:

– Они же с Виктором Савиных пришли на станцию «Салют-7», которая практически была для нас потеряна. Она была холодная, безжизненная, вертелась как хотела. Без стабилизаторов, без всего. Они в нее вошли в шапках. Спасли, оживили ее. Она потом работала. До сих пор это самая большая операция в космосе по восстановлению такого большого объекта.

Джанибеков сравнил:

– Вот когда я купил списанную машину такси, потому что других денег не было и тогда вообще машину было купить трудно, то полгода я ее восстанавливал сам. Разобрал я полностью всю машину. Отодрал всю краску. Днище вывалилось полностью. И через полгода я ее вытащил. И она поехала. Ремонтировал из того, что было, практически без новых запчастей. Я находился тогда на подготовке к полету, а по ночам ремонтировал машину. И я ее сделал. А там на «Салюте -7» после такого гаражного опыта было проще: есть одни запчасти, есть вторые запчасти. Правда, вспоминаю с ужасом: когда разогрели станцию, то вот такой слой воды, а чего не захватили с собой с Земли – тряпок, нечем воду вымакивать, многие блоки электронные негерметичны, все равно что телевизор в воду погрузить и включить его, что он станет показывать?.. Ничего, справились. Глаза страшились, а руки делали. В космосе это обычная ситуация.

Разговор получился очень простой и откровенный, я бы сказал – домашний. Так что стало уместным задать «несерьезный» вопрос о том, как космонавты отдыхают на орбите, шутят, может быть, даже разыгрывают друг друга. Я вспомнил рассказ Юрия Петровича Артюхина, как он удивил Павла Романовича Поповича, когда проехал по нутру станции «Союз-13» верхом на действующем пылесосе.

– Коль уж к слову пришлось, расскажу об одном происшествии, которое меня поначалу даже испугало, пока не понял, что розыгрыш, – откликнулся на мой вопрос Анатолий Николаевич Березовой. – Случилось это в полной тишине, когда каждый из членов экипажа был занят своим делом. Выполняю эксперимент и полностью поглощен им. На минутку отвернулся от приборов, чтобы записать полученные данные в бортжурнал. И вдруг передо мной возникла, я бы сказал, жуткая физиономия странного незнакомца. От навалившегося страха у меня карандаш выпал. Журнал уронил. И тут же раздался испуганный вскрик Вали Лебедева. Мы тогда летали втроем: я, Валентин Лебедев и француз Жан-Лу Кретьен. Это он захватил в полет маску Квазимодо и два раза показался в ней передо мной и Валентином. А потом еще и перед операторами в ЦУПе, когда начался телевизионный сеанс с Землей. Шутку восприняли спорно, в итоге бы издан приказ с запретом брать на орбиту подобные маски, чтобы не пугать ни коллег по экипажу, ни операторов на Земле...

Родная сторона

Раиса КРАВЦОВА

п. Домбаровский, Оренбургская область

СТЕПЬ ДЕТСТВА

У каждого из нас есть своя прекрасная маленькая страна – малая родина. Где родился, где прошли детство, отрочество, юность... О своем заветном, заповедном месте на этой Земле я хочу рассказать.

Степь – колыбель цивилизаций. Вольный ветер между небом и землей носит запахи трав, пересекает бесконечные птичьи трассы, тревожит степной покой и память времени.

Степь. Зеленая, душистая, звенящая в разнотравье. Седая, волнующаяся в ковыле. Горькая полынная, знойная. Торжественно белоснежная, как праздничная скатерть, стылая, леденящая, зимняя. Но всегда живая, просторная, изумительная. Где бы ты ни был, какой бы красоты не увидел, ничто не может вытеснить из памяти образ родной степи, синий первоцвет, отчаянно пробивающийся из-под снега, разноцветье тюльпанов, пьянящий аромат созревающей пшеницы, запах чабреца, ромашки, пижмы, полыни. Степь имеет свой вкус, солоновато-горький. А еще кислого степного щавеля, сладкого паслена и земляники.

Она разная, моя степь. Порою звонкая, многоголосая, или тихая, умиротворенно дремлющая, или своенравная, грозная, гневающаяся...

Кто хоть раз попадал в пылевую бурю, будет помнить это всю жизнь. Стена плотной пыли, песка. В метре от себя ничего не видно. Волосы электризуются и поднимаются вверх, как антенны. Пыль проникает во все клеточки твоего тела, нечем

дышать. Спасает лишь то, что длится она недолго. Пятнадцать-двадцать минут, и весь этот кошмар уносится прочь.

Не менее зрелищны вихри в степи. Воронками, начинающимися где-то в облаках, закручиваясь, стремительно мчится по земле «ведьмина свадьба». «Не стой у нее на пути – закружит и унесет с собой», – говорила мама.

А какая гроза в степи! Фантастическое зрелище! Весь небосвод полыхает фиолетовым цветом, в воздухе стоит непрерывный гул – одновременно завораживающее и ужасающее действо, когда ты понимаешь, насколько беспомощен перед мощью и красотой разбушевавшейся стихии. Ощущение нереальности, будто попал на другую планету.

Зимняя степь очень коварна. Переметет пути-дороги, захоронит так, что потеряешь из вида все ориентиры. Растеряешься в этой круговерти. Метели устилают снежные дали снеговыми барханами, будто белым волнистым ковром. Порой ветра дуют и воют с такой свирепой выразительностью, что кажутся одушевленными. Тетушка-вьюга укрывает белым покрывалом дома по самые макушки, подпирает двери сугробами, не выбраться...

И все же зимняя степь прекрасна в своей белизне, серебром и драгоценными камнями посверкивая и переливаясь на солнце. Мудростью веков веет от этого холодного, белоснежного зимнего царства.

Степь преобразается весной, когда, насытившись влагой, повинувшись неписаным законам природы, оживает, откликаясь на солнечное тепло буйным цветением трав, покрывается пышным ковром нежных, неописуемо трогательных подснежников, тюльпанов, ирисов, горицвета. Перламутровыми волнами поблескивает безбрежный ковыльный простор. И, кажется, что это незримый художник круглый год меняет фон для картины.

Босоное детство зовет меня в степь. Пронзительным посвистом перекликаются сурки. Перебегают от норки к норке суслики, любопытными столбиками рассматривают тебя в упор. Куропатки внезапно выпорхнут из-под ног. Зайцы стремительно убегают наутек. Деловито перебежит дорогу лисица. Высоко в небе лениво парят коршуны. В жаркий июньский день воздух наполнен несмолкаемым жужжанием пчел, стрекотом кузнечиков. А под вечер все затихает.

В конце лета и осенью в ковыльной степи при ветреной погоде можно увидеть, как над буро-желтой, выгоревшей от солнца травой прыгает легкий, почти прозрачный мячик. Он то приземляется, то, оттолкнувшись от земли, летит по ветру. Встретившись и обнявшись, как добрые знакомые, два мяча сцепятся и летают вместе, к ним присоединяются еще несколько таких же легковесных мячей, и вот по степи уже катится целый вал, забирая в себя мячи-одиночки. Это перекаати-поле (курай). Ветер подхватывает и несет шаровидные кураи иногда на десятки километров.

Судьба степи моего детства сложилась драматично. Всем миром осваивали целину, выращивали хлеб, но при этом, распахивая все новые и новые гектары целинных земель, люди не заметили, как сохранившиеся остатки ковыльного простора стали настолько редкими, что пришла пора объявить их памятниками природы. Растительность Оренбургского края длительное время подвергалась воздействию человека, в результате чего некоторые виды растений исчезли, другие оказались на грани исчезновения. В Красную книгу Оренбургской области занесено более сорока видов растений. В их числе наши степные тюльпаны и ковыль.

С грустью смотрю на тюльпаны в руках детей. Белые, желтые, красные, нежно-розовые – разноцветные драгоценные чаши с черными серединками. Как же они пахнут! Майским ветром, вольной волей, свободой... Степью пахнут... Сколько они простоят дома? День-два... А степь детства этих мальчишек и девчонок с каждым годом беднее и беднее.

Останавливаю детвору, объясняю, что степную красоту нельзя поместить в вазу, ей нужен родной простор, воля, земля и небо, степь. Почему? Потому что у их будущих детей и внуков спустя много лет тоже должна быть цветущая степь их детства, дороже которой ничего нет.

Время летит быстро, мальчишки и девчонки повзрослеют. Разъедутся, разлетятся. Но память вернет обратно. Заскучают по родному дому, по своей степи. Затоскуют о светлом покое ее холмов и курганов, о тихом шепоте ковыля, о малой родине, где они появились на свет. Дай Бог, чтобы все это сохранилось. Дай Бог!

Литпроцесс

Эдуард КУЗНЕЦОВ

ВПЕРЕДИ ПАРОВОЗА

(О предисловиях)

Все, кто когда-либо задавались целью выпустить в печати книгу, сталкивались с проблемой: нужно ли снабдить книжные тексты предисловием, и если нужно, то каким оно должно быть – от самого автора или от какого-то уважаемого специалиста. Это не означает, что книга обязательно должна выйти с предисловием, но всё же (особенно, если издание носит характер сводного или итогового) некоторое предуведомление читателей не было бы излишним. Ведь в нём можно привести не какие-то абстрактные рассуждения, а сведения и полезные и интересные. Например, об авторе: кто он, когда и где родился, чем известен, каковы его взгляды на окружающую действительность. Рассказывать об этом может сам автор, критик или литературовед, составитель или издатель книги. В этих случаях предисловие может иметь разные заголовки: «От автора», «К читателю», «От составителя», «От издателя», «О себе» и т. п. Кстати, и находиться такие сведения могут не обязательно перед текстом, но и после него; таким образом предисловие вполне может оказаться послесловием.

Нередко авторы начинают лукавить и оснащать свой труд вступлением под заголовком «Вместо предисловия». Это оправдано в том случае, если действительно вместо

предисловия оказывается какое-то вводное стихотворения, притча, сентенция, автобиография в оригинальном исполнении и т.д. Правда случается, что автор пускается и в чересчур серьёзные рассуждения не только о себе, но и о своём времени, о политике, литературе, коллегах по перу...

Длинные предисловия читатели не любят, и короткие не всегда читают; и в этом бывает своя логика. Читатель настроился на поэзию или прозу, а ему предлагают пространственные рассуждения, к тому же не всегда интересные. Не случайно появилась избитая фраза: «Давайте без предисловий; ближе к делу».

Интерес к предисловию может возбудить его автор, особенно в тех случаях, когда оно написано крепким специалистом, знатоком своего дела, прекрасно разбирающимся в предмете разговора. Но даже и среди мэтров немало тех, кто неважно владеет пером, сбивается с естественного тона на канцеляризм и шаблоны. Неслучайно А. Флит в преамбуле книги «Таланты наизнанку» не отказал себе в удовольствии поиздеваться над таким безграмотно-профессиональным стилем: «Предлагаемая читателю книга не лишена, по мнению автора, некоторых чёрточек, заслуживающих внимания, и представляет собой небезлюбопытный опыт и небезрезультативную попытку заострить, выявить, выпятить и оттенить не без целеустремлённости ту или иную небесхарактерную черту того или иного небесталантливого писателя».

Справедливости ради, надо отметить, что среди авторов предисловий немало знаменитых и заслуженных авторитетов. И даже если количество их работ на поприще вступительных статей вызывает помимо удивления ещё и усмешку, то и усмешка эта получается не издевательской, а уважительной, как это прозвучало в эпиграмме А. Архангельского на наркома просвещения А. Луначарского – мастера толковых предисловий к книгам самых разных авторов:

О нём не повторю чужих острот.
Пускай моя звучи свежо и ново:
Родился предисловием вперёд
И произнёс вступительное слово.

Не всегда обычными бывают предисловия к книгам сатириков. Как будто особенной надобности в них не требуется, но, как говорится, авторам видней. В таких вступлениях любопытны бывают не столько мысли авторов, сколько манера их изложения. Ирония, остроумие здесь играют решающую роль, и горе тому, у кого эти аргументы оказываются в дефиците.

Нередко в автопредисловиях сатирики вступают в заочную дискуссию с потенциальным читателем (о понимании сатиры и юмора, об их месте в жизни общества и др.). Полемический задор может достигать разной степени остроты. Например, даже в самый пик популярности пародий А. Иванова среди пародированных поэтов росло недовольство и обиды его чрезмерно желчными нападками. Время от времени их претензии прорывались на страницы периодики. Иванов реагировал по-разному: и в интервью, и в статьях, и в предисловиях. Открывая книгу «Красная Пашечка», он писал:

...Видал я, как водится, виды
И всё же сатиру люблю!
Увы, не рубли, а обиды
Писателей наших коплю.

Стезя сатириков не проста и подвохов можно ожидать не только от читателей, но и от вышестоящих органов. Иногда авторы считают необходимым превентивно принести покаяния, упредив упрёки со стороны. Вот краткие выдержки из предисловий. А. Рейжевский: «Приступая к работе над этой книгой, автор знал, на что идёт, и всё-таки пошёл». Соавторы И. Игин, А. Иванов, А. Рейжевский: «Не падая духом, мы готовы испить полную чашу упрёков на троих». Авторы книги «О двух концах» А. Иванов и А. Рейжевский о своём творческом союзе писали:

Пусть дуэтом до седин
Будет век наш прожит:
Столько глупостей один
Написать не может.

Иногда вступление – всего-навсего аннотация к последующему содержанию. Делается оно с разной степенью напористости, информативности, остроумия. Зачастую потребность в таких предисловиях отсутствует, но авторы ими не пренебрегают. Ф. Грек к книге «Смех и... Грек»:

Зима на дворе или осень –
Улыбка нам дарит уют.
Читатель наш! Милости просим
Пожаловать к нам на дебют!

Нельзя сказать, что создание предисловий было пущено на самотёк. Было несколько юмористических попыток проклассифицировать это литературное явление и каждой его разновидности придать некую типовую форму. В заметках А. Раскина «К вопросу о предисловиях» предлагались разные подходы к составлению разножанровых вступительных сообщений: для производственного романа, для юмористических сборников, для поэтических книг, для переводной литературы.

В каждом из приведенных «типовых» предисловий был намечен конфликт положительного с отрицательным. К производственному роману – между героиней и... болванкой: «Жизнь производства показана через молодую работницу Глашу, что придаёт книге неповторимый колорит свежести и непосредственности. Сама Глаша, к сожалению, не запоминается, образ её расплывчат. В сущности, настоящей героиней романа является первая болванка, рождение которой описано с подлинным вдохновением и поэтическим видением. Болванка встаёт перед читателем как живая, во весь рост, со всей своей неповторимой индивидуальностью». В юмористическом сборнике конфликт развивался по линии «смешно – не смешно»: «Рассказы современные, злободневны. Все проблемы, поставленные автором, разрешаются совершенно правильно. Чувство юмора, однако, иногда изменяет талантливому автору. Некоторым недостатком данного сборника является, пожалуй, отсутствие хотя бы одного по-настоящему смешного рассказа. Это больше, чем мало». Ну, а в зарубежном переводном романе просто ничего хорошего и быть не могло:

«Правильнее всего было бы назвать книгу записками крысы, живущей на дне помойной ямы... Вся грязь и гниль, характерные для капиталистического строя, воспроизведены здесь с поистине ужасающей точностью».

Начитавшись всевозможных предисловий, сатирики довольно точно выявили их слабые стороны. Это послужило поводом к попыткам создания некоего универсального предисловия, которое бы вобрало в себя все характерные черты этих многострадальных очерков. Какие же негативные моменты были отмечены сатириками? Во-первых, не всегда уверенное знание материала, о котором берутся писать «предисловщики». Во-вторых, стремление блеснуть эрудицией. К этому надо добавить явную или замаскированную саморекламу, ну, и остальные мелочи – стремление к стилевым «красивостям», перебор с цитатами и др.

Всё это попытался уместить в универсальном предисловии С. Лившин. Оно написано от лица человека, весьма поверхностно знакомого с литературой, мало осведомлённого в творчестве поэта, о котором взялся писать, путающего его с другими авторами, выдумывающего несуществующие цитаты и перевирающего цитаты существующие, постоянно ссылающегося на себя любимого по любому поводу. Выдержки из предисловия: «Признаюсь, когда я прочёл на обложке название книги “Ритмы”, в лицо мне как бы пахнуло озорной, бедовой, юной моей молодостью». «Но, рекомендуя читателю первую повесть молодого литератора, я не могу забыть о словах, сказанных в несколько иной ситуации мастером, вышедшим, подобно мне, на просторы литературы из маленького захолустного городка: “Первый блин всегда волнителен”. Читатель, вне сомнения, догадался: эту мысль впервые сформулировал Марк Твен». И далее: «В унисон с этой глыбой зарубежной новеллистики я мог бы предъявить некоторые претензии к первой пьесе начинающей неофитки»...

Затрагиваются сатириками и предисловия не только к литературным изданиям. Во все времена были популярны краткие общеобразовательные пособия, в которых содержались сведения-выжимки из разных сфер научной деятельности (по истории, астрономии, ботанике и пр.).

Они позволяли занятым людям упростить усвоение наук так, чтобы каждый, заимев справочник, «мог носить свои знания в кармане брюк». Вот несколько положений из предисловия к такому пособию, составленному С. Ликом: «В голове у каждого из нас есть что-то вроде чердака, где хранится всякая всячина. Чем её больше, тем более образованным считается человек». «Различают три вида образования: всестороннее, классическое и среднее. Всесторонне образованы обычно лишь очень старые люди. Человек, получивший классическое образование, практически уже больше не годен ни на что. Среднее образование – это вообще не образование». «Но, даже получив образование, люди часто не знают, что с ним потом делать».

Впрочем, бывают и серьёзные, многозначные предисловия, в которых озвучиваются глубоко продуманные мысли и выводы, становящиеся порой определяющими для целых поколений и направлений литературы. Правда, в последнее время всё чаще новые идеи основываются на радикальных преобразованиях, связанных с разрушением традиционных форм и устоев. Ю. Ивакин в далёком уже 1968 году, представляя («от публикатора») творчество воображаемого западного модерниста, вложил в его уста соображения о неограниченной свободе творца. Полвека тому назад эти мысли были достаточно новы и фантастичны, но сейчас они воспринимаются обыденно и рутинно. Не только идеи эти остались в прошлом, но и практика, основанная на их положениях, широко вошедших в жизнь, уже не оригинальна. Вот всего лишь отрывок из предисловия выдуманного Алоиза Бубуса:

Ещё в своей ранней книге «Копыто Буцефала» (1932) я понял, что поиски рифмы унижают поэта, и отказался от рифмы. Вскоре, убедившись, что ритм современности – это отсутствие ритма, я встал на пути деритмизации. Это был нелёгкий путь, но я прошёл его до конца (сб. «Гопки, жаба!»). Освободившись от диктата ритма, я смело отказался и от стихотворных строк (сб. «2x2=?»). Некоторые критики наивно упрекали меня, что я выдаю за стихи прозу. В ответ я отказался от знаков препинания (сб. «Ночной крик»). Естественно, что в дальнейшем я освободил свой стих

от оков правописания («Аббревиатуры»). Издав этот последний сборник, я вздохнул с облегчением: наконец-то я понял, куда иду и чего хочу. Моим следующим шагом был отказ от синтаксиса: поэт должен быть суверенным в сочетании слов! Десинтаксизация сорвала путы с моего поэтического таланта: в течение года я издал пять сборников.

Однако это не принесло мне полного удовлетворения. Я сначала интуитивно почувствовал, а потом ясно осознал, что слова мешают творчеству, что они не могут воплотить ни моей мысли, ни моего подсознания, что слово по самой своей природе – консервативно и реакционно. Наконец, я понял, что не имею морального права навязывать читателю свои слова и свои чувства, унижая тем самым его Личность, его Я, его Достоинство. И я решил отказаться от слов и букв.

Естественно, что после такого предисловия следовало несколько пустых страниц: автор предоставил читателям абсолютную свободу.

Одной из главных составных частей предисловий можно назвать личную оценку представляемой книги. По-разному пишут об этом: кто-то жёстко и категорично, кто-то походя и невразумительно, другие, что называется, «и вашим и нашим». В некотором роде искусством предисловий является лавирование между твёрдыми «да» и «нет», постоянное сползание от достоинств анализируемой книги к её недостаткам. Вот как иронизирует А. Архангельский по поводу автора, пытающегося одновременно и обвинить и оправдать писателя, чтобы самому не попасть впросак и подстроиться под возможные оценки со стороны (фельетон «Взгляд и нечто, или как пишутся предисловия»).

Предлагаемая читателю повесть «В застенках любви», мне кажется, едва ли может быть включена в число произведений, звучных нашей, мне кажется, столь бурной и плодотворной эпохе.

Тем не менее она любопытна как образец творческой практики автора, не овладевшего, мне лично кажется, диалектическим методом.

Поэтому крайне поучительным и небезынтересным будет, мне кажется, наше знакомство с ошибками и недостатками, в немалом количестве встречающимися, мне кажется, в повести...

Конечно, было бы, мне кажется, излишним с нашей стороны требовать от автора правильного анализа событий и человеческих поступков, тем не менее в мотивировках автора, хотя и неточных, мы видим, пусть не совсем удачные, пусть крайне наивные, но тем не менее, мне лично кажется, искренние попытки овладеть творческим методом...

Как я уже сказал, повесть не лишена достоинств, хотя, с другой стороны, имеет ошибки и недостатки, над которыми, к сожалению, не превалирует первое качество.

В какой-то степени этот фельетон можно рассматривать как ответ Архангельского на предисловие Леопольда Авербаха к его книге «О Бабеле, Гладкове...» (М.–Л.: ЗИФ, 1930), в которой знаменитый в то время критик не нашёл ни слова для положительной оценки. Вот выдержки из его предисловия: «Книжка показывает наиболее наглядно недостатки работы талантливого пародиста». «Есть пародии неудачные – с разных точек зрения и поразному». И далее – неудачна пародия на крестьянского поэта, злее должна быть пародия на Клычкова, совсем мало удачна пародия на П. Романова... И резюме: «Мне кажется, что т. Архангельский не всегда достаточно ответственно относится к тому жанру, в области которого он интересно работает».

Практически рецензент представил («мне кажется...») книгу как слабую и провальную. Это было вполне в духе Авербаха: его мнение в начале 30-х годов считалось непогрешимым. Как писал А. Безыменский:

Чудак! Не согласен с самим Авербахом.
Ну, ясно, что кончит позорнейшим крахом.
Приди к Авербаху! Склонись перед ним.
Немедленно будешь любим и хвалим.

Не получилось дружбы между Архангельским и Авербахом, они разошлись, задев друг друга негативными предисловиями.

Правда, среди опытных читателей советских времён существовало устойчивое мнение по поводу критических выступлений рецензентов и авторов предисловий: они

считали, что в первую очередь надо читать именно те книги, что обруганы официально, а те, о которых отозвались положительно, можно отложить на потом или не читать вовсе. Конечно, это служило малым утешением авторам, негативно представленным читателям. Но они не собирались терпеливо копить обиды и нередко вступали в спор со своими оппонентами. Страницы предисловий для этих целей ими использовались неоднократно. Ещё М. Лермонтов в предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени» иронизировал по поводу критиков романа, давал им отповедь и в непонимании образа Печорина и в несостоятельности упреков по исправлению пороков, вступал в спор с теми, кто чересчур буквально представлял задачи литературы.

В авторских предисловиях постоянно прочитывается стремление что-то объяснить, в чём-то оправдаться, что-то уточнить. У каждого это звучит по-своему: у кого-то наступательно, у кого-то извинительно, у кого-то покаянно. Например, А. Иванову неоднократно предъявлялись претензии о придирах в пародиях к отдельным строчкам, к цитатам, произвольно вырванным из контекста, к тенденциозно подобранным эпитафиям. Пародист ответил в предисловии к книге «Осколки диалектики»:

...Мне говорят: работаешь не чисто,
Со строчками, сатирик, не борись.
Эпитафия – это слабость пародиста,
Не можешь, дескать, лучше не берись.

Пусть всё цветёт на нашем огороде,
Посмотрим, что в итоге победит.
Вот книга БЕЗЭПИГРАФНЫХ пародий...
Но, может, и она не убедит?..

Конечно, она никого не убедила: перед читателем оправдаться трудно. Чтобы чужое мнение не вывело автора из равновесия, желательно, чтобы он имел устойчивую психику, «толстую кожу» и уверенность в собственных силах. Плохо только, что чувство правоты зачастую перерастает в самоуверенность, а то и в чувство превосходства, как это,

например, прочитывается в знаменитом предисловии Козьмы Пруtkова: «Я поэт, поэт даровитый! Я в этом убедился, читая других: если они поэты, так и я тоже!..» «...Я хочу славы – слава тешит человека. Слава, говорят, дым: – это неправда! Я этому не верю!».

В некоторых случаях авторские предисловия превращаются в неприличные самовосхваления, в которых теряются границы не то что скромности, но и просто здравого смысла. В. Ардов от имени поэта Кс. Свистицкого опубликовал такой вариант предисловия:

Уступая настоятельным просьбам издательства, я отдаю в печать самые ранние из моих произведений. Всё, что вошло в этот том, написано мною в возрасте от 7 до 11 лет. (Желающих познакомиться с тем, что мною сделано в 11–14 лет, отсылаю к 3-му тому полного собрания моих сочинений)... Поэтому, повторяю, я склонился на доводы издательства и решил: чего там, надо издавать, неравно ещё пропадёт что-нибудь, так человечество и останется на бобах: не узнает, чего такого я писал в детстве»

Но не только в предисловиях к своим книгам бахвальство выходит на первый план, оно прорывается и в предисловиях к книгам других авторов. А. Раскин поиздевался над саморекламным предисловием нескромного поэта к сборнику друга-стихотворца:

Автор этой книги – превосходной души человек. Как сейчас помню случай ещё из времён нашей школьной жизни. Садясь на подставленное мною перо, Коля добродушно сказал:

– Ну и острое же у тебя перо...

В этот момент он гениально провидел моё будущее. Действительно, перо у меня острое. Пишу я выразительно, ярко, красочно. Подробнее об этом читатель может узнать из Колиного предисловия к ряду моих книг...

Какое уж тут дело автору до Колиной книги!

Мы привыкли, что предисловия должны что-то объяснять, растолковывать, приоткрывать завесу... Но оказывается, что существует и прямо противоположная задача: с

помощью предисловия ввести в заблуждение. Самый яркий пример из отечественной литературы – предисловие А. Пушкина к «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина». Мало того что Пушкин приписал свои произведения Белкину, он ещё в предисловии пытался убедить читателя в достоверности существования выдуманного автора: привёл подробнейшие сведения о нём, его семье и жизни. То же и у Лермонтова, приписавшего «Тамань», «Княжну Мэри» и «Фаталиста» перу Печорина. Предисловие к журналу Печорина он начал с сообщения о его смерти и о случайности оказавшегося журнала в руках публикатора.

Немало случаев в истории литературы, когда люди пишут под чужими именами (псевдонимы), но гораздо реже, когда выдуманные имена с помощью мистификационных предисловий оснащаются конкретными жизненными реалиями. Тут, конечно, вне конкуренции знаменитый Козьма Прутков. Но было немало и других масок, выдаваемых их авторами за конкретных людей: У Н. Добролюбова – Конрад Лилиеншвагер, у Д. Минаева – Михаил Бурбонов и др. У всех у них был свой литературный почерк, своё мировоззрение и свои предпочтения, далёкие от прогрессивных взглядов.

Литературные маски широко использовались для создания несуществующих авторов и в советские времена. Л. Никулин не только выдумал образ Анжелики Сафьяновой и её стихи, но в предисловии к её сочинениям наметил её родословную. М. Шагинян, выпустившая роман «Месс-Менд» от имени некоего Джима Доллара, подробно описала его жизнь и творчество. Более того, в предисловии к её книге директор Гослитиздата подтверждал существование этого автора – американского рабочего. Много напридумывали и поэты-сатирики. Ими созданы вымышленные фигуры Технорука Н., А. Кошмаркова, Е. Самоварщикова, Е. Сазонова... В предпосылаемых заметках к их стихам с разной степенью достоверности описывались творческие и общественные лица выдуманных поэтов.

Мистификации в основном использовались для не совсем серьёзного розыгрыша читателей при представлении им творчества несуществующего автора вместе с легендой

о его якобы реальном существовании. Но не всегда подобные фантазии можно было посчитать всего лишь литературной игрой – порой они совершались с вполне серьёзными целями. М. Салтыков-Щедрин к «Истории одного города» дал сразу два предисловия: «От издателя» и «Обращение к читателю». Оба имели целью объяснить появление «Истории» не выдумкой сатирика, а реальными, якобы существовавшими летописями, что дополнительно сообщало фантастическим и пародийным рассказам некоторую правдоподобность.

Обычные факты о разных предисловиях можно дополнить не совсем традиционными сведениями, отличающимися некоторой экстравагантностью. Во-первых, это касается их названий. З. Паперный предисловие к альбому А. Раскина и Кукрыниксов «Это я?» назвал «К чему предисловия?». М. Дудин к книге В. Суслова «Лично известны» написал предисловие «Вместо предисловия». А. Арканов предисловие к книге А. Кнышева обозначил требованием «Внимание!». И, во-вторых, – касается их фактического содержания. Ф. Достоевский так завершил предисловие к «Братьям Карамазовым»: «Ну вот и всё предисловие. Я совершенно согласен, что оно лишнее, но так как оно уже написано, то пусть и останется». А вот Арканов предисловие к книге Кнышева начал в необычной манере: «Я, Аркадий Арканов, будучи абсолютно трезвым, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, хочу заявить, что вы держите в руках совершенно замечательную “Тоже мне книгу”».

В 1910 году Е. Венский в разделе «От автора» в книге «Моё копыто» заявил: «В “Моём копыте” помещена вся ерунда, когда-либо приходившая мне в голову. Прочитайте». Чтобы уже совсем эпатировать читателя, он в послесловии предложил юмористический вариант своей автобиографии: «Писал я немного, но хорошо. Книги мои: “Анна Каренина”, “Бесы”, “Отечественные записки”, “Весёлые устрицы”... встречались публикой в своё время хорошо, – и читаются теперь...»

А вот книге М. Казовского «Персона нон грата» предшествовало предисловие автора в виде отчёта о проделан-

ной работе. При внимательном его прочтении нельзя не обратить внимания на его острую сатирическую направленность. Тем, кто ещё помнит перестроечные годы, не надо объяснять, что путанные отрывочные фразы предисловия воспроизводят бестолковую речь М. Горбачёва. Это тем более очевидно, что книга Казовского вышла в свет в 1986 году, в разгар политической карьеры генерального секретаря. «Со временем выхода предыдущей книжки. Как было намечено. Ещё выше. Ещё глубже. Ещё шире. И это в принципе для меня характерно. Всего лишь три года назад. А теперь уже. И давно. И прочно...

...Исходя из, буду и впредь. И выше. И глубже. И шире. С творческим подъёмом. Прямым курсом. Неукоснительно. Так как знаю. И это – залог!»

Много предисловий написано, пишется и ещё будет написано. Нужны ли они читателю? Кто-то и не мыслит издания книги без вступления и начинает ознакомление с ней именно с предисловия, кто-то относится к преамбуле равнодушно и не обращает на неё никакого внимания, а есть те, что их просто терпеть не могут.

Тем не менее книги издают, а предисловия к ним пишутся и публикуются. Желательно только, чтобы читать их было и познавательно, и интересно.

Книжная полка

Валерия БЕЛОНОГОВА

«...ЖИТЕЙСКОГО ОБЫКНОВЕНЬЯ КОЛОДЕЗНАЯ ЧИСТОТА»

*О литературно-художественном альбоме
Юрия Демина и Людмилы Калининой
«Поэзия нижегородских улиц»
(Нижний Новгород: Книги, 2021)*

Есть вещи, которые знакомы и понятны каждому. Обыкновенные. О которых редко говорят или вообще не говорят, как о чем-то личном, что есть у каждого, или как о само собой разумеющемся. Тепло маминых рук, чудом сохранившееся детское воспоминание, заветная скамейка, старая и покосившаяся, дом, построенный твоим дедом, родная улица, по которой ходишь много лет. Вроде и не замечаешь ее, но, вернувшись после долгой разлуки, так ей радуешься, словно близкому другу, которого давно не видел.

Говорить о таких вещах адекватно дано только художникам и поэтам. Так случилось, что в этой семье художника и поэтессы тема родного города, в котором прожита вся жизнь, стала самой важной.

Известный нижегородский график и живописец Юрий Дёмин начинал свою трудовую судьбу рабочим Горьковского автозавода. Но еще раньше, в годы учебы в Авто-

заводском ремесленном училище, начал посещать изостудию. В 1960 году шестнадцатилетним юношей он принял участие в первой областной выставке самодеятельных художников, проводимой Горьковским художественным музеем. Пройдет полвека, и в залах этого музея состоится его большая персональная выставка, на которой было представлено около ста работ состоявшегося мастера.

Мастер учился всю жизнь. Сначала была учеба в Горьковском художественном училище и полный курс по специальности «художник-постановщик» во ВГИКе. Но и потом он постоянно искал новые пути в искусстве. Много ездил по стране. Осваивал разные техники: акварель, гуашь, пастель, живопись. И в каждой оставлял свой узнаваемый след. Он обращался к разным темам. Начиная с производственной темы, где поэтизировал тяжелый труд рабочих-литейщиков, он шел к лирическому и философскому пейзажу. Незабываемы его болдинские и михайловские аллеи, фантастические пейзажи крымской Киммерии, его одухотворенные «портреты» родной арзамасской деревни... И все-таки самой душевной, тонкой, «поющей» становилась его нижегородская тема.

В альбоме «Поэзия нижегородских улиц», с большим вкусом и изяществом изданном в издательстве «Книги», город на полотнах Юрия Дёмина, словно живой человек, живет своей жизнью и ведет за собой зрителя по тихим переулкам, старым и новым площадям и улицам.

Обыкновенные старые улицы и старые дворики, знаменитый деревянный модерн нижегородский. Прекрасные каменные дома-старички с лепными украшениями и осыпающейся штукатуркой, окруженные такими же прекрасными стариками-деревьями. Работы Дёмина так и называются: «Красный дом», «Зеленый дом», «Крыльцо», «Уголок прошлого», «Стена Строгановской церкви», «Кремлевская стена». Художник будто вглядывается в освещенную солнцем фактуру строения и одновременно в фактуру времени. И видит за домами жизнь обыкновенных людей. Точная деталь высвечивает то, мимо чего скользит взгляд. Как «новая девятка», контрастирующая с покосившимся деревянным домом и стариком с коляской.

Или размашистая надпись на стене «Вика, я люблю тебя» на полотне «Улица Гоголя. Тайна старого дворика». Мягкий колорит, гармония между сотворенными руками человека и творениями природы. Волга, безостановочная и вечная «улица» российская, то и дело сквозит в просветах между домами. Будничная, но такая поэтичная городская жизнь...

Людмила Калинина – известный нижегородский поэт, автор нескольких сборников стихов и публицистики. Дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, премии «Болдинская осень», всероссийской премии «Навстречу дня!», посвященной Борису Корнилову. Одна из главных тем ее творчества – родной Керженский край и любимый Нижний. В приверженности этой теме они с мужем всегда были единомышленниками. Он был первым слушателем ее стихов. Она – не только первым зрителем его эскизов и набросков, но часто первым «рецензентом» и вдохновительницей, инициатором и организатором многих его выставок.

Стихи Людмилы Калининой, представленные в альбоме – одном из многих совместных проектов, – вносят еще один обертон в слаженную симфонию нижегородских полотен Юрия Дёмина. Все они о родном городе. Не только о Волге, Дятловых горах, улицах и переулках. Но и о нижегородцах. О прежних – ярмарочной публике, купцах, ямщиках, речниках.

И о современниках, тех, с кем встречалась и говорила поэтесса. Все они обыкновенные хорошие люди. Как вдова поэта, простая женщина Александра Павловна Люкина («Опять корит себя, вздыхая, Что не под стать ему была»), которой посвящается одно из стихотворений. Оно помещено в альбоме рядом с «Портретом мамы» Юрия Дёмина. И заканчивается емкой поэтической формулой, которая многое объясняет в творчестве художника и поэта: «Житейского обыкновенья Колодезная чистота».

Русский смех

Сергей ШУСТОВ

РАССКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ

Из жизни воздушных шариков

Никто толком не знает до сих пор о беспрецедентном космическом перелете стаи воздушных шариков с Земли на Марс. Их проглядели, а они себя не очень-то и афишировали.

Дело было еще в 2033 году, на Олимпиаде в Гвадалахаре, когда несколько сотен тысяч воздушных шариков различного цвета, связанных по три сотни в пучки, запустили с трибун во время открытия в знойное мексиканское небо. И вот из тысяч связок две – одна зеленого цвета, другая лилово-бордового – сумели преодолеть каким-то непостижимым образом все атмосферные слои, выйти в ионосферу и далее, обманув земное притяжение, добраться до соседней планеты.

На Марс они примарсианились в разных местах, примерно в двух сотнях миль друг от друга. Поскольку средств связи у них с собой, естественно, не было, то следует считать совершившимся чудом то, что они, хаотично прыгая и теряя часть собратьев при ударах о жесткий грунт, сумели случайно вновь встретиться. Встретившись, связки объединились, перемешались и приобрели тем самым необходимую устойчивость.

Теперь вся эта зелено-лилово-бордовая братия живет не тужит в районе круговой депрессии Эллада на южной

материковой полусфере. С Земли её так никто из астрономов и не увидел! А жаль! В солнечную спокойную погоду картина ярких и веселеньких воздушных шариков, гордо вздымающихся массой примерно в пятьсот голов над унылой ржавой поверхностью Красной планеты, когда вдали маячит внушительный фиолетовый Фобос, словно один из оторвавшихся от связки шариков, весьма впечатляет. В период же песчаных бурь, столь частых в здешних краях, шариковые массы ложатся на своих двух стержнях параллельно и по направлению оси движения ветра, тем самым снижая вероятность своего выноса за пределы кратера и сохраняя известную остойчивость.

Так около 200 галлонов смеси гелия, водорода и земного воздуха живут на далекой чуждой нам территории как наш форпост! Как подарок Земли. Есть чем по праву гордиться!

И еще – проскальзывает неясно мораль, что всегда и везде есть место чуду. А также, что тот, кто ищет, всегда что-то находит!

Из жизни ученых

В доме Ньютона жили две кошки. Их всегда было две. Одна – побольше, другая – поменьше.

– Сэр Исаак, почему у вас всегда две кошки? – допытывались любопытные гости, уютно располагаясь перед камином и предвкушая знаменитый чай (хозяин заваривал его, используя сухие корешки смородины, листья терна и плоды дикой английской розы). – Разве у вас так много мышей, что с ними не может справиться одна?

Гости в основном попадались математического склада ума. Они резонно рассуждали: две кошки путаются под ногами ровно в два раза чаще. Тут они спорили между собой – как нужно выразить точнее физико-математическую ситуацию – «гуще?», «плотнее»? Быть может – «кучнее?» Распределение их масс по дому предполагало большую вероятность наложения на мышинные массы и, следовательно, приводило бы по всем расчетам к большей скорости «выведения» мышиной напасти. С другой стороны, следуя

таким умозаключением, вообще нужно было бы обзаводиться десятком! Да что там говорить – сотнями кошек! Это было бы статистически надежно.

Однако старый друг хозяина дома аббат Оккам, хитро шурясь, приговаривал:

– Не следует приумножать сущностей без необходимости, мой друг!

И хозяин соглашался с мудрым человеком. Он вообще превыше всего на свете ценил мудрость.

Для своих любимых кошек Ньютон вырезал лобзиком в нижней части входной двери два отверстия. Одно из них – побольше. Другое – поменьше.

– Сэр Исаак, зачем вам нужны во входных дверях две дырки? – смеялись от души гости. – Маленькая кошка вполне могла бы пользоваться большим лазом. Зря только дверь попортили! Замечательная была дверь. Цельная, из девонширского дуба!

Но здесь Ньютон уже не мог согласиться с мнением гостей. Дырявая дверь не казалась ему менее ценной, нежели цельная (о взаимосвязи структуры и функции он в этот период размышлял особенно крепко). Тем более что дырявой дверь оказывалась все равно как – что с одной дырой, что с двумя.

Кошки тем временем, и большая, и маленькая, делали свое дело. Они усердно ловили мышей. Их четкая функциональность удовлетворяла требованиям хозяина.

– Сэр Исаак, смотрите! Ваши кошки скоро останутся без работы, – восклицали приходящие в дом ученые гости, замечая в гостиной на ковре очередную растерзанную жертву. – Что же они тогда будут делать? Ведь любой объект, созданный Господом, обязан исполнять предначертанную ему роль. Нет, мы решительно не понимаем, зачем вам их две? Они же сами себя губят, соревнуясь в проворстве!

В это время Ньютон работал над статьей о полезной работе. Работа над статьей была полезна для его пошатнувшегося здоровья, так как приносила большое удовольствие. И удовлетворение. Он усмехался замечаниям гостей и еще более пристально, чем раньше, приглядывался

к своим любимцам, затевающим возню на ковре в гостиной. Кошки явно приносили пользу и удовольствие владельцу.

Одно из самых удивительных явлений нашего социума – разнообразие стилей мышления отдельных его представителей. Порой это разнообразие достигает таких высот, что один человек ну никак, хоть убей, не может понять другого! Даже если они говорят на одном языке...

Из жизни мартовских котов

Никто не знал, как и где февральские коты превращаются в мартовских. Выдвигались версии одна нелепее другой, что, может быть, даже и нет таких превращений в природе. Что, может, мартовские коты вообще отдельно самозарождаются. По Аристотелю. От весенней прели, лужиц, капели и лучиков солнца. А февральские здесь ни при чем. Остаются, так сказать, со своими скучными зимними интересами наедине.

В одной семье даже опыт ставили. Февральского кота, который всю зиму-матушку на кушетке пролежал, аж шерсть клоками свалялась на левом боку, не выпускали на улицу. Уж как он орал с приходом марта! Как просился неведомо куда! Как его плющило и колбасило! А пытливые хозяева следили: не превратится ли прямо тут, на грязном половичке в прихожей? Может, вся эта истерика и корчи есть предшествование, прелюдия, так сказать, обращения в новое тело? Вот-вот, и проявится личина мартовской сущности?

Нет, однако, кот как был со сваляным левым боком, так и оставался! Только орал все громче и противнее! Так и не смогли правильно интерпретировать хозяева результат этого эксперимента. Поэтому, чтобы не слышать боле этих дурацких невыносимых воплей, выпнули мощным пинком кошака на улицу! Чтобы прям кубарем с лестницы через весь подъезд! Надоел! Хуже беса!

Вот всегда мы так с опытами и экспериментами. А также – и с реформами! Где поторопимся, а где и боязливо осторожничаем.

Из жизни котят

Котята, как это ни странно звучит, быть может, недолюбливали две вещи в мире – вёдра и пироги.

С первыми их связывали запутанные отношения «хищник – жертва». И хотя сами вёдра на живых котят не нападали впрямую, на уровне генетической памяти что-то темное и недоброе запечатлелось и мерещилось юным созданиям. И они сторонились вёдер. Обходили их по дальней траектории. Особенно тех, что с водой. Ведь при разведении котят в ведре в отношении пять к одному (пять котят на ведро воды) ничего хорошего для первых не предвиделось, уж простят мне такую ужасную вольность любители животных! Жизнь есть жизнь – и она порой коварна и жестока!

Кстати, замечена и трудно объяснимая с позиций логики неприязнь этих мелких и бестолковых существ к гитарам. Возможно, последние напоминают (смутно и неявно) котьятам именно о вёдрах. Общие атрибуты налицо: металлическое лязганье и дыра посередине!

Примерно то же было и с пирогами. Последние как таковые на котят не бросались, не кусались (скорее наоборот), не шипели и вообще вели себя тихо как мыши. Но в подсознании юных особ, вскормленном с молоком матери, отложилось, что есть-таки нечто, что рекомендует (настоятельно!) всем котьятам держаться от пирогов подальше.

Сермяжная истина: в подсознании у многих, даже у нас, есть то, что и не снилось нашим мудрецам! Что неведомо нашему же разумению! Вот, скажем, не любит человек колбасу, а объяснить здраво-логически эту неприязнь не может. Хоть убей! То же – и с властью... Которая, казалось бы, свыше нам дана. Или нами же и выбрана для нашего же блага. Вот где для вскрытия загадок-то природы непочатый край!

Из жизни Рамаы

Когда Рама еще был совсем маленьким, мама заботливо его мыла в ванне. С добавлением сандалового масла. Так это и отмечено в древнеиндуистских скрижалях и букварях, просто и с душой:

– Мама мыла Раму.

И маленький Рама это самое мытье запомнил на всю жизнь.

Когда же Рама подрос и у него появился боевой белый слон, он отправился верхом на своем слоне в путешествие на север Гуджарастана, к Сиваликским горам, к священной вершине Бхаратма-Дэви. По пути своего следования он встречал толпы паломников, которые приветствовали его, падая ниц и пытаясь сложенными ладонями дотронуться хотя бы до ногтей слона (на каждой ноге у белого слона было по четыре плоских ногтя цвета слоновой кости, а не по три, как у всех прочих обыкновенных хоботных). Рама сердечно отвечал беднякам на санскрите, но каждый раз бывал крайне неприятно удивлен (и даже раздражен) антисанитарии, царившей среди набожного люда. И он помаленьку, исподволь стал проповедовать здоровый образ жизни.

Вскоре весть о «сияющем чистотой» брахмане, предсказывающем счастье тому, кто моет руки перед едой и не спит на грязном полу, свернувшись собачьим калачиком, а также старается по мере сил и возможностей совершать омовение в водах священного Ганга (равно как и в любых других водах, лишь бы они были чисты) не один раз в год, в месяц цветения дерева баньян, а хотя бы раз в неделю, желательно с использованием сандалового масла и мыла из лепестков розового лотоса, разнеслась с быстротой грозовой молнии по всем уголкам и джунглям предгорий Гималаев. Сонмы почитателей и фанатично настроенных поклонников стали осаждать дворец Рамы в Найла-Лумпуре. И для каждого из этих обездоленных и покрытых пылью людей у него находились не только слова ободрения и смиренной молитвы, но и кусочек мыла, шампунь в пакетике, крохотный тюбик зубной пасты «Fresh Smile» и бумажные салфетки в обратную дорогу, пропитанные ароматизаторами и антисептиком.

Так прославил свой путь и прославился сам Великий Рама, прозванный в народе «Сияющий Чистотой», или «Просветленный».

Все-таки много хорошего мы берем из своего детства. Впитываем, так сказать, с молоком матери из букварей!

Евгений ОБУХОВ

Дедовск, Московская область

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

– Здравствуй, родной!

Черпаков оглянулся. Сзади него никого не было. Женщина его возраста и вполне обычной, не тусовочной наружности обращалась именно к нему. Черпаков мгновенно перелистал в памяти все мимолётные влюблённости и интрижки последних лет – по внешности и по голосу не нашлось никаких совпадений.

– Здравсьте... – промямлил он. – А мы знакомы?

– Нет, – ответила она и мягко улыбнулась. – Конечно, не знакомы.

– А-а... Почему ж тогда – родной? – искренне удивился Черпаков. – Вам что-то надо?

– Да нет, ничего не надо. Просто хотела тебе улыбнуться и узнать, всё ли хорошо дома и на работе.

– Ды... Хорошо, всё... Спасибо... – совсем растерялся он.

– Мы с тобой, родной, ехали вчера в одном трамвае, от Зацепской площади. Помнишь?

– Да, – ответил Черпаков. Накануне он точно ехал в трамвае, но на самом деле никого из попутчиков не помнил – разгадывал сканворд, не глядел по сторонам.

– Сейчас ведь как: люди ни разу не встречались, а в каком-нибудь Фейсбуке сразу – друзья. Понимаешь, как весо-мо, с ходу – друзья! Мы же с тобой целую половину часа наших жизней были рядом, в одном вагоне. Рядом! Значит, если подходить с теми же мерками – мы уже просто родные!

– Да, да, я теперь понял алгоритм. Согласен, конечно. В сравнении это вполне логично, – он сделал над собой

лёгкое усилие и тоже перешёл на «ты»: – Ты права, родная! У тебя тоже всё хорошо?

– Всё хорошо. Спасибо, не беспокойся, родной.

...Размышляя об этой странной встрече, Черпаков зашёл в супермаркет и стал рассеянно выбирать сардельки. Все десятки сортов на витрине были подозрительно пухленькие и румяненькие.

– Брат! – услышал он за плечом гортанный голос коренного москвича. – Брат, помочь тебе выбрать?

Черпаков старательно улыбнулся приветливому помощнику:

– Помоги, брат.

– Вот эти бери. Я такие кушал. Тут мясо есть, мамой клянусь, брат!

– Спасибо, брат!

– Все мы люди – братья на земле, – сообщил коренной москвич, заботливо помогая Черпакову уложить мясные изделия в корзину. – Братья и по сосуществованию, понимаешь ли, как кунаки...

– Понимаю.

– И по рождению, брат! Ты Дарвина про обезьян не слушай, мне лично обидно про обезьян – мы все от одного папы, мамой клянусь.

– Не буду слушать!

Обняв брата, Черпаков выбрался к переходу и вновь задумался о происходящем, прислонясь к столбу.

– Сынок, сынок дорогой! – К нему обратилась старушка с палками для скандинавской ходьбы. – Перевести тебя через улицу?

– Нет, нет, мамаша, я просто замечтался. Иди одна, только осторожнее.

– Оставайся с господцем, сынок. Мечтай, пока мечтается.

Черпаков вернулся в торговый центр, засунул голову в пластиковую сферу телефона-автомата, полистал лежавшую на полке телефонную книгу.

– Алё, это городская психбольница? У вас случайно никаких ЧП в последнее время не происходило? Пациенты на волю не убежали? Что? Нет, нет, я не с целью пошутить – я просто спросил... И неслучайно тоже не вырывались?..

Да, да, я понимаю, что сразу было бы в передаче «Петровка, 38» и у Андрея Малахова. Ну, хорошо. Я рад, что у вас все на месте.

Он опять вышел на улицу, достал смартфон. И вызвал номер Акулины. Да, у неё было чудесное, смешное, допотопное имя. И когда они были вместе, Черпаков даже иногда немножечко в душе жалел её за это и чувствовал к ней нежность. Тем не менее с таким беспомощным именем бросила его как раз она.

Дважды Черпаков удалял её номер из списка, и дважды потом восстанавливал по памяти. Не звонил почти год.

Акулина ответила на десятый гудок. «Наверное, как всегда, в ванной, – улыбнулся Черпаков. – И сейчас выскочила оттуда немного недовольная, ероша влажные волосы пятернёй...»

– Привет, любимый! – сказала Акулина. – У меня высветился твой номер.

– Но... Как же...

– Ведь если мы когда-то были вместе, а потом по глупости разбежались – ты мне всё равно навсегда любимый. Ведь правильно?

– Да.

– Что ты так долго не приезжал, не звонил, любимый?

– Погоди, погоди... – у Черпакова повело голову, и он опёрся растопыренной ладонью о стену. – У меня что-то буквально темнеет в глазах!

– Дурачок, как был, так и остался дурачок! В интернете не следишь никогда... Ты, небось, на улице? Сейчас же солнечное затмение, целый месяц об этом трезвонили...

– Ах, затмение? Чёрт, как просто. Банальщина какая – подумаешь, затмение, нашли чем удивить! Лучше скажи ещё раз.

– Хорошо, говорю: затмение.

Черпаков захохотал:

– Ты такая же, как была. Знаешь же, о чём я спросил.

– Знаю.

Стало совсем темно, и чёрное солнце вспыхнуло яркой лучистой короной. «Это ненадолго, – подумал Черпаков. – Как и всё в этой жизни».

Марат ВАЛЕЕВ

Красноярск

САМОЕ ОНО

В пятницу Валентина позвонила Пятайкину на работу и попросила по пути домой зайти в аптеку и купить какой-то чепухи – то ли от кашля, то ли от головной боли. Григорий прикинул: если взять на вечер не шесть, а три банки любимой «Балтики», денег на эту чепуху должно хватить.

В аптеке Пятайкин долго ходил от витрины к витрине, разглядывая разноцветные и разномастные коробки и упаковки, пузырьки. И тут Григорий увидел неприметную коробочку с крупной надписью «Самое ОНО», и ниже поменьше: «Мужчина становится неотразим! Все женщины в восторге! Эффект – 24 часа».

«Интересно», – подумал Григорий. Он уже принимал и виагру, и вуку-вуку, но всё это было не то. То есть ему-то нравилось, а вот Валентине – нет. Попробовать, что ли, это самое «Самое ОНО»? И Григорий купил две упаковки многообещающего средства.

Дома он отдал жене её лекарства, а своё оставил в кармане куртки. И забыл про него – по ящику допоздна шёл хоккей, а что может быть лучше хоккея с пивом? Валентина уже посапывала в их супружеской постели, когда Пятайкин наконец утомился. Забравшись под одеяло, он потянулся было к спящей жене, но вспомнил, что забыл принять «Самое ОНО». Впереди же были выходные, и Пятайкин решил перенести своё законное домогательство к жене на субботу.

Утром он проснулся первым («Балтика» своё дело знала!) и пошлёпал в туалет. Уже когда умылся, вспомнил про «Самое ОНО». «А приму-ка я его с утра!» – озорно подумал Григорий.

Он распаковал коробку, там оказалась всего одна таблетка. Григорий подумал и распечатал вторую упаковку – чтобы уж наверняка! Запил обе таблетки водой из-под крана. И тут же почувствовал, что на него накатила волна необыкновенной нежности и желания позаботиться о жене, он даже весь содрогнулся от охватившего его чувства.

Григорий хотел было тут же пойти в спальню. Но ноги его понесли почему-то на кухню. А там Пятайкин неумело, но споро пожарил яичницу с колбасой, заварил свежего чая с лимоном, поставил всё это на поднос. И понёс в спальню!

– Вставай, милая! – хрипло, но нежно сказал Григорий, сам не понимая, что говорит. – Я тебе завтрак принёс. В постель. Вот!

Валентину как будто кто подбросил.

– Пятайкин, – сказала она тонким голосом. – Это ты?

– Да, милая, это я, – подтвердил Григорий, целуя Валентину в тёплую и розовую со сна щёку. – Завтракай, дорогая. А я пока пойду помою посуду.

Чашка с чаем выпала из рук Валентины на простыню.

– И простынку постираю, ты не беспокойся, – поспешно сказал Пятайкин и, оставив жену сидеть с открытым ртом, пошёл мыть посуду.

А ещё он в тот день пропылесосил квартиру, развесил на балконе бельё на просушку (стирку Валентина всё же отбила для себя) и сварил обед, правда, пересолив его. При этом каждый раз, когда их пути в квартире пересекались, Григорий без конца обнимал и тискал свою жену и говорил ей такие комплименты, что Валентина просто вся светилась от удовольствия. Надо ли говорить, что вечером телевизор в доме Пятайкиных остался не включённым и супруги до самого утра в постели выделывали такое, что никакой Камасутре и не снилось...

Выходные пролетели как сон. Впереди были однообразные будни. А Пятайкину хотелось продолжения праздника.

После работы он вновь заехал в аптеку, подарившую ему два незабываемых счастливых дня.

– Мне «Самое ОНО», на все, – сказал Григорий, протягивая сидящей на кассе матроне в белом халате всю свою заначку – пятьсот рублей.

– Нету, молодой человек, кончились.

– А как же теперь... – растерянно пробормотал Пятайкин. – А когда мне зайти?

– Не знаю, – пожала плечами матрона. – Насколько мне известно, остановили производство этого лекарственного средства. Лицензии у них не было. Да вы лучше «виагру» купите.

– Нет, это совсем не то, – грустно сказал Пятайкин. – Валентине моей не это нужно. Вернее, не совсем это...

– Здравсьте-пожалуйста! – насмешливо хмыкнула матрона. – Можно подумать, что вы, мужики, всегда знаете, что женщине нужно.

– Я, пожалуй, знаю, – убеждённо заявил Григорий.

По пути домой он завернул не за пивом, как обычно, а зашёл в гастроном и купил готового фарша и макарон. Уже совсем перед домом заглянул и в цветочный павильон.

Открыв дверь, Валентина ахнула: Пятайкин протягивал ей цветы и невыразимо нежно улыбался. И привлекательнее, сексуальнее мужчины для неё в этот момент просто не существовало. А когда Григорий ещё и заявил, что на ужин сегодня будут макароны по-флотски, Валентина расплакалась прямо у него на груди.

– Милый, что с тобой? – всхлипывая, спросила она. – Ты не заболел?

– Да, милая моя, я вновь заболел. Тобой! – ласково сказал Григорий, целуя жену в завиток на виске.

– Тогда не выздоравливай. Никогда! Хорошо?

– Я постараюсь...

Сергей БЕЛАЯР

Брест, Белоруссия

ТРИ МЕДВЕДЯ И ОХРЕНЕВШАЯ ДЕВОЧКА МАША

Неполиткорректная сказка

Одна девочка-подросток, которую звали Маша, считала себя панкушей и по этой причине свободной от подчинения правилам патриархального белого мира. Девочка Маша ушла из дому с возвращением родителей с работы, купила за отцовские карманные деньги в ларьке у знакомой тётки предпенсионного возраста пива и сигарет и направилась в лес. В лесу девочка Маша долго бродила под музыку Sex Pistols и накачалась пивом так, что заблудилась.

Лес был большим и тёмным, разыгрался ветер, ещё и небо заволокло грозowymi тучами. Ко всем прочим бедам смартфон потерял сигнал, а интернет пропал. Призывать на помощь можно было до хрипоты. Девочка Маша протрезвела и испугалась. И впервые за свою короткую жизнь пожалела о решении стать асоциальным элементом.

Погибнуть бы девочке Маше в лесу, однако ноги вынесли её к аккуратному домику из красного кирпича под металлочерепичной крышей, в окружении такого же аккуратного огорода. К домику вела вымощенная жёлтым песчаником тропинка.

Металлические двери оказались приоткрыты, и напуганная девочка Маша пулей влетела в домик. И немедленно отношение к жизни поменялось: девочка Маша решила

превратить уютный домик в сквот: не заперто – значит, общественное. В домике жили три медведя. Нарциссы – если судить по цветным фотопортретам на стене. Фотопортреты были снабжены пояснительными надписями: «Михайло Иванович», «Настасья Петровна» и «Мишутка».

– Хренова шовинистическая иерархия!

Девочка Маша скривилась, потому что считала традиционную семью пережитком тёмного прошлого. Собственная семья девочки Маши тоже была ретроградской, и девочка Маша всем говорила, что живёт с однополыми родителями номер один и номер два.

– Есть тут кто живой?

Ответом стала тишина, и девочка Маша не стеснялась – первым делом сбросила со стены фотопортреты и жирно написала чёрным перманентным маркером на обоях «Punks not dead». Хотела ещё изобразить знак анархии, но не хватило чернил. Это очень сильно расстроило девочку Машу – точно заговор жадных производителей, и она залила горе пивом.

Отрыжка получилась на славу. Девочка Маша отшвырнула бутылку в угол, где та разлетелась осколками, и закурила. Медведи-нарциссы оказались потребителями – домик был буквально завален мещанским барахлом. Панкам такое не подходит. Панки должны жить в дерьме.

Девочка Маша снова вспомнила, что она крутая панкуша, и начала обустривать сквот. Всё, что олицетворяло прежних хозяев, было безжалостно выброшено в мусорное ведро. Никакой частной собственности. Только общее владение. Книги тоже не нужны – реакционная зараза. Панки книги не читают – панки пьют вино. Дешёвое, чтобы не приносить прибыль транснациональным корпорациям.

Девочка Маша собрала все книги и вынесла их во двор, где свалила в кучу прямо на земле. Бензина в домике не нашлось, и девочка Маша долго возилась с розжигом – бумага была плотной, а обложки категорически не хотели загораться. Но девочка Маша справилась – в том, что касалось гадостей, девочке Маше не было равных.

В огонь полетели лифчики и кружевное бельё медведицы. Ведь бюстгалтеры – это орудие угнетения женщин.

Нельзя позволять заковывать себя в кандалы. Декоративные трусы означали подчинённую роль женщины и разжигали похоть. А похоть – это всегда насилие над женским естеством.

Детские игрушки оказались сплошь сексистскими: ни одной куклы. Девочка Маша взяла из ящика с инструментами молоток-гвоздодёр и с большим удовольствием разбила все игрушки вдребезги. Затем настал черёд хрусталия – посуда должна быть одинаковой. Железной.

Во время обживания сквота девочке Маше захотелось в туалет. Однако вся её душа бунтовала против правил, поэтому девочка Маша присела в углу и использовала тюль в качестве туалетной бумаги.

Сделав своё дело, девочка Маша почувствовала, что проголодалась. На столе в кухне стояли три глубоких фарфоровых тарелки с чечевичной похлёбкой. Первая тарелка, очень большая, явно принадлежала Михайло Ивановичу: мужчины любят подчёркивать свой пол и строить из себя альфа-самцов. Вторая тарелка, намного меньше, была Настасьи Петровны. Третья – и вовсе мелкая. Мишутки, подрастающего шовиниста. А шовиниста потому, что нигде в домике девочка Маша не увидела ничего прогрессивного. Рядом с каждой тарелкой лежала ложка: большая, средняя и маленькая. И по куску ржаного хлеба.

– У буржуев точно найдётся что-нибудь повкуснее воюющей чечевичной похлёбки! – сказала девочка Маша и полезла в холодильник. Свой выбор девочка Маша остановила на гамбургере и картошке-фри. Если никто не видит, то можно.

Девочка Маша сунула гамбургер и картошку-фри в микроволновую печь и, пока еда разогревалась, порылась в ящиках и шкафах. Медведи не держали спиртного, а пиво имело обыкновение заканчиваться в самый неподходящий момент. Доставку не закажешь – связи по-прежнему не было.

Есть стоя девочка Маша, несмотря на голод, не стала: выбрала самый удобный – маленький стул – и развалилась в нём, вдобавок положив ноги в тяжёлых ботинках на стол. Вместо пепельницы девочка Маша использовала кастрюлю.

В считанные секунды расправившись с гамбургером и картошкой-фри, девочка Маша поняла, что засыпает. Сказывались пиво, усталость и стресс.

Девочка Маша прошла в спальню. Там стояли три богатые кровати – для медведя, медведицы и медвежонка. Девочка Маша решила оставить одну кровать для себя – пусть другие пользуются грязными, обоссанными матрацами, в которых быстро заводятся вши и клопы. Вот только какую выбрать? Из большой получится неплохой траходром. На средней пользовались периной, но кровать была слишком высокой – упадёшь с такой, ещё башку расшибёшь.

Девочка Маша легла в маленькую. Кровать пришлась девочке Машу впору, и она заснула крепким сном.

А медведи вернулись домой уставшие и голодные. Михайло Иванович, едва сделав шаг, грохнулся на пол – ему под лапу попала пустая пивная бутылка. Настасья Петровна торопливо закрыла нос – вонь мочи, кала и рвоты буквально валила с ног. Мишутка так испугался, что спрятался за мать и дрожащим голосом спросил:

– К нам что – разбойники пожаловали?

Михайло Иванович стряхнул с морды прилипшие к шерсти окурки и, водрузив на нос очки, повёл злым взглядом по комнатам. И, конечно же, сразу заметил двухметровую деваху, разлёгшуюся на кровати медвежонка.

– Хоть бы ботинки сняла, – всплеснула лапами Настасья Петровна и закрыла глаза Мишутке – рано ему ещё было видеть рваные женские трусы.

Михайло Иванович учился в Оксфорде и не мог просто вытряхнуть девочку Машу из кровати. Пусть кровать и числилась в его собственности. Медведь аккуратно потряс девочку Машу за плечо, а затем вежливо уточнил:

– Вы кто?

– И что вы делаете в нашем доме? – спросила медведица. Закрывать глаза Мишутке было бесполезно – засаленные джинсы правильнее было бы назвать рыболовной сетью.

– И зачем вы всё поломали? – едва не плакал медвежонок. Игрушки у него были хорошими, и их можно было подарить кому-нибудь ещё.

Девочка Маша вскочила и спросонья вжалась в стену. Выпитое пиво не мешало ей понять – сейчас её будут бить. Ногами. Даже сильнее, чем наци-скинхеды и футбольные хулиганы. Три медведя выглядели очень опасно.

– Я – Маша, – сердце девочки Маши было готово выпрыгнуть из груди. Сбежать девочка Маша не могла – три медведя отрезали её от свободы.

– Мы всегда рады гостям, – сказал Михайло Иванович. – Даже незваным: в нашем лесу легко заблудиться. Но бессмысленное насилие не приветствуем.

– И даже осуждаем, – добавила Настасья Петровна.

– А я не люблю, когда кто-то ломает игрушки, – пожаловался Мишутка. – Они дарят детям радость!

Девочка Маша сплюнула. Ей попались интеллигентно-альтруисты. А с такими не стоит церемониться.

– Теперь ваш дом – сквот. Здесь будет коммуна.

– Но позвольте, госпожа Маша, какая коммуна? – не смотря на высшее образование, Михайло Ивановичу требовались объяснения.

– Господа все по Лондонам и Парижам! – к девочке Маше вернулась уверенность в себе. – Панки господ не признают.

– Товарищ? – справился Михайло Иванович.

– И с товарищами нам не по пути. Панки за анархию!

– А какое направление вы представляете? – продолжал допытываться медведь. – Анархо-коллективизм Бакунина? Или анархо-синдикализм Прудона?

– Чё?

– Может быть, индивидуалистический анархизм Штирнера? Или анархо-феминизм Гольдман?

– Выметайтесь из сквота! – закричала девочка Маша. – Иначе я позвоню «мусо...»... в полицию!

– Вы не хотите устроить дискуссию? – удивился Михайло Иванович, который писал докторскую диссертацию по политологии.

– Пошли вон из сквота! – девочка Маша была готова взорваться от раздражения: пиво имеет обыкновение ещё и быстро выветриваться из организма. Вино в этом отношении лучше – крепит дольше.

– Позвольте напомнить, что это наш дом, – робко указала Настасья Петровна. – И так, как поступили с нашим домом вы, даже разбойники не поступают!

– Да, – кивнул Мишутка. – Ничего целого не осталось.

– Найдёте себе новый! – отрезала девочка Маша.

– Но... – воспитанность не позволяла медведю устроить масштабный скандал. И девочка Маша этим пользовалась: анархия не терпит порядка. Никакого.

– И слушать ничего не желаю! – отрезала девочка Маша. – Найдёте себе другое жильё, кровопийцы.

– Какие мы кровопийцы? – не поняла Настасья Петровна. – Всё заработали сами. Собственным трудом.

– Даже я работал, – указал Мишутка. – Потому как ничего без труда не получишь.

– Хотите загнать меня и таких, как я, в трудовой лагерь? – недобро уточнила девочка Маша. – Как фашисты? Сначала заставите работать, а потом сунете в печь?

– Помилуйте, какие мы фашисты? – испугался Михайло Иванович.

– Живём мирно. Никого не трогаем, – заверила Настасья Петровна. – Какая печь?

– Всем помогаем, – добавил Мишутка.

– Все фашисты так говорят!.. Уходите, иначе я подам на вас в суд за сексуальные домогательства! Всю жизнь из тюрьмы компенсацию выплачивать будете.

Челюсть медведя отвисла. Глаза медведицы расширились от ужаса.

Михайло Иванович и Настасья Петровна не только были мягкохарактерными, но и прекрасно знали законы. Поэтому отступили.

А вот Мишутка – в силу своего юного возраста – всякой глупостью голову забить не успел. Поэтому медвежонок поступил так, как диктовал то здравый смысл: сожрал девочку Машу, а её кости закопал в глубоком овраге. Ибо правила для того и созданы, чтобы их соблюдать.

Валерий РУМЯНЦЕВ

Сочи

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

Взяточник

Он говорил, что в этом деле
Заминка, надо подождать.
И вот уже через неделю
Проситель понял: надо дать.
Взял раз, взял два – дела пошли.
И жил бы без печали,
Когда б однажды не пришли
И самого не взяли.

* * *

Берег моря. Краб ползёт.
Море пляж волной грызёт.
В воздухе летает йод.
Жадно дышит им народ...
Белопенностью полна,
Мчится к берегу волна,
Чтоб на мраморный песок
Чей-то выбросить носок.

Двустигия

* * *

Итог всей жизни: пьедестал
И надпись «Он никем не стал».

* * *

Духовной пищи переел однажды
И долго мучился духовной жаждой.

* * *

Ложь, говорят, с короткими ногами,
Но парадокс: шагает вместе с нами.

* * *

Нуждаюсь остро я в уходе докторов.
Чем дальше те уйдут, тем больше я здоров.

* * *

Назвался груздем, в кузов влез,
А там и в белые пролез.

* * *

Как хорошо до завтра отложить
То, что до завтра может не дожить.

* * *

Бывает слово часто ляпом,
Оно же может быть и кляпом.

* * *

Талант пробьёт себе дорогу
И отойдёт, избитый, к богу.

* * *

Чем чаще мы на грабли наступаем,
Тем больше в этом деле понимаем.

Юрий ТУБОЛЬЦЕВ

Москва

АФОРИЗМОСОФИЯ

Если ты в полете будешь искать опору, не стоило и лететь.

Даже снеговик в холодильнике не сможет прожить чистеньким.

Сытые волки славятся добрыми помыслами.

Если ты не стал бабочкой, проверь, а был ли ты гусеницей?

Свое мнение охотнее всех высказывают попугаи.

И золотая середина ржавеет.

Раздутая идея хуже урагана.

Идеальная согласованность возможна, только когда все голоса молчат.

Однажды Бог постриг обезьяну и назвал ее человеком, но волосы имеют свойство отрастать...

Чему-то быть, а чему-то не быть, но что с ним будет в небытии?

Вера без любви – суеверие.

Утопия – начало любой философии, ибо наш мир материален, а его смысл – нет.

Грязь еще никого не сделала князем.

Гений золотую середину ищет по краям.

Чем больше хватаешь, тем больше нехватка.

Чем квадратнее и чернее квадрат, тем больше к нему интерес.

Земля вращается, человек развращается.

В нашем университете сделан отдельный расширенный вход для больших умниц, теперь пролезают все.

Чем пустее жизнь, тем больше в ней лишнего.

Когда хвост прорастает в глубину человека слишком глубоко, он начинает питаться соками его души.

Пиши, только если ты овладел пером, а не тобой овладело перо.

Кактусы – это бывшие розы, которым опостылел мир.

Кто шлифует истину, тот стирает ее.

Пусть нарушивших закон роботов судят судьи-роботы.

Жизнь – это мастерская, в которой человеку чинят препятствия.

Чем умнее становится человек, тем безумнее жизнь.

Того, кто летает, не растоптать.

Что высосано из пальца, то в палец обратно не затолкать.

Когда шарик надувают, он начинает мыслить иначе.

Кривляясь перед зеркалом, обезьяна в конце концов, увидела в зеркале человека.

Семейное чтение

Алиса СТРЕЛЬЦОВА

ШИШКИН КОРЕНЬ,
или Нижегородская рапсодия

*Судьба в невзгодах всегда оставляет лазейку,
чтобы можно было выбраться из них.*

Мигель де Сервантес

Глава 1. Пятница тринадцатое

– У человека прямоходящего сложно устроенный головной мозг... – Рябинкина стояла у цветного плаката и размахивала рукой, как королева английская.

– Хорошо, Маша, а какие ещё признаки ты знаешь? – Гуля довольно поправила большие несуразные очки на носу и протянула Рябинкиной указку.

– Спасибо, Гульнар Нурмухамедовна. Позвоночник с четырьмя изгибами... – Рябинкина посмотрела на биологичку и грациозно потянулась указкой вверх. Спиралька волос, выбившаяся из кучерявого хвоста, колыхнулась и застыла у её первого изгиба. Остальные три тоже очень отчетливо проступили сквозь розовую водолазку.

Рябинкина рассказывала, чем человек прямоходящий отличается от наземных млекопитающих. Хорошо, в принципе, рассказывала, увлекательно, я бы даже сказал, наглядно.

– Широкий таз... – продолжила она под всеобщее хихиканье.

– Да уж, таз в самый раз, – прогоготал Селиванов.

Рябинкина покраснела до кончиков ушей и срезала его жёстким взглядом. Вот бы мне так... Рябинкина – кремень, хоть и отличница, но авторитетная. Её в классе недолюбливают и даже побаиваются. Я это сразу заметил. Уж очень умная. И язык у неё острый, умеет интеллигентно приложить: кинет пару фраз без лишних эмоций – бац, и в нокаут.

– Плоская грудная клетка, – железным голосом отчеканила Рябинкина, не отрывая взгляд от Селиванова.

Тот притих, как пришпиленная к картонке бабочка. Представляю, чего ему это стоило. Грудная клетка у Рябинкиной совсем не плоская, я бы даже сказал – выдающаяся.

– Гибкая развитая кисть, сводчатая стопа, большой палец нижней конечности приближен к остальным... – Рябинкина, как факир, взмахнула указкой.

Стопу и пальцы сквозь навороченные кроссовки видно не было. А вот кисть у Рябинкиной действительно очень гибкая и тонкая.

Звонок заставил меня вздрогнуть, отчего моя подковообразная, слегка отвисшая нижняя челюсть громко лязгнула. Я резко оглянулся по сторонам. Вроде никто не увидел. Все с грохотом подскочили и, побросав вещи в сумки, вылетели в коридор. Рябинкина вышла последней.

Не торопясь, я закинул учебник в рюкзак, достал из-под парты чехол со скрипкой и глянул на часы. Тринадцать тридцать один. До начала занятий в музыкалке ещё полчаса. Как раз успею в столовую номер один на Покровке заскочить, закинуть что-нибудь в мой затосковавший желудок. Рванул вниз по лестнице... А может, снова не ходить? Всё равно пропустил шесть занятий, какой смысл начинать? Прийти вечером домой и сказать матери всё как есть. Ладно, поем, а потом подумаю об этом, у меня на «подумать» целых двадцать девять минут.

На улице опять серо и пасмурно. Осень в Нижнем ничем не отличается от лета. Второй месяц я здесь, и каждый день дождь. Что за город такой?

Противные холодные капли стекали за шиворот. Я подтянул воротник ветровки повыше. Ускорился. Выскочил за ворота. Вдохнул поглубже и нырнул в поток ледяного ветра, свернув налево по переулку Холодному.

Стопудово это самое промозглое место в городе: Холодный пересекается с Студёной – нарочно не придумаешь. Вечные сквозняки и сырость! Пару веков назад сюда зимой свозили снег на хранение с городских улиц, и снежные кучи лежали здесь до апреля. Неудивительно...

Чтобы спрятаться от ветра, я прижался к розовой оштукатуренной стене.

Стоп! У меня же в четыре историческая викторина в школе! Если пойду в музыкалку, точно опоздаю. Хотя, если бегом, можно и успеть... Угораздило же мать сегодня утром задержаться до моего выхода из дома – пришлось скрипку брать, дабы не вызывать подозрений. Теперь зря с ней полдня таскаться. И викторина эта... Зачем я только согласился? Валентина Петровна, блин, Шерлок Холмс в юбке: «Шишкин, я вижу в тебе задатки великого историка, и, хоть ты недавно к нам переехал, я подозреваю, что о Нижнем Новгороде уже знаешь побольше одноклассников».

Пришлось всю неделю штудировать историю города. Хотя фотки старого Нижнего, Всероссийской промышленной выставки 1896 года – просто класс! Вот бы увидеть это своими глазами!

Шишкин корень, забыл маму предупредить, что не смогу Дашку забрать из садика. Где телефон-то? В рюкзаке нет, в куртке нет, в карманах штанов пусто... В школе оставил или дома? Что за день сегодня такой? Пятница тринадцатое...

Прямо передо мной, словно соляной столб, вырос Крош, то бишь Крашенинников из десятого «Б». Два года разница, а я против него как лилипут против Кинг-Конга. Видел пару дней назад, как он Селиванова на перемене прессовал...

– Привет, кучерявый! Дык ты у нас чё, типа скрипач? – Крош затянулся вейпом и выдохнул мне в лицо приторное облако.

Из углубления в стене выплыли еще двое.

Я молчал. В голове, как волчок, вертелась одна короткая мысль: «Бежать!» В ушах гулко бухало, ноги налились свинцом и прилипли к асфальту.

– А ну, скрипач, сыграй! – Крош придвинулся вплотную.

Я потянул на себя чёрный футляр и, посмотрев на Кроша снизу вверх, оценил размер его бицепсов, трицепсов и всех остальных «цепсов». «Крош – потому что крошит», – подумалось вдруг.

Словно в замедленной съёмке, мои руки пихнули футляром Кроша прямо в живот. Верзила сложился пополам, как перочинный ножик. Дальше включился таймлапс, и я рванул с места. Метров через сто арка, Покровка, а там и музыкалка через дорогу. Если выложиться – успею.

– Ну всё, скрипач, тебе хана! – сиреной взревел Крош за моей спиной.

Я оглянулся – все трое неслись за мной. Расстояние между нами сокращалось.

Поднажал, толкнулся сильнее – перескочить лужу... В стороны веером разлетелись грязные брызги.

Вот она, арка. Ещё метров десять!..

Громко выдохнул. Рюкзак резво подпрыгивал на спине. Пятки остервенело колотили меня по заду.

Снова обернулся и... со всего маху влетел в какую-то коляску. Ноги резко затормозили, тело описало в воздухе дугу, локоть проехался по асфальту... Позади колёсами вверх валялась цветастая сумка-тележка, от неё в разные стороны, как жуки-пожарники, разбежались красные яблоки.

Главное – не останавливаться!

Я вскочил и наткнулся на сердитое морщинистое лицо в старомодных очках, с копной взбитых, словно безе, волос.

– Носятся тут как оглашенные!.. – бабуся с размаху больно шлёпнула меня по спине тяжёлым розовым ридикиюлем.

– Простите-тите-тите... – эхом прокатился под аркой мой голос.

Нога налетела на спелое яблоко и, как спринтер на финише, вырвалась вперёд. Мои пятьдесят килограммов преодолели силу земного притяжения. Перед глазами

мелькнули бело-желтый свод арки, потолочные бронзовые розетки. Спина с металлическим звоном треснулась об асфальт, и стало совсем темно...

Глава 2. Городовой

Голубое небо. Солнце ослепляет. Ни тучки. Я закрыл глаза. Уличный гул. Стук копыт. Открыл глаза – снова небо, ясное, безмятежное. Хорошо...

Стоп. Какие копыта? Где арка? Арки надо мной нет. Нет, и всё тут. Я лежу рядом с кованой оградой, сквозь белёные столбики которой высовываются любопытные зелёные кусты.

Попробовал встать, левый локоть ответил острой болью. Оперся на правую руку. Сел. На булыжной мостовой рядом со мной лежал скрипичный футляр, возле него сияло глянцевым боком красное яблоко. Я засунул его в карман куртки. Поднялся.

– Па-а-а-а-берегись, – донеслось справа.

Прямо на меня неслась конная повозка. Я еле успел отскочить, схватив с мостовой футляр. Перья на шляпке милой барышни, проезжавшей мимо, трепал ветер. Стук копыт эхом отдавался в моей голове.

Вокруг сновали люди: мужчины в картузах и сапогах, женщины в шляпках и элегантных платьях, но чаще встречались бабы в длинных цветастых юбках и платках.

Что за бред? Кони, экипажи, булыжная мостовая... Слева – белая колоннада парадного крыльца. Неподальёку башня – колокольня, что ли? Похоже на церковь. Шишкин корень, где я? Ни дать ни взять девятнадцатый век!

Видать, крепко шарахнулся. Я закрыл глаза, потряс головой. В кустах вполне реалистично чирикают воробьи. Может, я сплю? Ущипнул себя за руку. Нет, не сплю вроде. Открыл глаза – снова та же картинка: церковь, мостовая, люди снуют. Некоторые уже как-то подозрительно посматривают. Внимательней всех пялится кучка подростков в смешных шароварах и тёмных рубахах с противоположной стороны улицы. Нет ни арки, ни дома тридцать «А», «Первая булочная» тоже испарилась. Может, это всё декорации? Кино снимают?

Я подошёл к парадному крыльцу, прочитал табличку: «Церковь святого Покрова Пресвятой Богородицы». Напротив, через мостовую, за оградой стоит сооружение, очень похожее на корпус университета, – оно же здание городского Владимирского реального училища. В конце улицы просматривается остроконечная крыша Дмитровской кремлёвской башни. Всё настоящее, но... какое-то другое. Ого! Так это же Покровка! То же самое место рядом с аркой, только лет сто назад! Интересно, а год какой?

Пытаясь избавиться от настойчивого внимания окружающих, я неторопливо направился в сторону кремля. Но мой прикид явно бросался всем в глаза: адидасовские кроссовки и джинсы совершенно выбивались из общей модной тенденции, впрочем, как и вансовская ветровка.

Я попробовал переключить внимание на уличные строения. Музыкальная школа исчезла. Здания Государственного банка тоже нет. Дмитровская башня выглядит как обычно, только она белая. Значит, сейчас конец девятнадцатого века – начало двадцатого, не позднее 1910 года. Круто!

Я неторопливо шагал по улице и разглядывал чопорные вывески: «П. Волковъ. Парикмахеръ», «Нотаріусъ», «Полиграфъ», «Физико-механикъ. Оптикъ. К. Дмитріевъ», «Фотографія». Вывески с именами владельцев показались мне хвастливыми, будто на переключке они делали шаг вперёд: «Волков?» – «Я!», «Дмитриев?» – «Здесь!»

Прогромыхал по рельсам новенький нарядный и какой-то очень раритетный трамвай, с бордовыми лаковыми боками и белыми занавесками на приоткрытых окнах. Водитель в белом кителе и тёмном картузе гордо выглядывал из открытой кабины. Вместо буфера на передней панели трамвая поблёскивала металлическая сетка. Крышу прикрывал рекламный щит: «Какао Van Houten. Самый лучший шоколадъ для питья».

Улица в общем-то узнаваема. Не такая нарядная, но зеленее и просторнее, что ли. Вдоль улицы высокие деревянные столбы с электрическими проводами и витыми фонарями. И трамвай тоже на электротяге. Ничего себе! Цивилизация! А я думал, что электричество только после революции 1917 года в России появилось.

Покровка гудит. Люди спешат по своим делам, заходят в торговые лавки, просто бездельничают. Цокают копыта, звенят дверные колокольчики, жужжат точильни. Где-то во дворе перелаиваются собаки, вдалеке играет трескучая шарманка. Похоже на расцвеченное чёрно-белое кино. Только всё вокруг настоящее, можно руками потрогать.

Вот здание драмтеатра, новенькое, свежесвыкрашенное. Площадь перед ним кажется больше. Афишные тумбы совсем в другом месте. Зато клумба такая же и вся в цветах. Посередине пара лавочек, и нет сумасшедших велосипедистов, скачущих по бетонным ступенькам рядом с задумчивой фигурой Евстигнеева. Откуда им быть-то? Они, как и Евстигнеев, не родились ещё!

Ух ты! Вместо гостиницы «Шератон» – белоснежная церковь. Красивая, с большим округлым куполом и маленькой колокольней на его верхушке. Почти как на Исаакиевском соборе.

Чуть правее расположились извозчики. Сидят на козлах, подперев головы кулачищами, – ожидают. Двое в сторонке переминаются с ноги на ногу и гогочут.

– Эй ты, малой!

Я вздрогнул, услышав прогудевший за моей спиной бас, и обернулся.

Высоченный крепкий дядька с мясистым малиновым носом был похож на скульптуру городского в конце Покровки: усатый, как Мюнхгаузен; в белом кителе и темно-зелёных шароварах, заправленных в начищенные до блеска сапоги гармошкой; перетянутый широким кожаным ремнём с кобурой справа и саблей слева. Только вместо миниатюрной папахи его широкий лоб прикрывала фуражка с лакированным козырьком, на которой красовались герб с оленем и остроконечная бляха с номером тринадцать.

Меня окатило холодной волной недоброго предчувствия. Тринадцать! Не слишком ли часто для одного дня?

– Ты кто таков будешь? И чего здесь слоняешься без дела? – Мужик сдвинул лохматые седые брови и уткнулся в меня прожигающим, как паяльник, взглядом.

Мысли замельтешили в голове, словно мошкара вокруг лампочки. Врать я не умею, да и не знаю даже, что соврать.

Скажу правду – подумает, что сумасшедший. Может, притвориться немым? Мне не привыкать – две недели в новую школу хожу и ни с кем даже словом не перемолвился. Глядишь, от немого-то и отстанет.

– Ну, что стоишь, как статуи? Как зовут тебя, спрашиваю? Аль забыл?

Я посмотрел на дядьку жалостными глазами и промычал что-то невнятное. Он подошёл вплотную, наклонился к моему лицу и под рычащее «шалишь!» схватил правое ухо своими железными пальцами. Послышался хруст. Боль пронзила голову. Не сдержавшись, я закричал:

– Сергей я!

– Ба, неужто прояснило? – Городовой захохотал во весь голос и отпустил наконец моё пульсирующее ухо. – Ну что, Сергей, отвечай: чьих будешь и почто здесь шастаешь?

– Шишкин я. Просто гуляю. – Я выдохнул и осмотрелся.

Ничего себе порядочки! А как же права несовершеннолетних?

Вокруг начал собираться народ: худощавый паренёк моего возраста с деревянным ящиком, пара мужиков в помятых пиджаках, детвора.

– А что у тебя там?

– Скрипка. – Я приоткрыл футляр.

– Ты что ж, музицируешь али украд струмент?

– Играю. Не крал я.

– А вид у тебя чего такой чудной? Циркач, что ли?

– Ага. На скрипке играю и фокусы показываю, – съязвил я.

– Шагай-ка в участок. Там разберёмся, какие такие хвокусы ты показываешь. – Городовой махнул рукой в сторону Алексеевской.

Почесав затылок, я нехотя поплёлся вперёд. Сопровождающий сзади звонко стучал сапогами.

– Ваше благородие, – протянул я в надежде очаровать служивого. – А за что меня в участок? Я ж никого не трогал, гулял просто.

Городовой довольно крякнул:

– В научение тебе, чтобы дурачком не прикидывался. Да и вид у тебя уж больно малахольный.

Я обернулся. Чуть левее, то и дело ныряя в толпу, за нами тенью скользил худощавый паренёк из наблюдавших. Городовой его тоже заметил, но виду не подал.

– Родители у тебя есть? Где живешь-то?

Во валит усач, прямо как Акула на физике!

– Нет, сирота я... – выдавил я через силу.

Нехорошее чувство сдавило грудь. Отца, понятно, два года нет в живых. Но мама-то жива-здоровая, а я сиротой прикидываюсь! О таком даже думать страшно, не то что говорить. Но скажи ему, что мать есть, – спросит, где живёт. Тут я и посыплюсь.

– Нездешний я, с цирковой труппой приехал в Нижний на Всероссийскую выставку. Да и заблудился. – Спина под ветровкой вспотела.

– Врёшь, бессовестный! – гаркнул городовой.

Как он догадался? Я резко остановился, и он воткнулся в меня сзади, как переполненная вешалка в гардеробе, – чуть колени не подломились.

– Честное слово, дяденька! – Я внимательно посмотрел ему в лицо.

– Я тебе не дяденька, а Елистрат Петрович! Заплутал, хм... Так я тебе и поверил. Подзаработать пришёл на Покровку, не иначе. Знаю я вас таких, вертихвостов! – Он одёрнул китель и, как плохой актёр, изобразил недовольство.

У меня словно камень с плеч свалился. Прокатило, значит, про труппу и выставку. Серёга, да ты растёшь! Вот уже и врать научился! Хотя мать меня бы и со спины расколола.

– Хотел, Елистрат Петрович, это вы точно угадали. А разве нельзя?

– Без спросу нельзя, а за спрос платить надо!

И тут меня наконец осенило: ему нужны деньги! Прав был Пушкин: «Всяк суетится, лжёт за двух, и всюду меркантильный дух»*. Ну вот, от стресса даже на лирику потянуло. Откуда что берётся, сам себе удивляюсь. А, ну да, это ж я в справочнике про Нижний вычитал, когда к викторине готовился.

* А. С. Пушкин. Отрывки из путешествия Онегина. Е. Онегин в Нижнем Новгороде (из не вошедшего в поэму «Евгений Онегин»).

– А как же я заплачу, если у меня нет ни копейки? Я ещё не заработал, – деликатно уточнил я.

– Будешь отдавать с заработка четвертак за день работы. А если кто обижать станет, мне сказывай – я тому уши надеру.

– Четвертак – это двадцать пять рублей? – спросил я городского, а сам покосился на парня с ящиком, отчаянно жестикулировавшего за его широкой спиной.

– Рублей? – расхохотался служитель порядка. – Артист! Для начала и двадцати пяти копеек с тебя хватит. Я, чай, не душегуб какой. – Он посмотрел на меня отечески, достал из кармана штанов медную слегка позеленевшую табакерку, ухоженными, по-детски пухлыми пальцами прихватил щепотку табака.

– Гришка, подь сюды! – стряхивая крошки с белого кителя, гаркнул он парню с ящиком, который тут же вынырнул из толпы. – Присмотри за новеньким, покажи, что к чему. Да смотрите не балуйте у меня! У губернаторского дома не шлындайте! Порядок соблюдайте! Чтоб тише воды ниже травы! Всё понял, хвокусник?

– Понял, ваше благородие, – отрапортовал я уплывающему вниз по улице городовому.

Глава 3. Гришка

– Здорово! – Гришка деловито протянул мне чумазую руку.

– Здорово, – вяло ответил я на рукопожатие.

Повисла пауза. Мои щёки вспыхнули, как поворотники. Я никогда не умел общаться с незнакомыми людьми, а сейчас совсем растерялся. Гришка же чувствовал себя словно рыба в воде, а может, виду не подавал, что тоже тушует-ся, смотрел на меня внимательным, изучающим взглядом. Руку мою он не отпускал, крепко обхватил ладонь горячими сильными пальцами. Я чувствовал себя мобильником, подключенным к зарядному устройству, – через Гришкино рукопожатие в меня вливалось непривычное чувство раскованности и уверенности в себе.

– Серёга Шишкин, – улыбнулся я.

– Григорий Скворода, – с достоинством ответил он и наконец отпустил мою руку.

– Скворода – это фамилия такая? – я чуть не расхохотался.

– Точно! – От простодушной улыбки кончик его носа, похожего на нос осетра, вздернулся, а глаза превратились в узкие светящиеся щели. – Имя с фамилией мне от деда достались. Ох и дед у меня был – бондарь, золотые руки! Ростом аршин с шапкой, а подковы, как калачи, гнул. Вся округа его уважала.

В моей голове заработал гугл, закрутилось колёсико: «Бондарь – кузнец, что ли? Нет, кузнец – это коваль. Бондарь, или бочар, – мастер по изготовлению бочек, точно!»

– Он у тебя бочки делал?

– Угу. А ещё лодку мог смастерить или мачту, дом своими руками поставить. Меня научил дерево любить и с инструментом обращаться. – Когда Гришка говорил про деда, глаза его озарялись тёплым светом.

– Мой дед тоже деревья любил. Он лесничим был. Жалко, что я его почти не помню. А что у тебя в ящике? Столярные инструменты? – выпалил я вдруг, в моей любопытной голове уже давно вертелся этот вопрос.

– Да нет. Щётки, вакса, ветошь – всё, что нужно для работы. Я обувных дел мастер, обувь чищу, – неохотно ответил мой новый знакомый.

– А, так вот почему у тебя руки такие чёрные!

– Вакса, аглицкая, не отмывается... Я аглицкой только самым дорогим клиентам чищу, а для кого попроще сам делаю из гуталина, печной сажи, яйца и пива.

Гришка шагал размеренно и чётко, с каким-то неподвижным величием, поворачиваясь ко мне всем корпусом. Я маршировал рядом, невольно выпрямляя спину.

Из Гришкиного рассказа я понял, что он единственный на Покровке чистильщик обуви и служит при сапожной мастерской, которую держит его дядька, в паре кварталов отсюда. Половину выручки плюс стоимость ваксы он отдаёт хозяину, что останется – его.

Меня осенило: скульптура чистильщика обуви есть в конце современной Покровки. Я её гуглил. Правда, так и не понял, кого хотел изобразить автор: мальчика или женщину, – на этот счёт единого мнения в интернете не было.

Сначала городской, теперь чистильщик – занятно... Хотя Гришка не очень похож на бронзовую копию. Разве что такой же худой и остроносый. Ростом чуть повыше меня. Но с женщиной его точно не спутаешь. Голубые глаза, мысль в них так и снуёт. Брови мохнатые, выгоревшие, очень близко расположенные друг к другу. Он как будто хмурится, размышляя. Высокие азиатские скулы, соломенные волосы, а подбородок волевой, с ямочкой, прямо как у Наполеона. Одет в ситцевую рубашу, смешные шаровары, грубые башмаки, начищенные до блеска. Да картуз заткнут за пояс штанов. Вот и весь Гришка.

Мы остановились у непримечательного двухэтажного здания с тремя арочными окнами посередине фасада и прямоугольным эркером* справа, в котором размещался вход. Вокруг витал головокружительный аромат колбасы.

Это же дом Костроминых, самое старое здание на Покровке, а в моём времени – Учебный театр! Я его без колонн и кафешек не сразу узнал.

На карнизе под окнами туда-сюда сновала пара голубей. В полуметре притаился лохматый серый кот – он нетерпеливо перебирал лапами, готовясь к прыжку.

– А что это ты руками размахивал, когда я с городским разговаривал, знаки какие-то странные подавал? – спросил я.

– Эх ты, тульский пряник! Ободрал тебя будочник, четвертак заломил. Я тебе знаки подавал, чтобы ты торговался: с тебя и пятака довольно. А ты тоже хорош – хвалиться начал, что за день можешь двадцать пять целковых заработать! – Гришка раздосадованно махнул рукой.

– Да не хвалился я, просто уточнить хотел, для верности... – Слова Гришки меня задели. – А ты городскому тоже платишь?

– Не, я у него глаза и уши, он с меня денег не берёт. – Гришкин голос дрогнул.

– Информатор, что ли? – внутри у меня что-то щёлкнуло.

Кот стремительно выпрыгнул вперед, но не удержался и повис на карнизе. Голуби синхронно вспорхнули.

* Эркер – полукруглый, треугольный или многогранный остекленный выступ в стене здания.

– Ты чего нахохлился? Не бойсь, я своих не сдаю. У меня всё по справедливости. Если человек надёжный – не подведу.

– А откуда ты знаешь, надёжный человек или нет? – Я постарался дружелюбно улыбнуться.

– А мы сейчас покалякаем, ты сам расскажешь, кто ты такой и стоит ли тебе доверять. – Гришка посмотрел на меня с прищуром. – Только без фантазий про цирковых, – я тебе не Петрович, враньё нутром чую.

Кот мягко приземлился четырьмя лапами на мостовую, ругательно мякнул и скрылся за углом.

Моё голодное брюхо как-то сразу встрепенулось и начало издавать стонающие звуки. В голову, как назло, ничего не приходило. Может, сказать всё, как есть? Терять всё равно нечего.

Гришка смотрел мне прямо в лицо. Вцепился как репей и сканировал меня спокойным взглядом.

– Расскажу, только пообещай, что никому не проболтаешься. – Я протянул ему руку.

– Вот те крест! – Гришка перекрестился, и мы скрепили наш уговор крепким рукопожатием.

Глава 4. Важен не обед, а привет

Гришка оперся спиной на кирпичную стену и внимательно слушал мою историю. Когда я закончил, он вытащил картуз из-за пояса и натянул на голову.

– Чем докажешь? – наконец спросил, выглянув из-под мятого козырька.

Я посмотрел на кроссовки и джинсы. Гришка тоже посмотрел на них и пожал плечами. Я пошарил по карманам. Эх, не забыл бы телефон, убедил бы Гришку на раз. А так придётся попотеть. Посмотрел на свой старенький фитнес-браслет – папа на день рождения подарил. Не эпл-вотч, конечно, но часы электронные – циферки сами перескакивают, пульс опять-таки посмотреть можно и шаги посчитать. Я продемонстрировал возможности браслета Гришке.

Он хмыкнул, спросил сквозь ухмылку:

– Аглицкие?

– Не, китайские.

Я вытащил из рюкзака учебники литературы и биологии, показал дату издания, картинки. Да и написано-то совсем по-другому, без лишних букв. Посеял сомнение, но не убедил. По глазам вижу.

– А какой сейчас год? – спохватился я.

– Одна тысяча восемьсот девяносто шестой. Тридцать первое августа, суббота.

– Ух ты, девяносто шестой! Год Всероссийской выставки!

Вытянул из рюкзака наушники, – штука занятная, но без телефона ни о чём. Достал пенал. О, шариковая ручка! Автоматическая. Таких в то время в России ещё точно не было. Вынул тетрадь, почиркал.

– Авторучка шариковая. Хочешь, подарю?

Гришка заинтересовался. Тоже почиркал в тетради. Положил ручку в карман. Улыбнулся.

– Она как... А я тебя сразу заметил. Сначала подумал – цыганёнок. Волосы тёмные кучерявые, зубы белые – аж глаза слепит, одежда какая-то несуразная, башмаки затейливые – нигде таких не видывал. Присмотрелся получше – взгляд у тебя бесхитростный, простой совсем, хоть глаз и карий, пушок на щеках и конопушки вокруг носа, как у девчонки, а сам какой-то потерянный, да ещё со скрипочкой. Точно не цыган! По повадкам барчук вроде. Думаю: кто таков? – Гришка расхаживал туда-сюда, засунув руки в карманы.

– А ты, значит, Серёга, и у тебя ни денег, ни дома, и податься некуда? А как в своё время вернуться, знаешь?

– Понятия не имею. – Я пожал плечами.

Запах колбасы становился все нестерпимее. Я посмотрел на часы. Пятнадцать тридцать три. Ого, как время летит! А у меня с утра маковой росинки не было, я бы сейчас крокодила съел!

Гришка поднял на меня ласковые глаза и, как будто прочитав мои мысли, спросил заботливо:

– Есть хочешь?

– Хочу.

Мы нырнули во внутренний двор за домом Костроминых, туда, где сейчас вход на Мытный рынок, и оказались, как сказал Гришка, на Мытном дворе.

Он поражал своим колоритом. На первых этажах задних фасадов зданий – многочисленные лавки с живностью, рыбой, зеленью и прочей провизией. Сюда же, на Мытный двор, выходили двери мясных ларьков, а со стороны дома Костроминых была та самая «Колбасная», которая терзала меня запахами. Аромат колбас смешивался со сладковатым запахом сырого мяса, шипающим в нос духом квашеной капусты и пряными нотками селёдки. Отовсюду свисали луковые и чесночные связки. Двор гудел: кудахтали куры в клетках, продавцы расхваливали товар или просто судачили. Около мясной лавки, словно бормашина, визгливо жужжал точильный станок.

Гришка пробежался вдоль лавок, здороваясь и болтая с торговцами. У некоторых прилавков он останавливался и бойко торговался. Если цена устраивала – распахивал купленный товар по карманам, сияя, как медный пятак. Я внимательно считал Гришкины затраты. У худого седого старичка он купил две луковицы и две молодые морковки, отдал за всё две копейки и был очень доволен. У бойкого парня с деревянным лотком и кучерявым чубом, заодно выглядывающим из-под картуза, – два варёных яйца за пятак. В рыбной лавке Гришка долго приценивался к жирной блестящей селёдке, но отошёл без «улова», негромко обзвав «жилой» круглую краснощёкую тётку.

Мы вышли со стороны Алексеевской и заглянули в источающую душистый аромат булочную, где Гришка купил буханку вчерашнего чёрного хлеба за три копейки. От булочной повернули направо. Прошли здание полицейского участка. Гришка сказал, что там можно найти Петровича, если он не в будке на Мытном.

На пересечении Алексеевской и Осыпной, известной мне ранее как улица Пискунова, мы перешли дорогу и оказались у деревянной ограды сада, в центре которого блестел на солнце небольшой слегка запущенный пруд. Перескочив через заборчик, устроились прямо на траве в тени деревьев рядом с прилично обветшавшей беседкой в восточном стиле.

Пока я разглядывал ещё не исчезнувший Чёрный пруд и сад, на месте которых трудно представить современные

строения, Гришка готовил трапезу. Он достал из деревянного ящика флягу с водой, соль в бумажном кулёчке и перочинный нож, расстелил на траве большой замасленный лист бумаги, выложил на него яйца, покромсал хлеб. Потом ловко очистил луковицы и обстругал морковку.

– Давай подкрепляйся, я угощаю, – довольно пробубнил он, смачно откусывая от целой луковицы.

– Как ты это ешь? – сморщился я.

– Эх ты, барчук, от лука нос воротишь! Важен не обед, а привет! В хорошей компании и лук сладкий!

– Я сладкое не очень люблю, всё больше бигмак с латге из «Макдональдса» или тёмный бургер из KFC. Мать, конечно, ругается: говорит, фастфуд – это зло. Но я от него как-то сразу добрею. – Я проглотил кусок хлеба и звонко хрустнул морковкой.

Гришка смотрел на меня непонимающе.

– А, ну да, забыл. Есть у нас такие трактиры с готовой едой и непонятными названиями. В них очень вкусные бургеры. Это когда большую булку режут пополам и укладывают между половинками огромную котлету из говядины или курицы, добавляют сыр, соус, солёный огурец или помидор. Пальчики оближешь!

– Я котлеты люблю, а ещё уху из стерляди аль осетра. Раньше отец рыбачил – бывало, и нас с братом брал побаловаться. Притащим рыбы всякой – где мелочь, а где покрупнее. Мамка такую уху сварит с пшеном – одним духом можно пообедать, ложка стоит. – Гришка задумчиво постучал яйцом по ящику и принялся счищать скорлупу.

– У тебя брат есть? Старший? Здорово! – Я тоже принялся за яйцо.

– Старшой, Федька. Он у меня знаешь, какой умный! Ремесленное училище закончил. Помощник механика.

– А у меня сестрёнка, маленькая совсем, шесть лет всего. Смешная, Гоженькой меня зовёт. Заговорила она рано, в годик, и вслед за мамой – «Серёженька» не выговаривала, так и привыкла.

При мыслях о Дашке мне стало совсем тревожно: представилось, как она сидит в садике одна-одинёшенька.

– Федька у меня брат что надо. Он в люди выбился. Отец, как выпьет, всегда им похваляется. Он у нас гартмановские элеваторы запускал. – Гришка надулся, как голубь, от важности.

– Какие-какие элеваторы? – От неожиданности я даже горбушкой поперхнулся.

– Эх ты, ничего не знаешь! Вагончики такие, которые на гору поднимают. – Он протянул мне флагу.

– Фуникулёры? Ого! Знаю про такие: Кремлёвский и Похвалинский, в Википедии читал. Принцип действия у них улётный, без электричества, основан на силе тяжести. В вагонах находятся ёмкости с водой. Когда на верхней станции баки наполняются, на нижней находятся вагончики с пустыми баками. Верхние вагоны под действием силы тяжести спускаются по рельсам, а нижние, наоборот, поднимаются.

– Точно. Я на них разок даже в первом классе проехался!

– Здорово! До нашего времени они не сохранились, но Кремлёвский фуникулёр планируют восстановить. А мне можно прокатиться?

– Скатаемся как-нибудь! – небрежно бросил Гришка и громко, словно яблоком, хрустнул второй луковицей.

О, как я мог забыть! Я достал из кармана яблоко.

– Хочешь? Угощаю, – и потянулся за Гришкиным ножом.

– Стой! – Гришка встрепенулся. – Это то яблоко, которое ты нашёл, когда очнулся?

– Ага.

– Слушай, а может, это не простое яблоко, а волшебное? – Он немного сконфузился на последнем слове. – Я вот подумал: может, его тебе бабуся подбросила, чтобы ты мог вернуться в своё время?

– А это мысль! Стоит только откусить, и я вернусь в то же время на то же место... – Я мысленно представил подворотню, ведущую к Покровке, трёх преследующих меня широкоплечих «цепных псов» и резюмировал: – Нет, сейчас я его есть не буду.

– Правильно, – поддержал меня Гришка, – сначала надо разобраться, как оно работает, чтобы не перевести продукт зазря. Я ещё вот что думаю: есть яблоко нужно в том самом месте и в то же самое время. Завтра попробуем.

Глава 5. Брильянтин на мою голову

После обеда мы отправились к Гришке – он решил меня переодеть, – потом на Покровку: там, как он выразился, в это время самый клёв.

Оказалось, Гришка, как и я, жил на Звездинке. Я – на нечётной стороне улицы, в доме номер пять, многоэтажке с детской библиотекой прямо за домом чертёжника, где когда-то работал Максим Горький, а если точнее, Алёша Пешков. Дом чертёжника стоял на своем месте, а моего, естественно, ещё и в помине не было. Гришка жил на другой стороне, ближе к пересечению Звездинки со Студёной. Его дом до нашего времени не сохранился, поэтому увидел я его впервые. Домик был маленький, бревенчатый, почерневший и слегка покосившийся.

Звездинка выглядела лысовато, хотя сквер уже был разбит. Тоненькие низкие деревья проглядывали сквозь опрятный забор из металлических решёток, ровные дорожки были посыпаны гравием. Вокруг сквера рядами стояли невысокие, не больше двух этажей, домики – деревянные, украшенные резными наличниками и замысловатыми узорами на крышах, кирпичные, крепкие и приземистые.

Гришка скрипнул калиткой и пропустил меня вперёд. Махнув на пышный куст крыжовника у забора, коротко отчеканил: «Жди здесь» – и исчез. Я спрятался за куст.

Обозримая часть двора показалась мне не прибранной. Всюду валялась хозяйственная утварь, старая грязная обувь, вокруг деревянной бочки с водой бегали две тощие курицы, на кривом заборе сушился треснутый горшок, из-за угла дома выглядывали на удивление аккуратные грядки.

Внимательно рассмотреть двор я не успел. Зычный женский голос разрезал тишину: «Гришка, ирод окаянный! Чаво в шкапу забыл? Опять без дела шасташь – чё те не работатца, дармоед?..»

Гришка выскочил из дома и, шмыгнув под куст, пристроился рядом со мной.

Прошипел в ухо:

– Пригни-ись...

Из дома выплянула рыхлая бесцветная женщина лет сорока с грязным полотенцем в руках, пошарила по двору рыбьими глазами и, не увидев беглеца, с грохотом захлопнула дверь.

Гришка, приложив палец к губам, кинул на траву одежду. Я переоделся в широкие штаны и свободную темно-синюю рубаху, подпоясал её ремнем.

– На-ка вот! – Он с видом факира достал из-за спины и поставил передо мной пару прилично поношенных ботинок с круглыми носами и растрёпанными шнурками.

Я почесал затылок. Если честно, надеть вместо любимых кроссовок пару старых башмаков – то ещё удовольствие. К тому же в голове сразу зашевелились мамины поучения о негигиеничности ношения чужой обуви.

– Надевай, мне они уже всё равно малы, не выкидывать же, – подбодрил меня Гришка. – Рубаху и штаны отдашь, когда на свои заработаешь, ботинки можешь оставить себе.

– Спасибо, всегда о таких мечтал, – съязвил я шёпотом и, сморщившись, сунул ноги в ботинки.

Пока я их шнуровал, Гришка достал из кармана облупленную жестянку, зачерпнул из нее пальцем прозрачную вонючую жижу, растер в ладонях и залез липкими руками в мою шевелюру.

Я отпрыгнул в сторону как ошпаренный:

– Дурень, ты чего? Совсем обалдел?

– Не бойсь, это ж брильянтин, для образу. Для себя делал, от сердца отрываю.

Разделив мои волосы на две части, он с довольной улыбкой пригладил их на висках. Жутко представить, что из этого вышло! Я взлохматил пятернёй слипшуюся массу, достал из рюкзака расчёску и зачесал волосы назад, без пробора.

– С пробором не пойду! – сурово отчеканил я и косо посмотрел на приятеля.

Тот надулся.

Мы тихо выскользнули на улицу.

– Строгая у тебя мать, – пробурчал я, чтобы развеять нависшую, как тяжёлая туча, тишину.

– Это тётка Глашка, отцова сестра. Чтоб ей пусто было. Матушка у меня тихая, она в приюте на Ильинке нянькой работает, сегодня в ночь дежурит, – деловито ответил Гришка.

Глава 6. Скрипка – опасный инструмент

Через десять минут я «при полном параде» стоял на углу Покровской и Осыпной. Рядом на земле пылился Гришкин картуз с одиноко поблескивающей копеечкой: как выразился Гришка, «на развод».

Стоял я на месте той самой Весёлой Козы, мимо которой в современном Нижнем не проходит ни один турист. Мне всегда казалось, что ей совсем не до веселья: попробуй повеселись, когда каждый, кому не лень, усаживается на тебя верхом и хватает за бронзовые натёртые рога. Сегодня я ей особенно сочувствовал. Даже ощущал себя немногo рогатым: все вокруг так и пялились. Неудивительно: со скрипкой, бледный до синевы, – вся кровь в пятки ушла – и с прической, как у Дракулы.

Знал бы отец, что его сын будет стоять с протянутой рукой на улице, – наверное, сгорел бы со стыда. А может, и понял бы: папа всегда всё понимал. Иногда даже неловко было: промолчу о чём-нибудь важном, а он посмотрит прямо в глаза и сразу всё поймет. Махнёт легонечко головой – мол, не дрейфь, прорвёмся, – а мне глаза хочется спрятать, как будто украл что.

Я не играл на скрипке со дня смерти отца, ни разу даже в руки не брал. Не мог себя заставить. При одной мысли просыпался в животе демон и выворачивал нутро наизнанку. Хотелось бить и крушить всё вокруг! И матери не мог объяснить, почему музыкалку бросил: она сразу плакать начинала, от чего совсем тошно становилось. Ну а сейчас, видно, не отвертеться...

Мысленно представив глаза отца и отогнав мысль о немых руках – папа с детства учил меня бережно обращаться с инструментом, – я осторожно достал скрипку из футляра, настроил смычок, щипнул струны. Стараясь не смотреть в лицо зевакам, собирающимся вокруг, я начал с народных хитов и грянул «Ой, мороз, мороз».

Колени мои тряслись; левая рука так крепко сжимала гриф, что пальцы теряли способность двигаться, шея и плечи окаменели. Я чувствовал себя новичком, который впервые держит инструмент. Судя по вытянувшимся лицам

зрителей и летевшим в меня смешкам и издёвкам, хит они не оценили. Да и сам я был не очень доволен исполнением.

Вспомнилась цитата Ильфа и Петрова, которую любил повторять отец во время наших занятий: «Скрипка – опасный инструмент. На нём нельзя играть недурно или просто хорошо, как на рояле. Посредственная скрипичная игра ужасна, а хорошая – посредственна и едва терпима. На скрипке надо играть замечательно, только тогда игра может доставить наслаждение»*.

Я выучил эту цитату до последней буквы – так часто он её повторял. Вспомнил, как взрывался каждый раз после его слов и, бросив смычок, выскакивал из детской. Сейчас их смысл открывался мне заново: я играл и чувствовал, как каждая фальшивая нота пробуждает в слушателях что-то недоброе, и сжимался от ожидания – того и гляди в меня полетят камни. Гришка работал на другой стороне улицы, и мне не было его видно.

Чувство собственной бездарности придавливало меня всё сильнее. Я вспомнил свои прошлые выступления, как уверенно я обычно поднимался на сцену. Вспомнил первую учительницу музыки, которая выработала во мне эту привычку, научила расслабляться во время игры, используя нехитрые упражнения. Однажды после занятий я подслушал её разговор с отцом. Ласковым, необыкновенно юным для пожилой женщины голосом она сказала: «Серёжа удивительно одарён». С тех пор я всегда выходил на сцену, повторяя про себя эти слова. Я носил их под сердцем, как талисман. Сейчас они снова прозвучали в моей голове, и, не обращая внимания на гуляющий по спине холодок, я заиграл «Светит месяц».

Покачиваясь в такт музыке, моё тело с каждым выдохом становилось мягче и податливее, движения приобретали уверенность. Скрипка наконец запела, затрепетала. Чистый звук разливался по улице, отражаясь эхом от кирпичных стен. После финальных аккордов на несколько секунд стало совсем тихо, потом кто-то гулко захлопал, а двое мужичков, улыбнувшись, пустились в пляс. Я с облегчением выдохнул... Ну вот, вроде отпустило.

* Илья Ильф, Евгений Петров. «Одноэтажная Америка».

Звук падающих на мостовую монет заставил меня вздрогнуть. В двух шагах стояла девчонка лет четырнадцати с белой лентой в длинной косе, в сером платье с фартуком и пелериной. Гимназистка, наверное. Она бросила в картуз пару медяков и с улыбкой посмотрела мне прямо в глаза. Я оцепенел. Рябинкина?.. Не может быть! Откуда?

Девчонка прошелестела юбкой, окутала меня ароматом розовой воды, оглянулась и, махнув косой, как рыба хвостом, скрылась за ближайшим поворотом под руку с невысокой женщиной в соломенной шляпке.

Глава 7. Богатый улов

Мой дебют всё-таки удался, хотя остальное время я играл, не замечая ничего вокруг, на автомате.

В голове всё время крутился образ Рябинкиной. Что-то незнакомое было в её лице. Оно светилось добротой и кропотливостью, что ли. Никогда не видел Машку такой. Может, это и не она вовсе? Показалось? Откуда ей здесь быть, в одежде гимназистки, да ещё под руку с какой-то женщиной? Точно не она.

А вдруг она? А я одет как бомж, ещё брильянтин этот дурацкий – лучше уж мои кудряшки... Глаза у неё как калейдоскоп – не оторваться: внутри серого ободка зелёно-жёлтые лучи с коричневыми метеоритами. Посмотрела – аж сердце затрепыхалось. Нет, не Рябинкина. Померещилось. Точно померещилось. Так о землю бабахнуться, и не то привидится.

Я пришёл в себя, когда вернулся Гришка.

– Ого, да у тебя богатый улов сегодня! Новичкам везёт.

Он принялся пересчитывать мой заработок.

– Пятак, новенький!

– Мальчуган дал, лет пяти, наряженный в костюм морячка, в голубом берете, – припомнил я.

Одной рукой мальчик тянул за верёвочку деревянный разноцветный кораблик на колёсах, а в другой держал пятак. С ним была молодая женщина с толстым томиком стихов в руках, в строгом шерстяном платье с белым на-

крахмаленным воротником и маленькой круглой шляпке, по форме напоминающей головной убор стюардессы. Гувернантка, наверное.

– Пятиалтынный... – продолжал Гришка.

– Пятнадцать копеек барышни положили, смешные, раскрасневшиеся, пухленькие.

Их было пять, разного возраста, но все на одно лицо. Одеты – жуть, платья в каких-то цветастых рюшах. Прогуливались с маменькой и папенькой, раздувшимися от гордости за своих чад.

– Еще пятак и семишник...

Пять копеек и две копейки – от Рябинкиной. «Итого двадцать семь копеек», – посчитал я про себя. И про Рябинкину почему-то решил Гришке не рассказывать.

– А у меня сегодня почти целковый! Когда ещё так повезёт? – он расправил плечи и посмотрел на кончик начищенного ботинка.

Я выдержал паузу и неторопливо достал из кармана золотую пятирублёвую монету.

– Полуимпериал? Ай да фокусник! Ай да Серёга! – Гришка взял монету, подкинул её на чумазой ладони, попробовал на зуб. – Откуда?

– Дамочка подарила, черноглазая. Что-то бормотала непонятное – иностранка, наверное... И одета элегантно. Причёска у неё смешная: кудряшки, уложенные полумесяцем и прикрытые по бокам белыми кружевными салфетками, – один в один Фея-крёстная из сказки про Золушку. Вышла из театра, подошла совсем близко и вдруг заплакала. Я как раз исполнял арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» Чайковского – мой коронный номер, не один конкурс с ним выиграл. Я даже испугался – подумал: «Может, сыграл плохо?» А она достала монету, завернула в шёлковый платок и положила мне в руку. – Я показал Гришке надушенный платок с вышитыми на нём латинскими инициалами «I. T.».

– Да ты, Шишкин, оказывается, галантерейной души человек! На сопливой барышне полуимпериал заработал!

Я уловил в голосе Гришки завистливые нотки. Он стряхнул картуз, вернул мне все монеты, кроме пятирублёвки. Её спрятал к себе в карман.

– Увидит кто – отберёт. Разменяю – отдам. Айда за мной! Закатимся в трактир, наедемся от пуза! Отметим твой... как ты там сказал – дебют? – Гришка припустил по Осыпной. – Только к процентщику заглянем, пока не стемнело.

С Осыпной мы свернули на Ошарскую. На первом перекрёстке Гришка отодвинул доску в заборе и проскользнул в дыру, меня оставил ждать снаружи.

На улице заметно похолодало, на город понемногу опускались сумерки. Я достал из рюкзака ветровку, накинул на голову капюшон, чтобы не привлекать внимание, и слился с забором.

Ошарская мне не понравилась: народ здесь обитал подозрительный, в основном подвыпившие оборванцы. Издалека доносились протяжные песни, которые раззадоривали без того не умолкавших собак. Бревенчатые домишки делали улицу похожей на деревню, кирпичных зданий было раз-два и обчёлся. От взглядов проходящих мимо людей мне сделалось совсем нехорошо – я отодвинул доску и проскользнул в дыру.

Оказался я внутри просторного двора, общего для нескольких строений, с раскиданными по периметру поленницами и белыми пятнами развевающихся на ветру простыней. Побродил туда-сюда вдоль забора. Посмотрел на часы – девятнадцать пятьдесят пять. Прошло пять минут, ещё десять – Гришки всё не было.

«А если он исчез с моими пятью рублями?» – обдала меня жаром шальная мысль. От неё стало совсем тоскливо. Ведь я про Гришку ничего толком не знаю. Можно, конечно, найти его дома, на Студеной, если это вообще его дом...

События сегодняшнего дня начали разворачиваться в моей голове совсем в другую, неправильную сторону. От волнения я стёк по забору на сырую траву и обхватил липкую от брильянтина голову руками.

С улицы послышались голоса. Говорящие остановились где-то совсем близко, у забора. Прямо за моей спиной раздался пробирающий до мурашек хриловато-сиповатый бас-баритон:

– Всё понял? 3-3-завтра в полночь приступим. Наш орёл отбудет на выставку тушить пожар, а вы с Сивым за-за-

заберётесь в дом. Окно кабинета выходит на за-за-задний двор, второй этаж, третье справа. В кабинете за столом у стены – портрет, за портретом – сейф, в нём бумаги. Сейф вскрыешь, бумаги сожжёшь, все без разбору. Если найдёшь деньги или ца-ца-цки – всё твоё.

– «Балериной» вспороть али Акробата с собой взять? – Голос второго был живее и моложе, этаким лирический тенор.

– Возьми Акробата, нам г-г-главное – всё сделать без лишнего шума.

– А ежели застучает кто?

– Не за-за-застучает, охрана тоже отправится на пожар – там понадобятся люди, – останется только прислуга, но она живёт в другой части дома.

– А петуха на выставке кто пустит?

– Пианист с помощниками организуют. Всё будет точно, как в аптеке.

– Башмак твой Пианист, погорим мы с ним! – Тенор с размаху пнул ногой забор. Тот задрожал, и я вместе с ним.

– Не паникёрствуй, всё сделают как надо. Завтра в одиннадцать приходи на бал к Арапу, там всё обсудим...

Чья-то фигура неожиданно вынырнула из темноты. Я от ужаса чуть кадык не проглотил.

– Айда кутить! Чего расселся? – радостно заорал Гришка.

– Тише, не ори, – прошептал я и приложил палец к губам.

– Атас! – выкрикнул тенор, и за забором слышались торопливые шаги разбегающихся в разные стороны заговорщиков.

– Ты чё? – прошептал Гришка.

– Тише ты! Тут такое дело... – Я дёрнул приятеля за руку. – Бандиты какие-то сговаривались на дело! Ноги надо отсюда уносить, не то влипнем.

Скрипнула калитка. Мы с Гришкой припустили через двор и спрятались за поленницей. Потом мелкими перебежками пробрались между домов, выбрались с другой стороны улицы – и наутёк дворами.

Глава 8. ...И де-воляй

Отдыхались только у следующего перекрёстка.

– Хвоста вроде нет. – Я вгляделся в темноту.

– Откуда ему быть-то? Примерещилось тебе, Серёга. – Гришка с улыбкой похлопал меня по спине.

– Всё слышал своими ушами, что-то серьёзное затевают. Про выставку ещё говорили.

– Про выставку?.. Ладно, расскажешь всё подробно за ужином, – может, правда, что путное услышал. Деньгу я твою разменял. Держи, припрячь получше, рубль с мелочью оставь в кармане. Да пересчитай сначала – всё без обману, процент я со своих заплатил.

Я почувствовал, что краснею, вспомнив, какие мысли бродили у меня в голове. Чтобы реабилитироваться в собственных глазах, сказал:

– Разве ты можешь обмануть, Гриш!

Гришка приподнял бровь:

– Врать – себя не уважать! Деньги лучше в ботинки спрячь, так надёжнее. А теперь айда в трактир! – Он махнул головой в сторону двухэтажного здания.

– Только я угощаю! – не удержался я.

Мы подошли к крепкому наполовину бревенчатому дому. На кирпичной стене прямо над крыльцом висела табличка: «Трактирь. Кузьмичь», рассекая бревенчатые стены второго этажа – другая, вертикальная, с надписью «Нумера».

– Может, где-нибудь в более приличном месте поедим? – аккуратно предложил я, услышав долетающие из трактира звуки расстроенного пианино и фальшивый женский голос, выводящий приторный романс.

– Ишь, ресторацию ему подавай! В приличное место нас с тобой, Сергей Шишкин, не пустят: мордой не вышли. А это, между прочим, лучший трактир в этой части города, здесь закуску бесплатную дают! – Гришка решительно подтолкнул меня к крыльцу.

У входа располагалась ведущая на второй этаж лестница с лакированными перилами, отдававшая затхлым, пыльным ковром. Слева была раздевалка, справа – прила-

вок с нехитрыми закусками и несколькими самоварами. За прилавком возвышался огромный шкаф с посудой.

Мы прошли в большую комнату, которая была плотно уставлена наряженными в цветастые скатерти столиками. Отделка простая, без ковров и занавесей. В конце комнаты – небольшая сцена, в углу – пошарпанное пианино. Пианист только что закончил играть и неспешно потягивал из стакана жидкость, напоминающую клюквенный морс.

Зал гудел, было душно и дымно – не продохнуть. За столиками сидели мужчины. Молодые и в возрасте. Одеты по-разному: кто совсем просто, как мы с Гришкой, кто солиднее. Несколько бородатых мужичков в старомодных кафтанах мирно прихлёбывали чай из фарфоровых блюдец. Женщин среди посетителей я не заметил, если не считать молодую особу, спустившуюся со сцены и скрывающуюся за задней дверью.

Половой – так, с Гришкиных слов, назывались официанты в трактирах – поставил на наш стол «казённую закуску» из солёных огурцов и варёной ветчины и положил «карточку» с предлагаемыми блюдами.

– Уважь нас, Еремей Сидорыч, подай нам самовар чаю с леденцами ячменного сахару, уху ершовую с расстегаями и де-воляй. – Гришка положил кулаки на стол и торжественно приподнял левую бровь.

– Не извольте беспокоиться, Григорий Никанорыч, сделаю, – вежливо поклонился половой, седой, причёсанный на пробор бородатый старичок в длинной рубаше, подпоясанной расшитым поясом с кисточками.

Как только половой отошел, я расхохотался:

– Ну, Григорий Никанорыч, вы прямо барин! «Еремей Сидорыч, иди валяй уху с расстегаями».

– Сам ты «иди валяй». Де-воляй – блюдо такое, французское, вкуснятина первейшая. Еще спасибо скажешь. Давай лучше налегай на закуску.

Похрустывая огурцом, я начал рассказывать о том, что услышал ненароком во дворе дома процентщика:

– Так вот, сижу я за забором, жду тебя и слышу – два мужика разговаривают: один постарше и покультурнее, он ещё заикается, а второй молодой вроде и разговаривает

всё больше на жаргоне. Тот, что постарше, говорит: мол, завтра в полночь заберётесь в дом, пока хозяин будет на выставке. А Пианист там пожар устроит, чтобы отвлечь, значит. В доме никого не будет, поэтому вам нужно выкрасть из сейфа бумаги и сжечь их, а если в сейфе будут деньги или украшения, можете забрать себе. С Пианистом завтра они на балу встречаются. Бал у какого-то араба, а может, имя у него такое – Арап, я не понял. Там они ещё что-то про балерину и акробата говорили, я не расслышал. Эти двое вроде тоже помогать будут дом грабить.

– Ты меня совсем запутал. Циркачи они, что ли, или артисты какие – акробат, балерина, пианист и араб?

– Да нет, на цирковых не похожи. Первый больше на барина смахивает: голос у него властный, я бы даже сказал – респектабельный. А молодой – блатной, вор, наверное.

– Ага, первый – барин, второй – фармазонщик*. Как их звали, помнишь? – Гришка набил рот ветчиной.

– Нет, они друг к другу по имени не обращались. У молодого есть помощник – барин его Сивым называл, он тоже с ним грабить пойдёт. Завтра в полночь. – Я так увлёкся рассказом, что мужики за соседним столиком стали оглядываться.

– Тише ты, ишь расшумелся! А с выставкой что?

– В полночь хозяин дома уедет на выставку, потому что Пианист там устроит пожар. Дома останется только прислуга, но она в другом крыле спит. Грабить будут кабинет – там сейф за картиной, а в нём бумаги и деньги. Но барину было важно уничтожить бумаги, все до одной. Что-то важное в них, что никто не должен узнать, понимаешь?

– Ага, а что за бал? Где, когда?

– Завтра в десять. Заика сказал: «Приходи на бал к Арапу, там и договоримся».

– На бал?.. Так это же Балчуг, ветошный рынок. – Гришка погрыз ноготь на большом пальце. – А кто там будет?

– Первый, второй и ещё Пианист.

– А что с балериной и акробатом?

– Молодой спросил: «Кто будет вспарывать – балерина или акробат?»

* *Фармазонщик* – мошенник (жарг.).

– Кого вспарывать?
– Не знаю... Но зайка сказал, что лучше акробата взять.
– Ладно, разберёмся. Как зовут хозяина, чем занимается, где живёт – говорили?

– Нет, ничего такого.

– Придётся самим завтра на Балчуге потереться, всё разузнать. А потом к Петровичу, у него смена в полдень. Пока, кроме пожара на выставке, у нас всё равно ничего. И с хозяином непонятно. Это кто угодно может быть: торговец, жандарм... Мало ли, может, даже пожарник.

– А как мы их узнаем? Я ж в лицо ни одного не видел, только по голосу. И яблоко как же? Мне домой надо, а то меня мать совсем потеряла, наверное.

– Успеемся. Я ещё про Сивого справки наведу... – Гришка притих. Еремей Сидорыч аккуратно расставлял на столе тарелки с дымящейся, подёрнутой золотой переливающейся плёнкой ухой.

– А ночевать я где буду? Здесь, в номерах? – спросил я, когда уха в тарелке закончилась.

– Нечего деньги переводить, да и не место тебе здесь. Я тебя к матушке в приют на ночь пристрою, а там видно будет. – Гришка откусил расстегай и прихлебнул уху. Ел он неторопливо, смаковал каждую ложку.

При мысли о приюте я немного успокоился. Не очень-то мне хотелось оставаться одному на Ошарской, да ещё в номерах. Перспектива заночевать на улице пугала ещё больше. Я поблагодарил своего спасителя: Гришку мне послала судьба, вот бы такого друга в моё время.

Я вспомнил детство, родной Томск, когда был жив папа и у меня были друзья Мишка и Федька. Мы играли в царя горы, сталкивая друг друга с высоченных сугробов, а летом допоздна гоняли на великах. Кажется, это было не со мной...

Потом не стало ни папы, ни друзей. Они как-то сами собой растворились. Сначала я перестал смеяться над их бессмысленными шуточками и слушать бесконечную трескотню про игровые приставки. Потом они всё реже стали звать меня во двор. Мама устроилась на вторую работу, бегала по вызовам или отсыпалась после ночного дежурства, и мне приходилось сидеть с Дашкой. Я чувствовал себя

мухой, летающей по одному маршруту: школа – детский сад – дом. Учёбу забросил, перестал выходить просто так на улицу. Сейчас даже не помню, когда друзья первый раз просто прошли мимо, сделали вид, что не заметили...

Запах жареной курочки вернул меня к реальности. В плоской тарелке красовались большие золотистые котлеты – «де-воляй» оказался обычными котлетами по-киевски. Но мне показалось, что ничего вкуснее я никогда не ел. То ли был такой голодный, то ли котлеты были так хороши, но от удовольствия у меня нагрелись и зашкворчали уши.

– Я ж говорил, вкуснятина! – Глядя на меня, Гришка похрюкивал от смеха. – Жаль, здесь, как в ресторации Ермолаева, сладкую воду с пузырьками не подают – вроде кваса, но вкуснее, лимонад называется. Пьёшь, а она тебе язык щекочет, аж дух захватывает! Я раз пробовал. Говорят, она ещё бывает зелёная.

– Газировка! У нас её на каждом углу продают, в бутылках. А ещё есть жевательная резинка с разными вкусами – например, мятная, клубничная или апельсиновая. Тебе бы точно понравилась: сладкая, как конфета, жуёшь её, а она не кончается.

– Наверде жевательного табака?

– Ага, только от неё зубы не желтеют, а, наоборот, чище становятся.

Надувшись с Гришкой самоварного чаю, мы рассчитались с половым. Ужин нам обошёлся в один рубль пятнадцать копеек, не считая пятака чаевых, который Гришка самолично отдал Еремею Сидорычу. Напихав за щёки леденцов, в разгар всеобщего веселья мы вывалились на улицу.

Глава 9. Ночная гостья

Темень стояла жуткая: освещения не было совсем, только голубоватая луна иногда подмигивала нам из-за туч. Гришка ориентировался в темноте как кошка. Я же шёл на ощупь, держась за друга и спотыкаясь на каждом шагу. Иногда на лицо шлёпались крупные дождевые капли.

До Ильинки мы добрались через Добролюбова, по Гришкиному – переулочку Мироносицкий. На перекрёстке

повернули налево. Тишина там стояла необычайная, даже собаки не лаяли. Улица освещалась редкими фонарями. Обитатели домов спали. Мы дошли до трёхэтажного здания с небольшим нарядным крыльцом посередине. Гришка постучал в резную дверь металлической ручкой-кольцом: «два длинных – один короткий».

Через минуту дверь приоткрылась, и за ней в свете масляной лампы показалось усталое женское лицо. Гришка рассказал про меня жалостливую историю сироты без роду без племени. Женщина улыбнулась. Пламя отразилось в её глазах, морщинки вокруг глаз заиграли лучами. Я узнал Гришкины глаза.

Она вытащила из кармана связку ключей и отдала сыну.

– Здравствуй, Серёжа. Вы идите в мастерскую, а я сейчас, – сказала шёпотом, протянула мне горящую лампу и осторожно прикрыла дверь.

Мы с Гришкой повернули в арку, расположенную с левой стороны приюта, и оказались во внутреннем дворе у длинного двухэтажного кирпичного корпуса. Гришка отомкнул амбарный замок на одной из дверей. Мы вошли в небольшое пахнущее опилками помещение. Сквозь узкое окно на деревянный пол падал голубоватый свет.

Посреди комнаты стоял массивный грубый стол. На нём были разложены столярные инструменты: стамески, рубанки, свёрла, коловороты. Гришка достал из каморки в углу старый соломенный тюфяк, бросил рядом с лавкой.

– Тут и будешь спать. Лучше любого номера.

Я плюхнулся на тюфяк. Да уж, не люкс, конечно, но сойдёт.

Следом за нами вошла Матрёна Андреевна – так звали Гришкину маму. Она принесла тазик, кувшин тёплой воды и мыло с полотенцем. А я думал, что после котлет меня сегодня уже ничто так не обрадует.

– Серёжа пусть отдохнёт, а ты, Гриша, беги домой – поздно уже, отец сердиться будет. – Она ласково обняла Гришку, поправила непослушную прядь волос на его затылке. – Утром я его разбужу, чтобы никто не заметил.

– До завтра. Встретимся в девять часов на углу у Вознесенской церкви. – Гришка махнул рукой и исчез вместе с мамой за дверью.

Смыв ненавистный брильянтин с волос, я блаженно вытянулся на тюфяке, рюкзак положил под голову. Спать хотелось ужасно, тело ломило, ноги гудели. Ритмичный стук дождя по крыше напоминал звук маминой швейной машинки, доносящийся из кухни. Мама любила шить по ночам, это её успокаивало. Я представил, как она, уложив Дашку, строчит, то и дело останавливаясь и прислушиваясь, не раздастся ли звонок в дверь.

Я всегда стеснялся, когда меня видели с мамой. Мне казалось, что она должна выглядеть иначе. Её красная помада и осветлённые добела волосы, собранные старомодным ободком, эти её кружевные чёрные платья и высоченные шпильки, на которых она постоянно спотыкалась, а ещё странная манера обращаться к людям в уменьшительно-ласкательной форме, независимо от их возраста, – всё это было как-то не к месту, привлекало внимание и вызывало ироничную улыбку.

Удивительно, но при этом мама всем нравилась. Пациенты любили её и засыпали благодарностями. Они звонили ей днём и ночью. Мама всегда была готова помочь. Им, но не мне. На меня у неё не хватало времени.

Сейчас я как-то неожиданно ясно понял, что горжусь ею. Талантливый врач, кандидат наук. Молодая, стройная, высокая, совсем не как Матрёна Андреевна, к тому же КМС по парашютному спорту.

Мне захотелось вернуться домой и очутиться в маленькой, ещё немного чужой кухне рядом с ней, самой ласковой и доброй. Обнять её за плечи и сказать, как я её люблю, почувствовать, как она нерешительно перебирает мои непослушные кудряшки.

Почему я никогда не делал этого раньше? Что там «люблю» – я даже не мог поздравить маму с днём рождения, хотя каждый раз помнил о нём. Что-то внутри мешало сделать это: к горлу подкатывал комок, на глаза наворачивались слёзы. Чувство неловкости смешивалось с щемящей нежностью и не давало дышать, разрывало моё нутро на части.

Я подумал: что будет, если я никогда не вернусь в своё время, никогда её больше не увижу? Слёзы капали на рюк-

зак. Усталость моя улетучилась, и я уже подумывал съесть яблоко, когда услышал странные звуки за дверью.

Снаружи кто-то скрёбся и шуршал. На цыпочках я пошёл к двери. Прислушался... Как будто скулит кто-то, жалобно так... Я приоткрыл дверь.

Какой смешной, растрёпанный и мокрый! Дрожит, замерз, наверное. Да это девчонка, чернявая, а живот розовый! Видать, дворянского происхождения.

Я завернул щенка в полотенце и посадил на тюфяк. Проверил нос – прохладный и мокрый. Достал из рюкзака предусмотрительно припрятанный расстегай. Отломил кусочек, поднёс к мордочке. Малышка неуклюже ткнулась шершавым носом в ладошку, а потом торопливо и неумело принялась жевать. Я улёгся рядом и наблюдал. Наевшись, собачонка подняла на меня свои чёрные глаза-бусинки, с облегчением вздохнула, зевнула во весь зубастый рот, свернулась калачиком и заснула.

– Спокойной ночи, Буся, – прошептал я и, улыбаясь, погасил лампу.

Вот оно – наконец у меня есть собака! Всегда о ней мечтал. Давно бы взял, если бы не мама со своей, вернее с моей, аллергией. Подумаешь, в детстве астму подозревали. Может, я её уже давным-давно перерос. Да и, в конце концов, на собак я не сильно реагирую. Это же не кошка и не кролик, от которых у меня вокруг глаз вырастают пятнистые мухоморы.

Я обнял Бусю. Иногда всё-таки приятно быть независимым. Захотел – взял собаку, и не надо никого спрашивать. С этой мыслью я провалился в счастливый глубокий сон.

Глава 10. Знакомство

Разбудил меня какой-то грохот. Продрав глаза, я не сразу понял, где нахожусь. Перед моим носом вилял туда-сюда черный хвост. Буся.

Мастерская была залита утренним светом, в котором не торопливо кружилась пыль. В дверь кто-то громко стучал.

– Серёжа, проснись! Пора вставать! – послышался напевный, забавно окающий голос Гришкиной мамы.

Я поднялся и открыл дверь. Матрёна Андреевна вошла в мастерскую, поставила на стол большую кружку, прикрытую салфеткой, рядом положила ломоть ржаного хлеба. Я разглядел её получше. При свете дня женщина казалась совсем пожилой: ссутулившиеся плечи, проседь в длинных, закрученных в тугой клубок волосах, весь в глубоких морщинах лоб. Похожа на мою бабушку.

– На-ка вот, Серёжа, покушай хлебушка с молочком. А я пока постель приберу. – Она легко, словно пушинку, подняла тяжёлый тюфяк. – Да и собирайся – рассвело дамно, скоро ребятушки проснутся.

Буся ухватила Матрёну Андреевну сзади за подол и принялась игриво стягивать с неё ситцевую юбку. Женщины рассмеялась и слегка притопнула.

– А это ещё кто? Ишь резвушка какая! Принесу чапльжку – чай, тоже молочка захочет.

Пока Матрёна Андреевна ходила за чашкой и поила Бусю, я залпом выпил молоко, хлеб спрятал в рюкзак. Прихватив скрипку, поблагодарил Гришкину маму и выскочил на улицу. Буся уверенно семенила рядом.

Я оглядел Ильинку при свете дня. Улица солидная, чистая и зелёная. Мостовая переливается на солнце, как рыбий бок. Строения каменные, новенькие и помпезные. Вдоль домов дорожки, отделённые от мостовой рядом округлых столбиков, похожих на шахматные пешки. Высоченный бородатый дворник в длинном тёмном фартуке метёт дорожки пышной метлой. В отличие от Покровки, здесь совсем не пахнет конским навозом. Ветерок, птички чирикают, дышится легко, и на душе радостно.

В нашем двадцать первом веке мне Ильинка тоже понравилась. Я несколько раз по ней прогуливался, смотрел историю зданий, считывая телефоном коды на стене. Ильинка напоминала мне родные улицы Томска. Здесь царил атмосфера уюта и спокойствия, такая бывает только в маленьких городах.

Колокольный звон густо разливался по улице, заглушая переключку местных петухов. Я посмотрел на часы. Восемь шестнадцать. До встречи с Гришкой у меня уйма времени. Можно погулять.

Я дошёл до Вознесенской церкви. К храму тянулись прихожане, крестились у входа и исчезали за массивной резной дверью. Некоторые подавали монетки босоногим мальчишкам, настойчиво подпирающим крыльцо. Храм совсем не изменился – белоснежное пятикупольное, с большой колокольней здание.

Рядом с храмом – солидный особняк, который я заметил ещё в моём времени. Сейчас дом выделялся зеркальными стёклами в окнах и бронзовой, с золочёными вензелями решёткой. Сверху на каменной ограде, с двух сторон от центральных ворот, сидели и любовались друг другом два льва, немного смахивающих на шарпеев. Судя по всему, до двадцать первого века львы не дотянули.

А вот стены, как и в моём времени, украшены маскаронами. Это рельефные, похожие на маски изображения мифических героев или гротескных персонажей (не путать с «маскарпоне», итальянским сыром) – про них я читал в Википедии. Маскароны я видел разные: милые женские головки, горгону Медузу*, Зефира**, раздувающего щёки, но таких смешных, в виде бабуль в платочках, завязанных под подбородком, – только здесь.

Сегодня лицо бабули показалось мне знакомым. Близко посаженные глаза и волевой подбородок с ямочкой не давали покоя: где-то я их уже видел. Я так долго всматривался в изображение, что бабуля мне даже подмигнула. Буся звонко залаяла, и наваждение исчезло.

Остановился я под деревом со стороны храма, прямо напротив открытого балкона, сильно смахивающего на нос корабля. Форма балкона всё та же, а вот опоры выглядят иначе: вместо массивных оштукатуренных колонн – тонкие чугунные.

Я кормил хлебом топчущихся вокруг голубей и пытался вспомнить, кого мне напоминают маскароны, когда на балкон вышла девчонка в длинном розовом халате, с волнующимися на ветру светло-каштановыми волосами. Растущая под балконом липа с раздвоенным стволом потянулась

* *Горгона Медуза* – в греческой мифологии чудовище с женским лицом и змеями вместо волос, обращающее взглядом человека в камень.

** *Зефир* – в греческой мифологии бог западного ветра.

зелёными лапами ей навстречу. Девочка пробежалась рукой по глянцевым листьям и вдруг повернулась в мою сторону.

Она!.. В груди выросло что-то большое, подкатило к горлу, дыхание перехватило, застучало в висках. Я спрятался за ветки деревьев, зарылся в них поглубже.

Девочка подошла к кованому кружевному бортику, перегнулась через край балкона, посмотрела вниз. Волосы расстелились по перилам золотистой волной. Она выпрямилась, сложила длинные ресницы, подставила лицо утренним лучам.

Очень похожа на Рябинкину! Но не Машка: родинка над губой, пониже ростом и лицо такое настоящее, совсем детское и приветливое, словно распахнутое окно.

Блеснула стеклом балконная дверь, девчонка испарилась... Я ещё долго не покидал наблюдательный пост в надежде снова увидеть её.

Буся, устав от безделья, бросилась за проезжавшей мимо телегой. Громко окликая хулиганку, я побежал за ней вдоль дороги. Одной рукой поймать Бусю было непросто – не бросать же скрипку! Как только я настигал черноглазую бестию, она меняла направление движения. Наконец я споткнулся и неуклюже рухнул на мостовую. Буся осталась и, подлизываясь, завиляла хвостом.

Справа раздался залиvistый девичий смех. На асфальтовой дорожке в двух шагах от меня стояла Она, с портфелем и в гимназической форме. Я поднялся, отряхнулся, сгрёб Бусю в охапку.

– Какой славный щенок! Твой? – Девчонка смотрела на меня совершенно оливковыми глазами и улыбалась.

Потом она медленно двинулась в сторону приюта. Буся засемила за ней – предательница! Я пошёл следом, вдыхая знакомый розовый аромат.

– Моя. Это девочка, зовут Буся, а меня – Сергей. – Щёки окатило жаром: «Вот дурень! Зачем я про Сергея сказал, меня ж никто не спрашивал!..»

– Я тебя видела вчера на Покровке, только ты был без Буси. Хорошо играешь.

Она меня запомнила... Голова кружилась, как на карусели. Я сказал как можно небрежнее:

– Если честно, был вчера не в форме... Обычно я играю лучше. А Бусю я вечером нашёл.

В разговоре возникла пауза, с каждой секундой всё больше отрывающая меня от собеседницы, словно трап от самолёта. Я должен был что-то спросить, но мой язык прилип к нёбу и не поворачивался.

– Приходи сегодня в пять часов к воротам моего дома да скажи, что Галина Николаевна велела. Только обязательно. – Девочка с улыбкой помахала мне рукой, перешла на другую сторону улицы и впорхнула в здание Нижегородского строительного института, которое оказалось женской Мариинской гимназией.

«Есть! Она назначила мне встречу!» Я танцевал посреди улицы до тех пор, пока Буся, глядя на меня, жалобно не заскулила. И тут меня осенило, что сегодня в тринадцать тридцать один я должен вернуться домой. Я развернулся на сто восемьдесят градусов и медленно поплёлся назад к храму.

Глава 11. Балчуг

В девять я увидел Гришку, уверенно шагающего к храму. Для меня было загадкой, как он, не имея часов, умудрялся ориентироваться во времени и оставаться при этом пунктуальным.

Гришка подошёл ближе. Я оторопел: под левым глазом у него красовался здоровый синяк.

– Кто тебя так? Вчера по дороге домой?

– Нет, дома, батя постарался. – Гришка вытер нос рукавом рубахи. – Тётка напела, да ещё вернулся поздно...

– Всё из-за меня. – Я пнул ногой ступеньку. – Отец пьяный был?

– Нет, трезвёхонький. Он, как выпьет, сразу добреет, а трезвый – зверь.

Я заметался вдоль крыльца. Смотреть на Гришку не было сил, хотелось кому-нибудь врезать покрепче.

– Да ладно ты, не кипи! Чай, не впервой, я привыкший! – Он похлопал меня по плечу.

– Батя что, всё время тебя бьёт?

Я даже представить не мог, чтобы отец поднял на меня руку. Он голос-то никогда не повышал. Самое неприятное,

что я от него однажды услышал, – «отстань». Мама, конечно, ворчит и охает, если я поздно прихожу домой. Но накричать или ударить собственного ребёнка – никогда.

– Да это ж разве бьёт? Так, пошумел немного. Как устроился на пивзавод, стал смиренным. Раньше, когда извозом занимался, бывало, и хлыстом отхаживал, ежели попаду под горячую руку. Когда меня из училища выгнали, так совсем чуть не прибил. Я две недели встать не мог. А это ещё что за малявка? – Гришка махнул в сторону Буси.

Та лежала на земле, вытянув вперёд лапы и положив на них лохматую голову. В ответ она моргнула Гришке мокрыми глазами, потом вдруг подскочила и завертелась вокруг нас, радостно виляя хвостом.

– Буся, мой верный пёс, в приюте приبلудилась.

– Эх, Серёга, доброй души человек. Забот тебе мало... – Гришка присел на корточки и почесал Бусю за ухом. – Ладно, хватит трепаться, айда на Балчуг.

Балчуг, или ветошный базар, располагался совсем рядом, в овраге между Почаинской улицей и Зеленским съездом. Пока добирались до оврага, Гришка поделился добытой информацией:

– Сивый – известный в Ошаре вор-домушник. Лет тридцать, высокий, широкоплечий. Прозвище получил за длинные седые волосы.

Это уже было кое-что. По крайней мере понятно, что, вернее кого, искать.

– Гриш, а откуда у тебя такая инфа?

– Чего? – удивился тот.

– Откуда, говорю, ты это узнал?

– Много будешь знать – плохо будешь спать, – засмеялся Гришка.

В конце Мироносицкого переулка мы повернули налево и остановились у края оврага. Внизу с двух сторон тянулись неровные крыши торговых рядов. От них вдоль откосов по всему оврагу наверх поднимались деревянные лестницы с перилами.

Мы спустились в овраг по скрипучим ступенькам и оказались на огромной толкучке. В самом начале рынка торговцы, в большинстве своём оборванцы от мала до ве-

лика, раскладывали товар прямо на земле. Ассортимент, как и на любой толкучке, был разнообразен: ржавые железяки, старые штиблеты и другой мелкий никому не нужный хлам. В воздухе витал пыльно-затхлый, отдающий плесенью запах старья.

Дальше потянулись прилавки с навесами от дождя и солнца. Встречались и отдельно стоящие строения, в которых располагались парикмахерские и закулочные. Заканчивался Балчуг ладными рядами из длинных домиков под треугольными крышами. Гришка называл их «шатрами». Внутри были устроены складские помещения, которые запирались на ночь, а снаружи с двух сторон к ним примыкали всё те же прилавки. На некоторых шатрах была смешная надпись: «Здесь обувают и одевают». Но торговали товаром и покрупнее: подержанной хозяйственной утварью, инструментом и мебелью. Попадались лавки с книгами и, если можно так сказать, предметами искусства. Да и торговцы тут были посолиднее.

Мы прошлись вдоль рядов, с интересом разглядывая товар. Я вслушивался в голоса прохожих, а заодно рассматривал книги и картины. У одного старичка откопал старую шпагу с резным эфесом и дырявую шляпу с пером. Жаль, не было смартфона – такое селфи прошляпил. Гришка всё больше интересовался столярными инструментами и щётками, но глазами вовсю стрелял по сторонам. Шляпу тоже примерил и даже изобразил несколько выпадов шпагой.

Моё внимание привлекла бледная худощавая женщина в хорошо пошитом, но пережившим уже не одну стирку платье с жакетом. Она стояла в проёме между рядами и держала в руках добротный шерстяной жилет, брюки в тонкую полоску и белую сорочку. Одежда была выстирана и наутюжена, к тому же как раз моего размера.

– Здравствуйте, сколько вы хотите за этот костюм? – поинтересовался я, представляя, как появлюсь в новом наряде перед Галиной Николаевной.

– Мальчик, тебе отдам за два рубля. Костюм совсем новый: сын так быстро вырос, что поносить не успел. – В её тусклых глазах мелькнула надежда.

– Всё за два рубля, вместе с рубашкой? – Я радостно приложил брюки к себе, примерил жилет.

– Всё, и рубашка тоже. – Женщина улыбнулась.

– Где ж это видано? Два целковых за такое старьё! Костюмчику красная цена рубль, – принялся бойко торговаться Гришка.

– Я беру. За два рубля. У меня есть деньги. – Улыбаясь во весь рот, я протянул женщине монеты.

– Ну, Серёга, ты даёшь! – громко возмущался Гришка, когда мы отошли в сторону. – С тобой по миру пойдешь! Я бы сторговался враз, а ты взял и всё испортил.

– Гриш, не сердись. Я по глазам видел, что ей деньги нужны, поэтому и не стал торговаться. Может, у неё горе какое.

– А тебе, значит, деньги не нужны? За душой ни гроша, и, между прочим, тебе теперь Буську кормить! – Он горестно вздохнул, глядя, как я запихиваю обновку в рюкзак.

Буська в знак согласия пару раз твякнула.

Я положил руку на Гришкино плечо:

– Зато теперь верну твою одежду. А то неловко как-то...

Не успел я договорить, как кто-то бесцеремонно толкнул меня в спину. Я обернулся. Невысокий пузатый мужчина в чёрном котелке, с тёмными ровно остриженными редкими волосами и квадратными усиками над губой бросил через плечо:

– С-с-смотри, куда прёшь, дубина!

Глава 12. Два длинных – один короткий

Ну и наглость! Стою себе, никого не трогаю... Шишкин корень! Он заикается! Я узнал этот голос.

– Гришка, вон тот, в котелке, – это тот самый, бас-баритон, Заика, – прошептал я и кинулся в погоню.

– Тише ты, не егози. Оторвёмся немного, а то, чего доброго, застучает. – Гришка придержал меня сзади за ремень и, насвистывая, принялся неторопливо пробираться сквозь ряды, следуя за котелком.

Котелок остановился у крайнего прилавка в большом ряду со складскими помещениями. Наклонился к столу с

товаром и стал что-то пристально разглядывать. Хозяин лавки, молодой шатен с коротко стриженными волнистыми волосами, в опрятном костюме, подошёл ближе и принялся что-то ему объяснять. Котелок утвердительно махнул головой, прошёл внутрь прилавка и исчез в складской, темнеющей за высокой стопкой старых книг. Оттуда вышел с табуретом чернявый парень лет семнадцати и уселся рядом с шатеном.

Чтобы не привлекать внимания, мы остановились шагах в двадцати от прилавка с книгами, у ряда напротив.

Спустя две минуты мимо нас прокозырял, поблёскивая лаковыми полусапожками, сухощавый тип в светлых брюках и атласном жилете, с тщательно зализанными в разные стороны от пробора медно-рыжими волосами. А с ним – высокий мужик с вытянутым, как у лошади, лицом, седыми паклями и ручищами, похожими на два экскаваторных ковша.

– Сивый вроде, а второй, скорее всего, Тенор. Попались, голубчики! – Я потёр ладони.

– Похоже на то, – ответил шёпотом Гришка.

Тенор перекинулся парой фраз с шатеном, а потом вместе с Сивым скрылся в складской.

– Кто там ещё? Пианист – и полный комплект? А этот шатен кто? Арап, что ли? Не похож, интеллигентный такой.

– Не похож. Может, помощник Арапа? Который сейчас час? – спросил Гришка.

Я глянул на часы.

– Десять. Всё как по расписанию. Чего делать-то будем? – и вопросительно посмотрел на Гришку.

Тот нервно мял в руках картуз.

– Пора. Ты стой здесь и следи в оба. Я пойду ближе – посмотрю, послушаю. Если получится, заберусь на чердак или в складскую с обратной стороны ряда. Без команды не высовывайся, на рожон не лезь, внимания не привлекай. – Гришка по-отечески натянул свой картуз мне на голову. – Если увидишь что-то подозрительное или понадобится что, свистни: два длинных – один короткий. Если через тридцать минут не вернусь, дуй на Алексеевскую в участок к городовому, встретимся там.

Гришка неспешно перешёл на другую сторону ряда. Поглазел вокруг, остановился у деревянного стола, приставленного торцом к прилавку шатена. Рядом со столом, закинув ногу на ногу, сидел бородатый мужичок в картузе, с маленькими цепкими глазками и ноздреватым носом картошкой. Гришка придирчиво осмотрел его товар, покрутил в руках небольшой бочонок и принялся торговаться.

Я переключился на соседний прилавок. Шатен что-то сказал парню и удалился в складскую, прикрыв за собой дверь.

Раз шатен вошёл в складскую, может, он и есть Пианист? Пальцы тонкие и длинные. Внешне похож. А пацан тогда Арап, что ли? Чернявый, конечно... Тьфу ты, ничего не разберёшь!

Пока я дедуцировал, из-за соседнего шатра вынырнул знакомый котелок. Точно он, Заика! И как умудрился выйти, я же глаз с прилавка не спускал? Я свистнул: два длинных – один короткий.

Дальше началось что-то невообразимое. Хозяин прилавка, рядом с которым я занял наблюдательный пост, – беззубый лысый татарин лет пятидесяти в смешной помятой феске с кисточкой – выскочил вперёд, схватил меня за шиворот, засвистел что есть мочи в свисток и закричал на весь рынок:

– Калаул, глабят! А ну отдавай товал!

– Какой «товал», мужчина? Вы что, с дуба рухнули? Не брал я у вас ничего, стоял себе, отдыхал в тенёчке!

– Отдавай товал! – Беззубый схватился за скрипичный футляр и потянул его на себя, как полноправный хозяин.

– Что началось-то? Руки уберите, это мой инструмент! Вы даже представления не имеете, как скрипку держать, а туда же – «мой товал»! – Я прижал скрипку к груди и брыкался ногами, как горный козёл, не позволяя беззубому подойти ближе.

Буся, почувяв опасность, с громким лаем набросилась на татарина, попыталась укусить его за голенище сапога. У неё не вышло. Захлёбываясь лаем, она прыгала, чтобы дотянуться до заправленной в сапог штанины.

К нам со всех сторон стягивался народ. Я потерял из виду Гришку. Злополучный прилавок мне тоже не было видно.

Вдруг из толпы мне навстречу вышла женщина, у которой я купил костюм, и ласковым голосом спросила:

– Сынок, что случилось? Чего хочет от тебя этот человек?

Беззубый сразу как-то осел, но позиций своих не сдавал:

– Он уклал мой товал и сплятал в свой ящик, – и показал пальцем на футляр. – Пусть откложет.

– Что он у вас взял? – ледяным голосом спросила моя заступница.

– Сам ещё не знаю, пусть сначала откложет. – Беззубый кружил вокруг, потирая руки.

Я открыл футляр, показал скрипку, больше там ничего не было. Беззубый недовольно крякнул и незаметно, словно ящерица, скользнул за прилавок.

Люди, разочарованные скорым разрешением скандала, испарились в одну секунду.

– Шёл бы ты отсюда, мальчик. Люд здесь недобрый, того и гляди утянут что-нибудь. – Женщина посмотрела на меня с маминым выражением на лице.

– Спасибо вам, я только друга дождусь, а потом сразу домой, честное слово.

Она вздохнула и ушла, обронив чуть слышно:

– Береги себя...

Избавившись от сумасшедшего татарина, я прошёлся вдоль ряда, миновал злополучный прилавок. Там ничего не изменилось: мальчишка по-прежнему сидел на табурете, шатена не было. Мужичок с бородой за соседним прилавком приподнял козырек картуза и не спускал с меня глаз. Неудивительно: после такого спектакля все торговцы в радиусе ста метров пялились на меня с подозрением. Гришку я не увидел. Он не появился даже после свистка, – может, с ним что-то случилось? А что если его застучали?

В десять двадцать восемь шатен вышел из складской и занялся прилавком. Дверь в складскую была распахнута. Из неё больше никто не выходил. Что за чудеса?

Я подождал ещё минут десять. Потом продефилировал вместе с Бусей несколько раз вдоль торгового ряда. Напротив прилавка с шатеном присел на корточки, вроде как завязать шнурки. Пригляделся к складской – там никого

не было. Ещё раз подал условный сигнал – ничего. Гришка не появился, татарин не набросился на меня снова. Что же делать? Бежать в участок, как договаривались? На душе было беспокойно. Вдруг с Гришкой что-то случилось, а я брошу его здесь одного?

Я снял Гришкин картуз, дал понюхать Бусе. Скомандовал:

– Буся, ищи Гришку.

Она посмотрела на меня растерянно, наклонив голову и подняв одно ухо.

Я рассердился:

– Ты у меня кто: охотничий пёс или болонка бестолковая? – и снова сунул картуз под нос Бусе.

Буся понюхала ещё раз и уверенно засемила в неизвестном направлении. Я последовал за ней.

Глава 13. Тринадцатая, решающая

Буся добежала до лестницы, ведущей наверх, и остановилась. В конце лестницы маячила Гришкина фигура – он поднимался не спеша, следом за ним шёл Сивый. Гришка не был связан, он разговаривал и размахивал руками из стороны в сторону, свободно поворачивался к собеседнику и вообще не выглядел пленником.

Эта картина меня озадачила. Я посадил Бусю в рюкзак, оставив снаружи только её лохматую голову, надел рюкзак лямками назад и через ступеньку полетел наверх. Когда я поднялся, колымага с Гришкой и Сивым уже отъезжала от обочины. Они сидели рядышком, как два попугая-неразлучника.

Эх! Злость закипела внутри так, что из ушей поддавало паром. Что происходит? Гришка с ними заодно, что ли? Тогда зачем ему нужно было тащить меня на сходку – он же сам рассказал мне про Балчуг и Сивого? Нелепица какая-то. И что мне теперь делать? Бежать к городовому, как велел Гришка? Ну уж нет, сначала я всё выясню. Будь что будет.

Я припустил за повозкой – сначала бодро, выкладываясь изо всех сил, а потом всё медленнее и медленнее. Бегун из меня никакой, особенно на длинные дистанции. Все

нормативы по бегу на физре – на тройк. Дыхалка подводила. Даже Буся уже язык свесила от усталости, хотя мирно посиживала у меня под носом.

Я увидел у обочины несколько извозчиков в повозках на любой вкус, от «эконома» до «комфорта». Точно, как я раньше не сообразил!.. Подлетел к той, что поскромнее – она обойдётся дешевле, да и «ванька»* должен быть сговорчивее, – запрыгнул в дрожки** на деревянных колёсах и велел ехать за удаляющейся колымагой.

– Деньжата имеются? – вяло протянул мужичок в штопаном кафтане.

Я показал два пятака.

– Только поскорее, пожалуйста, а то упустим.

– Эгей! С моей Буркой враз нагоним, – радостно проокал извозчик и тронул с места.

Колымага с Гришкой стремительно от нас отрывалась. Миновав Лыкову Дамбу, она повернула на Дворянскую улицу, в наше время именуемую Октябрьской.

Бурка припустил изо всех имеющихся у него лошадиных сил. Меня затрясло, заболтало из стороны в сторону, но расстояние от нас до колымаги начало сокращаться. Мы домчали до пересечения Дворянской и Покровки, и вдруг лошадь встала как вкопанная. Извозчик мешком сполз с деревянного сиденья, неторопливо взял её под уздцы и потянул за собой. Бурка нехотя поплёлся.

– Это ещё что? Мы так и будем плестись? – Мой голос сорвался.

– Да не, скорее побежит. Капризник он у меня, не бить же его – старый уж, ноги болят.

Я посмотрел на часы. Двенадцать двадцать один. Может, неспроста Бурка остановился? Может, это знак? Бросить сейчас всё да и рвануть к церкви. Пять минут, и я на месте. Дожидаюсь нужного часа, съедаю яблоко – и оказываюсь в родном двадцать первом веке. С чего я взял, что попаду в то же время на то же место? Может, это будет уже

* *Ванька* (устар., разг.) – городской дешёвый легковой извозчик, обычно из деревни, на деревенской лошади.

** *Дрожки* – лёгкая четырёхколёсная открытая повозка для коротких поездок, рассчитанная на одного-двух человек.

днём позже. И в подворотне давным-давно нет Кроша с его приятелями. Гришку спасти всё равно не нужно, скорее меня нужно спасти от Гришки.

Буся тревожно заскулила. Внутри заныло. Я медлил, сам не знаю почему – из-за Гришки или из-за назначенной на Ильинке встречи. А может, из-за того и другого. Но скорее из-за Гришки: не верилось мне, что он вор и предатель, нутром я чувствовал, что Гришка в беде и ему нужна помощь.

Покровка осталась позади. Извозчик запрыгнул на дрожки, Бурка набрал скорость и помчал вперёд.

На Ошарской колымага повернула направо и, проехав несколько перекрёстков, остановилась у незнакомой калитки с кривым редким забором, из-за которого выглядывала невысокая крыша с потрескавшейся трубой.

Опять Ошарская, но дом другой. Для конспирации я попросил проехать чуть дальше, рассчитался с извозчиком и выскочил почти на ходу.

Колымага пролетела мимо меня, пассажиров в ней не было. Я вернулся к дому с трубой, посмотрел сквозь забор. Дом как дом, во дворе никого, справа клозет дачного типа, слева пышная яблоня. Я открыл калитку и прошмыгнул к невысокому окну, прикрытому ветками.

Из дома доносились голоса: форточка была приоткрыта. Бусю, видно, укачало – она мирно дремала в рюкзаке, свесив голову. Чтоб случайно не твякнула, я обхватил её мордочку ладонью и осторожно заглянул в окно.

Штор не было. Солнце освещало грязную комнату. Прямо у окна ко мне спиной стоял Сивый. Напротив, у печки, расположился Гришка и смотрел в мою сторону. Я пригнулся, но успел заметить между Гришкой и Сивым, слева от большого деревянного стола, открытый люк, ведущий в подполье.

– Не полезу я в подпол. – Голос Гришки стал неожиданно громким.

– Не полезешь сам – спущу за шиворот, – хрипло прошепел Сивый.

– Я окочурюсь, там же холодно, – добавил Гришка жалостно.

– Вон тулуп возьми с печки, только шустро, да лохань захвати, пригодится. – Сивый заржал как мерин.

Я снова высунулся и посмотрел в окно. Гришка стоял лицом к печке. Сивый отошёл к столу и повернулся к двери. В его руках что-то мелькнуло. Я присел.

Шишкин корень! Это ж пистолет! Так вот в чём дело! Сивый на толкучке шёл за Гришкой и держал его на мушке. Я так и знал! Гришку, видно, застукали. У прилавка был выход с другой стороны, они вышли оттуда и опередили меня.

Через несколько секунд в комнате что-то глухо хлопнуло. Выстрел? Непохоже, скорее люк. Я снова посмотрел в окно. Точно. Сивый захлопнул люк и задвинул металлическую задвижку. Гришки в комнате не было.

Что же мне делать? Надо как-то вытащить Гришку из подвала и потом бегом к городовому! Судя по всему, Сивый в доме один. Один на один – это лучше, чем трое на одного, но всё же я не был уверен в своих силах. Тощий пацан, до зубов вооружённый скрипкой, – против здорового вора-рецидивиста с револьвером! Так и вижу трейлер к крутому блокбастеру.

Вдруг хлопнула входная дверь, заскрипело крыльцо. Кто-то шёл по двору в противоположную от меня сторону. Я осторожно выглянул из-за угла дома. Сивый направился к клозету. Приспичило! Вот это удача!

Я медленно, стараясь не скрипеть ступенями, поднялся на крыльцо. Толкнул дверь – не заперта. Тихонько вошёл в сени, приоткрыл дверь в комнату – никого. На цыпочках направился к люку... Чья-то железная рука схватила меня сзади под рёбра, вторая зажала нос и рот. Я ощутил резкий сладковатый запах, попробовал вырваться и стукнуть нападающего ногой по колену. Но комната вдруг закружилась вокруг меня, как глобус, ноги сделались ватными, а потом в глазах потемнело.

Глава 14. Друг познаётся в беде

Я иду по Ильинке в новом костюме и начищенных ботинках. Солнечный свет слепит глаза. Ко мне приближается чья-то фигура. Она уже совсем близко. Я вижу лицо.

Галина Николаевна! Она подходит ближе, берёт меня за руку. Сквозь ворота мы входим во двор, львы безмолвно глядят нам вслед. Поднимаемся на крыльцо. Вытянувшись в струнку, вышколенный мальчик открывает перед нами двери.

Большая светлая гостиная. Лепные потолки, в углу у окна пианино. Галя садится и легко скользит тонкими пальцами по клавишам. Забытый вальс Шопена... Я стою рядом. Последний аккорд эхом отдаётся в комнате. Она поворачивается ко мне, встаёт, касается ладонью моего лба. Я чувствую её дыхание на своём лице.

– Эх, голова садовая! Догулялся в одной рубашке – вот уж горишь весь. – Её голос звенит, словно в туннеле.

Я протягиваю руки, чтобы её обнять, но почему-то вижу перед собой Гришку. Он тянется своим острым носом к моему лицу. Я закрываю глаза, снова слышу её голос... И вдруг чувствую, как кто-то лижет мой нос.

Я в ужасе открываю глаза. Буся смотрит на меня в упор. Запах сырой земли. Я поворачиваю голову. Движение причиняет мне нестерпимую боль. Над моей головой – крышка люка, сквозь которую яркими до боли нитями пробивается свет.

Сажусь. Подо мной куча прелой соломы, поверх меня – старый вонючий тулуп. Масляная лампа стоит на ступенях и освещает тусклым светом влажные стены. Рядом валяется рюкзак.

Гришка? Гришки в подвале нет. Подношу часы к лампе. Шестнадцать шестнадцать. Ого, я уже четыре часа здесь валяюсь?

Пробую сообразить, что произошло. В доме находились двое: Сивый и Гришка. Сивый вышел. Гришка остался запертым в подвале. Я вошёл в дом, кто-то схватил меня за спиной и уснул, потом затащил в подвал.

Кто это был? Может, в доме был третий, а я его просто не видел?..

А если больше никого не было? Неужели Гришка? Когда хлопнула крышка подвала, он мог быть в сенях или в комнате, в слепой зоне в углу у окна. Возможно... они с Сивым заметили слежку, сговорились и разыграли пред-

ставление, чтобы заманить меня в ловушку? Невероятно, но возможно.

Меня затошнило. Я приложил ко лбу треснутый горшок. Очень хотелось на воздух. Стены надвигались на меня по очереди, сердце колотилось. Похоже, у меня клаустрофобия. Если не выберусь отсюда, сгину в этом девятнадцатом веке...

Я попробовал приподнять крышку люка. Заперта. Может, сделать подкоп? Треснул горшком по ступеньке – всё равно пустой, – он раскололся на три части. Инструмент готов. Граф Монте-Кристо несколько лет провозился. Стены здесь глиняные; если рыть вверх, не так много времени займёт. Буся поможет. Пару дней, и я на воле. Не пойдёт. Эти вернутся после полуночи – и в расход, зачем им свидетели?

Яблоко? Я достал его из рюкзака. Потёр восковой бок о штанину. Уже приготовился откусить. В этот момент Буся забеспокоилась, подняла голову и завывла. Я сунул яблоко обратно в рюкзак и прислушался. Сверху кто-то ходил.

– Гришка, зараза, открой! Я тебя как друга прошу! – не выдержал я.

Шаги затихли. Ага, стыдно стало... Снова затопали. Может, это не Гришка, а Сивый или кто-то ещё?

– Эй, кто-нибудь, откройте, поговорить надо! – От собственного голоса у меня зазвенело в ушах.

Раздался звук отодвигаемой задвижки, крышка люка медленно откинулась. Я привстал. В проёме показалась беззубая физиономия и светящаяся лысина.

– Что за чёрт, опять ты! Только этого мне не хватало! – крикнул я и оглянулся.

Футляра со скрипкой в подвале не было. Добился своего, лысый чёрт.

– Мальчик, вылезай. Что смотлишь, сколей давай! – Татарин протянул мне руку.

Я взял рюкзак, поднялся по ступеням наверх, стараясь не задеть руку татарина. Буся выскочила следом. Огляделся – в комнате никого. На столе – скрипичный футляр. Я подошёл к нему. Проверил, на месте ли скрипка. Целёхонька. Закрыл футляр и сунул его под мышку. Посмотрел прямо в глаза татарину. Тот даже не моргнул.

– Давай, сколей, челез окно, влмени нету. – Он подошёл к распахнутому окну и уселся на подоконник.

– Зачем через окно, дверь же есть?

– Кому говолят, пльгай в окно! – Татарин перекинул ноги и оказался на улице.

Я засунул Бусю в рюкзак и полез следом. Татарин посеменял к калитке. Я за ним. Окажемся на улице – можно будет сбежать. Этот растяпа точно не догонит.

– Я отвезу тебя в участок, к Петлович! – вдруг шёпотом заявил татарин.

– А ты что, тоже знаешь Петровича? – На всякий случай я тоже перешёл на шёпот.

– Знаю. – Он выскочил за калитку и потрусил к повозке, стоящей поодаль у перекрестка.

– А ты вообще кто? – Я припустил следом. Убежать всегда успею, сначала надо всё разузнать.

– Длуг. – Татарин улыбнулся во весь беззубый рот.

Громкое заявление. Я б таких друзей стороной обходил.

– А Гришка тоже там? – спросил я на бегу.

– Не знаю, но ему нужна твоя помощь. Пльгай сюда. – Татарин залез на заднее сиденье.

Я посмотрел на спину извозчика, сидящего спереди. Было в ней что-то знакомое.

– А это кто?

Извозчик, услышав мой вопрос, обернулся, и я узнал мужичка с бородой и носом картошкой, торговавшего по соседству с шатеном.

И этот здесь. Мафиози чёртовы. Ну, врешь, не возьмешь! Дурак я, что ли, второй раз наступать на те же грабли! Я рванул что было мочи прочь от повозки – сначала по дороге, потом между заборами поперёк дворов, а дальше куда глаза глядят. Не оглядывался, на удаляющиеся крики подозрительной парочки внимания не обращал.

Глава 15. Дедукция против интуиции

Ноги сами несли в сторону дома, поэтому я пришёл в себя на Звездинке, когда столкнулся с велосипедистом. Попробовал отскочить вправо, но не успел: зацепило пе-

редним колесом. Я растянулся во весь рост и шлёпнулся на живот. Чуть не раздавил Бусю – хорошо, что она кубарем вылетела из рюкзака.

Велосипедист громко затормозил и бросился на помощь. Я с испугом посмотрел ему в лицо. Он ответил мне широкой располагающей к себе улыбкой.

– Цел, пострел? Ну и напугал!

Велосипедист оказался почтальоном. Тем самым, что встречает прохожих на пересечении Большой и Малой Покровской. Это единственная скульптура в Нижнем, рядом с которой мне захотелось сфотографироваться. В жизни он оказался таким же классным. Совсем молодой, в форменной фуражке с кокардой почтового ведомства. Через плечо перекинута распухшая от корреспонденции сумка-планшет. Длинный сюртук смахивает на офицерский мундир. На груди сияет натёртая до блеска бляха с двуглавым орлом.

– Всё хорошо, я даже не ушибся. – Я поймал себя на мысли, что тоже улыбаюсь во весь рот.

Я поднялся и отряхнул штаны.

– Так летел, и ни одной царапины? Бережёт тебя Бог. – Почтальон уселся на велосипед. – Ты осторожнее, орёл, а то ишь разлетался.

Он помахал рукой и поехал дальше.

Оглядевшись по сторонам и не заметив преследователей, я спокойным шагом направился вдоль Звездинки. Из головы никак не выходили слова почтальона.

Орёл... Вдруг всплыл разговор Заики и Тенора. Заика называл того, чей дом они собираются грабить, орлом. Как я мог забыть! Просто к слову пришлось или прозвище? Если прозвище – оно может указать на хозяина дома. Надо поскорее сообщить об этом городовому.

А если городской – сообщник этой банды? Так сказать, оборотень в погонах? Не зря же Гришка и татарин настаивали на том, чтобы я пошёл к нему. Сначала нужно взвесить все за и против.

Я повернул на Покровку.

Началось с того, что я стал свидетелем разговора у забора. Может, это не совпадение? Я вообще мало верю

в совпадения. Допустим, это Гришкина оплошность. Если предположить, что он ходил вчера на сходку, а не деньги менял, тогда всё складывается. Заика с Тенором вышли вместе, а Гришка за ними. Когда я ему рассказал об услышанном, он пристроил меня в приют, чтобы я был под присмотром, а потом сообщил обо мне подельникам. За что и получил фингал. Утром он притащил меня на Балчуг, чтобы нейтрализовать. За это отвечал татарин. Он должен был изобразить кражу и отвести меня к городовому. Тот посадил бы меня в каталажку на время операции. Но тут неожиданно вмешалась женщина с костюмом, и татарин отступил. Я по указанию Гришки должен был отправиться к городовому, но снова нарушил их планы. Засёк Гришку и Сивого, примчался за ними на Ошарскую. Они заманили меня в дом, разыграв спектакль, и заперли в подвале. Пока вроде всё складно...

В животе заурчало – когда я думаю, всегда хочется есть. Я присел в укромном месте на корточках, достал расстегай и оставшийся хлеб, поделился с Бусей. Жевал и дедуцировал.

– Буся, слушай и поправляй, если что... Во-первых, надо разобраться с участниками банды. Заику, Тенора и Сивого я видел своими глазами. Тут всё понятно. Шатен, скорее всего, Пианист, потому что он присутствовал на сходке. Ещё в разговоре фигурировали Арап и Акробат, два неизвестных в этом уравнении. Арапом мог быть парень на табурете. Молод, конечно, но возраст не помеха, зато чернявый. И ещё он единственный всё время находился в лавке и не покинул её, когда все разошлись. А Акробат? Если предположить, что это мой «друг», татарин?

Буся заскулила в надежде получить ещё кусочек расстегай.

– Буся, ну что за привычка перебивать в самом интересном месте! Татарин... Через окна он, конечно, прыгает ловко, но на акробата не тянет: слишком пузат. Мужичок с бородой? Вряд ли... Гришка? Возможно.

Буся звонко твякнула и льстиво завилыла хвостом. Я кинул ей кусочек.

– Не при деле остаются татарин и бородач. Может, они сообщники Пианиста? Вероятно. Тогда их задача – поджог на выставке. Вопрос, конечно, зачем они меня выпустили? Рассчитывали, что я отправлюсь к городовому, а тот меня задержит? Бред! Зачем выпускать человека из подвала, а потом сажать в каталажку? Может, хотели прикончить? Зачем им живой свидетель? Тоже бред. Прикончить меня удобнее было в подвале. А потом спокойненько избавиться от бездыханного тела.

Я посмотрел на Бусю – поняв, что припасы закончились, она совсем потеряла интерес к разговору и, высунув язык, рассекала на полной скорости большую лужу.

Мои рассуждения зашли в тупик.

Может, всё-таки татарин и бородач заодно с городовым, а городовой – честный полицейский? Вполне возможно... Но идти к городовому мне всё равно не хотелось. Интуиция подсказывала, что лучше держаться от него подальше. А своей интуиции я доверял, она меня ещё никогда не подводила.

Хорошо бы самому найти хозяина дома, который хотя бы ограбить. Тогда удастся помешать бандитам. А что с выставкой? Нужно сообщить властям о готовящемся поджоге. Но как? Эх, жаль не изобрели еще сотовые телефоны – позвонил бы куда нужно, и дело с концом.

Я посмотрел на часы. Семнадцать семнадцать. Ничего себе, потерял счёт времени, проворонил встречу с Галей! Свистнув Бусю, я побежал на Ильинку к дому с балконом, на ходу высматривая место, где можно переодеться.

Глава 16. Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь

Через десять минут в белой рубаше и прилично помятом костюме я стоял у ворот со львами. Буся, чумазая, но довольная, замерла в ожидании. Из глубины двора ко мне подошёл просто одетый мальчишка лет двенадцати, открыл металлическую калитку с позолоченным вензелем и спросил басовито:

– Чего желаете?

– Мне бы к Галине Николаевне... – Сердце остервенело отбивало чечётку, а я пытался выглядеть спокойным.

– Обождите. – Мальчишка легко перелетел крыльцо и скрылся за массивной входной дверью.

Через несколько минут он вышел и проводил меня в дом. Миновав просторную прихожую, мы прошли по узкому коридору и очутились в небольшой комнате с высоким потолком. Комната была обставлена лаконично, но при этом изысканно. У окна, как и в моём сне, стояло пианино. У другого окна на кушетке с изогнутыми ножками сидела женщина средних лет с книгой в руках. Та самая, с которой я видел Галю на Покровке. Она слегка кивнула мне в знак приветствия. Я вежливо поздоровался.

К распахнутой двери напротив спокойным шагом приближалась Галя. Её волосы были собраны в тугий пучок, из которого, словно виноградные усики, выбивались непослушные завивающиеся прядки. Она, как и я, держала в руках скрипичный футляр.

– Здравствуй, Серёжа, а я уже думала, что ты не придёшь!..

В её голосе звенела радость, а в глазах мелькнуло удивление. Видно, мой помятый костюм всё-таки произвёл впечатление.

– Привет! – вырвалось вдруг.

Женщина посмотрела на меня косо. Я прокашлялся и решил исправить ситуацию:

– Здравствуйте, Галина Николаевна.

Буся, обалдев от радости, бросилась к ногам девочки и запачкала лапами кружевной подол её белого платья. Галя весело рассмеялась, попросила Жаннет – так она обратилась к женщине на кушетке – отнести Бусю Федьке, чтобы тот привёл её в порядок. Когда Жаннет вышла, Галя повернулась ко мне и с улыбкой сказала:

– Полно тебе – «Галина Николаевна», «вы». Можно просто Галя. На Жаннет не обращай внимания: она моя гувернантка, у меня от неё секретов нет.

– Ты играешь на скрипке? – Я посмотрел на футляр.

– Учусь. Маменька подарила инструмент – говорит, сейчас скрипка в моде.

Галя открыла футляр. Я, положив свои вещи на небольшой полированный столик, взял её скрипку в руки. Трёх-четвертная, изящная, колки перламутровые. Судя по бирке, изготовлена во Франции в 1825 году мастером Жоржем Шано.

– Достойный инструмент. – Я вернул скрипку хозяйке.

– Маменька наняла мне учителя, но он совсем бестолковый, у меня с ним ничего не выходит. Зря только деньги переводим. Может, ты со мной позанимаешься? Я хочу сделать маменьке сюрприз ко дню ангела и разучить какую-нибудь мелодию. Я тебе заплачу – скажи, сколько нужно.

Жаннет вернулась и снова села на кушетку.

– Конечно, позанимаюсь! – Я не мог справиться с дурацкой улыбкой, от которой у меня трещало за ушами. – И денег мне не нужно, я помогу тебе просто так, даром.

– Зачем даром? Разве тебе не нужны деньги? – Галя выглядела обиженной.

– Нужны, – я замялся, – но я и сам ещё только учусь играть...

– Пятьдесят копеек за час. Отказы не принимаются. По рукам? – Она протянула мне узкую ладонь.

– Хорошо. – Я коснулся её руки и с ужасом посмотрел на свои грязные пальцы.

Галя опять засмеялась и предложила мне умыться. В туалетной комнате у зеркала я обнаружил, что грязные у меня не только руки. Тщательно вымыв лицо и шею, я слегка намочил волосы и пригладил непослушные вихры на макушке. Посмотрел на своё отражение – хорош. Мне всегда шли строгие костюмы. Жаль только, ботинки подкачали. Взглянув на них, я вспомнил Гришку. Думать о нём сейчас совсем не хотелось. Я быстро вышел в коридор и поспешил к своей ученице.

– Раз уж ты опоздал, занятия начнём завтра. Приходи к пяти часам, только не опаздывай. – Галя взяла меня под руку и повела в соседнюю комнату. – А сейчас будем пить чай.

– С удовольствием, – согласился я и, как полный идиот, споткнулся о Бусю, вертевшуюся под ногами.

Никогда ещё я не чувствовал себя таким неуклюжим!

Комната оказалась чем-то средним между библиотекой и гостиной. Вдоль стен возвышались стеллажи с книгами. На письменном столе у окна стояла настольная лампа с зеленым абажуром. В противоположном углу располагался уютный диванчик, и рядом с ним – небольшой чайный столик, сервированный на две персоны. Большой фарфоровый чайник пускал из носика кольца пара, вокруг были расставлены вазы с выпечкой и сладостями.

Буся забралась на диван, свернулась в уголке калачиком и смешно потягивала носом. Галя присела на краешек и принялась разливать чай в изящные чашки с витиеватым золотым орнаментом.

– У вас очень красивый дом... – Я бродил вдоль стеллажей, разглядывая книги на полках и не решаясь сесть рядом на диван.

Моё внимание привлекла чёрно-белая фотография в деревянной рамке. С неё на меня смотрела стройная женщина в роскошной шляпе с перьями, держащая под уздцы грациозного чёрного как смоль коня. Женщина была очень похожа на Галю, а рядом с ней стоял высокий худощавый мужчина, смахивающий на Дон Кихота, с задорно подкрученными усами и треугольной бородой. Лицо мужчины показалось мне знакомым.

– Моя маменька. А рядом – Барон. – Галин голос звучал совсем близко.

Я вздрогнул от неожиданности: шерстяной ковёр скрыл звуки её шагов.

– Этот усатый мужчина – барон?

– Да нет же, – Галя зажмурилась от смеха, – Барон – это мамин любимый жеребец, он в забеге выиграл. А мужчина с усами – наш губернатор, Николай Михайлович Баранов. Вручает кубок. Он большой любитель скачек, возглавляет Нижегородское общество конного бега. Да и сам отменный наездник!

– Да уж, хорош ваш губернатор.

Я хлопнул себя по лбу: вот где я его видел. Ведь много читал о губернаторе Баранове, когда готовился к викторине, и фотки его тоже смотрел. Личность неординарная, его ещё электрической машиной называли. Бывший моряк и к

тому же изобретатель. Но распространяться на эту тему я не стал, чтобы не вызвать лишние вопросы.

– Отчего же «ваш»? – Галя удивлённо приподняла бровь. – Простые нижегородцы его тоже очень любят, не зря же прозвали «лихим орлом».

– Как-как?

– Лихой орёл. Он совершенно бесстрашный и любит ездить верхом. Проскачет галопом по Покровке – народ разбежится в стороны: опять, мол, наш орёл скачет, а некоторые ласково кличут – орёлик. Я сама не раз слышала.

Я не верил собственным ушам...

Глава 17. Повезло так повезло

Присев на диван и глотнув душистого чая, я принялся расспрашивать Галя о губернаторе.

– Ты с ним знакома?

– Я – нет, а маменька хорошо его знает. – Галя погладила Бусю, которая забралась к ней на колени, словно придворная болонка.

– А где он живёт? У него, наверное, роскошный дом? – Башмак, выдавая мое нетерпение, нервно стучал по паркету.

– Губернаторский дворец. А ты разве его не видел? Он в кремле. А ещё у него квартиры на Большой Покровской рядом с театром и в Главном ярмарочном доме.

Я машинально куснул калач. Рано обрадовался: обещать сегодня все губернаторские покои точно не успею.

– А как мне его найти? Мне очень нужно.

– Губернатора? – Галя опять залилась смехом, родинка над её губой запрыгала.

– Не смейся, понимаешь, у меня к нему серьёзное дело...

Я вкратце изложил Гале подслушанный разговор, умолчав о Гришке и приключениях на Балчуге.

Галя слушала внимательно, тихо помешивая остывший чай серебряной ложечкой. Лукавая улыбка на её лице сменилась выражением вдумчивой сосредоточенности.

– Если всё так и есть, то дело и правда важное. – Она положила ложку на блюдце. – Губернатор ведёт личные

приёмы по экстренным делам во всякий час, я график в газете «Новое время» видела. Чтобы попасть на приём, нужно позвонить в канцелярию. Там человек и днём и ночью дежурит, он подскажет, что делать.

– А как же мы ему позвоним? У вас есть телефон? – От изумления я поперхнулся калачом и закашлялся.

– Когда жуёшь, лучше всё-таки помалкивать, – поучительным тоном сказала Галя и отколотила меня ладошкой по спине.

Через минуту мы стояли в прихожей у телефонного аппарата. До наших сотовых ему, конечно, далеко – на стене висел огромный деревянный ящик с надписью «Bell company», напоминающий допотопного робота с квадратной головой. Вместо глаз у него были две перевёрнутые металлические чаши с болтиками посередине – судя по всему, звонок. Слева «ухом» торчала ручка от кофемолки, справа на крючке болталась трубка, по форме напоминающая вантуз. Микрофон, небольшая коробочка с круглым углублением посередине, располагался ниже.

Галя сняла трубку, приложила её к своему уху, покрутила ручку.

Из трубки послышался трескучий голос телефонистки:

– Станция слушает. Что вам угодно?

– Говорит Рябина, ноль сорок девять. Соедините, пожалуйста, с канцелярией губернатора... – Галя слегка наклонилась к микрофону, голос её звучал деловито.

Рябина, почти что Рябинкина... Удивительное совпадение. Да ещё это внешнее сходство!..

– ...Да-да, номер ноль тридцать пять. – Она утвердительно покачала головой.

– Вызываю, – протрещала трубка.

Галя передала её мне.

Прижав трубку к уху, я мысленно прокручивал варианты приветствия – не каждый же день общаешься с губернатором.

– Канцелярия губернатора, дежурный чиновник по особым поручениям, титулярный советник Свиристелкин у аппарата...

– Здравствуйте, я хотел бы поговорить с губернатором, – выпалил я.

– Мальчик, изволишь шутки шутить? Может, тебя сразу со всемилостивейшим государем соединить? – Господин Свиристелкин в трубке явно негодовал.

– Я не шучу, мне нужно по неотложному делу переговорить с губернатором. Это касается его личной безопасности, – произнёс я как можно серьёзнее и подмигнул Гале.

– Доложите мне суть дела, я передам, – сухо ответил титулярный советник.

– Готовится серьёзное преступление. Дело деликатное, возможно даже, секретное, и губернатору вряд ли понравится, если я посвящу в детали кого-то без его разрешения. Мне бы хотелось поговорить с ним лично. – Я настойчиво гнул свою линию, во-первых, из любопытства – очень уж хотелось своими глазами увидеть губернатора, – во-вторых, чтобы произвести впечатление на Галю, которая очень внимательно слушала.

– Как мне вас представить? – Свиристелкин перешёл на «вы», это хороший знак.

– Сергей Шишкин к вашим услугам. – Я снова посмотрел на Галю. Её калейдоскопические глаза светились восхищением.

– Абонентский номер? – пророкотала трубка.

– Абонентский номер сорок девять, звоню из дома Рябининых.

– Ждите ответа, я перезвоню. – В трубке что-то щёлкнуло.

Через несколько минут телефонный аппарат разрезал тишину пронзительным звуком, похожим на школьный звонок. Я на автомате выскочил в коридор.

Титулярный советник Свиристелкин отрапортовал, что губернатор готов меня принять через тридцать минут в своей рабочей квартире в Главном ярмарочном доме. И предупредил, что лично сдерёт с меня три шкуры, если я побеспокою губернатора из-за пустяка.

Я повесил трубку на крючок, с радостными воплями обхватил Галю за талию и оторвал от пола. Кудряшки-пружинки весело встрепнулись. Галя же почему-то

сконфузилась и даже покрылась забавными малиновыми пятнами. Я почувствовал неладное и аккуратно, словно фарфоровую вазу, поставил её на пол.

– Сергей, прошу вас держать себя в руках, иначе придётся отменить наши занятия. – Она прищурила глаза, словно прицеливалась.

– Тебя в руках держать гораздо удобнее, – попытался я отшутиться, но тут же напоролся на ввинчивающийся в меня штопором взгляд. – Прошу прощения, увлёкся. Вы... ты не представляешь, как меня выручила! Мне тебя судьба послала! Не сердись, пожалуйста. Сейчас мне нужно бежать, а завтра я расскажу, как всё прошло.

Я свистнул Бусю и бросился в комнату за вещами.

– Пстой, непоседа, я распоряджусь, тебя отвезут. – Галя смотрела на меня с улыбкой. – На приём к губернатору лучше не опаздывать. И Бусю оставь у меня, к губернатору с ней нельзя. За ней Федька присмотрит – устроит в каретнике, накормит, напоит. Я прослежу.

Я поблагодарил Галю и попрощался с Бусей. Посмотрел на часы. Восемнадцать восемнадцать. Нужно торопиться, до полуночи осталось совсем немного времени.

Глава 18. За рекой

Я сидел в шикарной мерно покачивающейся коляске. Мимо проплывали лучшие нижегородские виды, но мне было не до них. В голове фотовспышками прокручивалась встреча с Галей: касающиеся моего локтя длинные пальцы, случайно пойманный взгляд, лукавая ямочка на щеке, румянец, выступающий пятнышками на высоких скулах. Губы расплывались в блаженной улыбке каждый раз, когда в моём взбудораженном сознании звучал её смех. Даже не заметил, как мы домчались до Похвалинского фуникулёра, рядом с которым, выпустив последних пассажиров, разворачивался трамвай.

Я встал во весь рост. Передо мной раскинулся длинный наплавной, а по-другому плашкоутный, мост. Помню, читал про него, но даже и не мечтал увидеть своими глазами. Мост состоял из деревянных плоскодонных барж-плаш-

коутов, стоявших на якорях. Они были соединены между собой так, что между ними оставались пролёты для прохода небольших судёнышек и лодок. Поверх плашкоутов был уложен укреплённый деревянный настил с трамвайными рельсами. Длина моста составляла больше пятисот метров, ширина проезжей части вместе с тротуарами – не меньше двадцати. В девятнадцатом веке это был самый большой наплавной мост в России. Он разводился каждую ночь – этакая ретроверсия питерских мостов.

За мостом, на Стрелке, где соединяются Ока и Волга, как и в моём двадцать первом веке, возвышался жёлтый, словно построенный из песка, храм Александра Невского. Его остроконечные шатры пересекали линию горизонта и устремлялись в небо. Стадиона, возведённого к чемпионату мира по футболу в 2018 году, ясное дело, не было. Но открывшееся взгляду и без того впечатляло.

Когда коляска миновала середину моста, я разглядел Главный ярмарочный дом с фонтаном. Он вальяжно раскинулся за рекой в центре площади, а за ним выстроились десятки одинаковых, расставленных на одном расстоянии друг от друга корпусов мануфактурных складов с несметным количеством лавок. Эти строения обрамлял полукругом огромный обводной канал, через который было переброшено несколько мостов. Корпуса отделялись от канала площадью со Спасским собором посередине, его купола соседствовали с экзотичными крышами китайских рядов. По берегам канала расположились десятки внушительных каменных зданий.

Несмотря на вечернее время, везде было полно народу. По мосту ехали повозки, шли пешеходы. Вдоль берегов Оки было пришвартовано множество лодок и судов. Везде сновал рабочий и торговый люд самых разных национальностей. И это в конце дня, когда ярмарка заканчивает работу! Что же тогда здесь творится сразу после открытия? Вот он, настоящий купеческий Нижний с его неповторимым колоритом!

Мы проехали сквозь одну из арок, построенных специально к приезду царя, и повернули к Главному дому. Центральную площадь патрулировали полицейские, у входа

в здание тоже дежурила охрана. Я представился, сказал, что меня ожидает губернатор. Один из охранников привычным жестом пригласил меня внутрь.

Разглядывая витые столбы с вензелями, увенчанные двуглавыми орлами, я вслед за провожающим поднялся по парадной лестнице. На широкой площадке-балконе мы повернули направо и, минуя Гербовый зал, направились по длинному коридору в приёмную, которая располагалась в дальнем крыле здания.

Воскресный вечер, а в приёмной людно, то и дело кто-то входит и выходит. Меня встретил молодой офицер, представившийся поручиком Карауловым.

Он всё время отпускал глупые шуточки и производил впечатление жизнерадостного бездельника. Спустя пять минут, когда массивная дверь захлопнулась за мужиком, одетым в серую робу, поручик пригласил меня в кабинет губернатора.

Я перешагнул высокий порог. Колени тряслись, как после многокилометрового забега. На меня пристально смотрели два человека. Первый – Николай II, удивительно смахивающий на нашего премьер-министра Медведева, только с бородой. Он поглядывал сверху вниз, с висящего очень высоко портрета. Второй – тот самый Дон Кихот, Баранов, смотрел воочию, в упор и с нескрываемым любопытством.

Николай Михайлович Баранов встал из-за массивного резного стола, покрытого зелёным сукном, и, сияя эполетами, направился ко мне навстречу. У меня перехватило дыхание. Я сделал пару шагов вперёд и замер рядом с мраморным камином, не решаясь что-нибудь сказать. Губернатор подошёл вплотную и протянул руку для приветствия. Я ответил на рукопожатие как можно твёрже.

– Ну, здравствуй, Сергей Шишкин. С чем пожаловал? – Голос губернатора звучал приглушённо.

– Здравствуйте, ваше превосходительство, – отчеканил я. – Имею честь доложить важную информацию!

– Так уж и важную? – Он взглянул с хитрецей, левая бровь изогнулась, как натянутый лук.

– Первостепенной важности, имеющую касательство до вашей персоны лично! «Во даю!» – удивился я своей манере речи.

– Ну, садись, излагай, коли так.

Губернатор указал на один из стульев, придвинутых к большому овальному столу для совещаний. Сам сел напротив, с другой стороны. Одной рукой подпёр высокий, переходящий в лысину лоб, другой покручивал седой ус.

Глядя как загипнотизированный в его удивительно молодые, искрящиеся мальчишеским задором глаза, я начал рассказывать.

Глава 19. Дон Кихот Баранов

Про Гришку я решил не упоминать. Иногда лучше не сказать всей правды, чем подставить невинного – ведь я до сих пор не был уверен в его предательстве. В остальном рассказал всё, что мне известно, без утайки.

Когда речь зашла о документе, спрятанном в сейфе, Баранов вскочил и, взъерошив седой затылок, выкрикнул:

– Ай да Савва, ай да стервец! Как он про письмо узнал? Не иначе кто-то из своих постарался. Никому нельзя верить!

Губернатор мерил кабинет длинными шагами до тех пор, пока я не закончил рассказ. Потом взглянул на меня, сведя к переносице кустистые с проседью брови.

– Говорил кому про письмо? Или только мне?

– Другьям, Гришке и Гале. Больше никому. – Я смотрел на губернатора не моргая.

– А в полицию почему не пошёл?

– Хотел сначала с вами поговорить, так надёжнее.

– А ты парень не промах! – Он отечески похлопал меня по плечу. – Если удастся поймать злоумышленников – отблагодарю!

– Спасибо, мне ничего не нужно, я не ради награды пришёл.

– А ради чего? – Баранов удивлённо вскинул брови.

– Чтобы предотвратить преступление, – ответил я, а сам подумал, что важнее всего для меня узнать правду про Гришку.

Губернатор вдруг громко расхохотался:

– Ну и фрукт! Из идейных, значит! – Его глаза искрились азартом. – Поглядим... Если за нос меня водишь – пеняй на себя, три шкуры сдери!

Я разозлился. Что им далась моя шкура! Тем более что она у меня одна-единственная. Хочешь помочь человеку, а он вместо того, чтобы поблагодарить, подозревает корыстный интерес или вообще преступный умысел.

Я не смог справиться с возмущением:

– Зачем мне вас обманывать? Какой мне от этого прок?

– Ладно, ладно, не кипятись! – Губернатор миролюбиво похлопал меня по плечу. – Погостишь у меня сегодня ночью. Родители не потеряют? Или к ним гонца отправить?

– Я сирота, – сказал я грустно.

В глазах Баранова как будто что-то погасло, а потом вдруг появилось в них что-то тёплое, отцовское, родное. У меня от этого взгляда защемило в груди.

– Ты, Серёжа, на меня не сердись. Время сейчас лихое, каждый норовит из седла вышибить. Врагов у меня много, вот и опасаясь... – Губернатор снова сел напротив. – Скажу тебе открыто: про затеваемый на выставке пожар мне уже известно, доложил обер-полицмейстер. Там всё взято под охрану – полиция дежурит тайно, не привлекая внимания, даже мышь не проскользнёт. Здесь тоже устроим засаду, я распорядюсь. Благодаря тебе обязательно поймем подлецов! А ты пока поешь, отдохни. Устрою тебя по-царски. Охрану приставлю ради твоей же безопасности. Согласен?

– Хорошо, – кивнул я и примирительно улыбнулся.

Губернатор вызвал поручика Караулова и приказал ему разместить меня в гостевой комнате по соседству с рабочим кабинетом и обеспечить всем необходимым.

– Глаз с моего юного друга не спускайте! Его безопасность – ваша безопасность.

Поручик вытянулся в струнку и козырнул.

– Будет сделано, ваше превосходительство!

Мы вышли из приёмной, прошагали по коридору и повернули налево. Поручик открыл дверь комнаты и пропустил меня вперед.

В просторной гостиной висела большая хрустальная люстра, окна были занавешены бархатными портьерами, диван обит дорогой тканью. Я положил скрипку и рюкзак на диван и осмотрелся.

– Располагайтесь, сударь! В вашем распоряжении будуар и уборная. – Поручик по очереди распахнул две ведущие в разные стороны двери. – Я прикажу принести закуски.

Он выпорхнул в коридор и закрыл меня на ключ. Да уж, который раз за день меня норовят запереть!

Я осмотрел комнату внимательнее, у входа нашёл выключатель, повернул – люстра засияла разноцветными лучами. Ух ты, электрическое освещение! Зашёл в уборную. Там посередине на резных ножках стояла большая ванна, у стены – изысканная раковина, над которой висело зеркало в золочёной раме. Я покрутил медный кран – потекла вода. Водопровод! Чудненько! Покрутил второй кран – потекла горячая. Ого! Чудеса цивилизации! Рядом с раковиной на расписной этажерке белели пушистые полотенца.

Я прошёл в будуар и плюхнулся на высокую, всю в пуховых подушках кровать. Вокруг витал обволакивающий лавандовый аромат.

Дверь в гостиной хлопнула. Вернулся поручик, а вместе с ним пришла горничная в накрахмаленном фартуке с тележкой, полной тарелок. Она постелила белоснежную скатерть на круглый обеденный стол, расставила угощение и приборы. Вышла в коридор и принесла пыхтящий самовар, который водрузила посреди стола.

– Ступай, когда понадобится – позову. – Поручик небрежно махнул горничной рукой и положил в рот большую виноградину.

Прожевав её и блеснув ровными белоснежными зубами, повернулся ко мне:

– Сударь, вам составить компанию или вы желаете отужинать в одиночестве?

– Оставайтесь, господин поручик, буду рад. – Я сел за стол и заправил за воротник белоснежную салфетку.

Чтобы совместить приятное с полезным, я попросил поручика рассказать мне что-нибудь занятное про генерал-губернатора Баранова. Долго упрашивать не пришлось, Караулов трещал без умолку – рассказывал всевозможные анекдоты, закусывая фуа-гра и похрустывая жареными куропатками.

Из рассказов поручика губернатор представился мне совершенно марвеловским персонажем. Вот он – отважный капитан Баранов, молодой и бесстрашный, не знающий усталости, с непоколебимым характером и силой духа – сражается с турками на палубе своего корабля. Худощавый, но при этом наделённый недюжинной физической силой, ловкостью и выносливостью. Вот он – железный человек, талантливый изобретатель, совершенствующий винтовку. Вот он уже питерский градоначальник, хитрый стратег и знаток человеческих душ, победивший террористическую «гидру» и спасший государя.

Баранов в роли нижегородского губернатора тоже был хорош.

Глава пожарной охраны, по-карауловски – брандмайор, человек-паук, укрощающий огонь, перепрыгивающий с крыши на крышу с топором и пожарным шлангом в руках.

Человек-молния, пролетающий по городу и создающий воронки, заряженные электричеством.

Талантливый учёный, обладающий потрясающей гибкостью ума и скоростью мысли, способный поглощать огромное количество информации. Он с лёгкостью разрабатывает не только оружие, но и архитектурный проект Главного ярмарочного дома. А ещё пишет статьи, редактирует газету, открывает музеи.

Баранов – борец за справедливость. Он, как мировой судья, вершит суд на площади – по совести, беспристрастно. Не терпит лжецов, лентяев и мздоимцев. Милый человек, но стоит его разозлить, и он превращается в несокрушимого Халка*, сметающего всё на своём пути, не гнушающегося жестокими телесными наказаниями.

И при этом Дон Кихот Баранов – добрая душа и филантроп**. Когда в Нижнем свирепствует холера, он отдаёт под лазарет губернаторский дворец и на собственные средства закупает тёплые одеяла и лекарства для больных.

Его милосердие порой граничит с безумием. Однажды на него покушался обер-офицерский сын Владимиров. По-

* Халк – вымышленный персонаж, супергерой комиксов издательства Marvel Comics. Простой, сильный, быстро приходящий в гнев.

** Филантроп – человек, занимающийся благотворительной деятельностью, оказывающий помощь и покровительство нуждающимся.

кушение не удалось, молодого человека арестовали и перевели в петербургскую одиночную тюрьму. Он писал оттуда Баранову покаянные письма, винил во всём свою «несчастную, искалеченную жизнь». Благородный Дон Кихот, увидев в революционере несчастного безумца, ничего лучше не придумал, как обратиться к министру юстиции с ходатайством о его помиловании. Просьба не была удовлетворена, о чём губернатор сам сообщил заключённому, сказав, как глубоко сожалеет, да ещё передав ему двадцать пять рублей.

– А кто такой Савва? – спросил я поручика, вспомнив возглас губернатора во время моего рассказа.

– Савва? Ты имеешь в виду Савву Тимофеевича Морозова?

Я на всякий случай утвердительно махнул головой.

– Ну, его всяк в городе знает. Птица высокого полёта. Председатель ярмарочного биржевого комитета, мануфактур-советник, ему государь титул ваше высокоблагородие пожаловал. Один из самых богатейших людей России, за ним всё нижегородское купечество! Государя-батюшку на выставке самолично встречал. Наш губернатор шёл следом, вторым номером. Савва в Нижнем всем заправляет, да только вот наш орёл ему никак не по зубам. Подарков от купечества не принимает, Савве в глаза не заглядывает – знай делает своё дело.

За рассказами ужин пролетел незаметно. Поручик, сытый и довольный собой, улёгся с газетой на диван, закинув ноги в надраенных до блеска сапогах на подлокотник. Я отправился в ванную. Когда, намытый и надушенный, вернулся в гостиную, Караулов уже раскатисто храпел.

Глава 20. Акробат

На улице уже почти стемнело. Я отодвинул краешек портьеры. Окно выходило на парадный вход. Воры полезут с другой стороны, я отсюда ничего не увижу.

На цыпочках я пробрался мимо спящего Караулова, попробовал повернуть ручку двери – не заперто. Выглянул в коридор. Из приёмной вышли жандармы и во главе со старшим офицером направились к лестнице. Подготовка

к приёму «гостей» шла полным ходом. Я дождался, пока они скроются из виду, и прошмыгнул в приёмную.

Дверь в кабинет генерал-губернатора была распахнута, внутри никого. Рядом с портретом Николая II я увидел ещё одну дверь. Подошёл к ней, постучал. Никто не ответил. Попробовал открыть – дверь поддалась, за ней оказалась уборная, а дальше комната отдыха с диваном и большим шкафом. Здесь тоже никого не было. Окно выходило на задний двор, который освещался электрическими фонарями. Это хорошо, всё будет видно. Я открыл шкаф и, отодвинув в сторону генерал-лейтенантский мундир и несколько гражданских костюмов, удобно устроился в уголке. Через плетёную дверцу шкафа просматривалась часть комнаты.

Минуты через две я услышал приглушённый голос губернатора – видно, забыл закрыть за собой дверь:

– Я погашу свет в кабинете, выйду во двор, сяду в коляску и поеду в сторону выставки. С собой возьму почти всю выставленную во дворе охрану. Оставлю двоих у главного входа, с заднего двора сниму всех сторожевых, за исключением скрытых постов. Отъеду недалеко, переоденусь в гражданский костюм и вернусь в дом с чёрного входа. Расставлю охрану внутри и войду в приёмную, а вы вместе с другими жандармами спрячетесь в кабинете и будете поджидать голубчиков здесь. Форточку оставите открытой, чтобы не сорвать план противника. После сигнала действуйте без шума и постарайтесь схватить всех по одному. Жертвы нам ни к чему, да и бандитов нужно взять живыми.

Голос Баранова звучал всё громче. Потом сквозь решётку я увидел его самого и вжался в угол. Губернаторская рука открыла дверцу шкафа, сняла одну из вешалок и исчезла. Дверца захлопнулась. Разговор продолжился, но слов было не разобрать. Через минуту всё стихло.

В комнате никого, дверь закрыта. Подождав ещё немного, я на цыпочках подошёл к ней и посмотрел в замочную скважину. В кабинете темно. Взглянул на часы – двадцать три часа двадцать три минуты.

Ожидание длилось вечность. На стене громко тикали ходики, я дежурил у окна, изредка посматривая в щель

между портьерами. Без двух минут двенадцать я увидел на заднем дворе чёткие тени. Их было три: одна широкая длиннорукая, вторая высокая и юркая, третья тощая и короткая. Я приник к окну всем телом, старался не упустить ни одной детали. Началось...

Тени остановились под центральным окном кабинета. Они сгибались пополам и совершали непонятные действия. Одна из них взмахнула рукой и забросила что-то наверх. В кабинете послышались шорохи и какой-то металлический лязг. Спустя несколько секунд я увидел фигуру, шустро скользящую по канату. Гришка!.. Он подтянулся, одним движением зацепился за край форточка и ловко нырнул внутрь. Вот и Акробат! Через пару секунд скрипнула оконная фрамуга, и из неё вывалилась верёвочная лестница. Кто-то тихонько свистнул: два длинных – один короткий.

Мне пришлось ретироваться в шкаф, потому что раздалась чьи-то шаги. Дверь в гардеробную открылась. Я пытался разглядеть сквозь решётку лицо незваного гостя. И разглядел: это был Гришка. Интересно, почему жандармы его не схватили?

Он занял моё место у портьерной щели и увлечённо смотрел на улицу. Я осторожно выскользнул из шкафа, тихо подошёл сзади и, резким движением обхватив Гришкину шею, упёр свой локоть ему в подбородок:

– Что, Акробат, не ждал? – Второй рукой я попытался заломить Гришке левую руку за спину.

Он захрипел, локтем пихнул меня под дых, всем телом откинулся назад и опрокинул меня на спину, сам навалился сверху.

За дверью тоже что-то упало, послышалась возня.

Я старался не ослаблять хватку. Мы катались по полу, натываясь на углы, остервенело пихали друг друга ногами. Свободной рукой Гришка ухватил моё ухо и тянул его что было мочи. Ухо горело, но я, не обращая внимания на боль, всё сильнее зажимал локтем Гришкин подбородок.

В кабинете раздался выстрел. Я вздрогнул. Гришка воспользовался моим замешательством и укусил за руку. Дверь в гардеробную распахнулась, нас бросились разнимать жандармы...

Спустя пятнадцать минут, когда улеглась суматоха и увели арестованных Тенора и Сивого, я сидел за круглым столом в кабинете губернатора. Моё левое ухо раздулось и горячо пульсировало. Напротив сидел Гришка, взлохмаченный и недобро светящийся в мою сторону фонарём под глазом.

– Хороши соколы! – Губернатор сиял как медный пятак. – Выручили старика, такое дело провернули! Только не пойму я, чего сцепились-то? Не поделили чего? Один чуть ухо не оторвал товарищу, другой чуть было без глаза не оставил. – Он вопросительно посмотрел на меня.

– Не трогал я его глаз, это ему подельники навяляли. Он же Акробат, пособник бандитской шайки, – не возьму я в толк, чего это мы с ним здесь за одним столом сидим? – Я с вызовом посмотрел на Гришку.

– Никакой я не способник, а глаз мне батя подбил, случайно. – Гришка стукнул кулаком по столу. – Я ж тебе говорил, у тебя совсем память отшибло?

– С глазом, как я погляжу, история тёмная... – перебил Гришку Баранов. – Ну да ладно, мы с ним потом разберёмся. А что с Акробатом-то? Как тебя в шайку занесло? Отвечай товарищу. – Губернатор подошёл к Гришке и с улыбкой похлопал его по плечу.

– Да уж, всё сразу и не расскажешь. – Гришка вытер нос рукавом рубахи. – Я и есть Акробат, но не настоящий, а подставной. Меня Петрович завербовал – обещал в училище восстановить, если получится схватить преступников.

– Как завербовал? – Я подскочил, словно развернувшаяся пружина. – А мне почему не сказал?

– Велено было до поры до времени молчать, чтобы предприятие не сорвать. – Гришка взглянул на меня мельком и опустил глаза.

Я шлёпнулся на стул, обхватил голову руками. На языке вертелось множество вопросов, но с чего начать, я не знал.

– Я вижу, вам есть о чём потолковать с глазу на глаз. Так что отправляйтесь сейчас в гостевую, отдохните, отоспитесь, а я пока с делами закончу.

Губернатор открыл дверь и пригласил в кабинет обер-полицейстера.

Мы с Гришкой спешно вышли в приёмную. Там было не протолкнуться: всюду сновали люди в мундирах. В углу на диване в приятно-тревожном ожидании сидел, выпрямив спину, Елистрат Петрович. Увидев нас, он встал и сделал несколько шагов навстречу.

– Ребятюшки мои золотые! – Городовой отечески развёл руки. – Гришка, живой! Вот ведь бестия, из любой оказии выкрутишься!

Пудовыми ладонями он похлопал Гришку по спине и повернулся ко мне:

– А с тобой, Шишкин, разговор особый будет. Отчего ко мне не пришёл, когда велено было? – Петрович смотрел с прищуром, недобро, но потом на всякий случай тоже похлопал меня по плечу, выдавив кривую улыбку.

Мы с Гришкой выскользнули из приёмной и столкнулись в коридоре с заспанным Карауловым.

– Господин поручик, вы можете быть свободны. Мне теперь ничто не угрожает, и до утра вы мне больше не понадобятся. Только ключ от гостевой, будьте добры, отдайте.

Поручик похлопал сонными глазами, вытащил из кармана ключ и поспешил в приёмную собирать новые байки.

– Входи, будь как дома. Чайку хочешь? А может, поесть? – Я по-хозяйски махнул на небубренный с вечера стол. – Да выкладывай всё поскорее, только начистоту.

Глава 21. Каждый мнит себя стратегом

Удобно устроившись на диване с подносом недоеденных Карауловым закусок, Гришка приступил к рассказу:

«Вечером я оставил тебя в приюте и пошёл домой. По дороге решил не ждать утра и всё же забежал к городоному: беспокойно мне как-то было. Я подумал: если столкнёмся на Балчуге с бандой, их будет не меньше пяти. Нам не по зубам, да и уследить за всеми не сможем. Петрович по соседству живёт, вот я и заглянул к нему на огонёк. Рассказал всё. У него глаза загорелись:

– Сивый? – говорит. – Знаю такого. Известный вордомушник, опасный тип. Похоже, дело серьёзное. Есть у меня один человек среди енттой братии, за ним должок,

я у него справки наведу. Он всё расскажет. – Городовой жёстко усмехнулся. – Приходи в семь утра в участок, я скажу, что делать.

Вытолкал меня Петрович, а сам оделся и бежать.

Домой я вернулся поздно, поругался с отцом. Про это я тебе уже рассказывал.

На следующий день примчался в участок, а там суматоха с утра пораньше. Петрович весь на дыбах, глаза горят.

– Дело у меня до тебя есть, Григорий, – говорит, – экстренной важности. Навестил я того человечка, да и рассказал он мне вот что. Приходил к нему вчера вечером один ухарь, просил подсобить. Требуется ему мальчишка вёрткий да надёжный – “акробат”, по-ихнему, чтобы мог забраться в форточку, открыть окно и сбросить лестницу. Мой человечек обещал ему утром такого мальчонку отправить. Встречу назначили на Балчуге в десять часов. Всё вроде сходится – ваши вчерашние приятели, похоже. Вот я и подумал: Григорий, может, вместо Акробата тебя на Балчуг отправить? Я тебе доверяю: ты человек надёжный, проверенный...

– А что если они узнают, что я не Акробат? Тогда мне конец! – засомневался я.

– Не узнают. А чтобы настоящий Акробат нам планы не попутал, мы его уже перехватили. Не бойсь, тебе всего-то нужно будет явиться на сходку, выяснить, где кража затевается, а потом всё мне рассказать. Ну что, согласен?

Я задумчиво почесал затылок.

– Ты долго не раздумывай. Скажу тебе вот что: если дело выгорит и мы поймаем преступников, я подсоблю тебе с училищем. Ты же хочешь, чтобы тебя назад взяли?

– Идёт, – согласился я, – ради такой награды рискнуть стоит. А что с Серёгой? Я ж его обещал с собой на Балчуг взять, ведь он первый про всё узнал.

– Ну и возьми его с собой, только про Акробата не рассказывай. Малый он странноватый, ненадёжный, ему лишнего лучше не знать. Если он кого узнает, пусть даст знак. Особенно нас интересует Заика, нам главное – за ним уследить, чтобы вычислить заказчика. Да и за Пианистом неплохо было бы присмотреть. А остальных голубчиков

ты нам на блюдечке с голубой каёмочкой подашь. Я около прилавка филёров расставляю – они за твоим Серёгой приглядят и тебя прикроют.

– А как я найду место встречи?

Петрович расстелил на столе карту.

– Смотри, нужный тебе прилавок — вот здесь. – Он ткнул пухлым пальцем в квадратик с краю. – А тут, на другой стороне, я посажу своего человека. Ты около него Серёгу оставь, мой человек его отвлечёт, когда тебе нужно будет войти внутрь...»

– Ага! – не выдержал я и перебил Гришку. – Так, значит, беззубый татарин – полицейский агент, и он нарочно меня отвлёт? Я так и знал!

Гришка утвердительно махнул головой и продолжил:

«...Вот здесь, – говорит Петрович, – рядом с их прилавком, посажу связного. Если что-то нужно передать – скажешь ему. Он будет тебя прикрывать и передаст информацию остальным. Ещё несколько человек будут рядом».

– Ого! – снова не выдержал я. – Бородатый мужичок с носом картошкой – связной?

– Не перебивай, а то не стану дальше рассказывать, – возмутился Гришка.

Я притих. Он строго посмотрел на меня и продолжил:

«Тебе городской велел наказать, чтобы мы возвращались порознь и встретились в участке.

Чтобы я узнал филёров, он показал мне их фотокарточки. А ещё назвал бандитский позывной, по которому меня приняли бы за своего: “У дядьки Никодима радость, его купчиха произвела в приказчики”. Ответ: “Купи дядьке самовар в подарок”. Как услышу про самовар, могу смело входить.

Мы пришли на Балчуг. Ты узнал Заику, дальше всё пошло по плану: я оставил тебя в условленном месте, а сам пошёл на встречу. Связному передал информацию о том, что мужик в котелке – заказчик. Дождался нужного времени и, пока тебя отвлекал татарин, подошёл к прилавку с книгами. Сказал пароль парнишке – он впустил меня в складскую.

В складской я был четвёртым. Шатен, стоявший за прилавком, оказался Пианистом. Тенора подельники называли

Аристократом, Сивого ты уже знаешь. Ну а Заики, к моему удивлению, там не оказалось.

Пианист и Аристократ обсудили детали ночного предприятия. Моя роль заключалась в том, чтобы помочь им пробраться в дом, но выяснить, где он находится, и кто его хозяин, мне не удалось.

Дальше всё пошло наперекосяк. Вместо того чтобы отпустить, Аристократ приказал Сивому отвезти меня в надёжное место и не спускать глаз – так, мол, я никому ничего не разболтаю, – а сам скрылся за грудой пыльных мешков у стены. За мешками была ещё одна дверь, она выходила к прилавку, расположенному с другой стороны. Я узнал об этом чуть позже, когда мы с Сивым вышли через неё. Судя по всему, Заика покинул складскую тем же путём. Но видели ли его филёры, мне было неизвестно.

Мы вышли к лестнице. Сивый пригрозил меня пристрелить, если я вздумаю дёргаться. Я понял, что моё дело плохо: если филёры не проследят за нами, мне придётся отправиться вместе с бандитами на дело. И решил подыграть Сивому – сказал, что тоже в деле и мне нет смысла бежать. За тебя я не переживал: ты в любом случае должен был отправиться к родовому.

Но тебя, видать, солнышком по башке шлёпнуло, и ты увязался за нами. Я тебя ещё на мостках заметил, когда с Сивым в гору поднимался. Надеялся, что ты отвяжешься и вернёшься в участок, но ты ничего лучше не придумал, как бегом рвануть за нами. Тут тебя уже и Сивый заприметил: чай, не слепой. Вызверился на меня, когда ты поймал извозчика:

– Знаешь этого типа?

Я сказал, что вижу тебя в первый раз. Сивый выругался и не поверил. Он всю дорогу следил за тобой, а я высматривал филёров – рассчитывал, что, следя за тобой, они вручат нас обоих, но никого так и не увидел.

Мы с Сивым доехали до Ошарской. Спрятались в доме. Кроме нас, там никого не было. Сивый наблюдал за тобой через щель в двери. Он убедился, что ты один, потом запер меня в подполье. Я видел, как ты подсматри-

ваешь за нами через окно. Мне кажется, Сивый тоже это заметил.

Спустя несколько минут Сивый открыл люк и бросил тебя на ступени влаза, словно мешок с картошкой...»

– Так это не ты, а Сивый вырубил меня на Ошарской? – снова не удержался я.

– Конечно, Сивый, я же в подполе сидел! И вообще рас-толкуй мне наконец, почему ты всё время обо мне всякие гадости думаешь? – Гришка посмотрел на меня в упор.

Я растерялся, потому что и сам не знал ответ на этот вопрос. Задумался, потом пожал плечами.

– Прости, Гриш. Понимаешь, не верю я в то, что, зная меня всего два дня, можно стать настоящим другом и заботиться обо мне, как ты. Я всё думал: зачем это тебе? Я ведь не заслуживаю такого отношения? Все, к кому я привязываюсь, бросают меня или предают.

– Ты что, совсем дурак? Ведь неважно, сколько люди знают друг друга, – если они друзья, то они это нутром чувствуют. Вот ты, например, сразу мне понравился. Говоришь что-то, а я будто вижу тебя насквозь, понимаю, как самого себя, и от этого мне хорошо. И хочется сделать для тебя что-то такое, чтобы душа порадовалась.

– Когда мы познакомились, у меня тоже было такое чувство, что мы с тобой сто лет друг друга знаем. Если честно, я всё время надеялся, что ты за «наших», не хотел верить фактам, которые заставляли меня сомневаться. Я и побежал за вами, чтобы тебя из беды выручить, и в дом полез, чтоб из подвала достать. Самое удивительное, что я тогда за себя не испугался. Понимаешь, нисколечко не испугался! Потому что о себе даже и не вспомнил. Только про тебя думал.

Мы с Гришкой обнялись – крепко, по-братски, так что у меня даже позвоночник хрустнул. Раньше я так только с отцом обнимался.

Гришка продолжил свой рассказ:

«...Мне тоже несладко пришлось, когда ты в подпол свалился. Я тогда всё на свете проклял, думал, что это всё из-за меня. Надо было тебе всё рассказать, не слушать Петровича. Ты лежал и не двигался. Я испугался – подумал, что Сивый тебя застрелил. Но потом послушал сердце –

оно стучало, как колокол. У тебя начался жар, ты метался из стороны в сторону. Я укрыл тебя тулупом и заговорил с тобой, но ты меня не узнавал и почему-то называл Галиной Николаевной.

Спустя пару часов Сивый вытащил меня из подпола и приказал идти за ним. Предупредил: если попробую сбежать или подведу их – тебе конец. Я готов был сделать всё, что они скажут, чтобы спасти тебя. Мы незаметно вышли через задний двор и отправились в лавку, купили всё необходимое. На Ошарскую больше не возвращались, уехали за реку, в Кунавино. Ждали полночи в какой-то каморке вместе с Аристократом. Он долго у меня выведывал, что ты за тип. Я сказал – друг. Узнал, мол, что я иду на дело, да незаметно увязался за мной, хотел подсобить. Они вроде успокоились, обещали тебя отпустить, если я сделаю всё как надо. А потом я полез в форточку – другого выхода у меня не было.

Ну и удивился же я, когда нырнул в комнату, а там Петрович! Обрадовался как оглашенный! Он шёпотом попросил меня закрепить лестницу и спрятаться за дверь. А тут ты! Налетел сзади и давай меня душить! Ты-то как здесь оказался? И откуда Петрович узнал про дом, никак в толк не возьму!»

Я рассказал Гришке свою историю, опустил лишь некоторые детали – про Галю и телефонный звонок. Раскрывать другу свои чувства пока не хотелось: я представил, как он будет отпускать колкости по поводу моей «миндальной души». Гришка-то по части девчонок кремень, они для него как будто и не существуют вовсе.

Гришка слушал и удивлялся:

– Ну, Серёга, ты даёшь! К самому губернатору на приём! А от филёров ты напрасно сбежал. Я бы сразу сообразил, что к чему. Они же тебя из подпола вызволили, силой не держали.

– Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, – усмехнулся я. – Ты бы на моём месте натерпелся – глядишь, по-другому бы заговорил.

– А где Буся? – Гришка застал меня врасплох своим вопросом.

– Оставил у одного надёжного человека, – как можно небрежнее бросил я.

– У какого такого человека? – удивился Гришка.

– Много будешь знать – плохо будешь спать, – засмеялся я.

Гришка свёл и без того хмурые брови, его глаза похолодели.

– Да не сердись ты! – Я хлопнул друга по плечу. – Я тебе обязательно расскажу завтра, а сегодня жуть как спать хочется.

Гришка разлёгся на диване, а я завалился в будуар и рухнул на пуховую перину.

Глава 22. Утро вечера мудренее

Проснулся я от яркого солнечного света. Открыл глаза и сразу понял, что улыбаюсь. Я уже забыл, когда в последний раз просыпался с улыбкой. Меня переполняло чувство настоящего. Ощущение того, что я существую здесь и сейчас, и это здорово! Я бодро встал с кровати и пошёл умываться. Вода была обалденно холодная, настраивала на до мажор, ноги сами выделявали фортеля. Вокруг всё было настолько чётким, что казалось, кто-то заботливо отполировал реальность ворсистой тряпочкой.

Гришка вошёл в ванную следом за мной и похлопал заспанными глазами. Я прикрыл пальцем отверстие в кране – вода сверлящей струёй брызнула Гришке в лицо. Он взвился и набросился на меня, воткнул тонкие пальцы мне под рёбра. С детства терпеть не могу щекотки. В отместку я треснул его по спине свёрнутым вдвое полотенцем. И понеслось! Мы с гиканьем бегали по комнатам и лупили друг друга подушками, кидались попадавшимися под ноги башмаками и хохотали как сумасшедшие.

В этот момент в гостиную вошёл поручик Караулов и чинно доложил, что губернатор ждёт нас к завтраку через четверть часа.

Завтракали мы внизу, в большой комнате для приёмов, за огромным шикарным сервированным столом, и наперебой

рассказывали Баранову подробности удачно разрешившегося предприятия.

Губернатор поведал нам, что благодаря моему сигналу филёрам удалось отследить Заику и сегодня утром его задержали. Пианист и его подельники тоже пойманы, пожара на выставке удалось избежать. А главное, мы с Гришкой помогли сохранить документ, от которого зависит судьба самого губернатора.

За эти заслуги губернатор вручил нам по сто рублей на каждого. Для Гришки эта сумма была настолько огромной, что он чуть не подавился сдобной булкой, которую минутой раньше старательно намазывал маслом. Ещё Баранов обязался самолично проследить, чтобы Гришку зачислили в ремесленное училище с выплатой ежемесячной губернаторской стипендии в пятнадцать рублей.

Николай Михайлович спросил, чем он может отблагодарить меня. Я не удержался и попросил его показать нам выставку и рассказать про секретный документ.

Губернатор посмотрел на меня внимательно, улыбнулся и сказал:

– Знаешь, Серёжа, напоминаешь ты мне одного очень хорошего человека. Посчастливилось мне встретиться с ним несколько лет назад. Обычно я разыскиваю таланты, а этот свалился на мою голову сам. Наверное, мне его послал Бог. Он помог мне осуществить несколько крупных проектов – по его совету в городе появились электростанция, телефонная линия и были запущены трамваи. Что самое удивительное, этого человека совсем не интересовали деньги, – помогая мне, он руководствовался исключительно любопытством. Первый раз я встретил того, с кем мы понимали друг друга с полуслова. С ним было очень интересно общаться...

Губернатор вдруг отвлёкся и дал поручение вертевшемуся рядом Караулову сходить в кабинет за какой-то красной папкой. Дождавшись, когда тот покинет столовую, продолжил:

– Итак, документ. Расскажу, только обещайте, что эта история останется между нами.

Мы с Гришкой одновременно махнули головами.

– Есть у меня один «заклятый друг». Один из тех, кто в лицо улыбается, а за спиной точит нож. Этот человек обла-

дает большой властью и ещё большим состоянием. Он, как и многие, полагает, что деньги и власть решают всё. Однажды мы с ним не сошлись во взглядах, и он подумал, что нам вдвоём в одном городе тесно. Провернул недоброе дело, а все концы, как бы это сказать, спрятал в мой карман. И получился я без вины виноватым. Эта история дошла до государя, и сейчас решается моя судьба.

Вместе с тем полицейским удалось перехватить одно письмо, неосмотрительно отправленное моим «другом» по почте, в нём содержится информация об истинных виновниках того недоброго дела. Обер-полицмейстер изъял письмо и доставил мне. Я хотел добиться личного приёма у государя и представить ему доказательства моей невиновности. Но кто-то узнал об этом и чуть не уничтожил важную улику. Только благодаря вам письмо удалось сохранить. Кроме того, мы предотвратили пожар на выставке, а за него тоже пришлось бы ответить мне. Так что я ваш вечный должник. – Губернатор задумчиво покрутил ус. – Мне осталось только найти того лиса, который разнюхал, что письмо у меня, и рассказал об этом злоумышленникам.

В столовую впорхнул довольный Караулов, он держал в руках толстую красную папку, перевязанную шёлковой лентой. Поручик подал папку Баранову. Тот положил её на стол и повернулся к поручику:

– Господин Караулов, потрудитесь предъявить содержимое ваших карманов. – Тон губернатора был удивительно спокойным.

С лица Караулова сползла его неизменная улыбка. Он попятился к окну.

– Ваше превосходительство, у меня в карманах ничего нет!

– А вот сейчас и проверим. – Губернатор встал из-за стола и направился к поручику.

Поручик выхватил револьвер и, сверкая злой улыбкой, направил дуло на Баранова. Тот стремительно сократил расстояние, выбил револьвер, одним махом скрутил поручику локоть за спиной и ловко засунул руку в его карман.

– Что и требовалось доказать! – Губернатор держал в руке помятый заляпанный сургучом конверт.

Баранов обратился к прислуживающему за столом мужчине с просьбой увести Караулова. Белозубая улыбка поручика испарилась из столовой вместе с его начищенными сапогами.

Я потерял дар речи – настолько стремительно всё произошло. Гришка тоже замер с приоткрытым ртом. Две пары наших глаз гипнотизировали губернатора, мы ждали объяснений.

Баранов поднял с пола револьвер и положил его рядом с папкой.

– Я заподозрил Караулова, когда узнал о готовящейся краже. Он единственный, кто входил в мой кабинет во время нашего разговора с обер-полицмейстером, а позже мог видеть, как я убираю письмо в сейф. Сегодня я устроил ему западню – нарочно спрятал при нём ключ от сейфа, а в сейф подложил другой конверт. Послал его в кабинет за папкой – и вуаля, осталось только поймать его с поличным. Теперь можно считать дело закрытым.

Баранов прокрутил револьвер на указательном пальце и с бравым видом поправил усы. Он явно был доволен собой и тем впечатлением, которое произвело его тщательно продуманное представление на благодарных зрителей.

– Так на чём я остановился? – Губернатор развязал шёлковую ленту на папке, вынул оттуда чёрно-белое фото с резными краями и протянул мне.

Фотография была сделана в губернаторском кабинете у камина. С неё на меня смотрел отец. Он стоял рядом с Барановым, его глаза излучали хорошо знакомый тёплый свет.

Я проглотил ком, застрявший в горле, словно огромную пилюлю. На глаза навернулись слёзы.

Глава 23. Долг платежом красен

– Откуда у вас эта фотография? – Мой голос дрожал.

– Этот снимок был сделан пару лет назад в моём кабинете. Мой гость сам попросил сделать фото на память. Он исчез на следующий день – так неожиданно, что я даже не успел вручить ему фотокарточку. – Губернатор протянул мне ещё одно, точно такое же фото.

Я посмотрел в грустные глаза Баранова и понял, что он считал по папе. Так же, как и я.

– Можно я возьму этот снимок? На нём мой отец.

Баранов совсем не удивился, он как будто и раньше знал это.

– Конечно, передай фото отцу.

– Я не смогу этого сделать, его больше нет. – Я смахнул слезы. – Он погиб два года назад.

Баранов обнял меня молча, положил горячую руку мне на затылок. Я заплакал, как ребёнок. Мы простояли так вечность, пока звон упавшего на пол прибора не заставил нас вздрогнуть.

Я посмотрел на Гришку. Он спрятал мокрые глаза и виновато потянулся под стол за упавшей вилкой.

– Свистать всех наверх! Ставить паруса! – громогласно объявил Баранов и улыбнулся во все тридцать два зуба. – Не будем медлить, друзья, пора в путь, нас ждут удивительные приключения!

Сейчас Баранов был особенно похож на Дон Кихота. Я даже почувствовал себя немножко Санчо Пансой – захотелось прихватить его доспехи и оседлать коня. Мы с Гришкой радостно переглянулись и рванули наверх за вещами.

Начались приключения с посещения Гришкиного дома. Мы отправились туда в сопровождении губернатора и произвели сказочный эффект, прямо как лягушонка в коробчонке.

Встречать губернаторский «лимузин» выскочило всё Гришкино семейство, даже тётка Глашка с отвисшей от удивления челюстью.

Матрёна Андреевна со слезами бросилась обнимать сына.

Гришкин отец стоял немного в стороне и осоловело зыркал из-под мохнатых бровей. Но, как только он увидел губернатора, его лицо вытянулось вместе с длинным несуразным телом. Баранов сухо пожал ему руку и торжественно произнёс:

– Благодарю вас, господин Сковорода, за то, что воспитали такого сына! Парень что надо, за правое дело готов хоть в огонь! Немал человек растёт, послужит ещё Отечеству, помяните моё слово!

Гришка зарделся, искоса поглядел отцу в глаза. Отец гордо расправил плечи и с вызовом блеснул глазами:

– Да уж, ваше благородие, моя жилка, я его как мужик мужика растил!

– Вижу, вижу, отметина у мальчика под глазом – тоже твоё мужицкое воспитание? – Голос губернатора лязгнул, как вынутая из ножен сабля.

– Поклёп возвёл на родного отца, ёрник! – Гришкин отец побледнел и злобно посмотрел на сына.

– Да ты не зыркай, парень ни слова не сказал, я сам сметливый, сообразил. Я ж тебя, иезуита*, насквозь вижу. – Баранов прищурил глаза, резанул мужика взглядом. – Мальца больше не тронь! Ослушаешься – высеку прилюдно на площади, сам не погнушаюсь. Григорий теперь у меня на службе состоит – считай, чиновник по особым поручениям. – Он игриво подмигнул Гришке. – Я за ним лично приглядывать стану. Вечером Григорий всё расскажет, а пока он мне ещё нужен, так что позвольте откланяться.

Губернатор развернулся на месте и бравым шагом направился к экипажу. Я и Гришка с высоко поднятыми головами проследовали за ним.

Когда мы уселись в коляску, Баранов повернулся ко мне и спросил:

– Может, мы и к тебе в гости заглянем, посмотрим, как ты живёшь, – чай, сироте несладко, может, помощь нужна?

Я покраснел, уши горели, как отутюженные.

– Мы не сможем заехать ко мне, потому что у меня нет дома, – произнёс я, набрав в лёгкие побольше воздуха. – Здесь нет, в 1896 году, потому что я случайно к вам попал из двадцать первого века. А в своём времени я живу с мамой и сестрёнкой. Мы пару месяцев назад в Нижний Новгород переехали: бабушка настояла. После смерти отца маме в Томске приходилось непросто, а здесь бабушка помогает. Так что про сироту я соврал.

Я встревоженно посмотрел на Гришку. Потом на губернатора. Он глядел на меня с интересом, но без удивления. Мне показалось, что Баранова вообще ничем нельзя удивить.

– Из двадцать первого, говоришь? А если точнее? – Губернатор с азартом покрутил ус.

– Если точно, из тринадцатого сентября две тысячи девятнадцатого года.

– Ого! И как же ты к нам попал?

* *Иезуит* (перен.) – хитрый, двуличный, коварный человек.

- Сам не знаю. Поскользнулся, упал, очнулся здесь.
- Значит, отец твой тоже был оттуда, из будущего?
- Да, но он не рассказывал о своём путешествии во времени. Мы как раз в то лето к бабушке в гости ездили, сюда, в Нижний. Наверное, он, как и я, провалился во временную дыру. И никому ничего не сказал, даже мне. – Я раздосадованно махнул рукой. – А я бы ему поверил.
- Ладно тебе, что утекло, назад не воротишь. Лучше скажи, что теперь делать-то будешь? – Баранов похлопал меня по плечу.
- Не знаю, попробую вернуться домой. Придумали мы с Гришкой один способ – может, получится.
- А если нет?
- У меня навернулись слёзы.
- Если нет, то мне и податься некуда. Кроме Гришки, у меня здесь никого!
- Не волнуйся, парень ты смышлённый, пристроим тебя во Владимирское реальное училище, будешь присмотрен и сыт. А пока поживёшь у меня в Главном доме, я до конца выставки не планирую возвращаться в губернаторский дворец. Гостевая в твоём распоряжении. Расскажешь, что да как там у вас в двадцать первом веке. – Глаза губернатора загорелись любопытством.
- Спасибо вам, Николай Михайлович! – Я протянул ему руку.
- Долг платежом красен! – Баранов улыбнулся и ответил мне крепким рукопожатием. – А теперь на выставку! Трогай! – скомандовал он извозчику и откинулся на спинку сиденья, весело что-то напевая.

Глава 24. Столица моторных экипажей

Через полчаса мы въехали на выставку. Располагалась она неподалёку от ярмарки – на левом берегу Оки, между железной дорогой и лесом, в Кунавинской слободе, переименованной в двадцатом веке в неблагозвучный Канавинский район.

Единогласного мнения по поводу происхождения старого названия слободы в Википедии не было. Кто-то предполагал,

что слово «кунава» произошло от названия денежной единицы – куны; кто-то считал, что от женского имени Кунава. Мне больше понравилась другая легенда, согласно которой на этом месте стояла корчма*, принадлежавшая некой куме. Когда к корчме приближались посетители, они кричали: «Кума, вина!» Отсюда и пошло название. На этой легенде, между прочим, основана знаменитая опера П. И. Чайковского «Чародейка».

В этом месте я оказался впервые. Здесь было покруче, чем на ВДНХ!

Мы спешили и пошли вдоль большого бассейна с фонтаном. С двух сторон раскинулись два симметрично расположенных поражающих великолепием сооружения. Слева – так называемый Художественный отдел, богато украшенное колоннами и скульптурными композициями здание с огромным ажурным куполом. Справа – Среднеазиатский отдел, похожий на дворец Аладдина, с изящными минаретами, увенчанными полумесяцем, и узорчатыми арками окон.

Мы подошли к главному зданию Машинного отдела, построенному целиком из металла и стекла. Здание-труба поглотило нас, словно огнедышащий дракон, и мы оказались в огромном помещении со стальными рёбрами, где всё двигалось, лязгало, скрежетало. Работающие механизмы приводились в движение огромной машиной, обладающей мощностью в шестьсот паровых сил. В воздухе витал густой запах раскалённого железа, керосина и машинного масла. Здесь находились аппараты для свеклосахарного, пивоваренного и винокуренного дела. Машины для прядильных и ткацких фабрик соседствовали с плотно приставленными друг к другу керосиновыми, газовыми, бензиновыми двигателями. Электрические машины занимали весь дальний угол, слева от них расположились насосы и всевозможные снаряды для шлифовки, полировки и чистки металлов.

– А здесь у нас паровые машины. – Баранов с гордостью показал рукой на длинный ряд железных монстров. – Их более двух десятков, такого не бывало ни на одной предыдущей выставке в России.

* Корчма – трактир, постоянный двор.

Губернатор питал особую страсть к паровым механизмам, а особенно к тем из них, которые применялись на флоте. В судостроительном павильоне он завёл речь об устройстве пароходов. Гришка при этом разговоре явно оживился – он с горящими от восторга глазами обсуждал с ним детали, представляя, как своими руками будет собирать корабли. Я, если честно, уже немного заскучал.

Наконец губернатор предложил опробовать моторный экипаж. Мы вышли из здания и направились к небольшому покрытому песком дворику, в котором красовался первый русский автомобиль, сконструированный Евгением Яковлевым и Петром Фрезе.

Внешне автомобиль напоминал обычную коляску, в которую забыли запрячь лошадь. Если, конечно, можно назвать обычным такой роскошный экипаж. Деревянные лакированные колёса с резиновыми шинами, задние чуть больше передних; лоснящееся на солнце кожаное сиденье с откидывающимся верхом; большие квадратные фары с толстым стеклом, напоминающие два огромных огранённых кристалла. Красавчик, ничего не скажешь! Как выразился Баранов, сердцем экипажа был бензиновый двигатель в две лошадиные силы. Вместо руля водитель поворачивал ручку, которая приводила в действие рычаг,двигающий передние колёса. Тормозов было два: основной – ножной, он действовал на ведущий вал коробки передач; другой же, ручной, прижимал резиновые бруски к шинам задних колёс.

– Ну что, прокатимся? – Баранов ловко запрыгнул на сиденье.

Мы с Гришкой взобрались следом. Сиденье было рассчитано на двоих, но мы свободно разместились втроём.

Губернатор передвинул рычаг переключения передачи вперёд, и экипаж тронулся с места. Песок смягчал вибрацию, и движение казалось плавным, но, когда мы выехали на дорожку, затрясло, как на телеге. Мы миновали дворик, проехали мимо Царского павильона, напоминающего русский терем, обогнули китайский павильон с характерно загнутой крышей и павильон Крайнего Севера, очертаниями имитирующий чум.

Машина развивала небольшую скорость, всего километров двадцать, но впечатление на окружающих производила сногшибательное. Люд попроще крестился, выпучив глаза. Один старичок ворчал и гневно размахивал тростью. Мужчины в шляпах разглядывали нас сквозь пенсне, а барышни показывали пальчиками и весело хихикали.

– А это наш воздухоплавательный парк. – Баранов оставил машину у небольшого деревянного здания на краю леса.

– Да это же азростат! – восторженно воскликнул Гришка.

Мы вышли из машины и направились к огромному воздушному шару, вокруг которого колдовало несколько десятков мужчин в тёмно-синей форме. Увидев губернатора, они выстроились в ровную шеренгу, вытянулись в струнку и приветственно приложили руки к козырькам зауженных кверху фуражек. Несколько остались стоять на одном колене, придерживая толстые витые верёвки с тяжелыми мешками на концах.

Один из старших офицеров помог нам взобраться в плетёную корзину, запрыгнул следом и дал указание отправляться.

Помощники отвязали мешки и отпустили верёвки – все, кроме страховочного троса. Шар медленно поплыл вверх. Спустя некоторое время мы поравнялись с первой в мире гиперболоидной стальной сетчатой башней Владимира Шухова, а ещё через несколько минут она уже казалось своей маленькой копией.

У меня в животе заурчало, по спине пробежал холодок. Я посмотрел на Гришку – его лицо было бледнее мела, а глаза блестели, как наполированная сталь. Было видно, что он боится высоты, но не показывает виду.

Мы поднялись довольно высоко. Совсем близко пролетали птицы, ветер трепал волосы. Снизу раскинулся удивительный пейзаж. Особенно поражало формами центральное здание выставки, которое на земле казалось круглым, а сверху представляло собой громадное кольцо, опоясывающее восьмигранник. Внутри восьмигранника, словно лепестки василька, раскинулись просторные дво-

ры, разукрашенные цветниками и разделённые ровными дорожками. Дорожки вели к круглому внутреннему двору, в центре которого был выстроен музыкальный павильон.

Я пересчитал здания, их оказалось больше семидесяти! Самых разных форм и архитектурных стилей, окружённые узорными клумбами, живописными прудами и фонтанами. На ярко-зелёной траве белели крыши шатров и веранд, а мелькающие между ними посетители сверху были больше похожи на букашек.

Территорию выставки пересекала окружная трамвайная линия, изгибающаяся, точно змея. По ней курсировали милые крошечные вагончики.

– Выставка насчитывает более двадцати отделов, а павильонов больше ста двадцати, – с гордостью пояснил губернатор.

– Здесь столько всего, что недели не хватит осмотреть, – заметил я.

– Точно, территория выставки превышает площадь Всемирной выставки в Париже 1889 года, а ещё она в три раза больше предыдущей, Московской 1882 года. Хотя застройка у нас довольно плотная.

Спустя двадцать минут мы спустились на землю, сели в автомобиль и вернулись во дворик. Губернатор заглушил мотор.

Я не удержался и попросил порулить:

– Папа научил меня управлять автомобилем, мы с ним не раз тренировались за городом.

Баранов уступил мне водительское сиденье.

Я завёл машину и уверенно тронулся с места, это было несложно. Но для того чтобы повернуть автомобиль влево или вправо, требовалась недюжинная сила, я поворачивал гладкий массивный рычаг двумя руками и даже вспотел от усилия.

Последний круг почёта посчастливилось сделать Гришке. Он, конечно, справился не так хорошо, как я, но для первого раза тоже сойдёт.

– Есть у меня заветная мечта, – сказал Баранов, когда мы вышли из автомобиля, – чтобы Нижний стал когда-нибудь столицей российских моторных экипажей! Пройдёт совсем немного времени, и моторный экипаж будет таким же

привычным средством передвижения, как лошадь. На нём будут ездить люди и возить грузы.

– Ваша мечта обязательно сбудется. И ста лет не пройдет, как в Нижнем Новгороде построят самый крупный автомобильный завод в России, – не удержался я.

– Как ты сказал? Автомобильный завод? – Губернатор заинтересованно приподнял брови.

– Автомобилями в моём времени называют моторные экипажи, – уточнил я.

– Ну, брат, сто лет – это не по мне. Я думаю, с твоей помощью мне понадобится лет пять, не больше. – Он мечтательно улыбнулся. – Если, конечно, я не потрачу всё своё время на прогулки с такими интересными собеседниками, как вы.

Губернатор достал из кармана внушительных размеров часы на цепочке и нахмурился:

– Друзья мои, мне пора, а вы развлекайтесь. Вот вам контрамарки на бесплатное посещение всех отделов и аттракционов, с ними вы везде будете желанными гостями.

Баранов обнял нас по-отцовски крепко и, отдав честь, скорым шагом направился к выходу.

Глава 25. Не прогнозы портят погоду...

Пока мы летали на воздушном шаре, выставка оживилась. Отовсюду доносилась музыка, звучал оркестр, то тут, то там попадались балалаечники, нищие дети, старательно выводящие нехитрые мелодии.

Открылись лавочки с сувенирами, в которых продавались самарские соломенные шляпы, цейлонский чай, миниатюрные датские домики, кавказские трости, крымские фрукты. Некоторые торговцы раздавали милые безделушки в качестве презентов. А Товарищество резиновой мануфактуры даже предлагало бесплатные калоши, от которых мы отказались, потому что небо было на удивление ясное, а дорожки сухие.

Зато мы прихватили «Извѣстія Всероссийской Промышленной и Художественной Выставки», по шутке на

каждого, потому как ежедневное издание выдавалось посетителям совершенно бесплатно и служило одновременно афишей, рекламным листком и путеводителем.

Культурная программа обещалась богатая: всевозможные лекции, две оперы, одна пьеса, несколько концертов. Меня заинтересовала опера «Русалка» с бенефисом Инсаровой, известной блестящим исполнением партии той самой кумы в «Чародейке». Оперу давали в Большом ярмарочном театре господина Фигнера в восемь часов вечера.

Гришку привлек синемаатограф Люмьера, который именовался в газете поражающе эффектным зрелищем, а коротко «магнитом сезона», и был представлен в театре «Концерт-Омон-Паризьен».

– Ух ты, синемаатограф! – восхищённо воскликнул Гришка. – Пойдём сегодня в восемь! Только билеты надо сейчас купить, а то к вечеру не будет.

То и другое планировалось в одно время, и я по горящим глазам Гришки понял, что попасть на оперу у меня нет никакого шанса.

– Хорошо, только через час заглянем на «общедоступный концерт» в центральном здании рядом с выставкой картин Врубеля, – спешно парировал я.

– Скука... – протянул Гришка. – Ну да ладно, тогда в три часа – на представление в цирк Никитиных.

– По рукам! – Я протянул ему руку, хотя не очень любил цирк. Последний раз я водил туда Дашку, пока мама была на дежурстве, – еле высидел целых два часа, но чего ради друга не сделаешь.

В ожидании концерта мы поглазели на морские купания в пруду в забавных костюмах, покатались в одном из павильонов на гондолах, отведали баварского кваса и английских блинов, похожих на венские вафли.

В павильоне художника Маковского мы мимоходом взглянули на картину «Воззвание Минина». Она огромная! Пожалуй, самая большая из всех, что я видел, – метров семь в высоту и чуть поменьше в ширину. На картине было изображено очень много народу. Мужчина в центре, судя по всему Минин, указывал на стоящий рядом храм. Действие происходило под стенами Нижегородского

кремля, но что конкретно было написано, я понять не смог. Жаль, нельзя было зауглеть.

Потом мы отстояли очередь, чтобы за гривенник посмотреть на даму с бородой. Борода была «сертифицированная» – дама предъявляла свидетельство с десятью печатями, подтверждающее, что борода не фальсификат.

На «общедоступный концерт» мы в итоге опоздали. Зал был почти пустой – из зрителей только мы и ещё один мужчина, сидевший в первом ряду. Госпожа Волжинская исполняла партию из оперы «Принцесса Грёза». Под лирико-драматическое сопрано в памяти всплыл образ бестелесной, парящей в воздухе принцессы, изображённой Врубелем на одноимённом панно, которое мы с Гришкой лицезрели несколько минут назад в соседнем павильоне. Когда стих последний аккорд, хор заплодировал, и мы с мужчиной тоже. Артисты, глядя на задремавшего Гришку, засмеялись, мне пришлось незаметно толкнуть его локтем.

После концерта мы прослушали лекцию господина Дубинского на тему «Основы предсказания погоды», из которой узнали, что в течение суток дождя не ожидается и наше решение не брать калоши было абсолютно верным.

Больше всего меня удивила заключительная часть лекции. Седой старичок спросил господина Дубинского, действительно ли необычайно дождливое лето вызвано развешанными повсюду электрическими проводами. Лектор, к моему полному удивлению, утвердительно махнул взъерошенной головой и лаконично ответил: «Безусловно!» Немногочисленная взбудораженная публика взялась громко высказывать негодование по этому поводу. Одна немолодая дама запричитала, что у неё от электрических проводов мигрени. А мужчина в пенсне заключил, что электричество – это бесовщина, которая убивает честных граждан. Дескать, он сам давеча читал в газете, что от электричества уже погибло три человека, а из-за огромного числа пострадавших стоимость приёма в Мартыновской больнице выросла до одного рубля пятнадцати копеек.

Гришка тоже было присоединился к дискуссии, но я поспешно вытолкнул его на улицу, пообещав лично прочитать ему лекцию о пользе и вреде электричества.

Для общего развития мы ознакомились с грозоотметчиком, прибором для обнаружения и регистрации возникающих молний, и микрографом – устройством по изготовлению сильно уменьшенных фотографий.

Надолго мы застряли в Военно-морском отделе, где облазили все орудия, оглядели стальные валы военных пароходов и настоящую миноноску, которую волокла к зданию целая команда в триста пятьдесят человек. Гришка особо впечатлился водолазным павильоном, а я – станцией голубиной почты, размещённой на крыше.

Потом мы зря потеряли уйму времени, отстояв длинную очередь к шатру с живыми фотографиями. Очень уж хотелось Гришке посмотреть зарисовку «Жемчужина гарема», но, как мы ни старались, преодолеть порог «восемнадцать плюс» нам не удалось. Да к тому же, пока мы стояли в очереди, у меня из кармана стащили два рубля мелочью.

Насмотревшись в цирке на наездников, жонглёров и эквилибристов, мы, уставшие, но довольные, прогуливались вдоль пруда. Гришка с детским восторгом пересказывал, как мадемуазель Маргарита ловко обходилась с четырьмя львами и как у него громко стучало сердце, когда она вложила хорошенькую головку прямо в пасть огромного зверя.

В этот момент гроыхнул гром, и на землю громко шлёпнулась тяжёлая капля. Следом ещё одна и ещё. Мы с хохотом побежали к стоящему рядом навесу.

– Кажись, лектор сглазил погожий денёк – не было ж ни одной тучки, – раздосадованно заметил Гришка. – Может, всё-таки стоило взять калоши, тем боле даром?

– Не прогнозы портят погоду, а погода прогнозы, – улыбнулся я и, посмотрев на часы, подскочил на месте: – Ого, уже половина пятого!

– Чего ты? До начала фильма в синематографе еще куча времени! Как раз успеем заглянуть в ресторацию, пересидим дождь. Никогда не был в настоящей ресторации. Смотри – московский ресторан «Эрмитаж Оливье», обеды в один рубль двадцать пять копеек, а если по полной – два рубля двадцать пять копеек. – Гришка мечтательно ткнул

пальцем в газету. – А потом заглянем в павильон колоколь-но-литейного завода, позвоним во все колокола, я это дело уважаю.

– Не могу, мне надо бежать, у меня встреча в пять. Да и Бусю пора забирать. – Я достал из рюкзака куртку. – Мне на Ильинку.

– А как же синематограф? Мы не пойдём в «Омон-Паризьен»? – Гришка скис.

– Если хочешь, пойдём со мной. Подождёшь меня часок, а потом рванём назад – как раз успеем к началу сеанса. – Я направился к трамвайчику, чтобы поскорее добраться до моста и поймать извозчика.

– Куда пойдём-то? – Гришка, согнувшись под напористыми каплями, последовал за мной.

– Расскажу по дороге.

Глава 26. К кому сердце лежит, туда и око бежит

На встречу я, как обычно, опоздал, да ещё и промок. Гришку оставил около храма, он спрятался под козырьком от дождя.

На мой рассказ о Гале он среагировал, как я и предполагал:

– Ну ты ухарь, Серёга, тебя в анбар по муку, а ты в баню по клюку. Послал тебя к городовому, а ты, мякиш молочный, к барышне рванул! Да ещё на купчиху позарился. Ты видел, какой у них дом?

– А при чём тут дом? Знаешь, какие у неё глаза? Гипнотические... А ямочки на щеках, волосы, походка...

– Ну всё, понесло коня в полымя. А знаешь, почему я из ремесленного вылетел? Дружился с богатеями – не такими, как она, попроще, но тоже с купцовыми сынками. Думал, надёжнее друзей нет, а они оказались предатели. Украли деньги казённые у зрителя, а мне под подушку пустой кошель подкинули. Вот и выперли меня с позором. Отцу пришлось деньги собирать, чтобы меня в каталажку не увезли. Так и рухнула моя мечта-идея. А самое скверное, батя до сих пор думает, что я вор.

– Гриш, а почему ты не рассказал всем, как дело было?

– Я и не знал сначала, кто мне это устроил. Встретил позже «дружков» на Покровке, они мне правду и поведали да ещё убогим голоштанником обозвали. А что слово босяка против купеческого? Да и толку махать после драки кулаками! С тех пор я с богатеями не дружусь.

– Гриш, она не такая, у неё сердце доброе. – Я похлопал Гришку по плечу. – А в училище тебя восстановят, сам губернатор вступится и расскажет всем, кто ты есть на самом деле.

– Иди давай, заждались тебя. – Гришка посмотрел через моё плечо на дом с балконом.

– Я быстро. – Обняв друга, быстрым шагом я направился к воротам.

Галя встретила меня сама: гуляла во дворе с Бусей.

Буся радостно бросилась в ноги. Я подхватил её на руки, прижался к ней носом. Даже не думал, что так соскучился. Буся вылизала, словно пустую миску, моё лицо и особенно нос.

– Здравствуй, прости, опять опоздал... – Я виновато посмотрел на Галю.

Её лицо расцвело улыбкой.

– Хорошо, что пришёл. Пойдём в дом, сушиться. Я уже истомилась вся от любопытства.

В комнате с пианино я рассказывал Гале о наших ночных приключениях, а сам представлял Гришку, мокрого и одинокого.

– А где сейчас твой друг? – неожиданно спросила она.

– Ждёт меня возле храма. – Я показал на окно, сквозь которое было видно, как скучающий Гришка ритмично пинает металлическую опору крыльца.

Галя взяла со столика колокольчик и позвонила. Перед нами, словно Сивка Бурка, появился Федька.

– Фёдор, сделай милость, сходи к храму, позови того молодого человека. – Галя вместе с Федькой подошла к окну.

Фёдор выскользнул из комнаты и через десять минут вернулся с Гришкой.

Тот нерешительно мял в руках картуз и, опустив лицо, подсвеченное разноцветным фингалом, сконфуженно

разглядывал свои грязные ботинки. Я первый раз видел его таким. От уверенного Гришки не осталось и следа.

– Серёжа, представь, пожалуйста, мне своего товарища, – прервала неловкую паузу Галя.

– Это мой друг, Григорий Скворода, самый честный и бесстрашный парень во всём Нижнем. А это Галина Николаевна.

– Очень приятно, можно просто Галя. – Она протянула Гришке руку и улыбнулась так, что глаза превратились в узенькие щёлки.

Чего это она так обрадовалась? Мне она так не улыбалась...

– Серёжа о вас так много рассказывал, вы – настоящий герой. А глаз вам бандиты в схватке повредили? – Галя смотрела на Гришку немигающим взглядом.

Гришка сразу как-то воспрянул духом и уверенно протянул Гале чумазую пятерню. Они так и стояли посреди комнаты, не расцепляя ладоней. Не говоря ни слова.

Меня она героем не называла... Может, не стоило Гришке устраивать такую рекламную акцию? И чего он дёргает её руку, уже давно пора отпустить.

– Нам нужно заниматься. – Я решительно выступил вперёд. – А Гришка пока пусть посидит с Бусей.

Гришка наконец оторвался от Гали и осмотрелся по сторонам. Галя предложила ему присесть на кушетку и распорядилась принести чаю. Буся послушно улеглась рядом с ним.

Мы приступили к занятиям. Начали с простых упражнений и постановки руки. Галя внимательно слушала и прилежно выполняла всё, что я просил. Но атмосфера в комнате была напряжённой.

Гришке явно было неловко пить чай в одиночестве – он всё время гремел посудой и громко прихлёбывал, чем постоянно отвлекал мою ученицу. Она время от времени бросала в его сторону любопытные взгляды и улыбалась.

– Соberись, не дави так на подбородник, легче, ровнее, – подсказывал я в надежде, что она наконец отвлечётся от Гришки. – Смотри, этот приём называется

флажолет, касаемся струн без нажима. – Я легко провёл смычком по струнам. – А если двигать вот так, будут штрихи.

Галя наконец-то переключилась, и мы на некоторое время забыли о существовании Гришки, что меня несказанно радовало. Я и не заметил, как пролетел час.

– Серёжа, на сегодня достаточно, я устала. – Галя отложила скрипку. – Да и мама скоро вернётся.

Мы повернулись к Гришке и засмеялись. Он заснул с запрокинутой назад головой и открытым ртом. Буся растянулась рядом, вверх розовым пузом.

От нашего смеха Гришка вздрогнул и громко захлопнул рот, Буся нервно дёрнула висящими в воздухе лапами.

Гришка похлопал широко распахнутыми глазами и пробурчал слегка осипшим голосом:

– Кажется, я что-то пропустил... Мы что, опоздали в синемаграф?

– Нет, но нам действительно пора идти. – Я медленно сложил скрипку в футляр и неторопливо натянул куртку.

Прощаться не хотелось, хотелось остаться наедине с ней и рассказать ей всё о себе. А что если эта встреча последняя? Может, завтра я окажусь дома и больше никогда не увижу её. «Никогда» – ужасное слово, как билет в один конец. Вошёл в поезд, дверь закрылась за твоей спиной, и всё... Назад пути нет, все дороги рассыпались, разлетелись на мелкие цифровые квадратики.

Может, хотя бы сказать ей, что я чувствую? А что именно? Признаться в любви? Ну уж нет, я ж не слюняй какой-нибудь. Ещё чушь какую-нибудь сморожу. И покраснею, как последний идиот. Хотя порепетировать стоит. Когда-нибудь пригодится...

– До завтра, приходи к двум. – Галя протянула мне руку. Я ответил лёгким рукопожатием.

– Дамам принято целовать руку. – Она рассмеялась как-то натянуто, отчего я немного сконфузился.

– Рада была познакомиться, – с улыбкой сказала она Гришке, но руки не подала.

– До свидания, – торопливо бросил он через плечо и, не глядя на неё, перешагнул через порог.

Я взял на руки Бусю и напоследок посмотрел Гале в глаза. Её затуманенный оливковый взгляд был устремлён мимо, зрачки расширены, она, не отрываясь смотрела на Гришку.

– Прощай... – глухо выдохнул я и вышел во двор.

Глава 27. Мужчина в семье

До выставки мы добирались молча. Молча дошли до Покровки, молча сели в трамвай, молча вышли на конечной. Через мост пошли пешком – Гришка впереди, противно позвякивая монетами в кармане, я следом. Буся медленно ковыляла за нами, мне приходилось её окликать.

– Ты ей сказал? – вдруг спросил Гришка.

– Кому? – переспросил я и пнул невидимый камушек.

– Гале! – Гришка замедлил ход.

– Что сказал?

– Что ты из будущего. И что скоро вернёшься назад. – Гришкин голос дрогнул.

– А если не вернусь? – Я неловко споткнулся о доску и наткнулся на Гришку.

Буся громко залаяла. Мы не обратили на неё внимания.

– Ты что, передумал? – спросил Гришка и поравнялся со мной.

– А тебе очень хочется, чтобы я побыстрее смылся? – проворчал я, глядя вниз.

– Ты что, белены объелся? Я ж просто спросил. – Он остановился и посмотрел на меня в упор.

– Захочу и останусь, – сказал я как отрезал.

Гришка как-то подозрительно обрадовался:

– Ну и правильно, мы с тобой заживём – отучимся, дело своё заведём. С такими способностями, как у тебя, о-го-го как устроиться можно! – Он даже припрыгнул.

– Гриш, а ты и правда хочешь, чтобы я остался? – Я взял на руки вертевшуюся под ногами Бусю.

– Ну да... – Друг удивлённо приподнял брови.

– И тебе совсем Галя не понравилась? – спросил я как можно твёрже.

– Да ничего так, смазливая... Только уж очень манерная. Но ты ей вроде нравишься.

– Правда? А с чего ты так решил? – Я даже улыбнулся.
– Ну, она на тебя так смотрит, прямо как на ячменный леденец.

– Ячменный леденец... – Я рассмеялся.

– Ты с ней того, поостроже. Бабы – они это любят, мне брат рассказывал, он в этом деле толк знает. – Гришка многозначительно поднял вверх указательный палец.

– «Бабы» – фу как ты выражаешься. Женщины – они ушами любят. Это все знают. И отец тоже так считал. Знаешь, как его мама любила, – он прямо засыпал её комплиментами.

– Чего ещё за плименты такие? – Гришка почесал затылок.

– Слова хорошие. Ну, например, «красавица», «умница», «зайчонок».

– Зайчонок, ха! Эх, Серёга, леденцовая душа... – Гришка покачал головой, как умудрённый жизнью старик.

Я ему задорно подмигнул.

За разговорами мы не заметили, как дошли до «Омон-Паризьен».

У входа толпился народ. Впускали по одному.

– Куда будем Бусю девать? – спросил Гришка.

– За пазуху спрячу.

Я засунул Бусю под куртку и доверху застегнул молнию. Тётка на входе ничего не заметила. С трудом протолкнувшись в небольшой зал с белым тканевым экраном, мы разместились в седьмом ряду.

К началу сеанса все места были заняты. Погас свет. В качестве музыкального сопровождения я ожидал услышать фортепиано – именно так в фильмах изображалось немое кино. Но, к моему удивлению, сеанс проходил без музыки. Показывали небольшие чёрно-белые короткометражки: «Прибытие поезда», «Политый поливальщик» и «Выход с завода». На мой взгляд, ничего особенного. Но публика реагировала очень эмоционально, в зале стоял гул. Народ пытался уворачиваться от трогающегося с перрона паровоза; смеялся до колик над тем, как мальчишка поливает садовника, наступив на шланг; с интересом разглядывал женщин, выходящих с фабрики дружной толпой. Гришка тоже был в полном восторге – он ёрзал на месте, подпрыгивал, иногда выкрикивал

что-нибудь с места, чем подзадоривал Бусю, которая в ответ начинала твякать и привлекала внимание посетителей.

Я смотрел вокруг и хихикал над Гришкой, как вдруг вспомнил, что обещал сводить Дашку в кино на выходных. Хотели посмотреть вторую часть «Холодного сердца». Очень уж ей снеговик в первой части понравился. Последние события настолько захватили меня, что я совсем забыл про родных.

Как там сестрёнка без меня? Скучает? Я тут развлекаюсь, а она трёт раскисший нос и нервно тербит розового зайца с полосатыми ушами. И мама, наверное, плачет каждый вечер... Я представил её потерянные глаза, смотрящие сквозь залитое дождём стекло. В горле застрял ком.

Вокруг все хохотали, а я смахнул кулаком накатившие слёзы.

– Знаешь, я решил завтра вернуться домой. Пойду на Покровку и съем яблоко, – сказал я Гришке, когда мы вышли. – Ты уж на меня не сердись, не могу я маму с Дашкой бросить: я у них единственный мужчина в семье.

– Решился всё-таки? – Гришка поднял на меня глаза. – Жаль, я буду скучать.

– Я тоже. У меня ведь, кроме тебя, нет друзей, даже там, в будущем.

– А ты заведи, когда вернёшься. Только среди богачей не ищи, присмотришь к тем, кто попроще. Если человек в жизни лиха хлебнул, у него сердце отзывчивее.

Я улыбнулся. Хорошо Гришке – он всегда знает, что делать, и не бывает у него сомнений.

– Я попробую. Только такого друга, как ты, мне точно не найти. – Я обнял Гришку за шею.

– А то! – Он довольно хмыкнул, спрятав от меня мокрые глаза.

Мы нашли Гришке извозчика и попрощались, условившись встретиться завтра на Покровке.

Глава 28. На рассвете

Я заночевал в Главном доме. Проснулся очень рано и, попортив стопку чистых листов, всё-таки написал прощальное письмо Галине Николаевне.

После завтрака мы с Барановым отправились в кабинет и долго беседовали. Я рассказывал про Нижний, про то, каким он стал. Про сотовые телефоны, самолёты и телевизоры. Баранов слушал как зачарованный. Потом не удержался и спросил:

– Скажи мне, Серёжа, помнят ли генерал-губернатора Баранова потомки? – Он смотрел на меня цепким, внимательным взглядом.

– Конечно, о вас помнят, – ответил я не сразу. – Вы один из самых популярных губернаторов Нижнего.

– Популярный... – эхом отозвался Баранов и, почувствовав моё замешательство, раздосадованно отвёл глаза.

– Я читал о вас в Википедии – это такой справочник, в который может заглянуть каждый, – там про вас столько всего написано! И народ вас любит, иначе не дали бы вам такое прозвище – Орёл.

– Как, говоришь, меня прозвали? – Глаза Баранова снова засветились.

– Орлом! Я сам слышал!

Губернатор довольно хмыкнул.

– Ладно, ладно, что мы всё обо мне и обо мне – расскажи-ка лучше, друг мой, какие у тебя планы.

Я собрался с духом и сказал о своём решении сегодня вернуться домой.

Николай Михайлович грустно потеревил бороду.

– Решение не мальчика, но мужа. Ну что ж, надо так надо. Будет возможность – навещай старика. – Он подошёл к книжной полке и достал увесистую книжку в потёртой обложке. – Это мой тебе подарок, на память, – и протянул мне книгу.

– Ух ты, «Дон Кихот»! Давно хотел почитать. – Я стал аккуратно перелистывать страницы.

– Обязательно прочти. Последним эту книгу держал в руках твой отец. Мы любили её обсуждать за чашкой чая. Удивительные это были беседы... – Баранов рассеянно похлопал себя по карманам и достал пенсне.

– Спасибо вам за всё. – Я вытер кулаком нос и спрятал книгу в рюкзак. – Мне пора идти.

Мы крепко обнялись. Что-то нужно было сказать напоследок. Но что? «Прощайте» или «до свидания»? Слова казались какими-то мелкими, не вмещающими в себя то, что хотелось выразить.

Николай Михайлович, не глядя на меня, сел за стол, подвинул ближе кипу бумаг, деловито приладил на нос пенсне. Я повернулся и молча направился к двери. Никак не решался переступить порог и обернулся.

Баранов опустил подбородок и посмотрел на меня поверх очков. Его глаза были полны слёз.

– Ступай, Серёжа, с Богом! – выдохнул он устало. – И помни: темнее всего перед рассветом.

– Прощайте. – Я проглотил комок в горле и, не оборачиваясь, закрыл за собой дверь.

Глава 29. Ещё одна фотография

Я прокатился на трамвае. Пришёл раньше Гришки и слонялся без дела на пересечении Осыпной и Большой Покровской.

Буся не знала, чем себя занять. Её внимание привлёк мужчина, крутившийся возле огромного фотоаппарата на деревянной треноге. Она бросилась к нему со звонким лаем.

– Буся, фу! Не мешай, не видишь – человек работает!

– Мальчик, это твоя собака? – улыбаясь из-под пышных усов, спросил фотограф.

– Моя. Не бойтесь, она не кусается.

– А я и не боюсь. – Глаза фотографа тоже улыбались. – Хочу её сфотографировать, если ты не против.

– Не против, фотографируйте! – Я громко скомандовал: – Буся, сидеть!

Буся от испуга подскочила на задних лапах. Фотограф успел нырнуть под чёрное покрывало и «выпустить птичку».

– Хороший получится кадр! А ты не хочешь попозировать вместе с ней? – спросил фотограф.

– Я не очень люблю фотографироваться...

– А я люблю! – радостно возвестил неожиданно появившийся Гришка. – Давай сделаем снимок на память, вместе с Бусей.

Гришка присел на корточки и потрепал Бусю. Фотограф сделал ещё один снимок.

– А можно нас снять вдвоём вместе с собакой? – обратился Гришка к фотографу.

– Отчего же не сфотографировать? Если сможете занести фотокамеру в студию, сделаю несколько снимков. Здесь уже слишком много солнца. – Фотограф подошёл к нам и протянул Гришке руку. – Максим Петрович, к вашим услугам.

Мы с Гришкой по очереди пожали руку новому знакомому и представились.

Тащить фотоаппарат пришлось недалеко – второй дом справа по Осыпной. Я узнал это здание, в моём времени там располагается музей фотографии. Я туда столько раз собирался, да так и не ходил.

Мы помогли поднять камеру на второй этаж по крутой лестнице с резными металлическими ступеньками. Фотоаппарат смахивал на огромную гармошку с растягивающимися мехами, к деревянному боку которой был приделан металлическими клёпками плоский объектив, напоминающий железный глаз.

В студии оказалось очень светло: на Осыпную выходило два больших окна размером от пола до потолка. Мы с Гришкой разместились у завешенной тёмным полотном стены напротив. Я сел на стул, Бусю посадил на колени. Гришка встал рядом.

Фотограф настроил аппарат, кистью смахнул с объектива пыль, вставил большую пластину, забрался под покрывало и сделал несколько снимков.

– А для чего нужно это покрывало? – поинтересовался я у Максима Петровича, когда он освободился.

– Покрывало сделано из чёрного ластика, при наведении на фокус оно защищает матовое стекло от света, чтобы изображение получилось чётким.

– Ого, покрывало сделано из резины? – удивился я.

– Почему ты так решил? – спросил фотограф.

– Ну, вы же сказали – из ластика.

– Ластик – это такая хлопчатобумажная ткань, её обычно на подкладку употребляют, – пояснил Максим Петрович и откинул назад пышный кучерявый чуб.

– А когда будут готовы фотографии? – встрял в разговор Гришка.

– Приходите завтра, забрать можно будет у моей помощницы внизу.

– Эх, жаль, ты не успеешь! – вздохнул Гришка.

– Заскочу в другой раз. – Я пожал плечами и грустно улыбнулся.

Фотограф закрыл объектив и проводил нас вниз по лестнице. Гришка оформлял заказ у помощницы, а я осматривал развешанные на стенах портреты.

Меня привлекла фотография одной молодой пары. Лицо мужчины было очень смутно знакомо, а вот женщину я узнал совершенно точно. Такую причёску вряд ли забудешь: чёрные кудряшки, уложенные в большой полумесяц, прикрытые по бокам белыми кружевными салфетками.

– Я её видел – иностранка, она мне денег дала и ещё плакала, когда я играл партию из Евгения Онегина. – Я повернулся к фотографу: – Вы её знаете?

Тот прищурился:

– Как же, как же, такую не забудешь. Это Иоле Торнаги, итальянская балерина, а темпераментный молодой человек рядом с ней – Фёдор Шаляпин, подающий надежды оперный певец. М-да, прекрасная пара! Она смотрела на него с обожанием и называла «Иль-бассо». – Фотограф мечтательно вздохнул. – *C'est l'amour**, дети мои.

Я вынул из рюкзака платок с инициалами, оставленный иностранкой, прочитал: «I. T.»

– Иоле Торнаги, инициалы совпадают. – Показал платок Гришке. – Точно она! Вернусь домой – загуглю, что за итальянка.

Мы попрощались с фотографом и вышли на улицу.

Глава 30. Шишкин корень

Я взглянул на часы.

– Полдень, у нас ещё куча времени. Чем займёмся? – спросил Гришку.

* Это любовь (франц.).

– Айда на элеваторе кататься! А то сбежишь и не попробуешь!

– Точно! Как это я про него забыл?

Я свистнул Бусю, и мы рванули в сторону кремля.

Сразу за поворотом вместо обожаемого нижегородцами фонтана виднелся невысокий купол церкви, а перед ним – узкая колокольня со шпилем. Дальше, на месте памятника Минину, ещё один храм – белый, пятикупольный, с фресками на фасаде и бархатно-изразцовою каймой. Вокруг храмов расположились ухоженные скверы. Я даже не сразу понял, что мы на площади Минина и Пожарского, так она изменилась.

Гришка называл площадь Верхнебазарной, но у неё имелось другое, правильное название – Благовещенская, в честь пятикупольного храма. Церковь поменьше именовалась Алексеевской. Как выяснилось, фонтан здесь всё-таки был, и располагался он за Благовещенским храмом, ближе к стенам кремля, на месте проезжей части современной площади.

Мы нырнули в арку Дмитровской башни и оказались во внутреннем дворе кремля. Здесь тоже всё было иначе: справа от Дмитровской башни выглядывали купола ещё одного собора. Уточнять его название я не стал, потому как количество церквей на один квадратный метр в Нижнем просто зашкаливало.

Мы дошли до Часовой башни и на верхней станции купили за пять копеек билет в первый класс. Вагончик оказался совсем небольшим, с перегородкой между первым и вторым классом, и имел не больше пятнадцати посадочных мест.

Часть маршрута пролегла в подземном тоннеле. Всё путешествие длилось полторы минуты. Нижняя станция располагалась между церковью Иоанна Предтечи и Бугровским ночлежным домом.

Назад мы не поехали – высадились из вагончика и, поднявшись на холм, неспешно пошли вдоль стен. Не дойдя до Коромысловой башни, улеглись в траву. Отсюда открывался удивительный вид. Почти такой же, как в моём времени. Только сейчас на реке теснилось множество судов,

а внизу по Зеленскому съезду неторопливо плыли повозки, запряжённые игрушечными лошадками.

– Это моё любимое место в Нижнем: здесь высоко и тихо, ты замираешь и будто паришь. Я прихожу сюда, когда мне грустно. – Я показал пальцем вдаль. – Видишь, там Стрелка, сливаются Ока и Волга.

Гришка утвердительно кивнул и тихо выдохнул:

– И я всегда прихожу сюда, когда мне тоскливо. Ока и Волга... Смотри – полоса там, где они сливаются: вроде вместе, но всё ещё порознь. Бежали себе, бежали, не ведая друг друга, – и надо же было им вдруг соединиться, чтобы одна исчезла навсегда.

Я вздохнул, посмотрел на небо. По голубой железной глади плыли разнокалиберные белоснежные слоны, заслоняющие своими длинными ненасытными хоботами солнечный диск. Трава волновалась и перешёптывалась, удивляясь их слоновьей жадности.

– Гриш, скажи, а что ты видишь на небе?

Гришка сорвал ковыль и сунул поседевший стебелёк в рот.

– Вон там? Дак это ж корабли, с длинными палубами и раздутыми парусами, их качает на волнах. А на самом большом – вон там, видишь? – русалка. Её волосы развеваются на ветру. – Гришка вынул стебелёк и ткнул им в небо.

– Да нет, это же слоны – вон, видишь, толпятся и тянутся хоботами к солнцу. – Я тоже отломил торчащую из земли соломинку.

– Слоны? А чего они такие худые и длинные? Нет, это корабли... И плывут они вон в тот волшебный город – видишь высокие крыши храма?

Буся посмотрела на небо, потом на нас с Гришкой, озадаченно подняла уши.

– Храм вижу... С большой колокольней, – согласился я, – розовый и с золотыми куполами.

– То-то, а то слоны, слоны... – Гришка, потягиваясь, перевернулся на живот.

– Гриш, у меня к тебе просьба: отнеси Гале письмо, я попрощаться не успел, нехорошо вышло. – Я сел, достал из рюкзака свёрнутый листок и сунул Гришке.

– Сделаю. – Он махнул головой.

– Только сам не читай, там личное! – Я с опаской взглянул на друга.

– Обижаеть!.. Чай, не валенок, сам дотумкал!

– Да я так, на всякий случай... – Я стряхнул со штанов жухлую траву. – Я буду по тебе скучать, шишкин корень.

Гришка улыбнулся, сел.

– Может, скажешь, что это за штуковина такая?

– Какая штуковина?

– Ну, корень этот, шишкин? – Гришка почесал голову под картузом.

– А! Шишкин корень – так всегда отец говорил. А до отца – дед. Он так ругался, когда что-то у него не вышло. Я спросил его однажды, что это значит. Он ответил, что самое сильное дерево на свете – сосна. Она настоящий великан, способный прожить почти тысячу лет. Сосна живёт по своим законам – может зацепиться корнем за голые камни на краю пропасти и выжить. Не зря её название на латыни означает «скала». А сила эта волшебная, сосновая, спрятана в маленьком зёрнышке, которое скрыто в шишке. Потому наш шишкинский корень крепче всех самых ядрёных корней. Не выдернуть его никакими силами!

Я спросил тогда деда: а что будет, если шишку съест белка? Чем поможет ей эта сила? Ну, или, например, упадёт шишка в глубокую реку и сгниёт, не взойдёт тогда ни одно зёрнышко. Дед нахмурился и ответил, что здесь главное – верить, тогда точно прорастёт твоё зёрнышко.

– Правильно говорил твой дед, главное – верить. Меня мать тоже так всегда учит. Ты, говорит, Гриша, главное – верь. А я и верю...

Мы не сговариваясь встали. Молча дошли до Покровской церкви. Я достал из рюкзака аккуратный свёрток – Гришкины вещи.

– Вот, возвращаю в целостности и сохранности. Всё, кроме ботинок. – Я посмотрел вниз, на отполированные мной с утра Гришкины башмаки.

– Крепкие, послужат ещё, я подошву сам простегал, – гордо сказал Гришка.

– Ну, тогда мне их точно не сносить. – Я улыбнулся и посмотрел на часы.

Тринадцать двадцать девять. Пора...

Мы крепко обнялись.

Я встал на то самое место, где очнулся после падения, взял на руки Бусю, достал из рюкзака яблоко. Подождал, когда на циферблате появятся нужные цифры.

Тринадцать тридцать один. Зажмурился и откусил. Прожевал. Проглотил.

Открыл глаза.

Глава 31. Ва

Гришка стоял напротив и смотрел на меня в упор.

Я откусил ещё и ещё, съел всё яблоко до последней косточки. Ничего не произошло.

Посмотрел на часы. Экран был тёмный. Шишкин корень, ещё и батарейка села!

Я со слезами поплёлся к забору, опустил скулящую Бусю и, обняв футляр со скрипкой, сел на корточки.

«Как же так? Что мне теперь делать?» Я сжимал футляр, пока не почувствовал жгучую боль в ладонях.

– Серёга, не реви, всё у тебя получится. Не сейчас, так завтра. Главное – верить. Ты же сам сказал. Отец же твой вернулся как-то?

Я вытер рукавом мокрое лицо. Достал из-за пазухи фотографию, посмотрел на отца.

Действительно, отец вернулся в своё время, мы с мамой даже не заметили его отсутствия. Значит, и у меня получится, не стоит расклеиваться. «Темнее всего перед рассветом». От этой мысли как-то сразу стало легче.

– Ты лучше собери вещи да беги к своей Галине Николаевне, а то опять опоздаешь. – Гришка поднял с мостовой футляр и подал мне. – Тебе на два было назначено.

– А ты? – Я с благодарностью посмотрел на друга.

– А мне домой надо, я матери обещался помочь. Увидимся вечером в шесть на Покровке у театра.

– Спасибо тебе, Гриш. – Я улыбнулся и крепко пожал ему руку.

Он двинул мне по плечу:

– Да смотри там, не раскисай, как ячменный леденец.

– Постараюсь, но не обещаю... – Я задорно подмигнул Гришке.

Он, весело посвистывая, зашагал в сторону Малой Покровской. Я долго смотрел на быстро удаляющуюся нескгибаемую спину, пока она не скрылась за поворотом. Потом свистнул Бусю и рванул в противоположном направлении, к Дворянской.

На лету я зацепился взглядом за милую старушку в козыночке и притормозил. Она торговала яблоками на углу. На небольшом деревянном столике рядом с яблоками красовались расписной фарфоровый чайник и такая же чашка. Бабуся смешно прихлёбывала из чашки, вытянув губы трубочкой и оттопырив мизинец. Я пригляделся. Да это же та сама бабуся с яблоками, которая треснула меня ридикульем по спине! Только без очков и в косынке. Я на всей скорости подлетел к ней.

– Здравствуйте, бабушка!

– Чего тебе, милоч? Яблочек? Антоновки или лучше рает? – Бабуся отставила в сторону чашку.

– Вы меня не узнаёте, что ли? Я мальчик, который чуть вас не снёс там, в арке, за мной ещё хулиганы гнались, помните?

Бабуся вытащила из-под стола тот самый ридикуль, достала из него те самые «раскосые» очки, нацепила их на нос и прищурилась:

– Точно ты, – удивилась она. – Всё носишься как оглашенный? Яблочко хочешь?

– Спасибо, ел я уже ваше яблочко, и ничего! Не работало! Скажите лучше, как мне домой попасть.

– Ты, милоч, адрес, что ли, забыл? Дак я не справочное бюро, не знаю, где твой дом.

– Да нет, адрес я помню – не знаю, как в моё время вернуться.

– Так бы и сказал. Это можно. – Старушка достала из ридикуля карманные часы с золотой цепочкой, откинула крышку, приблизила морщинистый нос к циферблату. – Как раз через десять минут портал откроется. Если постараться – успеешь.

- А где этот портал? На Покровке возле церкви?
- Нет, милоч! В арке портал в прошлое, а в будущее остановка с другой стороны временного шоссе.
- А далеко до него? – Я заволновался.
- Да нет, рукой подать, на Ильинке. – Бабуся снова прихлебнула чай.
- «Если на Ильинке, может, я успею к Гале заглянуть?»
- Скажите, а когда он закроется?
- Кто, милоч?
- Ну, портал этот.
- Минут через тринадцать. – Бабуся аккуратно сложила часы в ридикюль.
- Всего тринадцать? А по каким дням он работает, этот портал?
- Это ж не метро, милай! Расписаниев здесь нету. Может, через месяц, а может, через год! – Бабулька покачала головой. – Дак тебя проводить али как?
- Проводить! – сказал я твёрдо.
- Бабуся открыла ридикюль, закинула в него чайник и чашку, следом деревянный столик, стул и сумку-тележку с яблоками. Я уже испугался, что она и сама туда заберётся. Но защёлки на ридикюле захлопнулись, а бабулька осталась.
- Вместительная штука, мне бы такую!
- Иди ко мне, милай! – Бабуся взяла меня за руку.
- Я не успел моргнуть глазом, как мы очутились на Ильинке возле Галиного дома. Скрипка и рюкзак со мной, а Буси нет.
- А где моя собака? – спросил я у старушки.
- Дак ты ж вроде без собаки был? – Она развела в стороны узловатые ладони.
- Когда с вами столкнулся, был без собаки, а сейчас на Покровке со мной был щенок чёрненький. Моя Буся.
- Эта лохматая бестия? – Старушка махнула головой.
- Буся сидела за моей спиной и озадаченно хлопала глазами.
- Она самая, спасибо! А можно я её с собой возьму?
- Не положено, милай! В прошлое попасть можно, дело бывалое. Вернуть из прошлого тех, кто туда попал, тоже не проблема. А вот в будущее живых существ запрещено отправлять.
- Почему?

– Потому как – не положено! А ну как цепочка генетическая нарушится?

– Какая такая цепочка?

– Мал ещё, вырастешь – узнаешь. – Бабулька сердито тряхнула головой. – Ну что, идёшь али как?

– Только с Бусей, один я не пойду! – Я посмотрел на старушку исподлобья.

– А ты, как я погляжу, поперечный! – Она прищурилась. – Пускай будет по-твоему. Бери свою чернявку, только учти: за побочные действия я ответственности не несу, претензий не принимаю.

– Идёт! – Я схватил Бусю в охапку.

– Только как ты с ней полезешь на тот балкон? – Бабуся показала пальцем на дом Рябининых.

– А зачем мне на тот балкон? – Я осторожно повернул голову к Галиному дому.

– Как зачем? Там портал, по-другому никак. – Бабулька развязала косынку и спрятала её в ридикюль.

– А хозяева знают, что у них там портал?

– Типун тебе на язык! Зачем им знать-то? И так в прошлый раз застучали, даже чайку не успела выпить, – расшумелись, разгалделись, всё ва распугали.

– Какое такое «ва»? – удивился я.

– Моё, внутреннее... Перед тем как пройти в портал, нужно сосредоточиться на том, что ты сейчас хочешь и к чему стремишься, обмозговать хорошенько, а то куда-нибудь не туда занесёт. Как ва поймаетшь, так повернись вокруг себя через левое плечо.

– И всё?

– Хм, «и всё»! Люди к этому годами идут! – Старушка неодобрительно покачала головой.

– А я тогда как проскочил? Я ж не ловил никакого ва.

– Да ты искрился весь, как электромагнитная катушка, индекс реактивного сопротивления аж зашкаливал!

– Какой-какой индекс?

– Неважно. Заряжен ты был отрицательной энергией, вот и бабахнуло! Подумай хорошенько, на чём в тот момент сосредоточился? Вдругорядь желай осторожнее, с оглядкой. Если на самом деле в своё время вернуться

хочешь, то получится. А ежели лукавишь – за последствия я не ручаюсь, усёк?

– А если не выйдет и занесёт меня куда-нибудь не туда, как я вас найду?

– Зачем меня искать? Себя найди. Как найдёшь – так всё и встанет на свои места.

Я почесал затылок. Что получается? Совсем не факт, что я вернусь назад, а вот что меня занесёт куда-нибудь ещё – очень даже вероятно. Может, ну его, это перемещение, – здесь у меня уже жизнь как-то наладилась... Под ложечкой засосало. В животе закрутило.

Когда страшно, страх нужно преодолевать действием. Отец меня так учил. Он вернулся, значит, и у меня получится.

– Я готов! – У меня даже плечи расправились.

– Ну, коли готов – лезь на балкон. – Бабуся ехидно хихикнула.

– А зачем лезть? Вы ж меня враз можете переместить.

– Вот молодёжь пошла, ничего сами делать не хотят! Лезь, кому говорят, али всю жизнь со мной за ручку ходить будешь? Видишь липу раздвоенную? По ней и лезь.

– А если меня хозяева застукают? – Я повернулся к старушке, а её и след простыл.

Вот так дела... Я посмотрел на часы – экран по-прежнему тёмный. Времени осталось минут пять, не больше. Медлить нельзя.

Я засунул Бусю в рюкзак, прицепил к нему футляр со скрипкой и полез на балкон. Пока лез, зацепился взглядом за маскарон. И тут меня осенило, где я видел этот волевой подбородок: это ж моя бабуся!

Маскарон мне лукаво подмигнул. Может, показалось?

Буся тревожно заскулила.

– Не дрейфь, Буся, прорвёмся, где наша не пропадала! Приведу тебя домой, с мамой познакомлю, накормлю лучшим собачьим кормом. А Дашка знаешь, как обрадуется? И на ошейнике обещаю не водить, только на шлейке! Я же уважаю права животных...

Минуты три, не меньше, я потратил на подъём. На физре с канатом у меня всегда были проблемы: руки скрипача слабо приспособлены к работе примата.

Я перепрыгнул через витую решётку и очутился на балконе. Не смог справиться с любопытством и осторожно заглянул в окно.

Галина Николаевна разговаривала с мамой, но слов было не разобрать. Галино лицо было в слезах. Мама смотрела на неё с нежностью, лёгким движением руки заправляла за уши прилипшие к мокрым щекам дочери прядки.

Галя подняла глаза мне навстречу. Я спрятался. Прижался спиной к оштукатуренной стене и подумал о том, куда хочу попасть. Вдохнул глубоко, зажмурился и приступил к повороту через левое плечо. Обернувшись на триста шестьдесят градусов, вдруг услышал совсем близко Галин голос:

– Серёжа, а ты что здесь делаешь?

Глава 32. Мама-а-а, о-о-о!

Я почувствовал на щеках горячее дыхание и открыл глаза.

Крош... Его лицо было совсем близко, мне даже пришлось скосить глаза, чтобы сфокусировать взгляд.

– Ну что, скрипач, допрыгался? – Крош протянул мне руку. – А я уж думал, ты того, откинулся!

Под аркой эхом разлетелся идиотский хохот крошевских дружков.

Я подал руку. Крош схватился за неё своей железной лапой и подтянул меня вверх. Я встал, голова немного кружилась, локоть саднило.

– А ты везунчик, скрипач! Так бабахнулся – и живёхонек.

– Чего это ты такой заботливый? Пару минут назад вроде прикончить меня хотел? – Я с вызовом посмотрел на Кроша.

– А я лежачих не бью. Тем более тех, которые в отключке. – Он ухмыльнулся.

– Ух ты, а у тебя, оказывается, даже кодекс чести имеется? – съязвил я и оглянулся по сторонам.

Буси нигде не было.

– А ты, как я посмотрю, крепко башкой шарахнулся, совсем страх потерял, – ответил Крош и сжал левую руку в кулак.

– Левша, что ли? Редкий вид, вымирающий...

Крош размахнулся и направил железный кулак в мою сторону. Я присел, кулак тяжело просвистел прямо над головой.

– Ты чё, скрипач, бредишь? Какой такой редкий вид? – Ноздри Кроша раздулись, но наступать он почему-то передумал – сделал шаг назад и остановился.

– У меня сестра тоже левша. Я читал, что количество левшей в мире сокращается. В каменном веке их было пятьдесят процентов, в бронзовом – двадцать пять, а сейчас – всего пять процентов от общего числа живущих на Земле. Вот я и говорю – вымирающий вид, вас, левшей, беречь надо. Между прочим, доказано, что левши обладают исключительными музыкальными способностями и у них абсолютный слух. А ещё из них первоклассные боксёры получаются.

Крош отступил ещё на шаг. Вот что значит задавить интеллектом! Я расправил плечи.

– А это ещё что за чудовище? – растерянно произнёс Крош и посмотрел через моё плечо.

Я обернулся. Прямо за моей спиной стоял огромный пёс и скалил зубастую пасть. Чёрный и кучерявый, с совершенно заросшей безглазой бородатой мордой и лапами, похожими на ходули.

– Буся? – Я даже присел от неожиданности. – Вот тебе и побочное действие.

Пёс, выбрасывая вперёд мохнатые лапы, напоминающие брюки клёш, подлетел ко мне и завилял загогулистым хвостом.

– Твоя, что ли? – Крош на всякий случай сделал ещё шаг назад.

– Моя, – ответил я обалдело.

Пёс подпрыгнул и, положив тяжёлые лапы мне на плечи, одним махом облизал моё лицо.

– А ты что, боксом интересуешься? – спросил Крош как-то совсем миролюбиво.

– Раньше, когда отец жив был, интересовался. Мой любимый боксёр – Пернелл Уитакер. Слышал про такого? По прозвищу Душистый Горошек. Самый крутой левша в истории бокса. Любитель, между прочим.

– Не-а, не слышал. Хотя боксом занимался раньше... Теперь забросил. – Глаза Кроша заинтересованно блеснули.

– Ну и зря! Из тебя бы классный боец получился, если реакцию потренировать. – Я потрепал Бусю по холке.

– А что за псина? Первый раз такую вижу. – Крош почесал затылок.

– Сам толком не знаю, русский чёрный терьер, наверное, по-другому – собака Сталина.

– По ней и видно – сожрёт и не поперхнётся.

– Да нет, она у меня добрая, – я посмотрел на Бусю, – зазря не обидит.

Буся с любопытством взглянула на Кроша и подошла к нему поближе. Приятели Кроша вжались в стену.

– Не бойся, можешь её погладить! Друзей она не трогает.

Крош опасливо протянул руку и погладил огромную лохматую голову. Буся зарычала. Парень резко шарахнулся в сторону. Его приятели громко загоготали.

– Чё ржёте, придурки? – разозлился Крош.

– Меня, кстати, Сергей зовут. – Я протянул Крошу руку.

– И меня Серый! – удивился он.

– Будем знакомы. – Я улыбнулся.

За спиной Кроша, в арке, мелькнул знакомый силуэт... Рябинкина! Машка шла к Покровке, держа в руках огромный чёрный футляр. Неужели виолончель?

Я поднял скрипку, свистнул Бусю и, напевая «Bohemian Rhapsodi» Queen, направился в сторону музыкальной школы.

ЗЕМЛЯКИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ АЛЬМАНАХ

Выпуск тридцать второй

Главный редактор *О. А. Рябов*
Составители *Андрей Иудин, Олег Рябов*

Шеф-редактор *Андрей Иудин*
Макет *Арсения Костромина*
Дизайн обложки *Геннадия Щеглова*
Корректор *Лев Зелексон*

В оформлении обложки использована
работа *Татьяны Мавриной*.
(Из коллекции *Михаила Сеславинского*).

Подписано к печати 06.06.2022. Выпущено в свет 28.06.2022.

Бумага 60x84¹/₁₆.

Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная.

Бумага офсетная. Усл.-печ. л. 27,9. Тираж 1000 экз.

Свободная цена.

Учредитель и издатель ООО «Книги»
Адрес редакции: 603057, Нижний Новгород, ул. Бекетова, 24/2,
ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Отпечатано в типографии АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13